Лев Жданов

Грозное время





Лев Жданов



Грозное время



Роман и повесть

Москва
Советский писатель • Олимп
1991

Библиотека журнала «Литературное обозрение»

Серия «Исторический роман»

Оформление
Ю. БОЯРСКОГО

Жданов Л. Г.
Ж 42 Грозное время: Роман и повесть. — М.: Советский писатель • Олимп, 1991. — 368 с.
ISBN 5—265—02597—9

В начале нашего века Лев Жданов был одним из самых популярных исторических беллетристов. Его произведения, вошедшие в эту книгу, — роман-хроника «Грозное время» и повесть «Наследие Грозного» — посвящены самым кровавым страницам русской истории — последним годам царствования Ивана Грозного и скорбной судьбе царевича Димитрия.

Ж $\frac{4702010101-240}{083(02)-91}$ без объявл. ББК 84 Р7

ГРОЗНОЕ ВРЕМЯ



Роман-хроника
(1552-1584 гг)



ОТ АВТОРА

Иван Грозный — вот имя того нового Герострата на троне, который, словно умышленно, сжег все доброе и светлое, все человеческое в собственной душе, испепеляя вместе с тем целые города, свои и вражеские, сжигая на кострах груды человеческих тел в таком числе, что только былая Инквизиция католическая может поспорить размерами религиозных своих гекатомб с дерзаниями автократа московского, великого князя и царя всея Руси!

Рати Ивана рубили и жгли, проходили грозою не только по вражеской, но и по родной земле. Новгород Великий и старый, вольный Псков до сих пор помнят приходы Иоанна IV. Воины и палачи царя проливали не только кровь неприятеля — убивали стариков, женщин... Детей нерожденных в утробе матери губили по приказу бесчеловечного царя его опричники. Дикий грабеж, растление девушек, детей, самое возмутительное насилие над женщинами — казалось обычным делом в дни Грозного царя.

Если таким образом — лезвием топора, факелом поджигателя — хотел Иван врезать и вжечь свое имя в вечной скрижали истории, — он добился своего. Нет угла на земле, где не знают этого страшного имени, где не реет облик «сыроядца» — как звали его уже при жизни на Руси. Он наполнял своей ужасной славой мир, пока жил. Прошло 330 лет после смерти его, и в целом мире, где только горит пытливая, обладающая знанием человеческая мысль, — там поминают Ивана Грозного... не добром, конечно!..

Но за морем пламени, за чадом горелых человеческих тел и за потоками крови, пролитой невинно, по прихоти полубезумного самовластника, — за этой завесой словно потонули, скрылись во тьме и другие стороны больной, изломанной, но, несомненно, богато одаренной от рождения души этого мудрого прозорливца, государственного строителя и деятеля, равного по замыслам своему гениальному правнуку, Великому Петру. Исчезли куда-то первые, светлые годы царенья Иоанна IV, почти 14 лет, когда его звали Иваном Боголюбивым, а не «царем-опричником», как прозвали потом!

После трех с лишним веков настало, я думаю, время дать цельный образ этого властителя-самодержца, полугения, полузверя.

Первая, светлая половина правления Иоанна изображена мною в романе-хронике, вышедшей перед этим под заглавием «Третий Рим», потому что под этим именно знаком народилась самодержавная власть царей московских на Руси, переданная от деда и отца — внуку, Иоанну IV. Под знаком мировой державы и защиты всего христианского мира от мусульманской силы; под сенью купола Святой Софии, манившей издавна к себе славянских царей Севера Европы, желающих стать императорами Византийскими и всея Руси, — под такими заветами взлелеяна была власть государей, последних Рюриковичей. И первые, светлые годы царенья Ивана до взятия Казани включительно пронизаны именно идеей стремления к «христианскому возобладанию славянского племени на целом Востоке и Севере Европы». И только потом, став Иоанном Грозным, кровопийцей, страшным игуменом Александровской слободы, — если не забыл, то отложил Иоанн Четвертый Боголюбивый широкие, гордые планы светлой юности...

«Третий Рим» и кончается на днях взятия Казани, на этих лучших страницах русской истории XVI века.

В настоящем романе-хронике дальше развертывается свиток жизни царя Иоанна. Печальная хартия, где каждая строка рдеет кровью, отравлена запахом тления, запятнана гноем разврата и падения могучей, большой человеческой души.

Но и эти страницы старался я чертить с возможным равновесием духа, не позволяя своей возмущенной человеческой душе подсказывать беспристрастному уму слишком скорые и жесткие слова бесповоротного обвинения.

Так я старался. Но «еже писах — писах»... То написано. Отдаю теперь людскому вниманию мой труд. Жду приговора над ним.

Лев Жданов





Часть I

ЦАРЬ ГРОЗНЫЙ И ЦАРЕК СИМЕОН

Глава 1

Годы 7060—7061 (1552—1553)

11 октября — 23 июня

Взятие Казани, покорение царства Казанского!..

Больше трех веков тому назад юный царь Иоанн IV, прозванный в народе Боголюбивым за свою набожность, — выполнил, наконец, задачу, завещанную 26-летнему царю его отцом, и дедом, и прадедом: взять юрт Казанский, овладеть ключом, открывающим путь к Волге-реке, простор которой был необходим для Московского царства, еще юного, неокрепшего, но растущего не по дням, а по часам, подобно богатырям старорусских былин.

И сейчас еще в народе не умерли отзвуки этого события, звучат отрывки песен о «Казанском славном взятии»... о «царе Иване Василиче, покорителе Казани», который в октябре 1552 года овладел «юртом неверных татар Казанских».

И невольно отголосками былой гордости и восторга наполняется грудь старика-крестьянина, поющего «сказание», и грудь мыслящего, культурного сына великой народной семьи всероссийской, когда он пробегает взором строки старинной песни, созданной так давно, но оживленной снова станками скоропечатных машин.

Можно легко представить, какой восторг и живую радость испытывал сам царь, когда, после долгой осады и кровопролитных боев, вслед за последней резнею — пала твердыня мусульманская, стоящая помехой на пути для целой Руси, и сдался в полон последний царь Казанский.

Что переживало войско московское, целую осень зябнувшее в грязи, под дождем!.. Какое ликование началось здесь, когда рати вступили в богатый, большой, хотя и полуразоренный осадою город и уснули на мягких постелях, вместо мокрой соломы, брошенной в грязи, в сырых, намокших от непогоды шатрах во-

енного лагеря... Еще больше ликовал, веселился шумнее народ московский, вся земля русская, когда дошли сюда первые вести о взятии Казани, опережая торжественное шествие победителя-царя, возвращающегося домой, к своему престольному граду Москве, к жене любимой, к первенцу-сыну, рожденному царицей Анастасией совсем недавно, пока царь еще воевал с врагами.

Всюду народ ликованьем и громкими приветами встречал победителя-царя. Путь ему, как библейским вождям, устилали одеждами, целовали край его одежд, стремена его коня. На Москве — митрополит, духовенство, цари иноземные, бояре и князья, а главное — весь народ, собравшийся к радостному дню встречи издалека, — сотни тысяч людей, море людских голов пало ниц, склонилось перед юным вождем земли, восклицая:

— Здрав буди на многие лета царь Иван Боголюбивый! Да живет покоритель юрта Казанского... освободитель рабов христианских из плена агарянского!

От восторга замирала душа честолюбивого юного царя, сжималось радостно и сладко сердце. Казалось ему, что не наяву, а во сне видит он сказку волшебную, о которой грезил немало дней.

И постарался царь, чем мог, отплатить со своей стороны народу, духовенству и ратным людям с их начальниками за любовь и службу верную.

Три дня длился пир, устроенный царем для знати и для народа. Не в одной Москве — и по другим городам столы всенародные были устроены, бочки с напитками выставлены для люда простого.

Не считая поместий и вотчин, коней, нарядов дорогих и шуб с царского плеча, розданных окружающим, — одно угощение обошлось казне царской почти что в миллион рублей на наши деньги. А если помнить, что пуд говядины стоил 20 копеек, что хлеб стоял в такой же малой цене, — можно себе представить, как щедро угощал землю ее державный хозяин на радостях победы, на двойной радости от рождения первенца, царевича Димитрия.

Но слишком велика была удача царя Ивана и всей земли его, чтобы завистливый Рок не постарался омрачить веселых дней. Радость победы, купленной потоками своей и вражеской крови, замутилась очень скоро.

Еще не отпировали шумных пиров, только успел съездить Иван с царицей и царевичем Димитрием к Сергию Преподобному, в Троицкую лавру, где у мощей святителя в Троицком соборе архиепископ Ростовский Никандр крестил княжича, как уже появились первые тучи — и со стороны вновь завоеванного царства Казанского, и от соседнего Новгорода Великого, и от Пскова.

В новом владении, с таким трудом завоеванном, в царстве

Казанском, там голод настал, неизбежное последствие войны. А бояре, ставленники московские, не заботились о земле, о людях, старались только нажиться поскорей да побольше. Кочевники, горцы, луговые и приречные черемисы, чуваши и вотяки — все возмутились против христианского ига, чуждого им по духу, невыносимого по бессердечию представителей новой власти. Стычки пошли, и часто терпели урон русские.

А в Новгородской и Псковской земле чума жестокая сразу появилась, словно вспыхнула,и широко, пожаром разлилась кругом.

Вместе с добычей военной, с шелками, нарядами и сосудами дорогими, награбленными у казанцев, занесли ужасную гостью домой из Казани новгородские и псковские ратники, не брезговавшие достоянием мертвых, снимавшие дорогие уборы с казанцев, павших от болезней, с зачумленных трупов,которые валялись на площадях и на улицах покоренного города.

Первые оставили новгородцы бой, первые кинулись на грабеж, хватая, что на глаза попадется. И на них обрушилась всею силою «кара Господня». Откуда началась болезнь, трудно было решить. Толковали, что один новгородец, Пинай Потяков, ворвался в главную мечеть, на ступенях которой убит был Шериф-мулла,нашел там ящик небольшой,печатями многими запечатанный. Так его Пинай и в лагерь уволок, домой привез, не раскрывая. А дома стал разбирать всю груду добычи привезенную и между мехами нашел забытый ящик. Вскрыл печати, поднял крышку — там нашел шаль кашмирскую тонкую, чудными узорами затканную, да две рубахи шелковые, мужские, золотом шитые.

Шаль он жене отдал, одну рубаху сам в праздник одел, другую брату своему крестовому подарил, Голубу Третьяку, человеку торговому, богатому. И первыми жертвами чумы пали эти две семьи, в неделю вымершие до последнего человека, со всеми чадами и домочадцами. А там дальше да больше... И в Пскове мор открылся. Ни одного дома, ни единой семьи не было, где чума не унесла одной-двух жертв.

В три месяца до пятисот человек вымерло в обеих соседних областях. Да и в других местах, несмотря на заставы и карантины суровые, много погибло народу, особенно бедняков, которые зимой и осенью в грязи, в сырых, холодных избах курных ютятся.

Настали крещенские морозы, воздух очистился, суше стал. Тогда и мор начал уменьшаться; но успел оставить за собой целый лес преждевременных могильных крестов по всему государству Московскому.

Много помогло народу живое участие, оказанное царем в этой беде. Он приказал по монастырям кормить и лечить хворый люд.

Шестого декабря, в Николин день, было устроено торжественное поднятие мощей св. Николая с водосвятием, и потом вода святая была разослана в наиболее пораженные чумой места для раздачи народу. Вера и подъем духа давали силы людям бороться с болезнью, которая особенно легко передается слабеющему телу, если душа подавлена и тоскует...

Мор стал ослабевать. Иван вздохнул спокойнее. Макарий, зная любовь Ивана ко всяким церковным блестящим церемониям, приготовил ему два удовольствия, одно за другим.

Восьмого января 1553 г. бывший казанский царь, мальчик Утемиш-Гирей, сын Сафа-Гирея, был крещен Макарием в Чудовом монастыре в присутствии Ивана. Савва, игумен Крутицкого подворья, явился восприемником крещеного татарчука, который получил имя царя Александра Казанского и принят был Иваном в число самых приближенных к нему юношей, детей первых бояр и князей московских.

Сумел повлиять митрополит и на Эддин-Гирея, последнего хана грозной татарской орды. На выбор было предоставлено этому не очень отважному и твердому волей царевичу: лишиться жизни, чтобы не осталось у казанцев надежды вернуть себе мусульманского владыку, или принять веру христианскую и таким образом умереть для мусульман. В награду за крещенье юноше были обещаны великая милость, дары царские и почесть до конца дней.

Эддин-Гирей не родился, чтобы стать мучеником.

Он «добил челом» Ивану, чтобы дозволено было ему принять христианство, согласно «искреннему желанию и глубокой вере» этого так быстро обращенного татарского вождя. Для исполнения обычая несколько дней ходили попы и монахи к Эддин-Гирею и допытывались:

— Не от нужды ли, не страха ли ради хочешь познать закон веры Христовой?

— Нет! — твердо отвечал испытуемый. — Клянусь бородой Пророка, по всей правде-истине, с любовью готов и хочу принять закон Христа, а Магомета, бессильного и лживого, как я увидел после поражения моего, и скверный закон мусульманский отрицаю и проклятью предаю. Не спасли они меня... Ваш Бог победил... Он, значит, есть Бог Всесильный, Бог Истинный!

26 февраля, на второй неделе поста, день выдался весенний почти, теплый, хотя и пасмурный. Чуть светать стало — близ тайника в стене Кремлевской, который вел к самой Москве-реке, совершилось крещение бывшего хана, Эддин-Гирей-Магома-Хозроя. Царь с братьями своими, Макарий, двор царский, причт

кремлевских соборов и церквей — все присутствовали при торжестве. Обряд крещения совершал Савва Крутицкий, а восприемником был Макарий, и дал он своему сыну-восприемнику имя Симеона, по отцу — Касаевича.

Вместо топора и петли — новообращенный, как лицо приближенное к царю, получил богатое жилище в самом Кремле, много добра, денег, земель с деревнями и даже целый двор наподобие царского, с бояриным Иваном Заболоцким во главе.

Кроме этих двух — еще несколько татарских царевичей и царей своим присутствием способствовали блеску московского двора. Ших-Алей, правивший Касимовом, редко и жил там, все больше сидел в Москве. Каз-Булату-Тохтамышу город Юрьев был дан на кормление; Дербыш-Алей, претендент на ханство Астраханское, жил в Звенигороде. Бек-Булату с Саином — Сурожик-град был дан пока.

— Пусть знают и в чужих землях, как московский царь врагов умеет щадить и миловать! — сказал Иван царице Анастасии, когда у той вырвался крик изумления, и даже руками всплеснула при рассказе мужа, во что обошелся ему новый приближенный, бывший хан Казанский Эддин-Гирей-Магмет.

— Ну, твое дело, милый ты мой... — шепнула Анастасия, крепко обнимая мужа и любуясь гордым блеском, каким загорелись сейчас оживленные глаза ее красавца-мужа.

— Да и не пропащие это денежки! — улыбаясь, добавил царь, помолчал. — Узнают другие князьки неверные, как мы ихнего брата награждаем, валом повалят. Еще больше от них корысти будет Москве. Вот теперь, после Казани, пора за Астрахань приниматься. Наша та земля, исконная... Еще прадед мой, Мстислав, умираючи, ту землю Тмутараканскую, как звалась она в ту пору, своим отказывал. А как раз оно и время нам приспело хорошее: смута большая в орде в тамошней. Гляди, не теперь, так на тот год — станешь царицей Астраханской.

Анастасия, не дослушав, даже руками замахала.

— Что ты, государь?! Снова война? Сызнова поедешь на муку и на бой смертный? Да ни за что! Да не пущу и не пущу. Вот повисну так — и не оторвут меня!..

И царица показала, как она сделает, чтобы не отпустить мужа.

Иван, смеясь, с поцелуями стал отрывать ее руки от своей груди.

— С тобой поеду... Так на коня тебя втащу — и увезу!

— А Митя с кем наш останется?

— Мамок у него, что ли, мало?

— Нет, не шути... — со слезами уж заговорила царица. — Неужто сызнова воевать собираешься?

— Нет, успокойся... Там дело не казанское, дело маленькое — и воеводы мои поуправятся. А хоть бы и пришлось мне воевать с кем из недругов царства нашего, ежели бы и жизни я решился в бою, не пропадет земля: сын на мое место останется, наследник мой, гордость моя... Здоров ли мальчуга? Здоров ли Митенька? Что не видать его?

— Пойдем, погляди на дитя!.. — предложила княгиня. — Да потише: уснул младенчик, спит, душа ангельская.

И оба они потихоньку перешли в соседнюю горницу, где под надзором нянек тихо спал малютка Димитрий.

Разговор этот происходил день спустя после крещения Эддина. Простудился ли там Иван, разгоряченным выйдя из двора к реке, где было сыро и холодно, иное ли что подкосило мощное здоровье царя, но он стал недомогать, прихварывать с этого самого утра. Ни баня горячая, первое средство против всяких недугов у людей того времени, ни питье разное и натирания, проделанные самой царицей, — ничто не помогало. Недуг быстро овладевал Иваном, и он свалился совсем.

Печальна служба Великим постом в храмах московских... Заунывны напевы псалмов и гимнов покаянных... А во дворце совсем как в могиле. И говорят вполголоса, и ходят — не всей ногой ступают, чтобы лишним шумом не обеспокоить больного царя.

Долго тянется его болезнь. Тяжелая, упорная она. Огнем так и пышет больное тело, все — сыпью покрыто темною.

Думали сначала: не чума ли то новгородская приспела? Нет, не такие знаки. И жар силен у царя, неделями держится. Часто в беспамятство впадает больной, бредит осадой казанской, старой изменой боярской, вспоминая годы своего детства. И все сына да жену зовет:

— Настя, Митя!.. Не дайте меня в обиду... Отстойте от врагов: живым жечь хотят... На лютом огне мое тело палят!..

Но лекаря, из чужих земель пришельцы, живущие в Москве и свои, русские, монахи — знающие люди, в леченье и зельях лекарственных сведущие, не велят никого пускать к царю, чтобы болезнь не передалась, так как заразная она.

Прислужник, помогавший сначала Ивану, когда захворал тот, сам скоро заболел так же тяжело, как и царь. Но за простым челядинцем ухода не было. Только один лекарь все к нему заходил и давал ему на пробу снадобья, которыми думал царя пользовать. Если лучше становилось прислужнику, лекарь давал это

средство царю. Если от лекарства хуже становилось слуге, лекарь выливал дозу, приготовленную для Ивана. И в бане парил испытатель-врач второго больного, и холодом пользовал, ища, от чего поддается болезнь.

Не мудрено, что слуга скоро и умер.

Окружающие царя, не зная, что пришлось испытать бедняку от лекаря, — перепугались, особенно Захарьины. Все их могущество зависело от состояния здоровья Ивана. Умрет он, малолетнему Димитрию, если даже признают бояре в нем будущего царя, опекуны будут даны, самые знатные, самые сильные породой, самые богатые землями и деньгами. А Захарьины только-только что оперяться стали. И, конечно, многочисленные враги и завистники поспешат ввергнуть «выскочек» в такую пропасть, из которой потом и не выбраться. Примеры тому у всех живы в памяти: Глинские рухнули... Шуйские, Бельские рухнули! Овчина, временщик всевластный, и весь род его рухнул, в собственной крови потонул, захлебнулся.

Жуть проняла братьев Анастасии. Страх свой сумели они и царице передать. А там, когда на больного нашла минута просветления, рискнули и к нему пробраться оба шурина.

Обрадовался Иван, долгое время, в светлые минуты между бредом, не видавший никого, кроме лекарей да челяди ближней, но ни бояр, ни родни не замечавший у своей постели.

— Здоров, Данилушка, братец... И ты, Никита... Чтой-то не видать никого из моих при мне? Али так уж прилипчива хворь моя? — слабым голосом спросил Иван.

— Есть тот грех, государь. Да вот мы не побоялись... навестить, проведать тебя пожелали...

— Спасибо. А жена што? А Митя?

— Все здоровы, дал Господь. Кручинны только больно!

— Ну, вестимо... Да, Бог даст, оздоровею я скоро, утешу их...

— Конечно, на все Божья воля... В животе и смерти — Он Судья, государь-братец...

И тон речей у обоих шуревьев был так тревожно-зловещ, что Иван задрожал.

— Да... да разве уж так плохо дело мое? Что лекаря говорят? Я сам спрашивал. Они все утешают: «Ты, мол, здоров, государь!» Толкуют мне: «Одолеешь недуг свой тяжкий, поправишься». Что же? Али неправду бают? Тешут меня, словно дите малое? Говорите скорей!..

— Нет, что же!.. Коли лекаря толкуют — им лучше знать... — не глядя на больного, ответили оба гостя.

Помолчал Иван, вздохнул, потом опять заговорил:

— Ну, на все воля Божия!.. Никто, как Он! Вижу, надо о смертном часе подумать... Волю свою оставить, царства свои и землю всю при жизни за Митей закрепить. Господи, не дай ему того изведать, что мне по малолетству моему испытать довелось!

— А, гляди, не лучше и будет, — дай Бог, мимо молвить!.. Ну да все ж таки... ежели племяш осиротеет наш... и ежели ему защиты близкой, родной не будет... Как думаешь: долго ль ему и жить-то без тебя останется? Вон у тебя брат родной — дурашлив да никчемен! Так уж надо по правде говорить. Да зато — двоюродный твой... о-ох!..

И Данило Юрьин, не докончив речи, только покачал головой.

— А что?.. Разве уж?..

— М-м-м... Да как сказать... Толкуют, что большие советы советует князь Володимир Андреич с боярами да с воеводами многими... Особенно кто твою опалу изведал... Мало того, Одашев — собака, старый пес, отец твоего любимчика, так и днюет и ночует в палатах у Старицкого. Мало ему, холопу, что сам из грязи да в князи пролез, боярином окольничьим сделан... что сынишко его стольником... Кричал, поди, Олешка, што любит тебя, што раб твой верный... А видал ли ты его при себе?

— Разок заходил...

— То-то ж! А поп Селиверст, сказывают, с ними ж. Он — давний доброхот Старицких... Еще через Шуйских, твоих и нашего роду ворогов неустанных. То присмирели было они, как тебе Бог победу над Казанью даровал.. да сына послал... А при недуге твоем тяжком — и снова кадык подняли. Да так высоко, и-и, Господи! И будто недоволен Олешка малой отличкой... А как сказал ему поп Селиверст: «Не кручинься, друже! Живет правда! Помнишь, как пели жены израильские: «Саул победил тысячи, а Давид — тьмы!» — так, може, и тебе такое же воспоют!..»

— Да быть не может? — дрожа от волнения, переспросил Иван.

— Вот те Христос! У меня вить тоже не котел на плечах. Везде свои люди поставлены. Без того нельзя. Так вот, Олешка на слова поповы и ответствует: «Бог велик и в малости — людей своих находит! А будь у меня больше силы, и ты, батько, клобук митрополита мог бы на башку вздеть. Не хитрость какая его носить! Засиделся Макарий, вишь, на своем месте! Тринадцатый год сидит. Пора и честь знать! Одно, грит, не к руке: женатый ты поп, не вдовый, не черноризец». А поп на ответ: «Было бы из-за чего?! Постриг недолго-те принять и от живой жены! Церковь Святая — первая невеста души и единая, непорочная, неизменная!..»Вон оно куда уж дело гнут!..

Замолк Данило, смотрит: как его речи повлияли на больного? А тот только прошептал:

— Дьяка моего... Ивана Михайлова... у него хартия... и митрополита мне... хочу волю свою...

Не докончил, побледнел и сомлел.

Но для Юрьевых было достаточно. Пользуясь страхом, который зараза внушала всем близким к Ивану людям, они вторично выследили, когда легче стало больному, — и явились с Макарием и еще с двумя священниками митрополичьими, ближайшими, предупредив заранее владыку, в чем дело.

Дьяк Михайлов, у которого, по обычаю, наготове была духовная, дал ее царю.

Макарий первый вошел к Ивану и долго сидел с ним наедине. О чем толковали они — никто не узнал. Потом позвали свидетелей: бояр и попов, приготовленных в соседнем покое, — и они подписали завещание больного царя, составленное по примеру других таких же актов, писанных отцом и дедом Ивана.

Особенностью их являлся новый порядок наследования. Престол назначался не старшему в роду, как раньше бывало, а старшему сыну умирающего царя. И только если нет сыновей у него, власть переходит к братьям по старшинству.

— Царь подписал духовную... Царство царевичу Димитрию приказал! — сейчас же пронеслось по дворцу.

И печалились люди, близкие к Ивану, — и рады были, что решен этот жгучий вопрос, грозящий многими неурядицами, умри царь внезапно, без завещания.

Зато партия князя Владимира призадумалась.

— Никто, как Юрьины, надоумили царя! — сказал Сильвестр, недовольный, что за последнее время Иван не так уж послушен ему стал, как был первое время после «великого пожара московского».

— Не беда! — отозвался бывший при разговоре изворотливый князь Иван Михайлыч Шуйский. — Завещать он все может, хошь Могола Великого престол, — своему Митяньке. А мы креста не целовали младенцу несмышленому помимо старшого родича, дяди его, князя Володимера, как оно по старине водилось... и целовать не станем. Хуже, что ни день, царю... Гляди, до разговенья не дотянет, не услышит звону пасхального... А мы — своего царя красным яичком величать будем.

И Шуйский поклонился степенно князю Владимиру, в доме которого собрались все единомышленники. Но Иван не только дотянул до пасхальной заутрени, а даже словно бы выздоравливать стал, только слабость сильная держала его в постели.

И по-прежнему отделен он был ото всех, во избежание заразы.

Вдруг оповещение пришло: на второй день Пасхи — присяга всем боярам и князьям объявлена, и князю Юрию, и самому Владимиру Старицкому; а присягать и крест целовать наследнику царскому, первенцу его, княжичу Димитрию. И во всех церквах приказано от митрополита: Евангелие ставить и к целованию крестному с записью приводить всех — и бояр, и простых, и служилых людей.

В самую Страстную субботу сильнейший приступ болезни снова поставил Ивана на рубеже между жизнью и смертью. По словам врачей — то был решительный кризис.

Загудели в полночь пасхальные колокола. Все церкви кремлевские сияли тысячами свечей... Черно повсюду от молящихся... Всем веселье и радость. Только царица Анастасия, в слезах, бледная, убитая, сидит одна в терему, у колыбели первенца своего, так печально вступающего в свет. Не радость светлую, опасности и гибель несла ему первая весна, которую пришлось встречать на земле малютке. Умри Иван — царица знала, что ей с ребенком тоже недолго жить на свете. Избавятся от нее скорешенько враги, соперники ее ребенка, милого, ненаглядного сыночка...

Всех женщин отпустила Анастасия в церковь дворцовую, а сама не пошла никуда. Не праздник — тяжкие будни для нее потянулись с той минуты, как захворал Иван. Да еще самое худшее, что не пускают царицу к больному. Говорят, может и она захворать, и малютку погубить. Эта последняя мысль, опасение заразить Димитрия, пересиливает в молодой женщине неодолимое желание: пойти к мужу, кинуться на колени у его постели, целовать страдальца, освежать прикосновением рук его пылающую голову...

И раздвоенное чувство Анастасии: страх за ребенка и тоска по мужу — измучили, извели эту кроткую, дородную раньше красавицу

Только ее прекрасные глаза — словно еще больше они стали, еще шире раскрыты на исхудалом лице и горят затаенной мукой, поражают скорбной красотой, влекут к себе неудержимо каждого, на кого ни взглянет Анастасия.

Но она и глядит-то редко на кого, кроме как на сына. Все ей в тягость, всем не верит она. И хотела бы, а не верит!

Ведь что теперь только делается?! Ни для кого не тайна, какие происки творятся в пользу Владимира Старицкого против Ивана. И пугливо затихла Анастасия.Полумрак, тишина в низких покоях теремных у царицы. Там, за окнами, — весна просыпается, природа воскресает, Светлое Христово Воскресенье славят люди.

А на сердце у одинокой женщины — такая же грусть и полумрак, как в светелке, в спаленке царевича, где сидит она, сторожит мирный сон младенца.

Вдруг скрипнула дверь в светелке. Анастасия поднялась, сделала шаг вперед и, вглядываясь в углубление арки, где был вход, спросила:

— Ты ли, Дарьюшка?

Но, к удивлению царицы, в горенку с поклоном вошел Алексей Адашев, а не старуха-мамка верная, Дарья Федосеевна, сестра казначея Головина.

Прямо и смело подошел он к царице, словно не замечая ее удивленного взора, еще раз поклонился до земли и, подавая ей большое красное яйцо лебяжье, хитро изукрашенное и разрисованное, проговорил:

— Христос Воскресе, государыня-матушка!

— Воистину воскресе! — отдавая поклон, ответила Анастасия и машинально, как принято, подалась немного вперед головой, чтобы принять уставное христосованье.

Смелый временщик, вместо того чтобы почтительно, не касаясь руками, не прижимая губ, совершить обряд, — неожиданно подошел совсем близко к Анастасии, обнял ее сильно, горячо, как только муж жену или брат любимую сестру обнимает, и три долгих, греховных поцелуя обожгли царице губы.

Крайнее изумление, смущение невольное, стыд и гордый гнев, целая смена различных ощущений пронеслась в душе у Анастасии. Не находя, чем объяснить подобную неслыханную наглость, она подумала: «Пьян, видно, холоп».

И решила быть очень осторожной с незваным гостем.

Все-таки немалую службу сослужил он ее мужу, государю Московскому. Толкуют, что отец любимца царского, боярин Феодор Адашев, на сторону Старицкого и Шуйских перешел, а сын под шумок так себя ведет, что не разберешь, чью руку он тянет. Больного ли царя или здоровых недругов его? Ну да сейчас разбираться не время. Каждый человек пригодиться может, особенно такой, как Адашев, первый друг властного Сильвестра и сам — не маломощный в Думе, в управлении земском и даже в рядах воевод.

Не любит лукавить и гнуться Анастасия. Претит ее чистой душе всякая ложь. Да что поделаешь?! Гроза налетела и на семью ее, и на все царство. Тут и не хочешь, а лукавить, душой кривить научишься.В одно мгновенье этим самым троекратным, жгучим, полным страсти лобзанием выдал свое давнишнее влечение к Анастасии Алексей. Все стало ясно царице: и взгляды его долгие

прежние, и речь ласковая, вкрадчивая... Но, пока был здоров царь, наперсник его, ложничий, спальник приближенный, в узде держал свои чувства.

Теперь — Иван умирает. Положение царицы и царевича тяжелое, шаткое. Чего же стесняться?!

Противно Анастасии видеть такую низкую душу, встретить черную неблагодарность к царю со стороны человека, всем обязанного Ивану. Но — надо молчать, терпеть. Может быть, не давая никаких прав на себя, кротостью и лаской удастся пробудить совесть в сильном лукавце? Может быть, и ей, и царю, и Мите ее милому послужит на пользу Адашев? Ведь вон какую он силу забрал!

И бедная, растерявшаяся женщина подавила смущение и негодование, все чувства, вызывающие сейчас яркую краску на щеках царицы, сделала вид, что не поняла, не заметила дикого порыва в своем подданном и рабе.

— Что скажешь новенького, Алексей Феодорович? Садись Спасибо, что не забыл меня, одинокую, бедную...

— Да, не ведает, видно, и Господь порою, что творит, - хмурясь проговорил Адашев. — Тебе, такой душеньке чистой да ангельской, государыня-матушка, испытания столь невыносные и незаслуженные посылает!

Горячим, искренним тоном произнес Адашев свою речь, но хмурится он не на несправедливость Судьбы, а на другое. Прямо в душу ударил ему равнодушный, сдержанный вид, с каким Анастасия приняла смелую, жгучую, хотя и замаскированную ласку отважного, красивого собой, молодого мужчины. Алексей ведь знал себе цену. Лучше бы рассердилась царица за необычный поцелуй, как бы дерзость. Но она словно ничего и не заметила! Это слишком обидно.

Неужто так любит молодая красавица своего ветреного, припадочного и раздражительного мужа? Любит и после такой долгой его болезни, когда тот умирает? Любит, вопреки всем огорчениям, какие приносил ей Иван на глазах самого Адашева? Быть не может!

Значит, другой кто-нибудь успел опередить его, Алексея? Занял место, которое он думал захватить? Место, равносильное положению Ивана Овчины-Телепня при княгине Елене во время младенчества Ивана. Теперь, случайно, — все сходно повторяется. Царь Иван умирает. Димитрий, наследник, — малютка. Против нового порядка наследия — Владимир Старицкий стоять собирается за права старшего в роду на венец Мономахов. Старший этот — сам Владимир. Без Адашева и Сильвестра — Анастасии пропадать! Неужели она не поймет того?

И, подавляемый ослеплением страсти столько же, как и честолюбием, Адашев, совершив первый шаг, решил, не останавливаясь, идти уж и дальше, до самого конца.

Быстро подойдя к двери, он заглянул туда, убедился, что нет никого еще в соседней комнате, да и быть не может. Он в самом начале службы выскользнул незаметно из храма и пробрался сюда. Захлопнув тяжелую, сукном обитую дверку, Адашев даже не задумался, запором преградил до времени вход в комнату кому-либо из свиты царицыной.

Вернувшись к царице, у которой и ноги подкосились, так что она вынуждена была опуститься на лавку, недалеко от колыбели сына, — Алексей подсел рядом и решительно заговорил:

— Слыхала ль, государыня, на второй день праздников царь-государь приказал дьякам и боярам своим думным к присяге людей и рать привести, особливо — Шуйских с Мстиславскими и князя Володимера...

— Слыхала! — как эхо, слабо отозвалась царица.

— А знаешь ли, пошто так заторопился царь? Ведь духовная дадена. И ежели помрет государь — воля его ведома. Так, говорю, спешки такой, присяги преждечасной причину ведаешь ли, государыня?..

— Сдается, что знаю.

— Знаешь? И то ладно. Меньше мне толковать с тобой придется. Так ведаешь ты и всю кашу, какую княгинюшка вдовая, Евфросиния Старицкая, для сынка своего заварила? А?.. Как бояр подбирает, люд честной сзывает, золотом сорит, чтобы смуту поднять, на место наследника-царевича — дядю евонного первородного старинным обычаем на стол посадить?

— Слыхала... Сказывали.

— Та-а-ак... А чем беду избыть? О том думала ль, государыня-матушка?..

— Нет! На Бога надежду возложила. Не даст Он в обиду сироту!

— Э-эх, государыня, давно сказано: на Бога надейся, а сам гляди-поглядывай! Вон, государь твой, хошь и хворый, умирает, поди, — а боле тебя в деле смекает: на послезавтрева присягу объявил. Оно бы кстати, да одна лиха беда: кто примет присягу, тех и бояться бы нечего. Все люди прямые, верные, честные! А кто опасен, кто змий самый и роду и царству нашему, те или прямо креста целовать не станут, али увильнут, в «нетях», хворыми скажутся, потайно в вотчины отъедут на время на самое смутное... Ежели, скажем, нынче умрет царь...

Настасья вздрогнула даже от этих жестких, уверенных слов. Но Адашев прав: и сама царица плохо надеется на выздоровление мужа.

— Нынче умрет царь, — словно не заметив волнения Анастасии, говорит Алексей, — завтра ж мятеж загорится. Ежели еще при жизни государя не приключится чего... И дай Бог, ежели тебя в заточение и царевича — в монастырь свезут, от мира укроют, пока посхимить можно буде отрасль царскую. А не то...

И Адашев уже не стал доканчивать, не пояснил подробней, какая участь может постигнуть мать и ребенка со смертью царя.

Молча слушала Настасья, выжидая, желая узнать, к чему клонит речи свои этот раньше такой мягкий, вкрадчивый, а теперь — словно подмененный человек.

Адашев, и не ожидая ответов от Анастасии, быстро продолжал:

— Есть еще спасение у тебя с сыном... Все равно: умрет ли Иван али выздоровеет...

Не царем, не государем назвал Адашев мужа, а просто Иваном — и это больно кольнуло в сердце царицу. Но она все молчит и слушает.

Адашев же, не видя или не желая видеть ничего, продолжал:

— При юности еще Ивана речи ходили воровские, что не от колена царского он, а сын-де... Ну, сама знаешь... И вот, если будет очень стоять государь на присяге Димитрию, хотят припомнить о том, что-де Володимер Старицкий прямой Рюрикович, а не сумнительный... И прямо креста не примут... Гляди, при жизни из цариц с царем тебя и его разжалуют.

Настасья слушает — молчит.

— А всему тому и поправка есть. И в моих руках она! Знаешь, немало бояр я людьми сделал вместе с попом Сильвестром. За нами стена тоже стоит немалая. Можем мы перехватать нынче ж в ночь самых главных ваших недругов и то им уготовать, что они вам сулят. В ту яму толкнуть, кою тебе с сыном роют. Только...

— Только?..

— Добро за добро. Не... не отринь меня!.. — вдруг, против воли понижая голос, произнес Адашев, хотя и не мог их услышать никто.

Побледнела Анастасия. Вскочила. Глаза горят негодующим огнем, губы презрительно сжаты.

Всего ожидала она, только не такого прямого, постыдного торга. И, не находя слов, с дыханьем, которое перехвачено было в груди, — стоит она, словно мраморное изваяние...

Зарвавшийся Адашев, объясняя смущением молчание царицы, обрадовался, что она не гонит, не бранит его, как можно было ожидать, а стоит и глядит молча... И, чтобы окончательно довершить предполагаемую победу, Алексей быстро продолжал:

— Не посмел бы я слова такого сказать, если бы уж давно не жалел тебя, не тосковал в ночи бессонные, днями — годами не кручинился... Какая твоя жизнь?! Раньше — совсем образа Божьего не было на Иване, а как мы с Селиверстом стали помаленьку обуздывать его, он и с тобой по-людски зажил, да не совсем! Чай, знаешь, что на охоте он творит, в селах своих? Слыхала, что под Казанью было?.. И татарок, и крымок, и с робятами блуда всякого непотребного!.. А ты все терпишь, кроткая, аки агнец, голубица чистая... Как же не любить тебя, красотушка?.. А греха не бойся. Вдовой останешься ли — можно будет грех венцом покрыть. Я сам уж боле года вдовый. Поженимся с тобою! А выживет Иван — покаемся в грехах, Бог простит, он милосердный. А уж как любить, беречь тебя буду! Не мальчишка я... не беспутный какой. Видала, чай, как сумел я князьями верховодить, царство, не от отцов дарованное, а чужое, устроить сумел. Так для тебя не жизнь — рай земной, гляди, налажу... Да что ж ты молчишь? Слова не скажешь? — вдруг перебил он сам себя, обеспокоенный все-таки видом и безответностью Настасьи Романовны.

Невольно ища ее близости, он сделал шаг вперед и хотел взять руку царицы.

Но Анастасия отшатнулась от него, как от пресмыкающегося, медленно, не сводя негодующего взора с лица Адашева, с презрительной гримасой на прекрасных губах, — подошла вплотную к кроватке Димитрия, словно ища там защиты.

Дикая, внезапная, необъяснимая злоба охватила Адашева при виде отступления любимой женщины. Редко поддавался страстям и влечениям уравновешенный, добродетельный Алексей, но теперь страсть взяла свое — и он окончательно потерял голову. Какие-то темные силы проснулись и владели сейчас этой всегда ясной и спокойной душой. Он хрипло заговорил:

— А! Бежишь?.. Не любишь меня?.. Боишься? Может, иного кого полюбила уже? Не в час, не вовремя я, значит?.. Все равно! Гляди, не сделаешь по-моему — и подмоги ниоткуда не жди. Гибель тебе, и сыну твоему, и мужу хворому! Всем гибель вам!

Тогда все так же, не произнося ни звука, с лицом скорбным, бледным, покрытым ужасом, — царица распахнула полог кроватки сына, подняла руку и коснулась распятия с мощами, висевшего над изголовьем Димитрия, словно ища защиты от злых духов.

Губы ее тихо-тихо стали шептать слова молитвы, словно заклинание от бесов.

Какой-то хриплый, натянутый, притворный смех раздался у нее за плечом. Это захохотал Адашев.

Видя неудачу, он все-таки не хотел признать себя побежденным и сквозь притворный смех заговорил:

— Гляди, испугалась царица-матушка! Успокойся, я не дьявол во плоти, хоть и правда: искушать тебя приходил. Время приходит крайнее. Вот и понадобилось мне узнать: какова ты мужу своему жена верная, сыну — мать доброхотная? Вижу: честь и хвала тебе, государыня. Оздоровеет государь — скажу ему, сколь ты верна закону и слову Господню... Прости, не обессудь! Пойду хлопотать, чтобы послезавтра и в самом деле чего не случилось в час целования крестного. Храни Господь тебя с царевичем.

И, отдав земной поклон, Адашев вышел из светелки, оставя в полном недоумении бедную женщину. Не знала Анастасия, что ей и думать. Куда кинуться? Что начать? Ей даже не верилось, что вся дикая сцена разыгралась и взаправду здесь, в опочивальне ее сына, у его колыбели. Не наваждение ли то было дьявольское? И она все стояла, шепча молитвы...

Пришли боярыни, и девушки, и мамки, стоявшие у заутрени, стали христосоваться с царицей, разговенье устроили.

Анастасия, наполовину выйдя из своего оцепенения, подозвала Дарью Федосеевну и сказала:

— Дарьюшка, побудь при младенчике. Не отходи. А я на миг тут на один... Только не отходи, гляди!

— Что, государыня-матушка, али в палату Крестовую охота заглянуть, службу послушать?.. Поют, поют очень там. Иди, хоть малость побудь, а то — грех! Экий праздник, а ты и в церковь Божию не пошла.

— Не до того, Дарьюшка...

— Горе, знаю... Да к Господу-то с горем и надо ходить. Он благ, Милостивец... Иди, иди, милая.

И старушка села у колыбели, явно решив не отходить отсюда, как приказала царица.

А Настасья Романовна пошла не в церковь домашнюю, нет.

Откинув писанку Адашева, которую машинально держала еще, зажав в руке, — царица взяла с блюда простое красное яйцо, каким христосовалась со своими девушками и старицами, проживающими у нее наверху, и, кутаясь в простой охабень, полуосвещенными, а то и совершенно темными, знакомыми переходами направилась в ту половину дворца, где лежал больной Иван. За царицей шла с фонарем одна только карлица-шутиха, потешная Анастасии, злая, но преданная и бойкая девка-горбунья.

Вот и проход, ведущий в покои царские. Алебардщик узнал и пропустил царицу. Вот двери комнаты, где лежит больной. И

здесь, по соседству с его спальней, — щекочет обоняние сильный запах курений и жженого можжевельника, который сжигался, чтобы не дать распространяться заразе.

Приоткрыв дверь, Анастасия робко заглянула в обширную, хотя и невысокую, слабо освещенную опочивальню.

Иван спал на кровати, лишенной обычного полога. В углу сидел и сладко храпел очередной монах, склонясь над толстым томом церковным, который читался вслух для развлечения царя, когда тому становилось полегче. Скляницы, ковши, кубки на столе... Лицо у больного вырезается на изголовье, исхудалое, бледное. Но спит он спокойно, глубоко. Это была как раз минута перелома, кризиса. Сильный жар сменился упадком сил и понижением тепла в теле. Врач, видя, что Иван покрылся испариной и впал в глубокий сон, тоже ушел отдохнуть. Теперь надежда воскресла, царь мог быть спасен, если только не явится какой-нибудь неожиданности.

И долго глядела царица на спящего мужа. Потом, вспомнив о заразе, об опасности, которая грозит ее ребенку, — она нагнулась, тихо положила за порог красное яйцо и шепнула бледными, пересохшими губами:

— Христос Воскресе, Ванюшка, милый мой... Спаси тебя Господь. Хоть взглянуть привелось... Христос Воскресе!

Мысленно послав мужу поцелуй, тихо прикрыла дверь и ушла.

По дороге она сказала своей провожатой-карлице.

— Слышь, скажи Дарьюшке, что я в мыльню прошла. Пусть принесут туда мне надеть все чистое, другое. А это сжечь прикажу. И пусть она побудет у младенчика, пока не сменюся. Тогда приду. Тогда — можно будет. Не занесу ему ничего. А только ты... ты, гляди, молчи... Не сказывай, где были мы с тобой.

* * *

Только успел соснуть немного, передохнуть часок-другой митрополит Макарий после долгой, утомительной пасхальной службы и снова встал, прокинулся в обычный ранний час. Умылся старец, прочел краткую молитву и подошел в раздумье к широкому окну своей кельи, заменяющей и кабинет, и библиотеку. Распахнув половину рамы, состоящей из больших слюдяных окончин, вставленных в частый деревянный переплет, владыка зажмурился от снопа солнечных лучей. Вместе с порывом ласкового весеннего воздуха и с гулом трезвона пасхального ворвались они в небольшую келью, где пахло ладаном, кожей старинных переплетов и сухими травами, хранимыми в особом ящике на случай

легкого недуга, когда Макарий любил пользовать себя домашними средствами.

Стаи голубей, питомцы владыки, словно бы только и ждали его появления, сорвались с карнизов соседних хором великокняжеских, с подзоров Грановитой палаты, налетели от церкви Ризположения, стоящей в самом углу митрополичьего двора, и тучей опустились на каменные плиты перед окном, на голые, покрытые почками ветви соседних кустов, на карниз окна, — куда только возможно, поближе к щедрому хозяину. Макарий, завидя гостей, добыл из нарочно приготовленного мешка сухого гороху и горстями стал кидать его птице, которая шумно ворковала, дралась между собой, переносилась с места на место, веселя старика этим гамом и суетой.

Жилище митрополита Московского отличалось скромностью, хотя уже намного превосходило ту простоту, с которой мирились первые владыки, жившие в незатейливых и тесных срубах. Каменное зданье митрополичьих покоев установлено было на высоких арках-подклетях. Обитаем был лишь второй этаж и верхняя светлица, где летом царила прохлада, такая желанная для отдыха после знойного дня. Во втором этаже, не считая передних и задних сеней, обширных и предназначенных для приема простого люда, было всего три просторных, но невысоких и просто обставленных кельи. Первая служила для приема, для работы и называлась «горницей». Вторая — «крестовая». Здесь, в большом киоте, помещались старинные образа: Бог Саваоф в чеканной, золоченой ризе, украшенной дорогими самоцветами; Богородица-Одигитрия, Ангел-Хранитель и чудотворец Макарий, покровитель владыки. Все иконы сияли дорогими окладами. В особом поставце — церковные и богослужебные книги, рукописные, в тяжелых переплетах, деревянные доски которых были обтянуты кожей, украшенною живописью и золотым тиснением.

Список «Миней» на данный месяц, произведение самого Макария, лежал на почетном месте, поверх других.

Задняя келья, столовая и спальня, отличалась широкими скамьями по стенам. Здесь на ночь, в переднем углу, под иконами, клали тюфяк Макарию, сверху — перинку, простыню и одеяло. А утром все уносилось в подклеть, в кладовую, пристроенную там, между арками. Если не приходилось владыке есть вместе с какими-нибудь почетными гостями, он и за трапезу садился не в Столовой палате, устроенной особо, а здесь же, в заднем покое. Передняя горница была тоже не пышно обставлена. Неизбежные лавки по стенам, одно кресло, обитое тисненой кожей, другой — стулец резной, кленовый, сиденье и спинка покрыты подушками

рытого бархата. Два-три стола: один затейливый, складной, расписанный и выложенный разноцветными узорами из кусочков дорогого дерева; остальные с ящиками или прямые, резные, изукрашенные искусными мастерами, которыми полна была особая слободка митрополичьих «работных людей».

Вообще, патриарший двор, отделенный от царского высоким тыном, но соединенный с ним деревянным извилистым «Чудовским переходом», представлял из себя целый городок, как и царский двор, только поменьше.

Небольшое зеркало на стене в первой келье, подсвечники искусной работы, тонко чеканенные; часы с боем в углу, в тяжелом футляре, дополняли убранство лучшей, жилой кельи Макария. В углу же, на особом поставце, стояло несколько кубков, чаши, ковши — подарки царской семьи и больших бояр митрополиту по разным торжественным случаям.

Только что Макарий, кинув последнюю горсть жадным голубям, успел сверить свои «воротные» часы, круглую, тяжелую луковицу, с «боевыми» часами, громко тикающими в углу, как за дверьми раздался обычный входной опрос:

— Аминь! — откликнулся Макарий, давая тем разрешение войти.

Служка вошел и, совершив обычное метание, доложил:

— Отец протопоп Сильвестр тамо и Адашев, ложничий царев, Алексей Феодорович. Молют, владыко, видеть очи твои. Благословишь ли?..

— В добрый час!.. Зови... Рад видеть... Мантию сперва одеть помоги... И клобук, вон...

И Макарий, бывший в домашней зеленоватой ряске из тафты «таусинного» цвета, с нашивками, то есть с рядом мелких пуговиц, застегнутых на петли, да в камчатной легкой шапочке, — с помощью служки накинул на себя мантию из пушистого бархата темно-вишневого цвета, украшенную жемчугом и изображениями четырех Евангелистов, черненными на серебре. Белый вязаный шелковый клобук был осенен крестом из самоцветов и окаймлен по сторонам четырьмя серебряными дощечками, тоже с изображениями святых, сделанными эмалью. Жемчужный, хитро вышитый спереди херувим и другие жемчужные узоры дополняли украшение белой невысокой митры, какую тогда носили московские первосвященники.

Служка ушел. Распахнулась снова дверь, и вошли ранние гости Макария — Сильвестр и Адашев.

— Что скажете, гости дорогие? — после первых привычных приветствий и благословений спросил хозяин, усаживая протопо-

па у стола с собою и указав Адашеву на скамью, тут же, близко, у стены. — Какие дела в такую рань вас подняли? Тебя, отче, и тебя, чадо мое?

— Вестимо, дело есть. Зря не стали бы тревожить тебя, владыко! — со своей обычной суровой, отрывистой манерой проговорил Сильвестр. — Наутро крестное целование княжичу Димитрию приказано для ближних бояр, для набольших, а там и для всех... И для князя Володимера Ондреича.

— Ведаю о том. Не без меня делается. Где ко кресту приводить — меня миновать можно ли?

— Вот то-то и оно-то! Неладно это.

— Что неладно? Не пойму, отец протопоп. Стар, видно, стал, туг разумом.

— Ну что ты, Христос с тобой, отче-господине! Первый год мы, что ли, друг с дружкой знаемся? Ты?.. Да постой, был у тебя Данилко, брат вон его? Сказывал ай нет?

— Данило Адашев? Как же... Нонче, как только я к себе собрался, он во храме и подошел. Говорил, как же... Так вы вот насчет чего?..

— Да, не по пустякам же, говорю... Вон толкуют: нынче спозаранку проснулся царь в памяти. Может, в последний то раз... Очень плох, сказывают. Так ты бы сам. Или через людей каких ближних... Вон хоть Михалко Висковатый, дьяк царский. И тебе он человек приближенный. И поговори. Пусть повременит с присягой али и совсем поотложит... Чего в голову пришло царю-то: малыша спеленатого в государи нам сажать?! Что будет?!

— А что будет, как мыслишь?

— И думать нечего: что в Иваново малолетье было, то и теперя поновится... коли навяжут царству...

— Погоди, отец... Навяжут, говоришь ты... Бог так постановил, что сын по отцу наследник.

— В малом деле, а не в государевом. Недавнушка в нашей земле энти порядки пошли. Раней братан второй по старшом на престол садился. Так и теперь Старицкий князь государем быть должон, коли Бог возьмет Ивана.

— Ну, коли должон, так и будет. На все воля Божья.

— Так воля ж Божья без людей не творится , владыко. Не робята мы с тобою, ведаем то.

— Не робята, не робята, истинное твое слово, отец протопоп. А ведь про них и сказано: узрят царствие небесное... Ино дело и робятками быть хорошо же.

Сильвестр нетерпеливо повел плечом.

— Риторе сладчайший! Владыко милостивый! Не словеса

твои, что слаще меду дивния, слушать мы пришли, а дела, помощи великой просить.

— Рад... Что могу?.. Все на благо Руси, на спасение душ христианских творить готов.

— Так и я же о том же. Сколько лет видел ты дела мои. Не на благо земли мною что деяно ль? А ни макова зернышка. Так и ныне поверь: не на злое, на доброе мы с Алешей склонить тебя пришли. Да и дело-то все порешенное. Пристанешь ты к нам али нет, присяги той не примет никто, и не бывать, и не будет она!.. — даже ногой притопнув, отрезал властолюбивый, избалованный долгой диктатурой над Иваном фанатик-поп.

— Вон оно что?.. — протяжно произнес Макарий. — Ну, этого мне не сказал Данило. Сказывай, сказывай, что там у вас решено, как слажено? Може, тогда и я, чтобы горшего зла избежать, пойду на малое, на легчайшее.

— Ну вестимо... Так и след... Так оно и надоть!..

— А уж коли надоть, так и подавно! — с незаметной усмешкой произнес владыка. — Говорите ж, как дело обстоит?

— Да вот, Алеша поведает тебе, владыко.

Адашев, внимательно следивший не только за каждым словом обоих собеседников, но и за малейшим изменением в выражении лица у того и у другого, скромно заговорил:

— Сдается мне, горячность да прямизна отца протопопа в сомнение ввели тебя, отче-господине. Ни на что не пришли мы склонять, а благословения и совета твоего испросить. Велика мудрость твоя. Не единожды и нам, как и всей земле, она в помощь бывала. Как сыну с отцом родным, дозволь поговорить с тобой, владыко, а никак инако...

Кротко, ласково кивая головой, слушал Адашева Макарий, искренно любивший этого умного, чистого душой и нравами человека. Пользуясь Сильвестром, незаметно для того самого, Макарий всегда при этом опасался, что поп, по известного рода ограниченности и умственной близорукости, по грубости душевной, перетянет нитку или будет сбит вредными, опасными людьми и вместо пользы станет приносить вред Ивану и земле Русской. А для Макария, вышедшего из простонародья, родина и благо государства Московского были выше всего. Насчет Сильвестра не ошибся старик. В Адашеве владыка был больше уверен, как в сознательном, бескорыстном помощнике. Но события последних дней, заговор бояр в пользу Владимира, созревший в дни болезни царя, заговор, о котором прекрасно знал Макарий, не хуже Сильвестра, наконец, участие в заговоре Адашева — все это поколебало веру Макария в ум и в совесть Алексея.

Владыка надеялся, что можно еще повлиять на Адашева и ждал, когда тот придет к нему. Теперь желаемый случай представился. Если Адашев не продал себя за выгоды, если он искренно заблуждался, полагая благо земли в перемене порядка престолонаследия, Макарий надеялся уговорить Алексея, открыть ему глаза, чего никак невозможно добиться с упрямым, ограниченным Сильвестром. Этот старик если уж выскочил из колеи, так основательно и навсегда. Вот почему Макарий в свою очередь не только стал слушать, что говорит ему молодой постельничий царя, в сущности бывший одним из первых людей земли, — но старался проникнуть в душу говорящего, прочесть думы и угадать заветные чувства его. И неподдельною любовью зазвучали слова Макария к Алексею:

— Говори, говори, любимое мое чадо! Да поможет мне Господь понять тебя и вразумить душу твою по Его святой воле!

— Не бунт затеваем мы, владыко, не новое что вводить собираемся, не старину рушим али противимся воле царской и слову Божию, земле родной на погибель. Нет! Первый бы я всякого казнить повелел, кто затеет лихие дела неподобные. И напрасно ты с сумленьем принял речи брата моего и протопоповы. Вот, я все скажу по ряду тотчас.

— Говори, говори, я слушаю...

— Да много и толковать не приходится. Ты, отче, не хуже нашего про все, чай, осведомлен? Ну вот! — заметя утвердительный кивок Макария, подхватил еще горячей Адашев. — Сам знаешь, бояре надвое раскололись. Бунт неминуемый впереди, распря, нестроение земское и кровопролитие братское. Так не лучше ль до сроку искру утушить, чтоб огню большого не дала? Жив ли будет царевич полугодовалый али помрет, Господь его храни, — дело не изменится! За Володимером Андреичем охотней все пойдут. Его знают. Совет его, близких бояр и князей, которые за него руку держат, все знают же. А неведомо, кто станет у колыбели Димитриевой до возраста до его? Може, такие, что хуже еще будут самых последних злодеев, каких досель терпела земля святорусская! Зачем же это?

— Вот, вот! — подхватил Сильвестр. — Што было, слыхали мы; што есть — сами видим. А што буде — кто ведает?.. Ты мне дай синицу в руки, а не Димитриева журавля в небе.

Наступило небольшое молчание.

— Что было — то знаем, что есть — то видим. Что будет — дело темное... Так ли? — задумчиво повторил Макарий слова протопопа.

— Чему иному быть? Так он и видимо: все по-старому выйдет, смуты да распри пойдут!

— А к чему же разум людской дал Господь нам, твари своей? К чему создал нас по образу и подобию Своему? — спросил спокойно Макарий. — Живи мы лишь по-прошлому да по-настоящему, — и царствия бы нам небесного не знать... Оно ведь тоже грядущее впереди! И его не видали люди живые, а лишь верят в него. И верой воистину живы, а не единым питанием хлебным. А по вере — и дается людям... Так и в земском, и в государском деле великом. Можно про злое слышать, худшее видеть, а лучшего ждать и получить его. И тут — вера же надобна! А то еще у меня рассуждение такое есть: видим мы, что лет более семи ведут землю русскую на благо чьи-то руки, по воле Божьей. Почему же вы полагаете, что и по смерти Ивана-царя те же руки не останутся при кормиле государственном, не управят дело великое, святое, земское, на благо люду крещеному, по присяге, данной всеми: служить царю Ивану и царевичу его, Димитрию... по совести чистой, коя есть — дар высший и рай сладчайший на земле!

Конец речи Макарий произнес стоя, по привычке проповедника и пастыря душ.

Оба собеседника его тоже поднялись со своих мест.

Макарий продолжал:

— Не окольными путями — прямо скажу! Верой и правдой служили доселе Ивану советники его ближние. Ничем не покривили душой ни пред царем, ни пред царицей, ни пред народом его...

Вздрогнул Адашев при этих словах, словно почуял намек, затаенный укор. Но в пылу речи Макарий, ничего не замечая, продолжал:

— Вот и верю я: кто раньше, при взрослом царе, набалованном, с пути сбитом, умел до правды дойти, обуздать страсти царевы и в порядке вести дела царские — тот и при вдовой царице и при младенце-царе власти-силы не потеряет, кого бы там из вельмож для прилику в опекуны ни поставили бояре, Дума царская... Вот как оно, по-моему. Что скажете, братие?

Адашев, задумавшись, молчал.

Сильвестр заговорил, насупясь:

— Не мимо сказано: Бог — единая крепость моя! Безумец, кто на песке созиждет здание. Дунет ветр — и рухнула гордыня человеческая! Князя Володимера знаю я. Всех евойных — тоже знаю же. И уж все обговорено, все обещано мне, даже с клятвою...

— Обещано... с клятвою?.. Да кто обещал? Кто клялся-то? Вот я, митрополит Московский и всея Руси... Хуже — еще мне может

быть, а лучше — и некуды. Вот ежели я что скажу, можно верить. Царю — можно верить, и то гляди, в какой час слово было молвлено... Ему — тоже корысти нет кривить али душой лукавить. Двоих-троих из бояр да вельмож наберем, у кого слово и дело — воедино, кто не ради страху по закону живет, но и по совести... А другие - прочие? Тому — денег мало... Иному — мест да разрядов хочется... Тот — за брагу, за блуд богомерзкий себя и душу свою предаст и продаст! Аль тебе они, батька, неведомы? Слуги и родня вся Володимерова?! Палецкий — грешник, стяжатель старый, прости Господи, не в осуждение, но в назидание душ ваших говорю... Фунник Никита, что в казне царской позамотался, теперя присягу кривит, полагает: новый царь в столбцы не заглянет-де, прочету взыскать не соберется!.. Князь Ивашка Пронский Турунтай!.. Так он — прямой турунтай и есть, душа заячья, шаткая... Сколько разов бегивал да сызнова каялся, у царя откупался... Кто поманил его кафтаном новым да шапкой с бубенцом, — он и тут. И в Литву гнется, и к султану залетывал! А московские настоящие государи не очень-то бегунов жалуют, хошь и Рюриковичи те! Вот и мутит Ивашко Турунтай... А там — Патрикеев, князь Петр, Щеня по прозванию, да «щеня» — не ласковое, злое, кусливое! Ему хочется — стоит, не стоит он — первей бы первых быть! А воцарится Володимер, да не по шерстке погладит собаку эту сварливую — она новых хозяев, новых пинков искать побежит. Шереметы-переметы еще в своре... А там — другие Пронские, захудалые, что на деревни да на посулы княгини Евфросиньи зубы точат... Семен Ростовский, дурень-сын отца-простеца... Шуйские — лисы, что носом чуют, где добыча легкая. Их первое слово между собой: два дурня бьются, а Шуйские смеются. Им нож вострый, что не ихний род главный в земле. Что Святая София ихняя, новгородская, перед нашими храмами святыми московскими главу клонить должна. Горделивое семя змиево! А там... Э, да чего и усчитывать! Один другого краше! И таким-то людям ты, батько... ты, Алеша, — себя и землю на милость отдаете? Помыслите!

— Чего раздумывать? — упрямо проворчал Сильвестр. — Думано уж да передумано. И вкруг царя — не медом мазано! Все того же лесу кочерги. Уж я порешил — не переделывать стать. А ты, вижу, владыко, отсыпаешься от нас? Жаль! Все время заодно шли...

— Ни от вас я, ни к вам. Я не думный боярин, не советчик земский. Я — Божий слуга, за всю Землю смиренный богомолец. Всегда то было, так и останется. Как Бог решит, так и я буду...

— Ин и то ладно, ежели хоша мешать нам не станешь! —

толкуя по-своему слова Макария, произнес Сильвестр. — Благослови прощаться. Пора уж нам.

— Бог благословит! — осенил обоих крестом Макарий, и гости, покинув горницу, озабоченные, задумчивые, медленно стали спускаться по ступеням митрополичьего крыльца, не обмениваясь между собой ни звуком.

А Макарий, поглядев им вслед, с сожалением покачал головой и зашептал:

— Горячие кони, добрые, да неоглядчивые. Занеслись, заскакалися... не быть добру! Обуздать теперь их надобно! Господи, прости мое прегрешение. Ты зришь сердце мое. Не для себя — для земли, для царства — и грех приходится брать на душу порой... И лукавить, и земными делами заботиться...

И, обратясь к образам, висящим в углу, Макарий стал горячо творить молитвы.

Через несколько минут, подойдя обратно к столу, он уж протянул руку, чтобы дернуть точеную рукоятку со шнуром, которая вела к колокольчику, призывающему служку, — как вдруг за дверью раздался голос его, быстро произносивший обычное «Господи Иисусе...» — и затем сейчас же возгласивший в приоткрытую дверь:

— Государыня, великая княгиня жалует!

Распахнулась дверь, и в сопровождении двух ближних боярынь в келью Макария быстро вошла Анастасия.

За время болезни Ивана она часто навещала владыку, только здесь и находя облегчение безысходному горю своему.

Но приход царицы в такую раннюю пору был очень необычаен. Да и вид у нее был слишком взволнованный. Невольно, вместо приветов и благословений, Макарий поспешно спросил:

— Что случилось, княгинюшка, дочка моя милая? Али царю твоему плохо? Жив ли еще? Не может того быть, чтобы...Мне знать дадут первому, позовут для святой исповеди, для... Да что приключилось, сказывай.

Царица, жестом дав знать боярыням, чтобы те ушли в переднюю, вдруг заплакала и закрыла руками лицо. Но видно было, что краска пурпуром заливает это миловидное, исхудалое, кроткое лицо.

— Сядь, сядь, милая! — с чисто отеческой лаской, усаживая царицу, заговорил Макарий. Налил в ковшик из жбана, стоящего в стороне, дал пить Анастасии.

Сделав несколько глотков, царица пришла немного в себя и дрожащим голосом заговорила:

— Пришла я к тебе, владыко, а сама не знаю: почто и зачем?

Что сказать, как начать? И ума не хватает. Слов не подберу. А пойти — надобно, больше не к кому и кинуться...

— Пришла, стало, Бог привел. Зачем? — узнаем сейчас. Слов не подбирай. Говори, как само скажется. Стар я... отец твой духовный. И знаешь, дорога ты мне, словно родная дочка. Не царицу я чту — люблю в тебе душу твою кроткую да чистую. Ежели жив царь, значит, иное горе? Обидел тебя кто? Али княжич наш захворал, храни Господь? Что там стряслося? Ну-ка выкладывай. Все обсудим, горю поможем с Божьей помощью...

— Ох, уж скажу... Стыдно, страшно... а скажу...

— Фу-ты, Господи, — с тревогой заговорил Макарий, — стыдно? За кого же? Не может быть того, чтобы за себя. Быть того не может в жизни. Так за кого же? Скорее говори. Не пытай меня, старого... За кого стыдно тебе? Страшно кого?

— Его... — проговорила вполголоса Анастасия. — Алексея... Адашева...

— А, вот оно что! И ты доведалась? Ну, успокойся. Был он сейчас у меня, толковали мы... Сдается, Бог наведет на ум парня. А не наведет — мы и сами кой-что сдела... Да постой, погоди... Ты не только о страхе али о кознях вражеских поминала... О стыде толкуешь что-то? Чего стыдно-то тебе? Говори, дочка моя о Христе, государыня милая. Не алей, не соромься! Не мужа-мирянина зришь пред собою — пастыря духовного... старика древнего... Ну... ну...

И он даже стал гладить по волосам Анастасию, дрожащую от смущения, как гладит отец маленькую дочь свою.

Не глядя, опустив глаза, кое-как могла рассказать царица все, что случилось в ее покоях, у колыбели Димитрия, когда пришел от заутрени туда Адашев.

И чем дальше говорила она, тем сильнее омрачалось светлое, ласковое сперва лицо архипастыря.

Кончила она — и воцарилось долгое молчание.

— Так, так, так... — произнес наконец Макарий. — Вон оно куды метнуло... Э-хе-хе!.. Окаянный-то, окаянный — что творит с душами людскими, богоподобными?! Спаси Христос, защити, Многомилостивый!

Он обеими руками осенил голову царицы, словно желая защитить своим благословением от чего-то ужасного, грозного.

— Толковала ты с кем из баб твоих о том, что было?

— Что ты, владыко! Нешто у меня язык повернулся бы? Тебе вон, и то...

— Так, так, так... И добро!.. И молчи!.. И никому... Слышишь? Царь оздоровеет — и ему нишкни! Помолчи об этом.

— И царю? И Ване? Да как же я? Разве можно? Грех ведь... должна ж я...

— Говорю, помолчи! Не совсем, а до времени. Пока не окрепнет царь. Это — раз. Да и по иным еще причинам потерпеть надобно. И Алешке поганому, нечестивцу-грешнику, виду не подай, что сердита на него. Словно и поверила ты, что пытал он только тебя, а не взаправду на грех склонял, тянул в геенну огненную... А там, когда время приспеет, я шепну тебе... Вместе царю и поведаем, что во время его недуга было. Для тебя ж легче так будет.

— Правда, правда, так мне будет способнее.

— Ну вот, то-то ж! А мятежа боярского не бойся. Только бы царь с хворью своей вытерпел. Не убрал бы его у нас Господь! А трона у твоего княжича — боярам не отнять! За вас больше бояр и князей станет, чем за ворогов ваших. Я уж осведомлен. Так, гляди, не тревожься! Да лучше легла бы ты пошла. Коли ты еще захвораешь, кто станет Димитрия-царевича доглядывать? Береги себя... и на Бога уповай! И верь ты мне, старику, слуге Божию, — все образуется...

Так успокоив и ободрив царицу, Макарий проводил ее до переходов, сообщающих его кельи со дворцом.

А затем, вернувшись к себе, велел позвать дьяка царского, Ивана Михайлова Висковатого, сам же стал готовиться к торжественному служению, которое должно скоро зачинаться в Большой Крестовой палате митрополичьей.

* * *

Как раз в ночь на Светлое Христово Воскресенье совершился перелом в болезни царя Ивана.

Мозг больного царя неутомимо работал во все шесть недель, пока приступы сильнейшего жара и беспамятства сменялись более легким, но все же мучительным состоянием, когда болел каждый нерв и мысли тяжело, с трудом проносились в голове, все мрачные, зловещие, как на подбор, думы...

Война, пожар и кровь, пытки и убийства — вот какими кошмарами наполнялись видения Ивана, о чем твердил он в бреду своем. А после кризиса, уснув с полуночи, в тот самый миг, когда должны запеть гимн радости, гимн Воскресения Христова, — больной проспал без сновидений до полудня. И только перед тем, как пришло время просыпаться, когда сон стал тонок и тревожен, — не знал Иван, во сне, наяву ли? — но видел он, что подошел к его кровати кто-то, величавый, с открытым, но властным взглядом и, подавая ему красное яичко, произнес:

— Христос Воскресе!

И трижды склонился затем над Иваном с освежающим, отрадным лобзаньем, словно ветерком прохладным обвевая пылающее лицо больному.

— Воистину воскресе! — ответил Иван, совсем раскрыл глаза и увидел ясно весь свой покой... И различил, как исчезал, расплывался в воздухе образ того, кто сейчас христосовался с ним. Даже казалось Ивану: в руке еще лежит красное яичко, поданное неведомым гостем... Да нет, сейчас вот узнал он, кто это был. Прапрадед его, святой Владимир. Он пришел из обителей райских к хворому правнуку. Конечно, с добром, с вестью о Воскресении. Ведь окружающие и сам больной считают, что ему не встать. А вот сейчас что-то новое совершается в глубине, где-то во всем существе недужного царя. Он как-то сознает, что спасен, что опасность миновала. А эта уверенность вливает новую струю бодрости и сил в исхудалые члены, в измученную, упавшую, богатырскую раньше грудь государя.

Огляделся Иван — все тихо. Никого в покое. Даже очередной чтец ушел, должно быть, поесть в трапезную.

Невольно сразу мысль царя перенеслась к иной обстановке, к иным картинам. Он вспомнил свой въезд в Москву. Вспомнил восторг толпы... Казалось, снова гремят клики и ликованье сотен тысяч народа. А теперь?..

Горькая улыбка мелькнула на побледнелых устах Ивана. Он захотел вызвать иную, более отрадную картину. Его сын?.. Его Настя... Они были бы здесь, не отошли бы от него, если бы болезнь не грозила заразой... Они бы...

Но тут, на полумысли, на полуобразе он закрыл отяжелелые веки и сразу, мгновенно снова заснул.

Проснулся Иван часа через три, чуя в себе еще большую бодрость, хотя руки и ноги так слабы и тяжелы, словно налиты не кровью, а свинцом.

Пробудился Иван от легкого шороха, ощущая, что кто-то тут находится у его постели, глядит ему в лицо. Проснулся царь и не шевелится, только глаза приоткрыл. Он не ошибся. Лекарь-жидовин, все время пользовавший больного, стоит у постели. За ним царь разглядел полную фигуру шурина Данилы, рядом — сухого, но костистого дьяка Ивана Висковатого, с широколобой, плешивой головою. Увидел Иван и плюгавого, вертлявого боярина Ивана Петровича Федорова, который с опаскою, но заходил к больному царю, надеясь, что, в случае выздоровления Ивана, можно будет хорошо учесть свою «бескорыстную преданность осударю-батюшке»...

Боярин постоянно принимал живейшее участие в каждой смуте, «изловлен на воровстве», на подстрекательстве черни к убийству Михаила Глинского, перенес ссылку на Белоозеро. Но с усилением Захарьиных — снова возвратился в Москву, вертелся и вблизи Ивана, и при княгине Евфросинье Старицкой: всем служил, всех продавал и всем был вреден, кроме себя самого, извлекая мелкие выгоды из своих мелких и крупных низостей. Человек невежественный и фанатически верующий в произвол судеб, он приходил к заразному Ивану, решив в душе: «Чему быть, того не миновать!»

Явной опасности он не видит в подобных посещениях. А что дохтура и лекаря царские толкуют, так они и врать здоровы. Ведь надо же за что-нибудь денежки грести.

За Федоровым в просвете ближнего окна темнела крупная, медведеобразная фигура окольничьего боярина Льва Андреевича Салтыкова, недалекого, преданного долгу присяги, грубого на вид человека, но тоже себе на уме. Из своей показной прямоты и грубости небогатый, не родовитый, а скорей — худородный боярин умел извлекать немало выгод для себя лично и для близких родичей. Служа всей душой государю, господину и повелителю, окольничий не упускал случая подчеркнуть всю преданность и пользу, приносимую его службой.

— Проснулся осударь! — негромко заметил Данило Юрьин.

— Вижу! — отозвался лекарь.

Испробовав пульс Ивана, ощупав его голову, тело, дав выпить из чарки какого-то настоя, — лекарь, отходя, произнес:

— Толкуйте теперь... Нет жару... В сознании государь. Если не ошибаюсь я, самое тяжкое время миновало. На поправку царь пойдет...

— Ох, дай-то Господь! — вырвалось у всех, и они стали креститься, шепча: — Дай, Господи, подай, Господи!..

— Царь-государь! Родимый ты наш! — негромко начал Данило. — Как можешь? Легче ль тебе Бог дал? Дело есть великое. Не в тяготу ли будет? Потерпеть бы, пока совсем одужаешь... Да никак невозможно...

Слабая, легкая краска проступила на мертвенно бледном, исхудалом лице царя. Хотя болезнь притупила в нем способность к восприятию, но и малейшее волнение было тяжело для истощенного организма.

— Говори... я слушаю... я все пойму... — тихо, с остановками произнес Иван, не шевелясь по-прежнему ни единым суставом, окованный полной телесной слабостью.

— Перво-наперво, вот послухай, что боярин твой, Ивашка

Петров, баять будет. Какие речи промеж бояр и воевод пошли, как стало ведомо, что наутро — всем присяга, креста целование приказано за княже Димитрия цареванье, за власть государскую... Бунтуют, слышь, людишки твои наихудшие... холопы нерадивые! На нас ополчаются, на весь род наш, Захарьинский, будто мы тебе и царству не слуги и помощники, а лиходеи... Вот, послухай...

И Данило отошел, давая место у кровати боярину Федорову. Тот подступил поближе, с земными поклонами и раболепным выражением на подвижном лице, в скользящем взгляде мышиных, бегающих глаз.

— Говорить ли, государь?

— Говори... все сказывай...

— Лекарю-жидовину да монашку ты бы повыйти приказал.

Иван сделал знак, и Юрьин выпроводил из покоя обоих. Не переставая оглядываться, негромким, быстрым говорком, с какой-то бабьей интонацией доносчик-боярин зачастил:

— Ныне, опосля литургии Божественной, как за тебя, пресветлый осударь, в твое место царское — братец твой, князь-осударь Юрья Васильич здорованье принимал княженецкое, да боярское, да воеводское и христосованье давал свое государское, — немало всякого чина люду во дворец твой государев сошлось-понаехало. Сени, дворы и переходы полны. И тут о крестном целованье было сказано. И в тот же час разные пустошные речи пошли. И такие-то речи, что сказать боязно...

— Говори!

— А баяли, царь-осударь, все люди знатные: князь Петр Патрикеев, Щенята по прозвищу... Пронские князья, братовья и сродники ихние... Да Ивашка же Турунтай, и Данилка, Димитриев сын, да другой Ивашка, Васильев сын, што с самой Прони... И Одоевские, сродники княгини Евдокеи, да сам Володимер, князь-осударь, брательник твой... И Мезецкий, и Сенька, княжич Ростовский, и Оболенские туды ж, и Оболонские — худородники, лоскутники... И все заодно. И баяли они, осударь, што креста им княжичу Димитрию Ивановичу не целовать и «пеленочному царю» не служивать. Да и служба та будет не царскому дитю, а пронырам Юрьевым-Захарьиным. Они-де, чрез царицы-матушки заступку, и наладили-де это крестное целование, себе на величанье, а всем истым боярам и князьям на умаленье. И как почали им другие люди на тех речах выговаривать, так чуть до драки дело не дошло. Не поглядели, что и во дворе они в твоем, царском. Добро еще, что без наряду воинского, без ножей все сошлися... И много еще пустошных речей было говорено, да не упомнишь всего. Больно язык кругом силен стоял, ровно у Крест-

ца кремлевского твоего, осударь, в день базарный! Вот... Я все поведал тебе, царь-осударь. Не обессудь на усердной службишке, хошь она и не по разуму мне...

И, еще раз отдав земной поклон, доносчик отступил, наблюдая исподлобья за выражением лица Ивана.

Тот слушал, закрыв глаза, не меняя позы, не дрогнув ни единым мускулом. Только вокруг губ замечалось легкое подергиванье, от которого усы Ивана слегка шевелились. Помолчав немного, царь раскрыл глаза, перевел их на Салтыкова, который теперь занял место Федорова, и слабо спросил:

— Ну а ты?

— Да и у меня, осударь, почитай, те же вести, что и у боярина, — сипловатым, грубым голосом своим забасил Салтыков, хмуря и сводя и без того нависшие свои густые брови. — Вышел я, знамо, нынче ж из двора твово царского, сел на коня... Ну, знамо, еду по площади домой... И по пути нагнал меня, знамо, приятель давний, князь Димитрий Немаго... Оболенских который... сын Иванов старшой... Пытает меня: «Крест целовать станешь ли?» — «Как, говорю, не целовать? Царю целовали крест на послушании, ему и роду его всему царскому... Так и царевичу Димитрею надо ж, знамо...» А он на ответ: «И глупо, говорит, осел ты, грит, Лёв!» Это он меня-то... «Я, грит, не поцелую. И не один я, все бояре первые. Даже близкие люди к царю: Адашев, Курлятев да Вешняк воевода с нами же будут».

— Адашев? — вырвалось у царя.

— Адашев, знамо... И говорит ошшо: «Как-де служить малому помимо старого?» — «Какого, пытаю, старого?.. И царь у нас молодой, и наследник его — малолетен же!» А Митя засмеялся и бает: «Дурья голова! А князь Володимер Старицкий? Вон кто старый... Он и годами царя старше, самый старшой в роду! Не по закону осударь покойный, свет Иван Васильевич, да отец его, Василий-князь, — обычаи царские порушили. Не сыну по отце на трон садиться, а брату ближнему!..» — «Э, говорю, не к рылу-де нам в царских делах разбираться. Их государское дело. Царь наш есть царь. Богом помазанный». — «Ну, грит, не в царских, так в своих делах разберися! Кому власть-сила достанется, коли малолетнего Димитрия нам навяжут? Захарьиным, мздоимцам, худородным хапальщикам? Мало они-де смуты сеяли? Кто довел, што Михайлу, дядю царева, на клочья чернь разнесла? Они же! Вот и нас так всех подведут да станут величаться, землю обирать. Не допустим того! Хошь за бёрдыши взяться придется, а не допустим!..» Тут уж я и слушать не стал. Обругал добре Митьку, плюнул и прочь поехал! Вот, осударь, я все и сказал. Не погне-

вайся на худом умишке. Я, коли что, — больше кулаком оборонить тебя сумею, чем речами хитрыми...

И отошел с земным поклоном Салтыков.

Висковатов тут выдвинулся.

Но царь, видно, и позабыл обо всех, подавленный известиями, сейчас сообщенными безо всякой осторожности слабому, больному человеку. Он снова закрыл глаза и лежал, тяжело дыша ослабелой грудью.

Постояв немного, дьяк слегка откашлянулся, напоминая о себе.

— А! И ты еще здеся, — еле слышно произнес Иван, не раскрывая глаз, — толкуй уж заодно... Скорее бы конец... Допью свою чашу горькую...

— И, што ты, осударь! — сильно, спокойно подхватил дьяк, понимая, какое состояние овладело Иваном и сразу желая изменить направление дум у больного. — С чего взял, милостивец, што с худом я к тебе? Нешто не слыхал: от владыки я. А от него, молитвенника нашего, тебе худые вести когда были ль? Николи! И теперя я с оливою, с веткою, значит... Видишь, какого лысого голубя Бог тебе дал...

Болен был Иван, удручен всем, сейчас слышанным. Но успокоительные речи дьяка мгновенно воскресили надежду в сильном духом царе, а шутка даже вызвала слабую улыбку на лице.

Улыбнулись и окружающие.

— Вот спасибо! — уже гораздо живее заговорил больной. — Выкладывай же вести свои добрые... Клади свою ветвь масличную на язвы моей души болящей... Благовествуй, старый грешник.

— Грешник... О-о-ох, грешен, осударь... А, думаю, покаюсь — и Бог все грехи простит! А владыко тебе сказывать велел, штоб ты, осударь, слыша вести плохие, не кручинился. «Сварлива баба, да зуб у ней нет!» — ведаешь присловку? А то ошшо: «Сердит, да не силен. Так — чему брат!..» То-то и оно-то! Ведомо про все владыке, что на Москве творится. А он говорит: «Бог за тебя и за царевича твово!»

— Бо-ог?.. Бог на небеси! Там его правда. А что на земле бывает — я сам видал... сам претерпел... И ежели Митя мой...

— Бог на небеси, так люди здеся сотворят Его святую волю. Слышь, послушай: хто да хто за тебя... И главный воевода стрельцовый, князь Воротынский, Володька, и брательник его, Михайло, и Мстиславский, и Серебряные, оба брательника... Все воеводы, все бояре думные, и попы, и собор весь священный, и вся Москва, и вся земля... Главное — стрельцы за нас! А они не выдадут. Сам ведаешь... Силой, добром ли, а присягу принять всех заставим, записи отберем! Так не кручинься, осударь!

— Ну и то... Спасибо тебе! Челом бью отцу и владыке моему, молитвеннику, заступнику извечному. Воскрешают меня речи такие... Истинно говорю! Вот что вы, бояре, Солтык, приятель, и ты, Петрович! — обратился Иван к Федорову. — Спасибо и вам на службе верной. Оздоровлю, Бог даст, — не забуду послуги вашей... А покамест повыдьте... Надо нам тута с шурином да с дьяком по семейности потолковать...

— И, царь-осударь! Твои слуги— холопы верные. И ушли мы, и нет уж нас! — проговорил Федоров и правда словно испарился из покоя.

За ним, отдав поклон, грузно вышел Салтыков.

— Слышь, дьяк, и ты, Данило! — начал Иван, когда закрылась дверь за ушедшими. — Что впереди будет — Господь Один ведает. Как-никак, а вон бояре ныне сына мово на государстве не хотят видети. И буде, придет на то воля Божия, — меня не станет... Вот, на кресте мне на моем поклянитесь обое: волю мою исполнить обещайте...

Юрьин и Висковатов, пораженные торжественным, строгим выражением лица и словами больного государя, невольно протянули руки к большому золотому кресту с мощами, висящему на груди Ивана:

— Клянемся, осударь, все по слову, по воле твоей выполним.

— Вот, вы клялися, так помните ж! Сохраните и по смерти моей верность сыну моему, Димитрею... И не дайте боярам извести его никоторыми обычаями, ни отравой, ни удушьем, ни потоплением... ни в темницу заключить не давайте. А в тот же час, как помру, потайно возьмите наследника и побежите в чужую землю, где Бог наставит, что побезопаснее... Клянитесь на том.

— И в другом клянемся, осударь! — повторили присягу оба, боярин и дьяк.

— Ну вот... Теперя я буду поспокойнее!.. А казны вам будет заготовлено немало... и золотой, и всякой... Я уж скажу Головину. Только пошлите его ко мне. Не сейчас, погодя малое время. Силы теперь оставляют меня... Скорей бы лека...

Но он не договорил и впал в беспамятство от слабости, усиленной еще всеми предыдущими волнениями, которые и здоровому не каждому человеку были бы по плечу.

* * *

Настало утро другого дня, назначенного для принесения присяги младенцу-царевичу. Рано проснулся Иван, и первый вопрос

его был обращен к лекарю, который дежурил всю ночь у постели:

— Ну, Схарушка, прямо молви, жидовин: как мое дело? Скоро ли помру али жить еще буду?

— Ну а ты сам, великий осударь, — как ты сам себе думаешь? — по обычной семитической привычке вопросом на вопрос ответил Схарья, лекарь царский, почесывая горбинку на носу

— Да как тебе сказать? Словно бы полегче мне, и голова яснее... Да не верится. Ты — знахарь... Тебе и Святцы на стол... Ой, нет... Грех какой! Жиду — про Святцы помянул... Ну, говори уж... Покинь свои извороты поганые...

— И если я был Бог, и я бы прямо сказал: будешь жив и здоров и проживешь долго на счастье своих людей. А я только бедный лекарь, раб Господа Саваофа... Что я могу сказать? Мое дело — лечить и помогать. А здоровье и жизнь от Бога. И Он не откажет в том царю, чего в избытке отпускает вон монаху твоему, который поест, попьет и бормочет порой тебе разные измышления ума человеческого...

— Ну, пусть так. Умру ль, жив ли я буду, нечего гадать! А нынче — много сил мне надобно. Так дай мне чего-нибудь. Хоть это, жидовин лукавый, сделать сумеешь ли?

— Отчего ж мне не суметь? Я много умею... Мне только одного пустяка самого не хватает, чтобы я философский камень получил, «Львом Золотым» рекомый... Чтобы я мог из всякой вещи, из воды, из воздуха золото плавить!.. Чтобы я... Так почему ж я не сумею дать тебе укрепительное питье, государь великий?.. — вдруг, перебив себя самого, закончил свою речь Схарья и принялся за лекарственную стряпню.

Правда, питье, которым часа через два угостил Ивана лекарь, — словно огня и сил влило во все жилы и суставы больного. Он поднялся на подушках и мог принимать гостей и вестников, которые заглядывали к царю в опочивальню, всю наполненную ароматами курений, запахом жженого можжевельника, трещавшего и сгоравшего на медленном огне жаровни в одном из углов покоя.

Все, что делалось во дворце, сейчас же сообщалось Ивану. А сюда с рассвета стали съезжаться на конях, и в колымагах, и в каптанках — вельможи московские, воеводы, бояре, князья и служилые люди, думные дьяки и прочий люд. Попозже — появились послы чужеземные, какие только в то время проживали на Москве. Они должны были видеть совершение присяги и сообщить о ней своим государям.

Только, минуя Архангельский собор, до церкви Благовещенья, что у дворцовых сеней, — могли доезжать самые знатные из посетителей Кремля. Здесь все выходили из экипажей, слазили

с коней и шли дальше пешком до той палаты, где каждому указано было ожидать зова в место общего сборища. Свита послов оставалась частью в Посольском приказе, расположенном против Звонницы Великой, через площадь от которой находился Митрополичий городок; частью же люди следовали за послами в самый дворец.

Общий сбор на этот раз был назначен в Передней Избе, непосредственно примыкающей к Каменным палатам, где в одном из покоев лежал Иван.

Рядом с опочивальней царя, в просторном и светлом покое, собралися все близкие к нему люди или те, кто выдавался родом и знатностью своей, кто не желал смешиваться с толпой служилых людей и придворных. Небольшие сенцы вели из второй комнаты в Переднюю Избу, обширный и высокий покой, где могло вместиться много народу, как и требовалось в данном случае. Почти посредине горницы, против входа, был установлен там аналой, на нем приготовлено Евангелие.

Двери в опочивальню Ивана раскрыты, и тяжелая ковровая завеса отделяет от нее передний покой. С каждым часом — все больше и больше народу сбирается здесь. Говор, стук дверей, то и дело впускающих новых посетителей, — ясно доносится до царя.

Все находящиеся в покое резко делятся на три группы: сторонники Ивана, друзья Владимира и люди, которые не пристали явно ни к той, ни к другой стороне, а переходят от человека к человеку, толкуют о чем-то негромко, убедительно жестикулируют — словом, находятся «в движении» и не позволяют решать, за кого они станут в последнюю минуту.

Каждый, входя, крестился на иконы, отвешивал земной поклон на дверь, за которой лежал Иван, кланялся всем присутствующим и затем занимал определенное место. «Царские люди» подсаживались к князю Мстиславскому и к Михайле Воротынскому, которые сразу выдвинулись в качестве коноводов «царёва гнезда»... «Княжевы люди» — сторонники Старицкого, с князьями Щенятей Патрикеевым, Одоевским и Шуйским во главе — сгрудились у окна, недалеко от входной двери, оживленно обсуждая план дальнейших действий. Они были в особенно напряженном, приподнятом настроении. Тут же волновался, о чем-то хлопотал отец любимца и руководителя царского Федор Адашев, недавно еще пожалованный в окольничии, заядлый недруг Захарьинского рода. Самого Алексея не было. Не пришел и Фунников, Никита, второй «казначей» Ивана. Он сказался больным, так же как и князь Димитрий Иваныч Курлятев. Тесть полоумного Юрия, хитрый старик князь Д. Ф. Палецкий затеял такую же двойную игру и решил, что не следует соваться в первую голову,

а лучше поглядеть со стороны, чья возьмет, — туда уж и примазаться. Вот почему в назначенный час он не явился во дворец, обещая быть к вечеру. «Недужится-де малость...»

Не было и самого Владимира Андреича. Но его ждали с часу на час. Зато все остальные, гордые родом, если не блещущие дарованиями, князья, былые дружинники московские, — все налицо: и Пронские, и Мезецкие, и Заболоцкий, князь Ростовский молодой, и Челяднин, из ненависти к Захарьиным — примкнувший к давним недругам своим. И Оболенский-Немаго тут, и Шереметевы... Князь Андрей Курбский в сторонке стоит, слушает, что будет. Молод да не глуп князь. И против царя ему неохота идти, да князя Владимира, своего прямого военачальника, проявившего так много мужества в боях под Казанью, — в обиду давать нельзя. И жалеет молодой, простодушный воин, что пришел, что вынужден был прийти, так как его стрельцы в карауле нынче. Жалеет он, что судьба поставила его в такое для честного человека затруднительное положение. Ну да авось послушает он: что тут люди станут толковать? — и уяснит себе хорошо, на чьей стороне право и правда... А уяснив, бесповоротно пойдет по правому пути.

И чутко ловил каждое слово Курбский.

Но молодые князья больше про коней, про охоту толкуют, про девок полногрудых, мясистых, сенных... Старики — на свои недуги жалуются... И лишь изредка словом осторожным о деле помянут, для которого созваны. Видимо, Владимирова приходу все ждут-дожидаются.

Вдруг шум послышался за окнами, конский топ, звон сбруи конской, звук оружия.

— Князь... Сам князь Володимер пожаловал! — пронеслось в горнице.

И все не ошиблись. Конечно, только князь мог подъехать так близко к дворцу, к внутренним строениям, верхом, да еще с многочисленной свитой из вершников и своих стрельцов. В обычное время с более скромным количеством провожатых являлся к Ивану князь Старицкий. Но теперь все поняли, что осторожность не мешает. Вот почему, кроме обычных челядинцев и ратной охраны, по сану присвоенной Владимиру, — он и мать его, честолюбивая старуха Евфросинья, урожденная Одоевская, всех живущих в Москве новгородцев к себе зазывали при помощи Шуйских, поили, задаривали их, равно — и московских боярских детей из числа тех, которые под защитой князя и княгини, под крылом Старицких — в люди выходили.

Из этих-то людей составился сильный отряд телохранителей,

готовых грудью защитить князя Владимира, на которого, по словам княгини-матери, «козни во дворце царевом куют». И дружина эта все растет. А в дальнейшем — еще более грозное нечто затеяно, о чем потихоньку Евфросинья с Иваном Михайлычем Шуйским шепталась, с бояриюм митрополичьим по званию, с бунтарем и смутьяном по натуре.

И сейчас этот боярин здесь, на месте... С низким поклоном встречает входящего князя.

Владимир, войдя довольно быстро в горницу, перекрестился на образ, отдал всем поклон и спросил:

— А что брат-государь мой? Не лучше ль ему?

— О-хо-хо!.. Где лучше?.. Государе-княже, с чего лучшему быть? — с сокрушенным видом отвечал Шуйский, приняв вопрос, словно бы он был обращен к нему одному. — А все же ладней будет, сам не пройдешь ли, осведомишься? Лекарь сказывал, теперя не так уж опасно с государем видеться... Не больно уж лютует зараза хворобная в батюшке-царе... Так только ён замаялся, сказывали, на ладан дышит! — вполголоса заключил речь свою боярин, оглядываясь на дверь царя, на кучку его сторонников, толпящихся поодаль.

— И то, пойду проведаю... К одному уж, и о крестном целованье потолкую, о нонешном. А то вот зовут на дело, а в чем оно — и не сказано. Как крест целовать? Каки таки записи давать? Оно — не шутка. Где рука, там и голова... сказано!..

— Да, да... Конешно... Вестимо!.. — отозвались те бояре, «владимирцы», которые сгрудились у окна.

— А моя дума такая, — степенно заговорил Мстиславский, —что креста целованье и запись целовальная у царей наших завсегда одинаковы были. Чего тут еще загадывать, царя только зря тревожить недужного?..

— Ну, это мне ведомо, какую я думу думаю! — раздраженно отозвался Владимир и своей валкой походкой тучного, изнеженного человека пошел к дверям, отделяющим первый покой от опочивальни царя. Распахнув и снова опустив за собой ковер, Владимир впервые очутился перед больным Иваном и даже чихнул от сильного запаха курений, наполняющего комнату.

— Вот, добрая примета! Здрав буди, царь-государь! — отдав поклон лежащему царю, проговорил князь, стараясь получше вглядеться в изможденное лицо царя, чтобы решить самому, жилец или не жилец Иван на белом свете.

Но, как нарочно, царь поместился на кровати так, что свет падал ему прямо в затылок, оставляя все лицо в тени. А сам

Владимир — стоял в полосе света, бросаемой вешним утренним солнцем в слюдяные окончины покоя.

— Спаси тя Бог на здравствованье, брате! Аминь!.. — совсем слабым, умирающим голосом заговорил Иван.

Почему-то царю подумалось, чем слабее он покажется теперь брату и его сторонникам, тем скорее выплывут наружу замыслы врагов. А Ивану страстно захотелось узнать истину: кто друг ему среди окружающих трон князей и бояр? Простые служилые люди, созданные и возвеличенные юным царем по личному его желанию либо по указанию Сильвестра с Алексеем Адашевым, — те в счет не шли. Они были преданны по необходимости. Созданные Иваном, они погибнут, как только того не станет. Их прямой интерес — стоять за царя. Но остальные? Те, кто уверял его в преданности, вымаливал наград и подачек? Эти ехидны-царедворцы, злобу и коварство которых Иван изведал уже с младенчества? Изменились они или все те же остались?

И больной, еще бессильный телом, Иван уже воспрянул духом, решил затеять «царскую игру»... Людские сердца изведать пожелал.

При виде надломленной фигуры царя, при звуке его умирающего голоса — плохо скрытая радость озарила полное и маловыразительное обыкновенно лицо князя Старицкого. Но он с притворным соболезнованием сейчас же заметил:

— А видать, слаб ты еще, брате-государе? Вон и голоса, почитай, не чуть твово!

— Куда чуть?.. Умираю, брате... Только и держусь, чтобы сына на трон посадить. Дитя неразумное. Митя мой. Кто об ём подумает без меня?

— Не гораздо молвишь, государе-брате. А я да Юрий — нешто мы чужие ему? Кажись, дядьями приходимся. Кому в обиду дадим ли?

— Вот и я... тако же полагаю, брате... спаси тя... Христос... што порадовал словом своим болящего, навестил... хворого... Так приступайте с Богом! Там, чай, все уж готово? — прежним угасающим голосом обратился Иван к Висковатому и Даниле Михайловичу Захарьину, стоящим тут же поодаль.

— Готово, осударь!

— Нет, ты погоди! — нетерпеливо перебил Владимир. — На кой ляд, прости Господи, присяга вся затеяна? И в чем присягать мне? Каку запись подписывать? В толк никак не возьму! Ну, хвор ты теперя, брате-государе. Да ведь дело, бают, у тебя на поправку идет! Чего ж людей булгачить? Меня, дядю, — племяннику-пеленочнику присягать неволить! Не бывало того в роду нашем царском, да и быть не надобно! Брось, брат Иван. Прямо говорю:

лучше будет! — уж с явной ноткой раздражения, откинув дипломатию, закончил речь Владимир.

Судорожно вздрогнуло все большое, исхудалое тело царя. Вот она, решительная минута начинается!

— Не надобе присяги, толкуешь ты, брат? А как же, коли я помру? Кому стол достанется? Лучше, говорю, при жизни я...

— Э, заладил: помру, помру... А и будет воля Господня, так Он же укажет: как быть? Знаю, кто тебя на присяги на энти подбивает... Они вон! — и Владимир презрительно кивнул головой на Захарьина. — Молодцы — довольно всем нам ведомые! Так не бывать по-ихнему! Я — прирожденный государь, не похуже тебя, брате! Младенцу не служивал и креста не целовал... А им, холопам, што за Митриевой люлькой встанут да почнут нами, князьями первыми, пошвыривать, — умру, не покорюся!

И Владимир вскочил даже с лавки, на которую опустился, у самой двери, когда вошел.

— Такова твоя речь, брате?! — дрогнувшим голосом отозвался Иван. — Что же поделать нам? Ты сам ведаешь, хорошо ли, дурно ль творишь, коли не хочешь креста целовати! На твоей душе все, что потом станется! А мне до того дела нет. Господь видит... Его святая воля! Ступай себе с Господом.

Голову опустил, задумался князь Владимир.

Обращение Ивана к его вере, к его лучшим чувствам — тронуло князя. Конечно, всякому ясно, какая невзгода, какое кровопролитие настанет неизбежно, если Владимир с приверженцами своими решит изменить, порушить порядок престолонаследия, введенный Иваном Вторым, если вернется старый обычай: переход власти к братьям царя! В самом деле, уж не кинуть ли все? Не присягнуть ли Димитрию?

Но тут взор Владимира упал на Захарьина, который, наклонясь к Ивану, пить ему подавал и что-то взволнованно нашептывал больному шурину.

— Э-э-эх, кабы не энти гады! — чуть не вслух произнес Владимир, быстро отдал поклон царю и вышел молча в первую горницу

Все бывшие тут бояре и князья — так и слились в одну тесную толпу у самых дверей и чрез ковер отчетливо слышали каждое слово громкой речи Владимира, угадывая тихие фразы царя.

Когда Владимир, с надменно поднятой головой и угрюмо стиснув губы, появился по эту сторону ковра — вся толпа шарахнулась и разделилась на две половины: справа — его приверженцы, слева — враги или, вернее, — противники замыслов его и честолюбивой вдовы, княгини-матери, Евфросиньи Старицкой.

С обеих сторон силы стояли почти равные. И если слева пятью-шестью головами числилось больше, так родовитостью и знатностью своей — партия Владимира перевешивала царскую, куда замешалось немало новых, худородных людишек...

Все это сразу взвесил Владимир, понимая, что он совершил сейчас решительный шаг, за которым близка и борьба не на словах уже, а светлыми мечами.

Два человека только не кинулись в сторону, не поспешили уступить дороги князю — сегодня, а завтра, может быть, — царю Владимиру всея Руси! Это были — князь Мстиславский, Иван Федорович, кравчий, родственник и друг Ивана, и второй — князь Владимир Иваныч Воротынский.

Последний, пылкий, прямой по характеру, больше воин, чем царедворец, — не мог сдержать негодования, владеющего им, и громко заговорил:

— Ай, княже Володимер Ондреевич! Вот што негоже — то негоже, осударь! Тебе, княже, — нам бы головой быть, к делу привести государевых ослушников... А ты первый царское слово рушишь, присяги не примаешь! А вить раз уж присягал: царевой воли слушаться... Не обессудь, князь, лучше б тебе не упрямливаться... Больному царю кручины не принашивать... Дай запись и крест целуй. А тамо — и мы за тобой с Божьей помощью. Челом мы тебе бьем, княже! Покорно о том просим.

Желая смягчить горечь укора своего, посланного лицу, во всяком случае, более высокому, чем сам воевода, — Воротынский отвесил земной поклон Владимиру.

— Не упрямствуй, княже! — поддержали Воротынского многие из царевых приверженцев и тоже поклонились при этом князю Старицкому.

Тот стоял молча, надменно улыбаясь, стараясь подавить вспышку негодования, вызванную речью молодого еще, хотя и отважного, прославленного воеводы. Окинув взором тех, кто поминал ему об уступке и кланялся, — князь взглянул и на сторонников своих.

Те молча сплотились и стояли почти за плечом у князя.

Тогда он усмехнулся еще презрительнее и небрежно уронил Воротынскому:

— Молод, глуп ты еще, князек. Ус-борода не поотросли еще у тебя, а меня, князя прирожденного, брата государева, — учить задумал! Не то чтобы мне указывать, а будь с умом ты, парень, — маку бы, зерна бы просяного не посмел бы перечить... Вот оно што! Да ноне плохие порядки на свете пошли: яйца курицу учить думают!

Сказал и, не слушая уже, что бы могли возразить ему, — пошел к дверям.

— Стой, погоди, князь-государь! — снова заступая дорогу Владимиру, быстро заговорил окончательно раздраженный и оскорбленный Воротынский. — У козла борода велика, да все он козел, батюшка! Вот ты энто бы помнил! А я хошь и не брат осударев, а дал душу свою осударю своему, царю и великому князю Ивану Васильевичу всея Руси!.. И сыну его, княжичу Димитрию... Крест целовал, чтобы служити мне им двоим во всем не облыжно, жизни не щадя. И говорить мне с тобою — они же приказывали, вот я и говорю... за них, за самих, за осударей моих, Богом данных! Да еще послухай, что скажу: буде где доведется, по их, осударей, велению, я и драться с тобой до последнего часу смертного готов! Бог свидетель. А как драться я горазд, — ты видывал! Под стенами, под Казанью агарянскою...

И воевода уж с угрозой положил руку на рукоять меча, который по праву начальника дворцовой стражи мог носить даже во дворце.

Говор испуга и возмущения пробежал между боярами Владимира. Из царских сторонников — кой-кто двинулся вперед, словно готовясь удержать руку Воротынского, не допустить до кровопролития.

Владимир тоже схватился за рукоять кривой восточной сабли, которую не снял, даже входя в спальню Ивана. Несколько мгновений противники мерили глазами друг друга. Затем Владимир, видя, что Воротынский не думает сейчас же привести в исполнение угрозу, опустил руку, повернулся к нему спиной, отдал поклон всем и медленно вышел из горницы.

Воротынский, поглядев вслед князю, проворчал какое-то оскорбительное замечание себе под нос и отошел к сторонке.

Тогда заговорил дьяк Висковатов:

— А как мыслите, князья и бояре? Нам все же подобало бы волю царя поисполнити. Князь — одно дело, мы — иное дело. Тамотка все изготовлено. И к крестному целованию можно приступить. И бояре молодшие собраны же...

— Че-е-во?! — резко откликнулся Петр Щенятя, пришедший во дворец уж порядком навеселе, как часто водилось у князя. — А энтаго, дьяк, не выкусишь? Казаки, слышь, бают: поперед деда не суй рыла в пекло! Умны собаки чубатые. Пускай допрежь князь крест целовать станет да вы, прихвостни дворовые. А мы ужо потом, опосля...

— Да, мы опосля!.. Совсем опосля! — вдруг вырвался из толпы, тоже совсем хмельной, окольничий Федор Григорьевич

Адашев, «для храбрости» немало пропустивший романеи натощак. — Мы тоже не очёски какие! Сам с усам! Знаем, где раки-то зимуют. Слышали, бояре, князь-то што баял? Служить нам не младенцу — царю пеленочному, а дядьям евонным, живоглотам, Захарьиным... Царю хорошо: ён помрет — и крышка! А нам, бояре, будет каково?!

— Эй, ты, мелево пустое, колесо новое, давно ль из грязи в князи попал?! — строго прикрикнул на выскочку Мстиславский. — Помолчал бы вовсе!

— Не! Пошто ему молчать?! — загалдели другие сторонники Владимира. — Молчать ему не мочно! Он правду молвил... Мы все за его...

— Да я — не то!.. Я самому царю скажу! — онаглев при виде сильной заступки, продолжал бурлить честолюбивый и недалекий старик, зарвавшийся окончательно. — Вот я сейчас!..

И, раньше, чем ему мог кто помешать, — он уже стоял по ту сторону ковра, кланяясь земно Ивану, на лице которого презрительная гримаса сливалась с выражением крайнего негодования. Всего ожидал царь, только не подобной выходки одурелого, пьяного старика, отца своего любимца-наперсника... И почему не слышно голоса Алексея Адашева? Неужели он с умыслом не пришел и правду сказали про него, что он тоже стоит за нового наследника, против Ивана, против Димитрия?!

Между тем старик Адашев, отвешивая поклоны царю, бормотал:

— Царь-осударь! Тебе, осударю... ведает Бог да ты, осударь... Тебе и сыну твоему, царевичу Димитрию, на многие лета служить мы во как! Всей душой то ись готовы! И крест целуем... Во, хошь сичас!.. — И неверной рукой старик полез за ворот рубахи, желая вытащить наружу свой нательный крест. — А Захарьиным нам, Данилке с братией его со всей... Не! Им не служить, царь-осударь, как и не служивали!.. Не! Сын твой, царь-осударь ты наш милосливый, ошшо в пеленицах... Так надо говорить!.. А володеть нами по твоей смерти, царь-осударь, Захарьиным, Данилке ж со братией... А мы уже от бояр и до твоего полного возрасту, царь-осударь, беды видали многие лютые, осударь!.. Во...

И он снова стал учащенно кланяться Ивану, пока, по знаку последнего, вошедший вслед за Адашевым Висковатый не вытеснил за порог старика.

Выслушав затем, что сказал ему Иван, дьяк сейчас же снова появился перед всеми боярами, вместе с Захарьиным, который до того времени неотлучно находился при больном.

— Слушайте, князья и бояре, что царь вам сказать велит на речи ваши пустошные! Слушайте все!

От звука громкой речи дьяка — утих говор и перебранка между боярами, не прекращавшаяся все время с минуты ухода Владимира из горницы.

— Вот што царь сказать поизволил! — торжественно начал Висковатый. — «Вижу я жесткость и твердовыйность всю вашу боярскую, на кою и в младых летах нагляделся и натерпелся вдосталь! И коли вы сыну моему, Димитрею, креста не целуете, — ин, надо быть, што у вас иной государь на примете есть окромя меня, богоданного?! А целовали есте мне крест, и не единова, штобы есте мимо нас — иных государей не искали. Как Бог един в небе, так и я, царь, у вас на земле! И ныне привожу я вас к целованию крестному и велю служити вам сыну моему, Димитрею, а не Захарьиным... И аз с вами много говорить не могу, недужен весь. Може, при часе своем смертном лежу. А вы о своей души спасении забыли: нам и детям нашим служить не хощете! На чем крест целовали, клятву давали великую — и того не помните! Одно знаете: кто государю в пеленицах служить не захочет, — тот, видимо, и великому князю, государю, не захочет служить, если б я и здрав стал. Так я и знать буду! И еще скажу: коли мы вам не надобны, — грех на вашей душе!..» Вот што поведать мне от его светлого имени приказал государь наш пресветлый! — уже обыкновенным своим голосом заключил дьяк.

Глубокая, мертвая тишина воцарилась в обширном людском покое. Укор царя, напоминание о присяге, — затронуло всех за живое, говорило о долге, о законах церкви, обо всем, что упустили из виду в пылу борьбы все эти грубые, лукавые, но фанатично верующие люди.

Еще мгновенье, прозвучи чье-либо сильное, вразумительное слово — и дело было бы повершено бесповоротно в пользу Ивана и Димитрия.

Но этого не желал хитрый Иван Михайлович Шуйский. Он твердо помнил, что только в мутной воде рыбу и ловить! И внезапно, всхлипывая, утирая притворные слезы рукой, заговорил князь елейным, прерывающимся голосом, подойдя к порогу спальни и обращаясь к самому царю, куда ушел сейчас же Висковатов, окончив свою речь.

— Царь-осударь! — начал Шуйский, нервно собирая и беспрестанно вытягивая вниз свою длинную, но жидковатую бороденку. — Светик ты наш, солнышко красное, продли тебе Господь веку на многие лета!.. Разве же ж мы не слуги твои? Разве же ж мы по твоему приказу бы не сделали б? Ну, пущай нам в кабалу

к Юрьиным, к Захарьиным, к худородным, к лукавым идти! Ну, пущай нам животишек, последней худобишки, землишек наших избыться... Пущай сызнова нас, бояр родовитых, станут на правежи таскать, в ямы сажать, в темницы глубокие, как оно в малолетство твое, осударь, бывало!.. Пусть давить, топить, жечь да резать учнут... Ты велишь, — мы твои слуги, рабы неизменные! Власть предержаща, — одно слово!.. И присягнуть мы готовы, крест целовать, давать записи. А только то еще скажи нам, осударь: перед чьими очами вершить нам святое дело? Ты — болен, осударь... Ни нам к тебе, ни тебе к нам не мочно! Да и со крестом святым войти в храмину твою болестную не подобает опять! Там — нечисто больно. Царевич Димитрий — дите малое; што перед немым, што перед грудным — все едино: не присягнешь, хотя бы и охота была. Так не лучше ли погодить, покеда гораздо окрепнешь ты, осударь? Вот тогда и присяга наша, пред очами царя данная, — крепка станет! Так ли я говорю, князья и бояре?

Лукавая, ловко сплетенная речь Шуйского сделала свое дело. Даже многие из противников Владимира теперь, вместе со сторонниками князя, отозвались решительно:

— Да! Видимое дело! Правда твоя, Иван Михалыч! Так и будет! Не уйдет крестное целованье-то от нас!

И, обрадовавшись, что не сейчас надо решать такой важный, тяжелый вопрос, бояре не стали уж слушать никаких увещаний и слов, торопливо кланялись на дверь царя, прощались друг с другом и торопливо стали покидать дворец.

Осталось всего человек десять, самых близких к Ивану лиц, с князьями Мстиславским и Воротынским во главе.

— Что же теперя делать учнем? Бояр меньших в Сборной Избе ко кресту не приведешь, коли те уж осведомлены, что первые вельможи без крестного целованья ушли, — угрюмо проговорил Воротынский.

— Вестимо! — отозвался Мстиславский. — Видно, и нам идти. Што завтрева Бог даст? Утро вечера мудренее...

— Ой, нет! Как же так?! — всполошился Данило Захарьин. — Хошь мы-то утешим царя, крест поцелуем, делу почин благой положим.

— Пожалуй, оно можно! — переглянувшись, согласились остальные.

Часу не прошло, как эта кучка приближенных, верных людей приняла присягу на верность Димитрию, которого обязались они водворить на троне в случае смерти Ивана.

Совсем разбитый утренней сценой, лежащий в полуобмороке,

больной царь от удовольствия и руками всплеснул, когда дьяк стал ему читать имена присягнувших.

— И Яковли обое?! И Серебряные братаны?.. И Палецкий, старый бражник!.. Да его ж утром и не было.

— Послали за ним, государь! — степенно заявил Висковатый. — Сказали боярину: «Царь, мол, неотложно зовет!» Приехал. Охал, а крест целовал.

— Може, и взаправду, болен старый?

— Може, государь...

— А што ж Одашева Алеши нет? И воеводы Вешняка, казака нашего хороброго? Неужто правда, што изменили обое они?

— Нет, осударь, — замечая волнение больного, поспешил успокоить дьяк, — по их послано. Они по своим полкам поехали, известиться хотят, нету ли там какого нестроения. Не заглянула ль и туды княгинюшка Евфросения али подручные сйные?

— Значит, так и колдует везде ведьма старая?

— Шибко старается, осударь! Сейчас с ее двора мой один парень приставленный прибегал, сказывал: который день людей сзывают, она да князенька Володимер Ондреич. Деньгами дарят. Посулы сулят богатые. Все на тот случай, ежели в цари князь сесть задумает. А Одашев — придет, будет здесь, нынче же! Не кручинься!

— Ну, ладно... Господи!.. Ну, трудись, помогай, дьяче... Не забуду службы твоей великой... И сыну завещаю... и княгине моей: ежели помру, чтобы на место отца тебя держали!..

— И, помилуй, государь! Я не то што корысти ради али за страх, но и за совесть тебе да земле служу... Едино твое слово ласковое, царское, а иных наград мне и не надобе!

— Ладно... сочтемся! Знать бы мне только, что-то будет. Что будет с нами? С Митенькой? Со мною самим? Вразуми, Господи, чего ждать мне? На что надеяться?

Вдруг среди наплывающих сумерек весеннего вечера, в тишине опочивальни громко прозвучал чей-то странный голос:

— Да приидет царствие Твое!..

Царь и Висковатый сразу сильно вздрогнули. Иван первый спохватился и захохотал негромким, но довольным, веселым смехом, словно позабыв на этот миг все муки, перенесенные днем, все заботы грядущие...

— А што б табе, — заворчал Висковатый, оглядываясь на угол покоя, где в большой клетке сидел и раскачивался любимец Ивана, говорящий попугай, подарок от патриарха Константинопольского. Попугай этот четко умел произносить молитву Господню

на славянском языке, и сейчас он-то и выкрикнул одно из прошений этой молитвы.

— Совсем позабыл я об этой птице болтливой! — покачивая головой и тоже невольно улыбаясь, сказал дьяк.

— Да... А она вот доброе слово нам изрекла! Дай, Боже, сбылося бы! Аминь! А теперь — ступай отдыхать, и я сосну... Иди, дьяче! Только... к царице загляни... успокой ее... Скажи: все ладно-де! Да не сам взойди... Ты у меня тут все вертишься... Младенцу хворь мою не занес бы! Ты чрез боярынь. И Митю-де благословляю на сон грядущий... Ну, иди, Михалыч! Спаси тебя Христос!..

С земным поклоном вышел Висковатый из опочивальни царя. А больной, несмотря на усталь, долго еще не мог уснуть, думая и передумывая: как быть? За что взяться? Как лучше беде помочь? Тяжелые, грозовые тучи клубились в душе властелина, которого скоро прозовут «Грозным царем».

* * *

Не скоро и Висковатов заснул в этот день. Он сумел найти Адашева, Алексея, и воеводу Вешняка: доводами мудрыми, осторожными угрозами — убедил обоих принять присягу и дать запись на верность Димитрию. И так же деятельно, как мать князя Владимира хлопотала над вербовкой приверженцев Владимиру, — умный и опытный дьяк пустил в ход все пружины, чтобы назавтра собралось для крестного целования побольше надежных людей... А за этими и сомнительные одумаются, придут с повинной.

Попутно дьяк узнал, что через час либо два после принятия присяги — князь Димитрий Палецкий послал к князю и княгине Старицким своего родственника по жене, боярина, не брезгующего и торговыми барышами, Василия, сына Петрова, Борисовых-Бороздиных роду.

Долго толковал с Евфросиньей посланный. Хитрец Палецкий, не зная, за кем останется верх, — пожелал обезопасить себя со всех сторон. Он предложил свою помощь князю Старицкому, если тот заранее обяжется: оставить за больным Юрием Васильевичем и за его женой, дочкой Палецкого, тот самый богатый удел, какой назначил в завещании недоумку-брату сам царь Иван.

Торг был принят и почти заключен.

Но это мало заботило дьяка. Иные дела и люди поглотили у него остаток дня и даже часть ночи. Далеко за полночь в светелке Висковатого горел огонь: дьяк все читал какие-то столбцы, тол-

ковал с ратными и вольными людьми, которые, не глядя на поздний час, то и дело стучались у калитки дома дьяка.

* * *

Минула ночь. Настало утро. Снова стали собираться бояре в покое, рядом с опочивальней Ивана, и в Передней Избе, где так и остались нетронуты все приготовления для присяги, стоял стол, приготовленный для совершения записей...

Ранним утром прискакал царский гонец к Владимиру Андреевичу. Висковатов писал князю от имени царя, что, «обсудив за ночь слова брата, царь хотел бы еще перетолковать с ним, в надежде прийти к какому-либо соглашению».

— Видать, испугался вчерась? — заметил Владимир, передавая матери послание дьяка. — Скажи осударю, што буду во скорях! — сказал он посланному, отпустил его и стал собираться во дворец.

— Ох, не ездил бы, погодил бы, сынок. Сердце ноет чтой-то у меня... щемит ретивое. Да и сон я видала нынче не больно хорош...

— Э, што там за сны?! Чего опасаться? Видала бы вчерась, матушка, как они все хвосты передо мной поджали! И присягать никто не стал!

О том, что часть бояр целовала-таки крест, Старицкий не успел еще доведаться.

— Ну, твори, как ведаешь сам, сынок. Ты — в дому голова. Я что смыслю, вдовица сирая?.. Бога молити за тебя, рожоного, за жаланого за мово! Христос с тобою. А все — лучше бы погодить. Може, на сам деле: помрет скоро Иван — и без хлопот, без забот царем ты станешь, красавчик мой.

— Там царем не царем, а ехать сейчас надобно. Скажут: испужался я... А ведь я — не братец мой, царь Иван, што под Казанью — на карачках ползал! А потом — и-и-и, как величался: «мною-де сила татарская взята»... Не пригоже мне хорониться, прятаться... Зовет — надо идти. И не один я там буду. Стража вчера была Курбского. И сегодня — от него же. Я спрашивал. А он меня не выдаст!

— Ну, ну! Иди, говорю! — благословила сына княгиня.

Как и вчера, в комнате, рядом с опочивальней царя, Владимир застал почти всех ближних бояр, и царевых, и своих приверженцев. Кроме того, увидал здесь князь и Сильвестра, чему порадовался. Но как только он узнал, что вчера многие бояре присягнули Димитрию, князя словно укололо в сердце.

— Что же мне брат-государь не писал о том? — надменно

обратился он к Висковатому. — Надо нам наконец столковаться с государем!..

И двинулся прямо к спальне царя.

Но вход князю заградили те же Мстиславский и оба брата Воротынские.

— Подожди, князь-осударь, больно речи твои вчерашние истомили государя. Не приказано допущать на очи царские твою милость, княже!

—Как смеете?! — крикнул было Владимир.

Но, увидав, что противники стоят с нахмуренными лицами, с мечами наготове, обернулся к своим приверженцам и проговорил:

— Вот до чего дело-то дошло! Меня, брата государева, кого царь звать посылал, — и к брату не пущають... Ну, пусть же Бог рассудит нас!

И князь быстро вышел из покоя, не обратив внимания на брань и споры, которые завязались между враждующими боярами.

Пройдя сени и переход, соединяющий палаты Ивана с Передней Избой, где снова собрались для крестного целования меньшие бояре и люди служилые, — Владимир повернул к выходу, на крыльцо, у которого стоял его аргамак и ожидала свита.

Когда шел князь к царю, полчаса тому назад, у этой двери стоял один из стрельцов Курбского, лично знакомый князю еще из-под Казани...

Теперь, к удивлению своему, Владимир увидал, что дверь охраняют двое черкесов из числа стражи Ших-Алеевой, с бердышами в руках.

Князь был шагах в пяти от двери, когда часовые, скрестив вдруг оружие, обратились к нему с вопросом:

— Какое слово?

Не,обращая внимание на двух плохо говорящих по-русски азиатов, Владимир подошел к самой двери.

— Я — князь Старицкий! — властно кинул им.

Схватился рукой за один бердыш, чтобы отклонить его и пройти.

Но здоровенный азиат довольно решительно отвел руку князя, отстранил его самого и грубовато заявил:

— Ничиво ни знаим... Пусты нелзя... Слово скажи — тагада гайда!

Негодующий князь наполовину выхватил было меч из ножон, но в ту же минуту с яростью почувствовал, что второй горец — железной рукой схватил его за кисть; а меч так и остался наполовину обнаженный.

Поняв, что против двоих диких, сильных глупцов ему ничего не поделать, — Владимир кинулся назад.

Но там у дверей перехода, где еще минуту назад никого не было, — стояло двое таких же азиатов со скрещенными бердышами, а позади виден был, должно быть, их начальник, красавец-юноша в богатом восточном боевом уборе.

То был Симеон Бекбулатович. Ему поручили на этот важный день начальство над стражей из черкесов, поставленных внезапно вместо стрельцов. Стрельцы, пожалуй, могли бы отказаться, не подняли бы руки на князя Старицкого, любимого вождя русских ратей.

Владимир понял все и побледнел.

— Что ж это будет?! Капкан? Пустите меня! Я должен пройти хотя бы назад, к князю Воротынскому. Знаешь ты его? — по-татарски обратился Владимир к Саину.

— Знаю, господин! — отвечал юноша. — Да вот и сам он жалует...

Действительно, Воротынский, зная наперед, какая сцена должна разыграться при выходе Старицкого, поспешил за князем с тремя-четырьмя из приверженцев царских.

— Поторапливай, княже! — повелительно крикнул Воротынскому Владимир. — Иди скажи этим ишакам астраханским: не смеют они меня держать! Пропуску, слова дурацкого требовать... Либо — скажи мне энто слово... и дайте уйти!

— Не обессудь, княже! Сам не знаю пропуска! Царю угодно было вон энтого царевича, Саина Бекбулата, позвать... Шепнул ему единому словечушко, а нам ни гугу.

— Да как же?.. Идешь же ты вольно всюду, князь? Не дурачь меня, слышь...

— Идти — иду, точно! Да — не прочь со двора, а в Избу Переднюю, где крест целуют. Оттедова всех к царю-батюшке допустят. Царь нам слово и скажет, пропускать велит слуг своих верных, кои крест целовали ему и сыну его, царевичу...

— А ежели кто не станет целовать?..

— Значит, тот человек — изменник царю. И пробудет здесь до вечерен... А тамо...

— Тамо?..

— Уж как воля будет осударева... Вечером — видно станет!

— Так, так... Да не запугаете вы меня! Бояр не мало в покоях царских. Им — здесь же идти... Я скажу им... Вот мы и покалякаем... Гляди, еще не то будет!..

— Разумеем. Да и ты не грози, осударь! Ведомо нам и царю, как ты народ сманивал с государыней-старицей, со княгиней с матушкой, стало быть, твоею... И в сей час, гляди, она алтыны

раздаривает да гривны тяжелые. Только на все — отводы отведены у нас! Бояр крест целовать поведут, да лишь иным путем-дорогою... Понял?

Словно затравленный зверь, огляделся Владимир.

В глубине переходов он увидел еще много таких же, истуканообразных, зорких, сторожких азиатов - часовых.

— Слышь, князь, не пустишь ты меня, — я на голос крикну! Челядь тута моя у крыльца. Умирать, так не даром отдать себя, слышь?..

И князь поспешно обнажил меч, опасаясь, чтобы при всех боярах черкес снова не сжал ему руки своими железными пальцами. Но тот стоял спокойно, ожидая повелений Саина.

Саин-Булат выхватил быстро из-за пояса большую восточную пистоль — и стоял наготове, целясь прямо в лоб князю Старицкому. А Воротынский насмешливо произнес:

— Челядь-то вся заранее убрана твоя, княже. Сказано ей было: «Князь Володимер к другим воротам пройтить велел, тамо его дожидаться!» Пошли, поверили люди... Стоят-дожидаются...

От приступа бессильной ярости что-то словно заклокотало в груди у Владимира.

Бросив меч, он выкрикнул, задыхаясь от злобы:

— Предатели!.. Ну, ведите меня!.. Ничего, видно, не поделаешь! Приходится пащёнку двухнедельному трон уступить прародительский, крест на верность целовать!

Как приговоренный к смертной казни, пошел за Воротынским Владимир, принял присягу, подписал клятвенное обещание: «Служить верою и правдою царевичу Димитрию, прямому, единственному наследнику Московского государства и всея Руси».

А в горнице, смежной с опочивальней царя, — иная сцена разыгралась почти в этот самый миг.

Не успел еще шагнуть за порог раздраженный князь Владимир, как выступил вперед протопоп Сильвестр, находя, что теперь самое время поднять ему свой властный голос.

— Мужи буи! — громко отчеканил он. — Как смеете претити брату — болящего брата видети? Пошто вы к государю князя Володимера не пущаете? Он государю добра хощет не поменей вашего!

— Да, вестимо! — сильно подхватили бунтовщики-владимировцы. — Виданное ль то дело?! Брата государева — так срамити! Кары мало за это! Чего ж нам ждать, коли с князем так?!

— А все Захарьиных штуки! — завел по-старому Турунтай-Пронский.

— Ни при чем тут Захарьины! — вступился Мстиславский,

оставшийся в покое, когда Воротынский поспешил за Владимиром. — На чем мы государю и сыну его, царевичу Димитрию, крест целовали и правду дали, по тому и творим!

— Так оно и для государства крепче! — добавил дружка царский, боярин Михаил Яковлевич Морозов.

— Царство? Нешто вы об царстве помышляете? Вон ваши все цари: Захарьины!.. Так не бывать тому! — крикнул кто-то из толпы бунтующих бояр. — Убить их скорее, чем царство отдать им на волю!..

Кой у кого из бояр да князей засверкали в руках ножи, принесенные потихоньку под полою.

Сразу защитники царя шарахнулись к спальне Ивановой, захлопнули дверь накрепко, словно опасаясь, чтобы безумцы туда не кинулись.

Серебряный, Курбский и другие с ними — обнажили мечи, которые им разрешалось носить даже во дворце, как начальникам стражи царской. Оба Захарьина, бывшие здесь же, напуганные, смертельно бледные, кинулись в опочивальню, словно под защиту к больному царю.

Крики, брань, проклятия звучали в соседней горнице. Сталь мечей, задевающих друг за друга, жалобно звенела.

А Захарьины испуганно шепчут:

— Плохо дело, государь! Уж не отказаться ли нам с тобою ото всего? Пусть наследником объявят хоша и князь Володимера! Не то, гляди! Тебя и нас тут же прикончат, жисти лишат!

Но, против ожиданий, Иван остался сравнительно спокоен. За ночь он окреп. А исхода бурной, дикой сцены, происходящей в трех шагах от него, — очевидно, не опасался. И недаром!

— Э-э-эх вы, малодухи! Чего испужались вы, Захарьины?! — заговорил с укором царь. — Али чаете, что когда-либо бояре пощаду вам дадут? Как-никак — первые вы от них мертвецами будете! Так уж лучше — крови своей не щадите, обороняйте сына мово да жену мою, сестру вашу, коли я умру... Энти дьяволы и младенца не пощадят, царевича! Ну да еще поглядим!

И царь стал прислушиваться. Растет и растет шум рядом в горнице. Вдруг раздался голос Висковатого.

— Дверь раскрой, Данило. Послушать желаю, што толкует дьяк? — приказал Иван.

Дверь распахнулась, и в опочивальне услыхали, как Висковатов, не дремавший эти полчаса, вошел и громко закричал, стараясь образумить спорящих:

— Тише, бояре! Слышьте, што скажу! Вот до чего пря ваша довела Москву... Бяда близко... Слышьте, говорю!..

Крики и брань сразу затихли.

— Што тамо брешешь? Кака беда? Выкладывай!..

— А вон, гляньте: цидульку я перехватил... По новогородцы да по псковичи нынче послано... Сызнова почнется мятеж и разруха государству великая!

— Врешь! Кто посылал? Как узнал? — раздались тревожные голоса из обоих враждебных станов боярских.

— А вот поведаю... Сейчас, как это присягнул князь Володимер...

— Князь присягнул?! — словно из единой груди вырвалось сразу у всех.

— Слава тебе, Христе, Боже наш! — широко перекрестился Иван, приподымаясь на подушках.

— А то как же! Вот и запись его присяжная!.. — показал предусмотрительный дьяк. — И печати вдовы честной, матушки-княгини Старицкой тута ж привешены... Вот оне! Только, стало быть, князь крест поцеловал, запись подмахнул, я и шасть к княгине Евфросинье... Близехонько тута... Пошел да провожатых взял поболе. Пришли мы, а вороты-то заперты. Ну, долго ль ворота сломать? Вошли во двор, честь честью... «Где княгиня?» — «На богомолье, сказывают, поехала осударыня!..» Эко не ко времени, думаю... Не поверилось мне. Пошарили — нашли государыню... В клети под перинами крылась, там быть изволила...

Невольный смешок пробежал по боярским лицам, выражающим глубокое внимание.

— Ну, вытащили мы почетную старицу, показал я княгине, што сынок ейный, князь Володимер, подписан же... И ее заставили любёхонько печати приложить! С трудом превеликим! И тута ж, по пути, попался в руки столбчик мне, вот энтот самый! Зовет новгородцев да псковичей честная вдова себе на подмогу. Ну да незваным гостям — и от ворот поворот... Уйдут не солоно хлебавши!

—Да как же ты понудил княгиню?.. Как князь подпись дал? — раздались голоса.

— А вот они, мои помощники! — указывая на раскрытую дверь, скромно произнес Висковатый.

За дверью стояла грозная толпа стражников-азиатов под начальством того же царевича Саина. Владимира после присяги выпустили, и он кинулся домой, а черкесы, сторожившие его, соединились с теми, которые ходили к Евфросинье, и все они теперь явились перед глазами бунтующих бояр, как немая, но неотразимая угроза.

Мертвое молчание воцарилось в покое.

Тогда из-за раскрытых дверей опочивальни прозвучал слабый голос царя.

— Что, бояре, дождались? Кто на мятеж подбивал — первый отступился от дела... Баба старая, злая, полоумная — зверей жадных, новгородцев, наших недругов кровных, на Москву кличет, междоусобицу завести норовит! Давно христиане православные не резали друг друга, брат на брата с ножом не вставал?! Вот куды мятеж-то ведет!

— Повинны, осударь, перед тобой! — раздались подавленные голоса. — Не вели казнить!.. Помилуй рабов своих!

И до земли склонились бояре непокорной головой, кланяясь в сторону, откуда слышен был голос царя.

— Дьяк, поди сюды! — раздался снова голос.

Висковатый снова вошел в опочивальню и скоро вернулся назад к боярам, стоящим в томительном ожидании, с пересохшими губами и бледными лицами.

— Не сердчает осударь... Крест целовать идти приказал в Передней Избе... Истомно ему от многих речей и споров ваших... Вот и крест святой с мощами соизволил... На ём присягать станете. Идите, бояре!..

Бояре, отдав еще поклон по направлению опочивальни, двинулись прочь большою, молчаливою гурьбой.

— Тобе, князь Иван Мстиславский, да тобе, князь Володимер Воротынский, указал осударь при том крестном целованье стояти и подпис обирать!..

— Благодарим на чести, осударь! — с поклоном обратились к незримому для них царю оба князя. И вслед за всеми — поспешили в Избу, где сейчас же присяга началась.

— Ишь, — не утерпел князь Иван Иваныч Пронский-Турунтай, чтобы не уязвить Воротынского, — ишь какой присяжник у царя выискался! Ты бы помнил, што сам и с отцом-то твоим — апосля кончины великого князя Василея Иваныча — первейшие воры да изменники вы, Воротынские, объявилися...

— Ой ли! — презрительно улыбаясь, ответил гордый своим превосходством Воротынский. — Ты вон про что помянул?! Эко диво какое вышло нонеча? Я — изменник, да привожу тебя к крестному целованию, штобы ты верой и правдой служил осударю нашему и сыну его, Димитрию-царевичу... А ты прям и чист, слышно... А государям обоим креста стоишь не целуешь! Служить им не хошь, видно? Кату базарному послужишь, миленький, как буде батогами стегать тебя!..

Зверем поглядел на обидчика Турунтай, ничего не ответил и быстро двинулся к аналою; крест поцеловал и подписал вторично сугубую присягу на службу царю Ивану и сыну, первенцу его, Димитрию-царевичу.

Глава II

Год 7061 (1553)

После ранней и дружной весны настало раннее, ясное лето. Миновала болезнь молодого царя, которого уже не чаяли видеть живым. С того самого дня, когда непокорные бояре, во главе с князем Владимиром, волей-неволей приняли присягу на верность царевичу Димитрию, Иван словно ожил духом, успокоился; заснул тогда мертвым сном и спал почти сутки.

— Ну, теперь царь спасен! — радостно заявлял Схарья братьям царицы и ей самой, когда она неотложно пожелала видеть лекаря.

И он не ошибся. Но выздоровление Ивана шло очень медленно. Какая-то непомерная слабость оковывала не только тело его, но и волю, и мысли, что выражалось тысячью причуд и прихотей. Зато порою, когда царь держал в руке ложку или ручное зеркало,в которое гляделся, чтобы узнать, как исхудало его лицо,— стоило тогда кому-нибудь из окружающих, шутки ради, сказать:

— Брось, государь! Ну, стоит ли держать?!

И он ронял то, что держал в руке...

Но такая внешняя слабость недолго отражалась на душевной жизни, на желаниях и на порывах Ивана.

Еще в первые дни, радуясь чудесному избавленью от смертельного недуга, согретый лаской вешних теплых лучей и свежего ветра, который врывался в раскрытое окно царского покоя, освежая здесь спертый, тяжелый воздух, от всего этого Иван чувствовал себя счастливым, довольным, готов был простить и забыть тот тяжелый кошмар, каким являлись в его памяти три дня волнений боярских перед принятием присяги Димитрию.

Но такое доброе, радостное настроение недолго владело душой Ивана. Шуревья царевы — Захарьины — решили, что «надо ковать железо, пока горячо»... Враги-бояре выдали себя с головой; надо было погубить их окончательно в глазах царя.

Правда, спохватились быстро строптивые вельможи и такой же раболепной, густой толпой окружили выздоравливающего Ивана, как недавно стояли перед дверьми его спальни угрожающей стеной. Иван неожиданно словно из мертвых воскрес. Переворота, значит, не предвиделось и создать его снова невозможно. Пришлось поусерднее заглаживать вину. Хотя между собой единомышленники не прекращали сношений, еще надеялись на какой-нибудь «счастливый» случай.

Захарьины-Юрьевы хорошо это видели, знали, следили за

малейшим шагом наиболее для них подозрительных людей, а уж Ивану все передавалось в утроенном, в учетверенном виде.

Жадно, как знойный песок поглощает влагу, — ловил на лету Иван все дурные вести о «недругах» своих и только ждал минуты, когда только можно будет свести с ними счеты.

— Со всеми! — шептали Захарьины. — Особливо с Сильвестром-попом и с Алешкой, твоим любимчиком! Каковы на деле-то показались, прохвосты, продажные души!

Иван на это нерешительно кивал головой. Он чувствовал обиду и на этих двух... Но старая привычка, почтение и доверие не давали разойтись дурным чувствам царя.

Не желая особенно настаивать, шептуны замолкли.

А Иван, лежа еще в постели, глядел в окно на клочок синего неба и думал... думал... Порой и сам не знал о чем.

Наконец, впервые после болезни, было позволено царице Анастасии посетить больного.

Хотя Иван готовился к встрече и переволновался задолго до нее, уговаривая себя не поддаваться слабости, не ронять своего царского достоинства, но едва вошла бледная, измученная, словно тоже перехворавшая Анастасия — Иван не выдержал.

Он с невнятным криком: «Настюшка!» — протянул к ней руки, обнял, прижал, как мог, слабыми руками к ослабелой груди и сильно зарыдал... Вообще, после болезни у него очень часто сжимало горло, слезы то и дело показывались на глазах от малейшей причины. Теперь уж и сам Иван хотел прекратить рыданья, да никак не может.

А царица, крепко прижавшись к мужу, ласково, нежно шептала:

— Ваничка, миленький... Привел Бог... Слава Тебе... Ну, будет. Не плачь... Ванюша ты мой, Ванюшенька... Царь ты мой радошный...

И сама не плакала, нет, — улыбалась. Словно светилось у нее лицо. А в то же время крупные слезы, часто-часто, одна за другой, так и скатывались по сияющему лицу, как живые жемчужины, теряясь между жемчугами богатого ожерелья...

— А знаешь, я ведь к тебе христосоваться приходила! — зашептала она и вдруг сразу густо покраснела и вся омрачилась.

Иван заметил.

— Что с тобой?.. С чего же потемнела ты?.. Как приходила, скажи?..

Анастасия, вспомнив, после чего побежала она с красным яичком к царю, — рассказала ему о своем посещении, но промолчала о появлении к ней Адашева.

Когда же допытываться стал Иван, с чего это она так сразу изменилась лицом, Анастасия ответила ласково:

— После, после скажу. Все расскажу, Ванечек ты мой. А теперь идти надо к Митеньке... И лекаря не приказывали долго быть у тебя, тревожить моего ясного сокола... Поправляйся скорее...

И она собралась уходить.

— Только вот што, — перед самым уходом шепнула все-таки, не выдержав, царица Ивану, — поостерегайся ты Олексея Одашева... Да и отца протопопа... тоже... такое про них слышно... И-и!..

Шепнула, оглядываясь, не услыхал бы кто, — а сама задыхается от волнения и страха.

— Знаю, знаю... — отозвался Иван, полагая, что ей тоже показалось двусмысленным поведение обоих любимцев во дни смуты боярской.

— Всем я им верю, аки змию ядовитому, погубителю...

Тогда она, еще раз обняв мужа, перекрестила его и ушла, повторяя:

— Здрав будь поскорее, голубь ты мой!..

— Ишь ты! — подумал Иван. — Настя чистая душа... На что уж в дела мои государские не мешается, а супротив их остерегает... Значит, правда: Бога забыли моих два верных друга-советника. За что? Ведь все-то, все-то я для их делал да по-ихнему... Из грязи взял, наверху царства поставил, за прямоту, за чистоту ихнюю... И вот...

От обиды, от напряженного чувства неприязни к недавним друзьям и советникам — у Ивана губы пересыхали, и во рту ощущался вкус острой горечи, словно бы желчь поднималась ему к самому горлу...

И он думал, напряженно думал: как теперь быть? На кого положиться можно? С кем дело царское делать, которое одному человеку не под силу? И как ни думал Иван, кого ни перебирал в уме, что ни вспоминал из своей прежней жизни, одно имя приходило ему на память — митрополит Макарий.

Вот человек, ни разу не проявивший жадности, гордости или злобы перед Иваном. Каждое слово, сказанное святителем, кроме добра — ничего не приносило.

Правда, и Макарий стоял за Сильвестра, Макарий дал ему Адашева. Но тогда, первое время, пока не зарвались эти рабы, не стали продавать Ивана врагам его, они были полезны и необходимы царю. А ежели потом лукавый соблазнил обоих, — виноват ли в том Макарий?

Так решил Иван. И по привычке своей к постоянной скрытности, к притворству, не выдавая ничем внутренней неприязни к окружающим, искренно и тепло относился он только к Макарию и, конечно, к жене и братьям ее, доказавшим царю свою преданность...

* * *

Важный гость сидит в покое у Макария, посол английского короля Эдварда VI, моряк Ченслор. С большим трудом, не раз рискуя жизнью, добрался смелый корабельщик почти до самых устьев Северной Двины, откуда холмогорские головы и городовые приказчики дали знать в Москву,что«приехали английские торговые люди, а что с ими делать — не ведает никто: можно ли с ними торг вести, или связать их и доставить в стольный град Москву? Но, впрочем, те и сами-де просят: «Дайте нам провожатых, мы желаем вашему государю от нашего «Кина», сиречь государя, поклон снести».

И вот почти через два месяца пути прибыл Ченслор с двумя-тремя спутниками своими и с царскими приставами в Москву. По болезни царя принимал его сперва Адашев и другие вельможные бояре. Потом состоялся прием у царя. Захотел видеть послов и Макарий.

Но теперь — болен он был. Очень кстати, на другой же день после пасхальной заутрени, разыгралась у старца привычная болезнь, «камчуг», в ногах.

Ни выходов, ни приемов торжественных делать нельзя, пока отек не пройдет. Таким образом избегал Макарий необходимости присутствовать там, где бы ему не хотелось, видеть то, чего бы не желал, вмешиваться в события, опасные для его собственной личности и сана... Предшественники Макария, не умевшие захворать вовремя, быстро ведь меняли митрополичий клобук свой на монастырскую скромную рясу...

Сидя по болезни у себя в келье, Макарий не лишался возможности видеть и говорить, с кем хотел, и не появлялся только там, где это было несовместимо с положением и видами прозорливого владыки.

Вот почему без обычной пышности, без многолюдной свиты состоялся прием интересного гостя-моряка в покоях митрополичьих.

В девять часов утра принял Макарий Ченслора. Десять било, а между ними живая беседа идет при помощи дьяка Висковатого. Этот знает по-немецки, как и Ченслор, и может служить толма-

чом, о каких бы важных вопросах ни шла речь. Но Макарий от важных вопросов намеренно уклоняется.

— И сам я болен, и царь нездоров же... Теперь у нас государские дела затишали... Да и не подобает мне в земские нужды мешаться. Мое дело — духовное: Богу молиться да за опальных стоять, милости просить у царя... А он — один земли владыка...

Так всегда и всем послам отвечает Макарий, если те прибегают к его посредничеству в переговорах с царем, зная, как велика власть первосвятителя в Москве.

Ченслор, как человек умный, сразу попал в тон. Больше сам говорит и описывает свои похождения, желая доверием вызвать ответное доверие.

Сидя в удобном, мягком кресле, причем больная нога лежит, вся обернутая, на соседнем табурете, Макарий склонился на руку головой и слушает интересные речи посла.

Вдруг движение и шум возникли в соседнем покое, проникая даже сквозь толстую, суконную обшивку дверей.

— Царь-осударь жалует! — быстро проговорил послушник, вошедший, почти не дожидаясь впускного «Аминь».

В ту же минуту раздался голос Ивана, творившего обычную молитву за порогом.

— Аминь... Входи, входи с Господом, царь-государь! Входи, чадо мое любезное... Вот, не могу встать к тебе, Бог покарал!.. — благословляя и целуя Ивана, произнес Макарий.

— Сиди, не тревожь себя, отче-господине... Твои молитвы за нас и так ко престолу Господню дойдут! — сказал Иван.

Затем ласково ответил на глубокий поклон, отвешенный ему Ченслором, и кивнул Висковатому, поднимавшемуся после земного преклонения перед царем.

— Здравствуй, посол!.. Ришарда, так ведь зовут? Здоров, Михалыч! Передай-ка англичанину, что я нарошно пришел здесь послушать рассказов его. Там, в Думе, я принимал здорованье его от брата нашего, короля Едварда... А ныне мне занятно послушать, что сам он на Студеном море-окияне видал да перенес.

Иван опустился на лавку в переднем углу, указав послу занять место между Макарием и собой.

— Ну, о чем речь шла, дьяк? — обратился Иван к Висковатову.

— Да вот, осударь, толковал немчин, как выехали они на трех великих галлиях, на каторгах, на кораблях морских... И буря сильна была... И товарищ его старшой, Гук - Лойба...

— Гуго Уиллоуби! — поправил англичанин.

— Вот-вот, энтот самый, затерся гдесь-то... Не пришел к

Вардегузу Норвецкому... И пришлось нашему немчину с одним кораблем на Русь прямовать... «Бонавинчура» звать ладью-то евойную... А по-нашему, к примеру, как бы сказать: «В добрый час!»

— Кто ж снарядил те суда? Сам брат наш Едвард?..

— Нет, осударь... Снаряжали их купцы англинские... Артелью сложились... Большие деньги собрали и отпустили три корабля с товаром ихним заморским: и сукна, и всякие изделия ихние. Вот как те поминки, что тебе, осударь, подношены. Энто — все из ихних товаров. А у их тесно стало, соседи торг перебивают. Вот они про нас прослышали, что много недохватки у нас. А иного — и с лишком есть... Мену, торг новый, строить хотят. А король яснейший Едвард уж опосля их под свою руку принял и грамоты к тебе, государь, писать приказал...

— Так, так... Наши небось, даже новгородцы пройдошливые, в землю англинскую не хаживали и не забирались. А энти тут как тут. Ничего не побоялись. Да, надо бы и нам море себе какое ни есть раздобыть, окромя Студеного... К соседям поближе. Большие прибытки земле от торгу морского идут. Ни граней, ни сторожи, ни рогаток нетути! Божий путь!

Ченслор, которому дьяк перевел речь царя, усиленно закивал головой.

— Так, верно, правильно ваш царь говорит. Нужно непременно нам с Русью торг водяной завести. Чего нам не хватает — у вас есть. Хлеб дешевый, меха, сало, лес... Что мы работаем — вам еще долго не добыть у себя. Не придется нам ссориться из-за торгу. А польза и одному, и другому будет великая.

— Сам знаю! — ответил Иван на речь посла. — И думаю, как бы все это наладить. Ну да оно впереди... А спроси у Ришарда: нету ль с ним кого из рудознатцев да литейщиков случаем? У нас, под Серпуховом, вон руда железная... На Цыльме — медная... в недрах гор, на Поясу земном*,— чего-чего нет! А добывать не умеем! Так и гибнут зря дары Божии...

— Нет, государь... Не найдется. На корабль я брал только матросов да торговых приказчиков. Да отчего, государь, ты от соседей, от немцев, не призовешь сведущих людей? Там немало их...

— Какое — от соседей! — махнул рукой Иван. — Скажи-ка ты ему, Михалыч, как я из венгров людей зазвал, как Литва да лифлянты не то что их не пущали через свои земли ко мне, а

---

* Уральские горы.

которые потайно пытались грань перейти, тех ловили и головы секли, в темницы заточали на всю жизнь. Мы уж и в сей час им досадны. А как узнаем все ихние науки да мастерство произойдем — так боятся, окаянные, что и крышка им. Недаром опасаются, еретики неверные. Сокрушит Русь главу змиеву. И отцы святые то же пророчат. «Третий Рим» — недаром так Москву нашу зовут...

Висковатов, смягчив конечно, передал Ченслору речь царя.

— Ну, понятно, понятно... Боятся соседи. Да это пустое. За хорошие деньги — хорошие люди приедут к вам служить. Ведь имели же вы фряжских мастеров из Италии и разных иных...

— Имели и еще иметь будем! Верное твое слово, Ришарда!.. — довольный англичанином, отозвался Иван. — Ну а с тобой не было ль чего такого, акромя бури, на пути?.. Чудес, страшил каких не видал ли?..

— Особенного ничего. Только меня один из ваших моряков позабавил. Буря стихла, а мы как раз под островом одним очутились. Смешное такое прозвание у него. «Семь» — зовется остров. Один за семерых имя носит.

— Ну, не один. Семь их так рядом и стоят! — заметил Макарий, хорошо знавший карту северных берегов Московской земли. — Для краткости их тако величают: что ни остров один из семи, то и сам «Семь»... Что же там было с тобой?

— Да довольно непонятное что-то случилось. Ветру нет сильного, а у скалы, мимо которой плыть, вода словно в котле кипит. И миновать места нельзя, и пройти опасно. Долго мы стояли, под самым берегом якоря кинувши. Ветер и совсем почти спадать стал, а буруны так и кипят. Я говорю: «Может, у вас тут вечно так, и лучше пойти в обход, поискать иного пути?» — «Нет, — говорит ваш кормчий, которого я взял, — тут дело неспроста... Камень молить надо — все хорошо станет...» Думаю: как это «камень молить»? А он говорит: «Жертвы-де водяной дед требует!..» Я засмеялся и не велел дурить. Ночь пришла — прибой. А наутро проснулся — гляжу, море у самой скалы точно слюды листок: ровное, гладкое... Прошли мы, отъехали малость, оглянулись, а там опять и пена, и брызги... Глядеть страшно. Подходит ко мне мой кормчий и говорит: «А чья была правда? Я, тебе не сказавши, до рассвету вылез на камень, молил его, муку сыпал, масло лил. Место там есть такое, освященное. И деды, и прадеды то же там творили. И далось нам море, пройти позволило. А как мы минули самое место плохое, оно снова закрутило...» Я тогда говорю вашему кормчему: «Не море — сам ты нам помог, что масло на воду пролил. Старое это средство, да только оно у меня

из головы вон!..» А он, седобородый, упрямо качает головой и твердит: «Водяной жертву принял, оттого и пропустил!..»

— Погоди, Ришард! — остановил Макарий. — Ты говоришь, «ваш моряк»... Я чаю, он из диких был, из чуди, али из лопарей, али...

— Нет, ваш, как следует... И по лицу... И крест на вороту висит...

— И все же про «водяного» тебе толковал... Жертву языческую творил? — с огорчением покачивая головой, тихо произнес Макарий. — Эхе-хе... Грехи тяжкие!

— Да не досадуй, владыко! — быстро заговорил царь. — Ведомое дело: живут поморы наши заодно с язычниками, ну и наберутся за неволю ереси всякой. Твои иереи посланные скоро, гляди, весь край ко Христу приведут. Не будет тогда того...

— Дай Бог... Дай Бог... А только не больно велик урожай на ниве Господней!.. — покачивая с сокрушением головой, с легким вздохом произнес митрополит. — Мало у меня тамо Божиих ратников. Да и у тебя, царь, слуг не довольно. Богатые тамо дани можно собирать, ежели порядки завести, как во всей земле Московской...

— Заведем авось, владыко. Знаешь же ты думу мою...

— Знаю, ведаю... Ну да об этом после. А как земля тебе тамошняя, англичине, показалася? Как люди? Есть ли чем с ними торг вести?

— Есть ли чем. — воскликнул купец-посол, а глаза у самого так и засверкали. — Да там богатств числа нет!.. Какие шкурки звериные... Я те, что собрал, — самому королю в дар принесу и получу щедрую награду за них. А дикари, которые меняют эти сокровища, — им и цены не дают. За пустяк меняют да еще толкуют: погоди, мы лучше принесем! Жаль, ждать не было часу. И рыбы — гибель там... И львы, и коты морские... И китов мы видели... На просторе — стадами ходят... А оленей... А дичи!.. Богатый край, государь, там Бог тебе послал...

— Богат не богат, а угодье доброе. Вот опять соседи-враги мутят, к себе чудь, и лопь, и зырян сманивают. Ракой спаивают. Ну да не будет того! Я им самим скоро... Свеям этим, да...

Но не докончил Иван, остановился.

— У нас то ли еще есть! — снова заговорил он через мгновенье. — Приходят с ясаками к нам из Сибири инородцы... Вот те добро несут... Покажу те меха тебе. Вижу: человек ты правильный. Как оценишь? По чести, чаю, скажешь...

— А как же иначе, государь? Неправильно жить — и торгу не водить! — так у нас говорят...

— Ха-ха-ха! Ну, на Москве ты иное услышишь. «Не обманешь — не продашь...» — вот что наши торговые люди бают... Ты, англичин, мне понравился... Так я остерегу тебя: с купцами моими ухо востро держи! — весело смеясь, проговорил Иван.

— Ничего! У тебя бы, государь, для дела моего государя Бог бы удачу послал. Да позволь нам торг завести в твоих землях вольготный, помимо гостей заморских, торговых. Так мы твоим купцам и лишку передать не прочь. На соседях на твоих отыграемся...

— Ладно, добро!.. Очень ты мне по душе пришелся. Будет по желанию твоему и как брат наш Едвард просит. А пока ступай, отдыхай... Скоро и к обеду пора... Чай, истомился по нашим дорогам? — протягивая послу руку для поцелуя, проговорил царь.

Целуя протянутую руку, с поклонами посол отвечал:

— Не могу пожаловаться, государь. Дороги, если по правде сказать, не хороши да и не больно худы у тебя. Охрана на них строгая. Меня раз сорок останавливали... Хлопот, правда, много, да для нас, для купцов, хорошо. Значит, берегут нас от злых людей. А что земля твоя полна болот и лесов — Бог тому причина, не ты, государь. Да и то я видел: люди твоей земли мимо стражи, по дорожкам и тропинкам лесным и болотным — так и носятся стрелой. Не людный еще край ваш Московский. С той стороны, где я проезжал... А вот тут, под Москвой, уж довольно много народу... У нас потеснее земли, оттого и народу кажется больше.

— Да, ты угадал, посол! —горделиво ответил Иван. — Велико мое царство... Земли русской конца-краю нет... В едином вот новом нашем царском городишке, в Казани завольской, — мы врагов лишь одних, казанских бесермен, — тридцать тысяч побили. И все полон город людьми стоит. В граде нашем престольном, в Москве, вот тута изоб, домов одних переписано сорок и две тысячи... Подочти: сколько народу в тех домах? Ты видел: мы, русские, широко живем, с чадью и с домочадцами, с холопами и с челядью. А ведь тута пригороды и села мои подмосковные и боярские деревни ближние не считаны. Вот ты и подумай... Одначе, ступай с Богом... Время!.. Мне еще надобно тут с отцом митрополитом... Ступай!..

И царь отпустил англичанина.

Теперь трое человек остались в митрополичьей «казанке», или передней келье, заменяющей кабинет, — царь, Макарий и дьяк Висковатов, который, пятясь задом, стал у дверей, выжидая, прикажут ли ему уйти или остаться.

— Слышь, Михалыч, — быстро произнес Иван, едва посол скрылся за дверью, — ты догони агличина, потолкуй с им, задержи в сенцах-то... Може, мне его вернуть занадобится...

— Слушаю, осударь! — отвешивая земной поклон, откликнулся Висковатов и скрылся вслед за Ченслором.

— Добрый слуга, верный, не лукавый раб господину своему! — глядя вслед дьяку, похвалил его Иван. — А все из твоих рук, владыко, принял я человечка.

— И-и, государь! Этим ли руки мои старые, дряхлые служить тебе рады? И дни свои преклонные я готов на благо твое и земли родной отдать, ежели Бог захочет того... Только цветите да красуйтесь вы на покой люду христианскому... на украшение церкви Божией... Ты погоди малость, чадо мое любимое... Рассадники познания светского и духовного, школы монастырские да училища процветут те, что мы с тобой устрояли запрошлым годом. У меня наберутся попы поученее обломов нынешних, у тебя дьяки, писцы да подьячие, хоть простые люди, да честные, знающие! Будет польза великая Земле!

— Да, да... Я простым людям много больше верю, чем боярам. Особенно этим, — из старых, которые при батюшке крамолы заводили. Малого меня мучили. Молодых — тех я не столь опасаюсь. На них у меня — слово есть. Видел я, как они росли рядом со мной, из мальчишек, из безусых ребят моих верховых — людьми стали. Их я и в тюрьму могу, и на плаху... А вот старые — те царство мутят да величаются еще!.. Как же, иной лет шестьдесят только и делал, что землю губил, крамолы строил... А я ему теперь почет воздавай. Я, царь, — изволь его слушать. А уж эти дни скорби моей... Хворь моя и все, что было... Вот, владыко, знай, до чего взметалась душа у меня. Ведь я думал... Я хотел... По тайности собирался с этим агличином побеседовать. Не знаю, авось можно Михалыча допустить... А надо бы...

Иван умолк, словно не решаясь договорить.

Макарий, хотя и видел смущение Ивана, но умышленно молчал, не желая даже осторожным образом вынуждать юношу к откровенности. Старик был уверен: раз Иван заговорил, он и докончит.

И правда. Решительно тряхнув головой, Иван снова начал:

— Вот что, владыка. Не трус я, как лают мои недруги. А так полагаю: ежели дал Господь мне веку — надо беречь, не укорочать его. И грех это, да и неразумно: дар Божий метать на перепутье. А как видел я недавно... и измену, и мятеж. Все страшное, позабытое было мною от дней моей юности. И сызнова опасаюсь: не замыслят ли бояре на меня и на род мой?.. На сына, на Митеньку...

— И! Что ты, государь?!

— Да, да! Пожди!.. Не перебивай меня, владыко... Дай сказать... Слышь, все... все, почитай, против меня, против Мити

мово, против Настеньки встали. Даже... даже отец Сильвестр... И Алешка-холоп... Одна беда: лукавы оба! Позвал бы их к ответу... Да в чем укорить? Они с боярами открыто не стояли супротив меня. Вон и батька Алешин, пьянчуга, орал: «Мы-де царю и царевичу крест целуем, а Захарьины-Юрьевы нам не надобны... Не слуги мы им». Ну, не казнить же его за слова его глупые. Уж ведется оно так у чванных бояр долгобородых: про места да про чины тягаться. А того и помнить не хотят: один я у них царь и хозяин; а все они — холопы передо мной, все — равные. Грянуть бы теперь на них, как дед, как отец мой...

— О-ох, горяч ты, молод, чадо мое державное... Нешто время теперь? Ну, всех их перехватаешь... Ну, в темницы, в узах заключишь, головы снимешь... Кто землей править станет, помогать тебе? Один ведь не управишься?.. Так ли?..

— Так, так, знаю, что так!.. — нетерпеливо отозвался Иван. — Сам знаю... В том и спасение ихнее... Это одно... Никого бы иначе не пожалел, как они меня, царя своего, владыку, Богом данного, больного, — не жалели... Ну да придет мое время... Потешусь и я... Понаучился я и ждать, и помнить. Вот, будь свидетель, владыко...

И царь, словно сбираясь дать клятву, поднял руку к иконам.

— Стой, пожди, государь!.. Вижу: хочешь не на доброе да на мирное клятву давать, а на злое... Так повремени, не в моем доме смиренном... Я слуга Божий... Мир творить, а не вражду множить я тоже клялся, когда вот в эту епитрахиль облачился, пастырский жезл взял, клобук надел первосвященнический... Так смири страсти свои, чадо... Говори о том, что раней начал и прости, смиренного, меня, коли что не по нутру тебе, государь, было молвлено. Говорю я, как Бог заповедал мне, епископу его и рабу недостойному, первому.

— Нет, ничего... Что же... — упрямо и негромко проговорил Иван. — Конечно, ты — греха боишься... По совести говоришь. А только что ж и мне-то делать? Неужто терпеть? Всю жизнь гнуть выю перед рабами,изменниками? Врагов лобызать? Принимать их лобызания Июдины?..

— Кто говорит? Уладить дело надобно. А только без злобы оно лучше будет для тебя. Злоба глаза слепит. Ино — врага бы железом уразить, а сам себе руку поранишь, а то и глаз, если не живота лишишься вовсе. Так, помаленьку, полегоньку — лучше, государь, повыждавши... Знаешь: повадился кувшин... Уж коли кто занялся воровским делом, предательским — предаст себя первого. «Не ныне, так при помине», как говорят у нас.

— У вас?.. Да ведь ты тоже из Новгорода? — разгорячась,

начал было Иван, но вдруг оборвал раздражительную речь, кинулся к Макарию и, наклонясь к самому лицу старика, заметно побледневшему от злой выходки Ивана, ласково, почти по-детски заговорил:

— Отец ты мой родимый... Не посетуй на меня за мое злое слово, за горячее... Очень уж ненавистно мне все, что поминает про Новгород... А ты же, я знаю, землю любишь, меня хранишь... Вон, спервоначалу, твердили мне: Шуйских ты ставленник. А ты же им крылья отшиб. Один ты, владыко, обо мне, о хвором, — помыслы держал добрые, охранял, научал... Не забыть мне этого... Прости же!..

И он по-сыновнему поцеловал сухую, аскетическую руку Макария.

— Бог простит, чадо! Горяч ты... Что станешь делать... Твое дело царское. А нам, богомольцам вашим, — смирение приличествует по обету монашескому. Ну, говори же, коли начал: что с немчином собирался по тайности толковать?..

— Да вот, я ведь тоже не без ума... Ежели спор зачнется у нас с боярами, — еще кто знает: как оно, дело, может кончиться?.. И удумал я себе и роду моему... про всяк случай... у агличан приют заготовить... Казны туда поболее перевести, за руки дать ее их-ним купцам, самым богатым... Как иные, слыхал я, — государи делают... Вон хоть из тайников Белозерских отцовских... Оттуда можно через Комогоры не одну сотню тыщ золотом, и каменьями самоцветными, и зерном бурмицким потайно на аглицкие суда на крепкие первезти и в казну тамошнюю на сохран отдать... И ежели, упаси Бог, пришлось бы кинуть отчину и дедину, престол мой царский из-за смут и подвохов вражьих братца ближнего мово, Володимира, и чужих аспидов?.. Хоть будет где с семьей голову нам преклонить тогда!.. Как скажешь, отец митрополит?

Наступило небольшое молчание.

Царь глаз не сводил со старика. Макарий сидел, поникнув головой, задумавшись. Потом медленно заговорил:

— Не легко мне ответ тебе дать на речи твои мудреные, чадо мое державное... «Посрамлена бысть премудрость земная мудростию небесною». Сказывал я тебе про себя. Ведаешь ты, государь: от юных лет — рясу монашескую ношу, устремляясь душою к Богу да о благе земли родной озабоченный... Семьи, детей не знаю я, и не было их... Церковь Господня да Русь святая — вот близкие мне и сродники. Для них труды терплю при жизни, для них — и умереть не страшно мне старому. Твое дело иное, юное, и отцовское, и супружеское, и царское... Я... Прости, государь... Не в

укор скажу, не в осуждение, а по глупости моей старческой: я бы и помер, царство бороня, землю святую, веру православную... А тебе, вестимо, манится и жизнь сберечи, и сына, и жену... Мол, не тебе, так наследнику удастся сызнова на трон воссесть, царство вернуть, ежели недруги на время отнимут... Не сыну, так внуку... И воистину тебе скажу: благословлю тебя на дело... Ищи угла, готовь пристанище... Понадобится — хвала Господу, что готово! Не надобно будет своей земли, своего царства бежать — сугубая хвала, что сберег Он державу... Только не торопись. Повызнай посла... И не сразу откройся — врагам бы тебя на глум не выдал, храни Господь... Вот как я смекаю, государь. Прости на совете худоумном... И да благословит тебя Господь!

Настало снова молчание.

С пылающими от смущения и стыда щеками принял Иван благословение старца, потом, медленно выпрямляясь, заговорил:

— Судишь ты меня строго, владыко, хоть и мягки словеса твои... Да тем больней уражают они мою душу... А подозволь сказать тебе, отче-владыко... Тоже не в осуждение, а рассуждения для ради... Как оно к делу подошло... Вот пожар великий был... В том року как раз, когда протопоп лукавый нашей душой овладел, мнимой святости словес его и жизни ради... И церкви все, почитай, погорели Божии. Только алтарь, при котором служишь ты, владыко, уцелел произволением, чудом Господним. Ты же не остался при алтаре своем... Вышел из Кремля, со стены спустился, чуть не расшибся насмерть...

— Удушения дымного ради, сыне... И то Бог покарал; сам ты напомнил: расшибся весь, гляди, тогда...

— Вестимо, отче, что дым душил... Да ведь вера — горы подвинуть может, не то пелену дымную раздрать... Как же ты испужался, прочь пошел?.. Прости, что пытаю тебя, владыко...

Опять настало молчание. Со вздохом сокрушения вырвалось наконец у Макария:

— Согрешил, маловер... Творил свою, людскую волю, а не волю Божию, явного погубления своего ради...

— Так же и я, отче, маловерен!.. Коротка душа, чтобы на волю Промысла себя и судьбу жены да сына предать... Оттого и о пристановище чужеземном удумал... Так не суди ж меня, отец... Больно я людишками злыми напуган, ведомо тебе довольно об этом...

И чуткий, находчивый юноша-царь, довольный, что сумел отразить мягкий, но серьезный укор уважаемого советника, даже головой кверху встряхнул, словно груз с нее свалился тяжелый.

— Вижу, вижу, чадо: зреешь ты, словно плод некий, дивий, перстом Господа отмеченный... Будет прок царству от тебя. И

можно мне с тобой, как с мужем, наравно толковать, а не поучать, как дитя, как отрока юного...

— Аминь, владыко!.. Сам я тоже порой словно вижу и слышу в себе голос некий, образ мужа царственного, каким я быть бы желал... И учит он меня, и зовет, и ведет... К славе, к величию, к покою всей земли родной... И так хорошо станет мне тогда, и страшно, словно дух владеет мною незнаемый, и холод по телу, и жар в голове... А перед очами словно пелена разодранная, и все грядущее видно... Цари идут, витязи предо мной преклоняются... Славу люди поют... Клир священный... Вот совсем как при входе моем в Москву зимою этою... И без конца вижу я те светлые дни. Пророчество это, что ли, души моей? Али соблазны? Как мыслишь, владыко?.. Как, помнишь, «Некий» возвел Сына Человеческого на гору...

— И царства земные Ему казал?.. Все быть может, чадо. Блюдися гордыни земной. В смирении — Бог чудеса творит... А мы — черви, тли ничтожные... Это помнить надо...

—Помню, отче, помню!.. — с легкой досадой разочарования, даже ногой притопнув, откликнулся Иван. — Да и все кругом — забыть мне того не дают. Не то что души полет, царскую волю мою пеленают, стискивают, словно бы я — тот же отрок, что у них под указкой так долго ходил... И царство они же пеленают да кутают... На каждом шагу препоны кладут мне!

— А что там еще приключилось, государь? Скажи.

— Да все то же... Вон сам видел только что: агличин от своей земли к нам добрался, страху смертного не устрашился... Значит, корысть их манит великая! Да и нам от них — добра немало ждать можно. Не соседи они ближние, нет им нужды подкопы под нас копать, землю нашу рушить... Сам ты об отце моем, о деде в Книгу в Степенную писал... Как они старались на Москву науку чужую залучить, людей знающих... Царем быть над медведями — велика ли сласть?.. Вон, сказывают, как иные крули заморские живут, у которых держава-то вся — вотчины нашей малой не стоит!.. Смотреть — любо-дорого. А у нас — меха да сало... Что получше — все чужими руками делано: и наряд боевой, для охраны земской, и все... А боярам — дела нет...

— Так, так!.. Что ж, и мы не спим, скликаем народ полезный. Вон, целая слобода Немецкая у тебя под Москвою под самой: и ратных и сведущих иноземцев в ней немало... Для обиходу хватит.

— Для обихода дворцового, да не для всей Руси... Царство наше поболе, чем шестьсот годов стоит. Беда, лих, на край земли мы загнаны. Всякая нечисть: монголы, татарва, литва, прусы и

люторы проклятые — все нас трепали. Пока не окрепла земля... Теперя — на своих на ногах держава русская, вот словно и я бы сам... возмужала... сил набралась. И обоим нам, царю и царству — доля горькая. Пестуны непрошеные, дядьки да мамки стародавние — шагу лишнего ступить не дают. Волю сымают... Забывают: не малолеток я. Созрела держава русская. Вперед пора: к морю-окияну Студеному, к морям Середьземному, да Черному, да Хвалынскому... А к Варяжскому — первей всего! Прадед мой Царьград воевал... Колывань* — более полтыщи лет назад — была наша дедовщина, Рюрикова... Вся земля за Иван-городом наша же... Дед Ярослав всю Ливонию воевал, Юрьев-городок ставил, церкви тамо заводил... Киев стольный град — колыбель царства... А она у поляков в руках, у Литвы поганой... И вот, с Казанью порешивши, — мыслил я сюды, на Сивер да за заход солнца ударить... Старых отчин, дедовщин воевать. Свейский Густав — стар старичок, в дела наши не вступится. Вон, ратники его Орешком-то нашим как подавились, не взяли небось! Кристьян Данский — стар же. Вокой, знай, на просторе... К морю Варяжскому, Балтическому живо подобрались бы. Да не одним концом, как при Орешке стоим, а на всей вольной волюшке. Оттуда и в Аглицкую землю, и во Фряжскую — открытые пути. Поморы свои тут осели бы, как на Студеном море, — и пошла бы работа! А советчики мои одно зудят: «Куй железо, пока горячо! Взята Казань басурманская, дальше юрты забирай... Астрахань, Черкасские земли... Крым!..» Не смыслят того, что за дальним погонишься — ближнее уйдет! Астрахань — она не нынче завтра сама наша. Тамо мы, если не закупили, так подкопали все: и силу царскую, и думу их нечестивую, мусульманскую... Чеченские князья — сам ведаешь, владыко, — как прознали о гибели казанской, так и потянули к нам. Вон палаты полны у меня от князей да послов ихних. Грузинская сторона православная — прямо наша, и толковать нечего. А ежели мы туды зря теперь, силом кинемся, кровь да казну терять станем на покорение сыроядцев-кочевников, — люторы, соседи лихие, враги неутолимые, за ум возьмутся, воедино сольют города вольные да бискупства свои. Тогда не угрызть нам их... И ничего-то этого не разумеют советчики мои, поп с Алешей... Вот что горе мое, обида лютая!

Вскочив, Иван заходил крупными шагами по небольшой митрополичьей горенке.

— Так, так! — вторил ласково Макарий, хорошо знавший все,

---

* Таллинн.

о чем говорит Иван. Но понимал владыко, что юноше хочется и надо высказаться, душу излить, — и не мешал порыву сердцеведец...

— И ведь никак не поймут, гляди, что миновала ихняя пора! — стукнув рукой по столу, мимо которого проходил, воскликнул Иван. — Терплю я пока. Так ведь оно еще хуже!.. Отольются им все слезки мои... О-ох, отольются... Себя не жалеют, дурачье...«Мы-ста да мы-ста!.. Мы — землю с твоими отцами-праотцами собирали, нам и книги в руки!..» А я скажу: пустое дело!.. Конечно, без людей нельзя... Да не тот яблочку хозяин, кто землю круг дерева копал, а тот, кто зерно садил. А зерно мои деды садили, и меня научили, и наследие мне свое отдали... Я и хозяин. Дерево взросло... Теперь землю вскапывать — вред один... Влага дождевая — сама до корней пути найдет... И яблочко я, я один сорвать могу. И не советчики, не равные мне нужны дружинники, а слуги послушные. И будет так... Знаешь, владыко, как мне сейчас думается?.. Вот припомнил я: первый день мой под Казанью... До рассвета дело было. Пошли мы к самому юрту, казаки вперед рассыпались... Воротились, говорят: тихо все, чисто впереди, нет засады за горой. И стало войско передовое на крутую гору всходить. Каждый голова, каждый сотник — своих ратников отдельно вел, поодаль один от другого. Шли, как кому способно было. Где леском, где ложбинкой идут в темноте, ползут, цепляются, карабкаются. Не видно самим: куда идут? — знают одно: кверху надо. Не видит один воин другого. Одна рать от другой — и кустами, и ярами отрезана. И все знают, и заодно свое дело делают. Срываются порой на круче... Во тьме иной и земляка толкнет или, с досады, кулаком двинет: под ноги не подвертывайся! А все вперед лезут... Там иной, общий грозный враг за горою, кого сломить надо. Или самому сгибнуть. Но вот и до вершины дошли. И рассвет заалел, показался. Вожди своих ратников, ратники — вождей узнали, видят друг друга. И Казань впереди... А из нее — наших заметили. И высыпали неверные с кличем, с воем диким... Уж тут не то что каждый за себя, а голова за свою сотню, — два вождя за дело взялись: Микулинский да я, с братцем моим на подмогу. Люди строй строить начали, стеной живою встали. И куда мы, вожди верховные, поведем, куды глазом мигнем — туда все с горы и кинется. Ежели тут да по-прежнему, по-ночному: каждому волю дать, — только бы нас и видели! Избили бы враги поодиночке всю рать христианскую. А как сплошная стена наша с горы кинулась-покатилась комом снежным, на отряды бесерменские как ударила, — так каменная ограда одна казанская и удержала рать русскую, страшную, неудержную, словно прибой морской... Так само и царство... Пока оно в гору шло — каждый

за себя: князья и дружинники, и бояре думные — все врозь да порознь дело государское вершили да делали, а то и свару затевали порой. А как дошла сила русская, земная, государская, почитай что, на гребень горы, — тут каждый знай свое место!.. А хозяин и владыко земли, — я, после Бога... да тебя, отец митрополит! — словно спохватившись, добавил Иван.

Макарий тонко улыбнулся.

— Ну, исполать тебе, Ваня!.. Словно нового нынче тебя я познал. Не мимо сказано: «Во скорбях, и болезнях открывается человецем премудрость Божия». На пользу тебе пошла хворь долгая...

— Быть может, отче! А только, кабы не зазорно, — один старый клич поновил бы я, наш царский, клич дедовский: «С нами Бог!» Еще бы по-новому кликать научил: «В гору все, в гору, вперед, с Бога помощью!»

— Что же, Бог в помощь... Заведи новые порядки на благо Земли... И благо ти будет... А только, мекаю, сыне: не сразу все поналадишь... Время больно тяжелое...

— Тяжелое, владыка... И горячее время. Страдная пора моя царская. Сам вижу! Бой в дому и за рубежом земли ждет меня... Посему, для покою своего, забочусь о грядущем. Великая еще у меня забота есть одна. Вон, первым делом, царство я покорил Казанское. Второе — ты сам мне сказывал: царский титул — в роду у нас, у Мономаховичей, извечно живет. Ты же меня и царским венцом венчал. А соседи, братья наши, короли и государи, даже хан крымский неверный, — не желают чести оказать, звать-величать меня царем Московским... Все в великих в князьях живем мы у них. Покою мне то не дает... Сейчас литовские послы, гетманские, ждут с грамотой... О перемирье просят. А в грамотах — царского титула моего нет же! Были ж они у тебя, владыко.

— Были, были... Все я тебе сказывал, как отвечал им...

— Вот, вот... Упрямы, еретики безбожные! Не величают меня, царя, как Бог повелел! Хоть назад их гнать домой, миру не давши!.. Как думаешь?..

— Мое ли дело тебе на царенье указывать?.. А только полагаю: не лукавство ли тут? Знают, что времена у нас тяжелые... Что мы на люторов снаряжаемся... Думают: и без царского-де титла мир даст Москва! А ты возьми и погони их домой, к магнатам, к Жигимунду Литовскому. Погляди: с пути, с дороги не вернутся ль? Нет ли у них про запас иной грамоты крулевской, с полным твоим царским величаньем? Ведь им тоже солоны пришлись находы московские на окраину ихнюю...

— Да! — с самодовольной улыбкой подтвердил царь. — Немало полону, и городов, и земель у них поотбили... Почитай, к Киеву самому подобралися. Только все им мало. Твердят: Смоленск я воротил бы им! Без того — нет вечного мира меж нами, и быть не может...

— Так им же сказано в ответ и про Киев, и про Полоцк — дедину московскую, и про Витебск — город твой наследный... И про Гомель, что недавно, гляди, в малолетство твое был отбит... Дело бесспорное... Что толкуют зря!

— Не с барами литовскими толку искать! Круль-де ихний отвечает: « Давно Киев мой, — и не тебе, мне царем Киевским зваться пристало... И без Смоленска — миру не быть! А что мечом взято, то даром назад не вертается!» Словно бы мы Смоленск — вертеном воевали! Теперя, правда, после Казани, посговорчивей стали еретики, да все толку мало... Правда твоя, владыко, попробую попужать Довойну с Воловичем. Назад их без миру погоню...

— А про имя свое царское, ко всему, добавь: «Вон и Казанское царство мое. Как же, мол, я не царь?..» И Владимир Святославич крестился и землю крестил, его царь греческий и патриарх вселенский — венчали на царство русское, тако и писался он... Так и образ его, как преставился государь, — на иконах пишут царем во всей славе земной...

— Скажу, скажу... А еще того бы лучше, кабы наново патриарх меня царьградский, дедовским обычаем, соборне на царстве подтвердил... Можно ль так владыко?

— Отчего нельзя? — в раздумье, слегка затуманясь произнес Макарий. — Коли московских митрополитов помазание не довольствует иноземцев, мы и патриарха приведем к соглашению...

— А за казной я не постою... Сам знаю: ничего даром не сделается...

— То-то же, чадо мое... Готовься, развязывай кису... Готовь калиту дедовскую! — улыбаясь закивал головой Макарий, довольный сообразительностью Ивана. — Да и то сказать: на украшение церкви Божией пойдут рубли да золотые червонцы московские! Так и не жаль...

— Не жаль, не жаль, отче... Одначе, прости: сверх меры утрудил я тебя, недужного... И сам затомился... Зато обо всем потолковали. Душу я поотвел.

— Вижу, вижу, Ванюшка! — по-старому называя царя, как звал ребенком, ласково отозвался Макарий. — И всегда пусть тако будет, пока жив я... Царя в тебе, и сына, и друга рад видеть советного... Верь старику... Безо всякой корысти я в деле твоем царском.

— Знаю, вижу, владыко. Только ты да Господь — и слышите надежды мои, молитвы горячие... Знаете душу мою... А иные - прочие? Э! Лучше и не поминать...

И, приняв прощальное благословение владыки, Иван покинул тихую келью.

А хозяин, проводив взглядом державного гостя, долго глядел ему вслед и потом вполголоса проговорил, по привычке людей, живущих одиноко:

— Ну, батько Сильвестр, пробил твой час... Зазнался, видно, мой попик... Высоко метнул... Орленок-то куды разумней этого пестуна, мной приставленного... А уж Одашева?.. Ну, его и подавно надо прочь поскорей... Да тут мне еще царица поможет... А после? Да будет воля Твоя, Господи... И да процветет земля Русская!..

* * *

Две недели не прошло с этого дня, а Данило Захарьин, потолковав с царицей, которой привел нового потешника для развлечения в долгие скучные часы безделья, — явился и к Ивану.

— А что, государь! — спросил он. — Не пожалуешь ли? Новых затей у царицы-матушки не поглядишь ли?.. Фрязин тута один... Раньше в толмачах служил... Потом — его с чего-то далече услали советники твои первые: поп и Олешка... Чуть что не на Рифей, руду искать... А он — и знать того дела не знает. Его дело на языки на разные ведать да шутки скоморошьи играть. Больно ловок. Пытал я фрязина: с чего-де так заслан был? Молчит... Один ответ: «Их была боярская воля. Платили знатно. Я и творил волю господскую: ехал куда сказано, делал, что приказано...»

— С чего же тебе-то на ум запало: вернуть его на Москву, потешника-фрязина? — пытливо вглядываясь в хитрое, довольное чем-то лицо шурина, спросил Иван.

— Так... Государыня-сестрица заскучала... А я про штукаря ненароком проведал. Выписал, потихоньку и от попа, и от Одашева. Чтобы не осерчали, храни Господи... Еще не прибили бы нас...

— Нас?! Прибили?! С ума ты спятил, Данилко!

— Храни Боже, государь... Я — про себя с Никиткой говорю. Людишки мы малые. Не про тебя молвилось... Помилуй!.. Это они только, покуль хворал ты, и могли...

— Ну, буде... Сам помню, что было. Не чай меня подзуживать... Добро уж... Приду твово диковинного штукаря повидать. Сам и повыспрошу его. Что-то мне не то здесь чуется...

— Помилуй, государь. Только сестру потешить — вся и забота была моя...

— Ладно, добро... Поглядим тамо...

И, несомненно заинтересованный речью Захарьина, Иван отпустил шурина, ясно видевшего, что заряд его попал в цель.

Тишина после обеда, после полудня, во всем дворце и в теремах царицыных, — мертвая тишина. Поели — и спать полегли все. И только перед вечернями снова оживают покои и горницы, светелки и переходы. А затем, с курами, при наступлении сумерек — опять спать ложатся, помолившись, чтобы с первой зарею, с первым криком петуха проснуться и новый день так же прожить, как вчерашний прожит.

Среди теремных покоев, в стороне, помещается обширная горница, полутемная, потому что два ее небольших оконца выходят в другую, смежную комнату и только оттуда получают солнечный свет. Обыкновенно и эти два просвета закрыты изнутри ставнями, потому что горница отведена под склад вещей, которые не сдаются в дворцовую казну, но и не находятся в повседневном употреблении, при обиходе царицыном. Тут и наряды ее праздничные, не самые дорогие, в сундуках, и ларцах, и в укладах дубовых: и перины запасные, и холсты тонкие, и серпянка домотканая деревенская, оброчная дань баб деревенских из царских сел и угодий... Много тут всякой всячины в коробах и так, по углам лежит, по стенам развешано, в узелках, в сверточках припрятано... И шелка цветные для вышивки пелен и воздухов, над которыми царица часто трудится, и бисера разноцветные... И много еще разного...

Нынче — кладовая эта прибрана ладненько. Окна так же, как всегда, ставнями прикрыты. Освещена горница восковыми свечами и лампадами, которые зажжены перед неизбежным киотом в углу... Стены, раскрашенные масляными красками, — совсем пусты. Одна, самая широкая, покрыта простынями, сшитыми и заменяющими цельный занавес.

Перед небольшим столиком, какой обычно устраивают себе фокусники всех времен и всех стран, суетится небольшой, черномазый итальянец. Таких много можно было встретить на улицах и площадях западных больших городов под кличкой шарлатанов и кудесников.

На соседнем столе стоит простой, грубой работы, квадратный ящик с одной стеклянной стенкой — первобытный волшебный фонарь. Чечевицеобразное стекло — укреплено внутри неподвижно и может давать только известного размера смутное отражение на стене или на занавесе. Но и того достаточно для

удовлетворения неопытной еще публики, принимающей фокус — за деяния нездешних сил.

Маг-итальянец одет в обычный наряд астролога: в мантии, с высоким колпаком на голове. Черный плащ, усеянный золотыми звездами, серебряными полумесяцами и красными фигурами чертей, — довершал впечатление таинственности и страха, разлитое сейчас в дворцовой кладовой, ставшей чем-то вроде «комедийной храмины» или сцены.

Не в первый раз творится подобное во дворце. При старухе — бабке Ивана, при княгине Анне Глинской — был даже свой присяжный фокусник, часто потешавший и детей, и взрослых при дворе... Но с появлением Сильвестра все подобные «нечестивые забавы, игры и позорища дьявольские» были исключены из обихода царского. И вот, после долгого перерыва, да и то потихоньку от обоих блюстителей царского благочестия, по старине, устроился настоящий вечер.

Волнуется, ходит итальянец у стола, осматривает фонарь... Его очень занимает исход сеанса. Ведь в случае удачи обещано бедняку, что дадут ему возможность, с богатым награждением, вернуться на родину... Избавят его из кабалы, в какую он попал добровольно, связавшись шесть лет тому назад с первым советником царским, Адашевым... И, весь в лихорадке, ждет фрязин урочного часа...

Вот собралась и публика. Немного ее. Человек десять, и все женщины: царица с четырьмя-пятью своими боярынями и девушками ближними, из родственных семей... Наконец явился царь с двумя Захарьиными. И Висковатов с ними. Никого больше.

Сели на места. Царь впереди. Бояре стоят. Царица подальше села, а вкруг нее, за спиной, прямо на коврах уселись девушки. Две старые боярыни на сундуках приткнулись: боязливо озираются и крестятся незаметно, в душе осуждая затею царицы молодой.

Начались и идут чередом чудеса разные и фокусы, основанные на проворстве рук, на отводе глаз... Вещи появляются и исчезают, растут и уменьшаются. Целые волшебные игрища устраивает маг. Вот из пустого кулака вынул он куклу: совсем тата рин... Миг — и литвина кукла в другой руке качается... Ставит фокусник своих актеров на столик, и, покоряясь незаметным проводам и нитям, драться начинают мертвые куклы. Вот на помощь татарину турок ползет, неизвестно откуда явившийся на столе. А за литвином вырос рыцарь ливонский и другой — германский, оба в сталь и железо закованные. С трудом ступают... И накидываются трое на двоих агарян, разговаривают на разные

голоса. И вдруг начинают поглощать, словно удавы, своих противников, вступая в драку из-за дележа добычи, так как трудно двоих мусульман на три рыцарских глотки поделить. Вот уж только двое из пяти осталось... Вот и один из последних упал... Тогда оставшийся, германец, на глазах у всех хватает руками павшего врага и начинает его глотать. Брюхо у рыцаря растет, растет... Лопается... Оттуда сыплется казна золотая и разные драгоценности. А рыцарь падает мертвым. Вдруг, неизвестно откуда, является витязь в оружии: русский богатырь. Он подбирает все принадлежащее мертвым недругам, кланяется царю, царице, по-русски, сносным языком приветствуя их, и внезапно исчезает, словно в воздухе растаял...

— Ай да молодец, фрязин! — произнес Иван, все время с интересом следивший за проделками кукол, порой неудержимо хохотавший в самые забавные минуты. — Добро! И на голоса ловко говоришь... И повадку нашу русскую знаешь: двоих стравить, третьему быть, все забрать, во славу христианства православного... Видать, Настя, и тебя братец твой потешить сумел, забавника такого подыскавши.

— Как же, государь... Я бы не звала тебя, кабы не видела, что стоит того... — отвечала царица, сохранявшая почему-то все время серьезное выражение лица. И только легкая улыбка озаряла его в самые интересные минуты представления.

— Что ж, разве не все еще? — спросил Иван, видя, что маг, при помощи одного из братьев царицы, тушит все свечи, кроме лампад у киота. Но и здесь поставлен был высокий легкий экран, вроде ширмы, так что в покое стало темно.

Иван невольно вздрогнул.

— К чему это темь такая? — нервно спросил он. — Не люблю я...

— Не тревожься, государь! — отвечала Анастасья, словно угадавшая тревогу мужа.

Она теперь встала, подошла к мужу и совсем прижалась к плечу его, словно готовая оберечь Ивана ото всякой случайности.

Иван успокоился и стал с любопытством глядеть.

Фрязин такой же ширмой начал отгораживать столы свои со стороны публики. И скоро свет одинокой свечи, горящей на одном из столов, скрылся от глаз присутствующих. А Захарьин, подойдя к Ивану, объяснил:

— В сей час, государь, чудо покажет фрязин: явление Самуила царю Саулу, как волшбу свою творила ведунья Эндорская... Больно забавно... И тоже на голосах представит: как все толковали они...

Иван хотя и волновался, чувствуя, что вот теперь именно предстоит нечто важное, но овладел собой.

— Ну что ж, пускай колдует фрязин.. С нами Бог, и расточатся врази Его...

— Да воскреснет Бог и да расточатся врази Его! — многозначительно повторил Захарьин. — Начинай, что ли, фрязин! — приказал он магу.

И сразу из-за высокой черной ширмы, отгораживающей фокусника и столы его, полились оттуда, засияли лучи дрожащего света; круглым широким пятном упали на противоположную от Ивана стенку, завешенную белыми простынями.

В круглом световом пятне постепенно стали обрисовываться какие-то фигуры... Царь Саул, в византийском, современном Ивану, наряде царском, с короной на голове, с жезлом в руке. А перед ним — страшилище-старуха, сгорбленная, скрюченная, кидает волшебные зелья в пламя костра, краснеющего у костлявых ног колдуньи.

И говорит она скрипучим голосом Саулу:

— Трепещи! Сейчас уведаешь судьбу свою.

— Не трепещу! Я царь Саул... Являй мне судьбу мою! — властно, мужским голосом отвечает чревовещатель-фрязин себе же самому от имени вызванных им теней.

И вот над прежними двумя фигурами, паря на воздухе, появляется мертвец в пеленах, но с открытым лицом, пророк Самуил, и спрашивает:

— Кто звал меня?

Глухо звучит замогильный голос, необыкновенно знакомый Ивану. Затем, услышав вопрос Саула: «Чего ему ждать?» — тень Самуила грозно изрекает:

— Горе тебе! Гибель!.. Кайся в грехах... Пробил час!..

Иван весь задрожал. Сомненья нет! Этот же самый голос слышал он шесть лет назад на Воробьевых горах во время большого пожара московского, когда поп Сильвестр сумел всецело овладеть душой и волей его... Когда призраков вызвал он и пугал царя адом... Значит, и тогда комедию играли... Смеялись над ним, над верой, над душой его. Сильвестр с Адашевым... какая низость!.. Стыд какой, что он дался неучу-попу в обман...

Неожиданно горький, истерический смех вырвался из груди у Ивана... Все громче, злее звучит... И удержаться не может царь. Вон уж и свет раскрыли, забаву прервали, свечей зажгли много, хлопочут вокруг царя, воду дают, ворот расстегнули... А он все не остановится, в себя прийти не может, хоть и хотел бы... Кое-как прекратился нервный припадок. Сумрачен Иван. Все в тревоге

кругом стоят. Один Захарьин ликует, как ни старается скрыть свое настроение. Теперь несомненно: погибли оба первосоветника, обманом завладевшие душой царя, пленившие его волю на шесть лет.

— Выдьте все... И ты, Настя!.. — приказал Иван, успокоившись понемногу. — А фрязин где?..

Мага уж нет в покое. Убрали его. Но он дожидается рядом.

Все вышли. Входит итальянец, в землю кидается перед царем.

— Прости, государь! В уме не было так потревожить тебя... Потешить мнил! — странным, непривычным говором, но понятно, по-русски молит бедняк.

— Встань. Не сержусь я... И не ты меня смутил... Болен я недавно был очень... Еще не совсем оздоровел, оттого все... А ты мне по совести поведай одно, что спрошу тебя...

— Видит Мария Дева, все скажу!.. Что у нас, что у вас — один закон: нельзя солгать помазаннику Божию, как нельзя Богу лгать...

— Вот и хорошо... И еще мне присягу дай... Вот крест мой: Распятие с мощами Николая Барийского... Ваш он святой, как и наш... Вот — Евангелие... Клянись: никому про нашу беседу слова не проронишь...

— Клянусь, государь!

— Ну и ладно! — хриплым, усталым голосом продолжает Иван. — Скажи: не случалось ли когда тебе, так же вот, как и сейчас, только ночью, из места потаенного, голосить, словно из могилы: «Покайся!.. Гибель твоя настала...» Не случалось ли?

— Случилось единова, государь! — бледнея отозвался фрязин. — Только как ты знаешь? Я и тогда клятву давал, чтоб молчать... Как уж и быть мне? Не ведаю... Гибель пришла для души моей!.. Да и сказано мне было: слово кому пророню — не жилец я на свете!.. Убьют, запытают...

И набожный итальянец стал бить себя в грудь, шепча слова молитвы.

— Не бойсь, не стану искушать тебя. Сам все тебе скажу. И коли выйдет, ты не говори, а кивни головой. Тем присяга твоя не нарушится. Ты молчать присягался, а про утверждение молчаливое — никто не приказывал тебе?

— Правда твоя, государь. Про то речей не было.

— Ну вот... Так слушай: поп один, Селиверст, с тобой дело вел... И Одашев, один из вельмож моих нынешних? Так, так! — видя, что итальянец утвердительно кивает головой, прошипел злобно Иван.

Передохнув и справясь с порывом ярости, царь продолжал:

— Ночью дело было... Вели тебя или везли — сам не знаешь куда?.. Так, так. И в покой ввели, там сокрыли?..

— Да что, государь, вижу: ты знаешь сам тайну мою... А только в покой меня не вводили... В проходе я стоял потаенном с боярином... И дверь распахнул он и приказал: «Говори тѐ слова, какие учил со мной!..» Я и говорил, как приказано. А на стене, видел я, тени разные таким же фонарем наведены были. А для чего оно было? — по сию пору не знаю, понять даже не могу...

Иван так и впился глазами в глаза хитрого итальянца. Но лукавые, черные, бегающие обыкновенно глаза проходимца — теперь так открыто и прямо выдерживали испытующий взор царя, что тот, успокоенный, откинулся к спинке кресла своего.

— Добро... А вещь-то была немудреная. Надобно мне было единого старого, надоедного пестуна попугать, вот я, понимаешь, всю затею и завел... Я сам! Не знал я только, кто помогал моим советникам: попу да Адашеву? Награду я большую тогда отпустил. До тебя дошла ли награда та?..

— Как сказать, государь, дадено мне... А столько много ли, как ты приказывал, не ведаю.

И жадный итальянец в свою очередь засверкал глазами.

— Сколько ж? Сколько дали? — с живым любопытством спросил Иван.

— Да сто рублев... И служба потом поручена... Хоть и не по мне, а хлебная... Только далеко от града престольного.

— Конечно, с глаз моих подальше. Чтобы не вспомнил я о тебе, не доведался правды... Тысячу дукатов выдать я тебе приказывал...

— Corpo di Baccho! Porco de la Madonna! — взвыл пораженный фрязин. Тысячу... А они?..

— Ну, не горюй! — остановил его Иван. — Делать нечего. Сызнова придется теперь уплатить тебе твое... Да стой, подымайся скорей... слушай! — остановил Иван осчастливленного итальянца, который так и рухнул к его ногам, стараясь губами коснуться хотя бы носка царских сапог остроконечных, сафьяновых, разноцветными узорами изукрашенных.

— Клялся ты, фрязин, и еще поклянись: что здесь было — никому не открывать! Мне из-за тебя с боярами моими жадными не ссориться. Так лучше пусть оно будет, словно бы я и не ведаю ничего... И оставаться тебе здесь не след, в царстве моем. На родину поезжай... Поскóрее... Провожатого я тебе дам. Он и дукаты с собой повезет, на рубеже тебе их выдаст — и ступай с Богом на все четыре стороны. Здесь, того гляди, и не выживешь ты долго, фрязин... А мне жаль тебя!

— Спаси тебя Бог, государь. Все исполню, как велишь. Детей и внуков научу: молиться за здравие твое царское... А уж что молчать буду... И на духу не скажу попу нашему!.. Клянусь

Марией Девой! Пусть на душе моей грех лучше остается, чем не по-твоему сделаю...

И так искренно звучали слова осчастливленного бедняка, что нельзя было сомневаться в готовности итальянца твердо сдержать данное слово. К руке царской допустил Иван мага — и они расстались, чтобы снова свидеться только на суде нездешнем, где только и мог бы узнать итальянец, как его провел болезненно самолюбивый Иван, какую услугу он оказал царю, раскрыв ему глаза на хитрость Сильвестра и Адашева.

Взбешенный царь, оставшись один, не знал, что ему начать, как поступить.

— Росомахи жадные... Аспиды подлые, клятвопреступники дьяволовы... Что мне делать? Куда кинуться?.. И мстить-то сейчас не могу... мстить не могу! — с воплем вырвалось у Ивана.

Долго оставался он тут: словно зверь, долго метался по пустынной, полуосвещенной кладовой, прежде чем овладел собой и мог с надменной, холодной улыбкой выйти к ожидающим его за дверьми Захарьиным и жене. Видя, что царь не зовет их и сам не показывается, они все стояли в тревоге и слушали, что творится за дверью...

Но там раздавались только тяжелые шаги Ивана и глухое бормотанье, выкрики его злобные... Стыд, оскорбленное самолюбие, злоба на обманщиков душили царя.

Никто, даже царица не решилась войти туда без зова. Вздох облегчения вырвался из груди у ожидающих, когда Иван с презрительным, угрюмым выражением лица появился на пороге и сказал:

— Благодарствую на потехе, жена... И вам, шуревья дорогие. А теперь за трапезу пора.

И направились в столовую палату, тихие, сумрачные, словно чуя близкую грозу и задыхаясь в атмосфере, полной электричества.

— Ну, крышка теперя и попу, и Олешке! — успел по пути шепнуть Захарьин — Захарьину, незаметно самодовольно потирая свои потные, жирные руки...

* * *

Дня три прошло. Фрязина к рубежу везли под надзором верного человека из близких к Захарьиным служилых людей.

Царь с царицей и с царевичем в дальнее богомолье собрался. Объявлены сборы великие.

Чуть не полцарства объехать предстоит. Из Москвы в про-

славленную Свято-Троицкую обитель, к мощам преподобного Сергия. Оттуда — в обитель, раньше не посещаемую Иваном, к Николе Песношскому; монастырь тот стоит на Песконоше-реке. Затем обитель во имя Пречистой Девы Марии в Медведовке навестят и, через Калязинский монастырь св. Макария, ангела митрополичьего, прямо в далекую Кирилловскую обитель проедут, к Белозерской пустыни, где и городок, и крепость сильная, Белозерская, — среди лесов и болот укрыта, обычный приют властителей русских, если враг опасный нагрянет нежданно-негаданно под Москву...

Там же, в крепости, и тайники большие устроены, где казна царская, родовая, мономаховская припрятана...

От святого Кирилла, давнего защитника и старателя Земли, проедут богомольцы державные назад чрез Ферапонтовскую пустынь, навестят ярославских чудотворцев, князей и святителей мощи нетленные. Дальше, в Ростове, у раки преподобного Леонтия помолившись, побывают и у преподобного Никиты, поклонятся мощам и честным веригам подвижника, а затем на Москву прибудут...

После сцены в кладовой с фрязином Иван ночью же к Макарию кинулся... Долго беседовали они.

Успокоил немного старец возмущенного царя, снова поставив на вид, что карать покуда никого нельзя.

Слишком за шесть лет власти оба временщика на полной свободе большие корни пустили, людей своих везде насажали, советников, друзей завели... Как понемногу они в силу входили, так же постепенно, измором надо ослабить их, ставленников Сильвестровых и Адашевских — своими заменить, а там уже и за них самих приниматься...

Подробно обсудив, как дальше дело вести, — оба собеседника тут же наметили предстоящий путь царского богомолья, Иван принял благословенье владыки, обещая вооружиться терпением.

— Коли я вижу, что изверги в моих руках — подождать не велик труд... Оно еще слаще: поизмываться над ворогом... Он думает: его верх! А ты его и придавишь тут! — с хищным блеском в глазах заявил царь.

Старик ничего не сказал, только покачал головой и отпустил Ивана.

На другое же утро поскакали вестники, сеунчи и гонцы во все концы: коней на заставах готовить, отцам настоятелям весть давать о прибытии семьи царской, на дворы попутные, ямские: чтобы коней сбирали, подводы готовили под обозы царские. По тоням, по угодьям вести даны, чтобы рыбой красной, медом и

дичью запасались рыбари, и бортники, и охотный люд монастырский и царский. Чтобы всего везде вдоволь было.

Всю ночь не поспалось Ивану. А с рассветом — он уж был на ногах, созвал дьяков ближних, бояр большой Думы, в первый раз обойдя Сильвестра, и стал рядить, кого вместо себя на Москве оставить.

Обычно — братья царские заменяли царя во время отъездов. Но Юрий — способен только явиться и сидеть, где ему скажут. Отец Ивана — зятя своего, крещеного царя Казанского, Петра Касаевича наместником оставлял. И роду царского заместитель, и не опасен. Крещеный татарин в цари русские не полезет.

Можно б и теперь Ших-Алея посадить на первое место в царской Думе вместо себя, да он не крещен... Мусульманин... Именитый человек, старого рода ханского, а все же в христианской Думе ему первому не быть.

Остановился Иван на Мстиславском князе. Хоть он и молод, да родич царский, сам роду Мономашьего. И уверен был царь в своем тезке, вдвойне родном и по крови, и по первой жене, царевне Анне, дочери Петра Казанского, двоюродной сестре самого Ивана. Теперь, вот шестой год, Мстиславский вторично женат на дочери Горбатого-Суздальского, родной брат которой, герой казанского взятия, верный и преданный воевода молодого царя.

Так и порешили: тридцатитрехлетнему Ивану Мстиславскому предоставить место царское в Думе, печать и гривну царскую доверить, перстень ему наместничий одеть. И везде князю за царя являться. Ему и послов принимать, и князей приезжих. Только мира и войны без царской подписи вершить нельзя.

Совет уж к концу подходил, когда придверник доложил приставу, а тот царю — о приходе Сильвестра.

— Проси отца нашего духовного! — приказал Иван, с почтением, хотя довольно сдержанно встретил протопопа и указал на место, отведенное для духовных лиц, присутствующих в совете царском.

Мрачен сидит Сильвестр.

Первая обида: совет царь собрал, а его и не позвал. Вторая: посадил не близ себя, как всегда, а на месте, для духовных советников предоставленном. Самое же главное: не посоветовавшись с ним, на богомолье собрался, путь наметил и — велика сила дьявола! — в тот самый Песношский монастырь собирается заехать, куда много лет не пускали Ивана под разными предлогами. А настоящая причина заключалась в следующем: жил в Песношском монастыре, век доживал опальный епископ Коломенский, теперь — монах простой, Вассиан, злой и опасный человек, друг

бывший покойного царя Василия, немало смут и горя посеявший на Руси, из желания угодить самовластному государю, тому самому, который порой не щадил и клира духовного, всемогущего доныне в царстве Московском.

Невольно, по старой памяти, опасались правители: и теперь, гляди, Вассиан Топорков сумеет восстановить сына против окружающих, как умел восстанавливать отца, чтобы самому меж тем выгоды и почести добывать... У каждого из «сильных» рыльце было в пушку. И Вассиан знал о них самую подноготную!..

Молча, слова не пророня, досидел Сильвестр до конца совета. Когда же царь отпустил всех, поп подошел и сказал отрывисто:

— Не дозволишь ли, государь, побыть с тобой часок? Дело есть...

— Что? Просьба али забота какая по собору нашему Благовещенскому, по приходу твоему, отец протопоп? Рад потолковать. Оставайся... — любезно, но очень сдержанно ответил царь.

Совсем поражен стоит Сильвестр. Правда, после этой бурной сцены, когда протопоп промахнулся и чуть ли не открыто принял сторону Владимира, после болезни своей — не по-прежнему относится к нему Иван. А все же этот голос, этот важный прием, обхождение, как с чужим, — прямо непонятны властному пастырю.

Знал недавний временщик, что митрополит не разделяет многих его мыслей и мнений. Но если не другом, так и врагом не будет Макарий Сильвестру и Адашеву! Так решил протопоп. Кто же еще, кроме владыки, может влиять на царя? Захарьины, конечно. Они подбили на поездку к Николе Песношскому, в берлогу к Вассиану, недругу опасному... Они все мутят. Да, люди это — недалекие, мелкие. За собой промашки особой не чует самоуверенный диктатор; он не знает, какая пропасть вырыта ловко между юным царем и обоими его наставниками... И надеется протопоп, что успеет все на старое повернуть. Он ли царю не пригоден, не полезен был столько лет!.. Поймет же Иван... Помнит же он ту ночь страшную на Воробьевых горах!

Быстро эти соображения промелькнули в уме протопопа. Смело порешил Сильвестр пойти прямо к цели. Смело заговорил.

— Перво-наперво, пожурить хочу тебя, сыне. Грешно, грешно! Старика, меня обидел... Советника своего, отца духовного, по обителям по святым собираясь ехать, на совет не позвал... И в Думу царскую не зовешь опять же... Было ли вот все шесть лет такое? Не было, сыне... За что обижаешь? Нет на мне вины перед тобой...

— Какая обида? Я тоже думаю, перед Богом только мы все грешны, а не один перед другим! — загадочным тоном, не то

любезным, не то насмешливым, ответил Иван. — О монастырском пути, не обессудь уж, с владыкой-митрополитом всея Руси толк у нас был... Тебя позвать и не удосужились... Нынче в Думе нашей, опять же, дела все были неважные, духовного чина и не касаемые; рядили, кого на Москве оставить на мое место? Твою думу я знаю: брата Володимира надо бы? — не то спросил, не то с уверенностью произнес Иван.

— Вестимо, князя Володимира. Первый по тебе и есть...

— Вот, вот... А бояре мои иначе удумали, как слышал: стрыечного мово, Ваню Мстиславского над собой посадили. Им с князем сидеть, их и дело. А какая же речь у тебя? Каки дела? Говори, мы слушаем... Да поторопись, отче... Еще у меня заботы есть неотложные.

Ушам не верил Сильвестр. Прямое глумленье сквозило в тоне и в словах юноши, недавно покорного и ласкового, как ягненок, под влиянием внушений его, Сильвестра, и Адашева...

Задыхаясь от подкатившего к горлу волнения, подавляя приступ гнева, протопоп глухо заговорил:

— Не узнаю, воистину не узнаю тебя, чадо мое духовное... Словно подменили нам царя благочестивого. Никогда таким не видывал тебя.

— Вот, вот! Иные люди мне также сказывали: не узнают меня. Да тебе, видно, моя перемена не по сердцу... Ишь, даже жилы на челе напружинились... А тем, прочим — ничего! Приглянулось даже, что я царем хочу быть, а не дитей малым. Так сказывай, отец протопоп: чего надо? Выкладывай.

— Мое слово короткое. Вижу, подпал ты под власть духа гордыни, духа лукавого. Берегись: я ведь и обуздать тебя могу, аки пастырь твой и отец духовный... И за митрополита самого не укроешься...

— Что грозно так?.. Не очень-то, батька...

— Помолчи! Хошь и царь, да молод ты... Когда твой отец духовный говорит, выслушай, чадо неразумное...

— Батько!

— Говорю: молчи! Али канонов не знаешь? Правила позабыл? Не с царем я говорю, со христианином, с своим сыном во Христе... И власть моя иерейская велика есть над тобой... Пока не сменят меня собором, иного тебе духовника не дадут...

— Недолго ждать, батько...

— Да и я ждать не стану. Сам ранее уйду. Слушай, что теперь я велю...

— Приказывай, приказывай...

— На богомолье ты задумал не в пору ехать...

— Как не в пору? А вон митрополит-владыко и все толкуют: самая пора! И Казань взята, по милости Господа... И сына Он же мне послал, Владыка!.. И с одра болезни Его Промыслом святым я поднялся, хоша многим то и не по нутру... Как же не возблагодарить мне Моего Создателя?..

— Э, ладно там... Держать тебя никто не станет. Все же дело доброе... Поезжай, молись. Только в Песношский монастырь, гляди, не заглядывай... Нет тебе моего благословения на то... Да и к Белоозеру тащиться не след с дитем малым...Лето жаркое грозится быть... Заморишь царевича по пути...

— Дядя его, князь Володимер Старицкий, возрадуется...

— Не изверг князь, не Ирод иудейский, чтобы гибели человеческой, смерти дитяти неповинного радоваться. Эй, вздору не толкуй! Подумать можно, что снова стал ты весело ночи проводить...

— Батько!

— Да что, батько? Вестимо, коли поп, так и батька... И то мне сказывали: скоморошества какие-то намедни затевались в терему у царицы. Гляди... Вспомни пожоги огненной дни и ночи страшные... Вспомни горы Воробьевские, где свел нас Господь!..

Побледнел Иван, выпрямился, как струна, кулаки сжал так, что ногти в тело вошли! Но звука не издал, слова не сказал, — задумался только.

Видя смущение и перемену в царе, Сильвестр еще смелее стал. Подумал, что устрашился Иван при воспоминании о пожаре...

И твердо, но спокойнее заговорил протопоп:

— Так вот, окромя Песноши да Белоозера — всюду поезжай, даю тебе мое пастырское на то благословение...

— Благодарствуй, благодарствуй! — совладав с приливом ярости, вызванным наглостью Сильвестра, произнес напряженным, рвущимся голосом Иван, весь охваченный мыслью, как бы побольнее унизить и отомстить за все этому старику...

— Ну вот, опомнился!.. И ладно. И я не стану долго журить... Заживем в ладу, по-старому, тебе на славу, земле на пользу! — примирительно заговорил протопоп, приняв за наличную монету саркастическую благодарность Ивана. — А то знаешь, чадо, как было думал я: не послушаешь ты совета моего спасительного — и уйду я, отрекусь от тебя, и отречется со мной благодать Божия от твоего трона...

— Ой, не пужай, отче!.. Уж не делай ты этого! — все тем же загадочным, нервным голосом отозвался царь.

— Да уж не сделаю... Не сделаю... Послужу тебе и царству, пока силы слабые не изменили... Ну, буди здрав... А если тебе что

шептуны нанесли про меня, — не верь!.. Я у престола служу церковного... Не покривлю душой... Всякая моя дума — тебе и царству на пользу...

— Ну, вестимо... Как же иначе... И людей вы с Адашевым всюду таких же благочестивых, богобоязных посадили мне...

— Верно, верно... Сам понимаешь.. Ну, Бог тебя храни... Прощевай, чадо мое милое... Царь боголюбивый... Знал я, что это все пустое... Наветы ворогов наших...

— Пустое, пустое, батько... А кого ты это «нашими» величаешь?.. Адашева, что ли?..

— Его, вестимо. И много иных, благочестивых бояр и воевод, а не ласкателей и наушников, как иные-прочие... Уж покарает их Господь, помяни ты мое слово вещее...

— Не забуду, не забуду, отче... А ты — не серчай... Не уходи еще сам, подожди, поколь погоню тебя!..

— Как погонишь? — насторожившись, спросил Сильвестр...

— Нет, что я?! Пока не поклонюсь тебе за все твои заботы, советы да молитвы горячие, по коим посылаются мне от Бога милости великие...

— Так верно... И еще пошлются, коли покорен будешь мне по-прежнему!.. — довольный неожиданным поворотом беседы, сказал Сильвестр. — А я уж, так и быть, не пожалею кости старые: поеду с тобой по монастырям...

— Поезжай, поезжай, отче... Помолись... Оно не лишнее николи.

— О-ох, не лишнее! Все мы во грехах тонем... И лучшие, как и буи, шататели подорожные... Ну, здрав буди еще раз... Пойду я... Служба скоро у меня...

И, уверенный в легко одержанной новой победе над душой Ивана, спокойно удалился Сильвестр.

Но как бы он задрожал и растерялся, если бы хоть на миг единый мог заглянуть в грудь тому, кто так спокойно простился с ним сейчас и до двери проводил протопопа как духовника и наставника своего!

* * *

Выступил из Москвы длинный поезд царский, на версту растянулся, если не на две. Царица — в колымаге с царевичем и двумя боярынями ближними.

Иван — верхом, окруженный блестящей свитой. И Владимир тут же, и Мстиславский-князь. Он до Троицы проводит царя, а там и назад повернет. Адашев едет со всеми... Курбский Андрей, недавно вернувшийся из Свияги, князья, воеводы, которые помо-

ложе, все на конях провожают царя. И азиатские царевичи тут из Думы царской, из приказа ратного...

Владимиру указано из Троицкого Посада к себе, в новый удел ехать, в Кострому... Все прежние земли у князя отняты, чтобы оторвать его от прежних слуг и подвластных людей, отнять возможность прежние ковы ковать. Но Владимир, дав клятву в верности, твердо решил держать ее и беспрекословно исполняет, чего ни требует от него Иван.

В блестящем одеянии, увешанный дорогим восточным оружием, едет во главе царской охраны — новый любимец Ивана, Саин Бекбулатович, царевич астраханский...

Царь, подкупленный горячим обожанием азиата, одарил щедро и приблизил к себе Саина, помня важную услугу его в роковой день присяги боярской. И не сводит красивых глаз с Ивана новый его друг и телохранитель, искренно готовый себя отдать на растерзание, только бы оберечь царя.

К вечеру того же дня поезд достиг ворот Свято-Троицкой обители. Как водится, с крестами и хоругвями, со священным пением и иконами встретили царскую семью монахи с игуменом во главе.

Не отдыхая, только стряхнув с себя пыль, прошли все в храм, отстояли службу, приложились к мощам святителя и чудотворца Сергия, отужинали, а там и разошлись на покой по своим кельям.

Наутро ехать собрался было царь, так как далекий путь еще предстоял.

Но недавняя болезнь и слабость, поездка верхом и весенний, опьяняющий воздух дали себя знать, особенно после тяжелой сцены с Сильвестром, перенесенной перед самым отъездом.

Проснувшись, Иван почувствовал, что не может подняться с постели. Голова болит, все тело, особенно грудь, так ломит, что пошевельнуться нельзя; а ноги словно свинцом налитые...

— Ой, Господи, никак ты сызнова занедужил, Ванюша? — всполошилась утром царица, видя, как помутнел взгляд мужа, как он лежит, не шевелясь, хотя пора вставать, в церковь, к заутрене идти...

— Нет, ничего... Так просто, старые дрожжи во мне поднялися... Прежняя хворь, видно, след пооставила. Вели-ка прийти кому из спальников да отцу игумену... Повестить его надобно... Да Схарью ко мне... Пусть поглядит: что Бог сызнова послал?.. Ступай... И не плачь, не тревожь себя. Правду говорю: не чую я худа для себя... Так все это, пустое... Позови же, а сама к Мите ступай...

Исполняя желание мужа, Анастасия призвала очередного ложничего, а сама перешла в соседнюю келью, где помещался царевич, полугодовалый ребенок, со своими двумя кормилками и боярыней-мамкой.

Чтобы не отнимать жены у Ивана и по слабости здоровья царицы, ее уговорили не самой кормить сына, а после четырех месяцев передать кормилкам.

Иван, как оказалось, не ошибся на свой счет: ничего серьезного не заключалось в нездоровье, а все сводилось к общей слабости могучего, но расшатанного горячкой организма.

— Отдохнуть надо денек-другой, а там и снова в путь! — в один голос решили и лекарь царский, и настоятель обители, как большинство старых монахов, сведущий во врачеванье.

И все ушли, желая дать покой и полный отдых царю.

На второй уже день Иван оправился и назавтра решил дальше двинуться.

В то же утро он отправился в собор, к торжественной службе. Отошла обедня, во время которой совершилось обычное моление о царском здравии. Стоявший на«царском месте», направо от входа, у стены, опираясь тяжело на высокий посох, теперь служивший не для символа только, медленно двинулся Иван навстречу игумну, шедшему к царю с просфорой, освященной за здравие государя.

— Бог милости послал, царь-государь! Вкушай во здравие сей хлеб освященный...

— Аминь! Благослови, владычный отче, игумне честной! — склонился под благословение царь.

Когда Иван выпрямился, приняв благословение, глаза его остановились на высоком, худощавом старце-монахе, который стоял позади настоятеля. Явно не русское, смуглое, несмотря на бескровную кожу, лицо, изможденное годами, душевными муками и монастырскими лишениями, поражало каждого своим властным, гордым видом. Темные глаза, усталые и от лет, и от долгой бессонной работы над книгами, все-таки горели умом и неукротимой волей.

Отдав низкий поклон царю, инок стоял и выжидал чего-то.

— А не позволишь ли, государь... Вот брат Максим... Челом бить желает тебе, волостелю, за все милости великие, ему явленные...

Инок снова ударил челом Ивану. Царь, хотя и не видел раньше монаха, сразу понял, что перед ним стоит Максим Грек, пресловутый толковник книг церковных и переводчик их на славянский язык.

Албанец происхождением, Максим всю свою юность провел в путешествиях по Западной Европе, слушал богословие у парижских и флорентийских теологов, изучал языки, историю церкви и минувших царств. Затем, повинуясь влечению к тихой, научной работе, поступил на Афоне в знаменитый тогда Ватопедов монастырь.

В 1506 году отец Ивана, царь Василий, склонный к западной науке и просвещению, пожелал перевести для своего народа на славянский язык многие книги церковные, еще неизвестные на Руси.

Он обратился к патриарху Константинопольскому, прося выслать знающего эллинскую и еврейскую премудрость опытного толковника. Патриарх выслал на Москву двадцатишестилетнего, но ученого Максима. Здесь — Максим Грек явился предшественником Никона, менее его счастливым, но зато и причинившим меньше горя и мук десяткам тысяч людей на долгие годы.

Переводы Толковой Псалтири и других греческих и еврейских рукописей Максим делал сперва на латинский язык, с которого два дьяка-толмача — Димитрий да Васька Зобун — делали новый перевод на славянскую речь.

Но, познакомясь с тем богатством в виде древних рукописей греческих, какими располагало книгохранилище княжеское и митрополичье на Москве и в разных монастырях, Максим заявил:

— В Византии самой, в целой Греции ныне не найдется такого сокровища...

И молодой ученый, охваченный своею страстью, стал изучать славянский язык, чтобы самому уметь непосредственно перелагать подлинник на живую тогдашнюю речь. Дело пошло успешно. Василий полюбил редкого человека на Руси, умевшего душу отдать книжному делу, без всяких корыстных побуждений, — и осыпал его своими милостями. Зависть окружающих, особенно из духовенства, всесильного и тогда, как и в прежние годы, — не дремала. Когда Максим, сверяя прежние, полуграмотные переводы священных книг с греческого и еврейского на русский церковный, стал исправлять явные искажения, допущенные малосведущими толковниками и толмачами-переписчиками, так же плохо знавшими свой язык, как и чужую речь, — монахи и попы забили тревогу, подняли бояр, народ, заговорив о «новой ереси»... И волей-неволей великий князь должен был заточить Максима. Гордому, неукротимому албанцу особенно повредило одно обстоятельство: при разводе Василия с Соломонией — он принял сторону этой несправедливо обиженной женщины. После пристрастного «соборного» суда, которым руководил явный враг Максима, митрополит Да-

ниил, — монах-толковник за «искажение церковного писания» — как еретик заточен был в Тверской Отроч монастырь, где томился в суровом послушанье больше двенадцати лет.

Но вот умер Василий, умер Даниил... И в 1540 году «еретикумниху Максиму» дозволено было сперва вместе с монахами появляться в церкви и приобщаться Святых Тайн; а там, по настоянию Сильвестра и сторонников его, перевели Максима в Сергиев монастырь, где жизнь стала легче для несчастного опальника духовного, пятьдесят лет прожившего в России, причем тридцать три года из этого числа — проведены им были в нужде и неволе.

Об одном молил он всех, кого можно, — и Макария, и Ивана, смягчившего его горькую долю: пустили бы его на родину!..

Но в Москве знали, что умный, неукротимо гордый человек мало хорошего, наоборот, много дурного может порассказать на Западе врагам нашим про Русь, про святителей и князей московских...И ни на каких условиях не отпускали Максима, зорко следили, чтобы вести и письма от него не перешли за рубеж — помимо проверки со стороны тех, кому это ведать было предоставлено...

За последние годы особенно стал известен Максим по своей праведной и чистой жизни, Сильвестр, приехавший все-таки в свите царской, — еще с вечера зашел в келью опального инока и долго наедине беседовали они.

Максим знал, что благодаря протопопу смягчена опала, облегчены последние годы жизни его — и вот теперь, исполняя просьбу духовника царского, пошел на свидание с царем, под предлогом благодарности; хотя в душе сознавал: нет оснований благодарить угнетателя за то, что тот стал меньше угнетать, не давая своей жертве полной свободы, на какую Максим имел все права.

Пристально глядя на Максима, Иван, обращаясь к настоятелю и к нему, заговорил негромко:

— Не за что благодарить меня. Я по справедливости смягчил долю страдальца невинного. Прости, брате Максиме, ежели и дальше не все сделано по прошению твоему. Знаешь, ино бывает, и цари не властны в делах своих...

— Царь царей Единый всевластен есть! — глухим, но твердым голосом отвечал Максим, чеканя каждый звук хорошо знакомой ему, но не родной славянской речи. — А на памяти твоей владычной благодарствуй, — спаси тя Христос!

И вторично отдал поклон Максим царю, с трудом выпрямив потом высокий, но дряхлый и слегка согбенный стан.

— Еще моление мое смиренное есть к тебе одно, великий царь! Не дозволишь ли выслушать молитвенника и слугу своего верно-

го? — заговорил он, глядя темными, проницательными глазами в красивые, но усталые сейчас и мутные глаза царя.

— Сказать что имеешь мне, старче? Милости прошу... Гряди за мною, честной отец.

Через несколько минут Максим сидел наедине с Иваном в келье царской.

Сняв верхнее пышное облачение, в простом легком кафтане, царь полулежал на постели, которая так и не убиралась весь день ради слабости его. А Максим неподвижно, прямо сидел на табурете, тут же вблизи, перебирая четки привычным движением сухой, костлявой руки аскета-отшельника.

— Ну что же, старче честной, толкуй, что хотел! — произнес Иван, видя, что гость сидит, погруженный в какие-то думы, словно и позабыв, где он, с кем он.

— Скажу... Поведаю... — медленно, глухо заговорил Максим. — Ведать надлежит тебе царь: не от себя я пришел, а прислан...

— Вот, вот, спаси тя Христос, что сказал. Я и сам так мыслю, что не от себя ты. Благодарить меня особливо тебе нечего... Ну, кто ж послал и для чево? Сказывай? Я и сам так-то, напрямоту, куды больше люблю. От кого ж ты?

— От Бога!.. Бог меня послал...

— А-а-а, во-о-от что! — протянул Иван. — Ну, это иная, особая будет стать. А я мыслил: люди... Ну говори, говори. Не часто теперь что-то слышно, когда кто от Бога да по-Божьему толкует. Все боле земные помыслы да заботы одолели и друзей, и советчиков моих... Толкуй же, выкладывай... Не о пути ли моем, о походе по монастырям сказать хочешь?..

— Вот, вот... О том самом...

— Угу...

— Видение мне сонное было...

— Сонное? Не этой ли ночи?

— Вот, вот...

И старик, словно желая магнетизировать собеседника, не сводя с него сверкающих глаз, стал говорить убедительным тоном все, чему вчера учил Сильвестр, поманивший Максима надеждой, что при успехе миссии — на волю, на родину умирать отпустят старика.

— Снилося мне, что вошел я в храмину некую пустую... И се бысть глас из божницы, там стоящей: «Максиме!» Воззрился, вижу: лик Кирилла святого начертан на иконе, весь сияй, яки жив! И глаголет святитель:«Ступай, возвести царю...»

— Погоди, старче! Коли святитель что поведать мне желал, с

чего ему было тебе являться? А не мне, царю и помазаннику Божию? Подумай, скажи.

— Неисповедимы пути Божии, сыне! Сказано же: «Да свидетельствуют вси языки, яко есть Господь Бог ваш!» Не одним избранным, но и нам, смиренным мнихам, являет благодать свою Христос... Является во всей славе своей недоступной очам мирским, затемненным...

— Так, так... Ну, коли очи мои затемнены, просить стану у Господа просветления. Дальше реки!

— И глаголет святитель: «Ступай возвести царю, — продолжал монотонно Максим, — что напрасные были обеты его: ехати во обитель мою дальнюю с отрочатем малым и супружницей царицей... Безгодное удумал ехание и поотложити подобает... А равно в Николину обитель на Песконоше да не потщится шествовать... В урон ему то буде!» Сказано было — и смолк глас чудный... И лик на дщице иконной изгладился, словно не было его...

— Дивный сон твой, старче... И как раз заодно идет с речами иных моих благожелателей и советчиков. А все-таки обета я не преступлю и поеду. И в Песноше побываю, и у Кирилла помолюсь. Далеко оно, правда. Путь тяжел...Да на бога надежда и упование мое крепкое. Не дурное что: благодарность Богу, молитвы вознести по обету хочу. За что же карать меня или семью нашу царскую? Не истинное твое было видение. И ты, старче, не на добро сбиваешь, а от обета святого уклониться ведешь! Брось лучше... Без сонных видений, по правде живи!

— Всю жизнь я по правде жил! Оттого и жизнь моя тяжка земная... — не то смущенный, не то обиженный возразил Максим. — Авось там, на небеси, Бог воздаст... Да не о нем речь теперь... Что говоришь ты про обет, Богу данный, — так не приемлет Господь обетов, иже с разумом не согласуются... И можно сего ради вящее искупление, жертву Богу принести...

— Чем же, чем,по-твоему, можно заменить данный мною обет, старче честной?..

— А послушай чем... Егда доставал еси так прегордого и сильного бусурманского царства, Казань воевал, — я чаю, тогда и воинства христианского, храброго тамо немало от поганов падоша, кои брашася с неверными крепце по Бози, за православие... Церковь Христову боронили и полегли на поле брани... И тех избиенных жены и дети осиротели, и матери ихние — обесчадели, во слезах многих и скорбях пребывают. И в обители нашей тута же немало их... Твои советники не скажут тебе о сирых, яко не корысть им из того... И далеко лучше, о царь пресветлый, — тех тебе жаловати и устроити, утешающе их от таковых бед и скорбей

многих. Собери их к Москве, к своему граду царственнейшему, там приюти, — лучше будет, нежели те обещания, не по разуму данные, исполняти...

— А! И ты уж, отче, о нашем неразумии царском осведомлен?! Ничего, далей говори...

— Не я скажу! Пророк рече: «Господь всюду зрит недреманным своим оком!.. Сей — не воздремлет, не уснет, храняще Израиля!» Бог — везде сый и все исполняет! Всюду молитва доходит до престола Его. Тако же и святый Кирилл, яко и вси праведники. Не по месту их телесного покоения молитве внимают людской, но по доброй воле нашей и по вере чистой... Сам знаешь то, царь... Учен немало и ты от Писания. Еще только примолвлю: аще послушаешь меня, — здрав будешь и многолетен с женою и отрочатем... Аще же нет... Бог весть, что будет!

Скрытая угроза, прозвучавшая в последних словах Максима, сразу так и взорвала Ивана.

— Начал ты за здравие, старец честной, а свел за упокой! — горделиво заговорил царь. — Что о сиротах и вдовицах сирых тобою говорено — все ладно и не зря было... Не ради обета — по совести моей царской приму и упокою их за кровь, пролитую ратниками нашими под Казанью... А в Песношу и на Белоозеро поеду и поеду же... Как сказал я по своему глупому решению, царскому — так оно и станет, хоть еще два десятка сновидцев и толковников придет ко мне... Прости, старче... Не надо ль еще чего? А эту речь оставим вконец...

— Ин оставим... А боле ничего не надобе мне! Я смертного часу, избавления от земной неволи тяжкой жду... Веришь ты мне, не веришь — твое дело... Мне моя душа дорога!

И вышел Максим от Ивана.

Но тем дело не кончилось.

Сильвестр и Адашев поняли, что вопрос поставлен ребром. Уже не о поездке в тот или иной монастырь идет речь, а о влиянии обоих вообще на царя. Теперь упустить из рук прежнюю силу — никогда не вернуть ее. Иван все старше становится, тверже умом и волей.

И решили сделать последнюю, отчаянную попытку, смело повлиять на суеверный дух набожного царя.

Ранним утром следующего дня был назначен отъезд царский. Но еще раньше, как только проснулся царь, к нему вошли Сильвестр, Адашев, князь Иван Мстиславский, который должен был отсюда на Москву вернуться, и князь Андрей Курбский.

Все они казались взволнованны.

Первый заговорил Сильвестр.

— Прости, государь! Почивать тебе не дали, до зову пришли... Да дело великое... Чудо явилось новое в обители...

— Чудо? Какое чудо? — взволнованный, полуодетый еще спросил Иван.

И, приоткрыв дверь в соседнюю келью, куда ушла царица к сыну, сказал:

— Слышь-ка, Настюшка! Чудо, толкуют, новое... Да где? У мощей святителя? Али в пещере его?

— Нет... В келье у старца Максима, государь!

— Максима... Да... Ну, толкуйте: какое чудо? — прикрывая снова дверь к жене, спокойным тоном заговорил Иван.

— Вот, до зари то было, недавно-таки... — начал Сильвестр. — Только монахи ночную службу отстояли, по келиям разошлись... Через два часа — прибегает послушник, что спит в келье у старца Максима, дряхлости и недугов его ради, — и говорит игумену: «Дивное нечто творится в келье у нас. Лег я заснуть. И старец мой уснул же. А вдруг, гляжу, свет у киота, что в углу... Тамо все свечи, словно к празднику, зажжены и лампады неугасимые, все четыре сияют! Сам же старец — сном покоится... Думаю: он возжег и уснул. Погасил я свечи и лег. А меня ровно толкнул кто через недолгое время. Прокинулся я со сна, — сызнова светятся иконы, зажжены огни... И так до трех раз. Взбудил я старца, — говорит послушник, — пытаю его:«Ты, отче, свечи и лампады возжег?» — «Нет! — говорит. — Это все возжено Божиим некиим произволением... Чую: дух пророческий нисходит на меня... Пойди, позови советников близких царя... Скажу им нечто ». Тогда игумен, выслушав, за нами послал, за тремя. А по пути князь Ондрей попался, шел ратников подымать. Мы и его позвали. Приходим в келью к Максиму, а той...

— О моем пути царском и о моих судьбах прорицать стал?

— Угадал, государь... Желаешь ли выслушать?..

— Отчего же, говорите... Занятно... Занятно...

— Страшно, а занятного — мало будет, чадо мое! Слушай! Стоит старец, как мел, бледен ликом, трясется и глаголет: «Прорицаю царю: да не противится совету моему и вашу. Бог того не хочет... А ежели презришь, царь, поедешь в путь дальний и на Песношу же придешь... И не послушаешь меня, по Бозе советующа... Забудешь кровь мучеников — ратников, избиенных от поганых за правоверие, презришь слезы сирот и вдовиц, поедешь с упрямством... Ведай о сем, царь, иже сын твой умрет, не возвратится оттуды жив! А послушаешь — все живы и здравы будете!»

Сильно передав пророческие слова Максима, Сильвестр остановился, желая поглядеть, какое впечатление произведут они на

царя. Но Иван стоял спокойный, непроницаемый, холодный. Словно даже не слышал того, что говорили ему.

И вдруг обратился к Курбскому:

— Брат твой скончался, я слышал, от ран?

— Скончался, государь... — опешив от неожиданного и неуместного, казалось бы, вопроса, ответил Курбский...

— Семья у него большая осталась...

— Сам ведаешь, государь...

— Да, да... Как думаешь: надо нам позаботиться о них?

— Бог сирот не кинет, государь... А на прочее — твоя царская воля...

— Моя царская воля, конечно... А вон, слышишь, чудеса творятся... Мою царскую волю почему-то изменить хотят. Мних, старец дряхлый, еретик оглашенный, узник былой — видения видит, кои против моей царской воли идут. Он ли мне указ?

— Государь! — опять заговорил Сильвестр. — Не ладно ты молвил. Чем старца коришь? Узами и темничным смирением, и гонением мирским... Помни, и Господа Христа гнали фарисеи лукавые... Отринь гордыню, чадо мое... Ежели мних тебе, владыке, прорицания вещает — не ложны слова его... Помни, царь, аще и почтен от Бога царством отцов его, но дарований не получил, — обязан искать не токмо у советников ближних, но и у простых людей, умудренных опытом и разумом... Понеже дар Духа дается не по богатству и силе внешней, но по праведности душевной... Давид из пастухов на трон восшел...

— Вот, да, да! — подхватил Иван. — Как мыслишь, Алеша: и ныне бы не худо Господу явить такую милость Свою пастуху какому ни на есть? А?

— Никак не думал я о том, государь, и не могу ответа дать! — поняв намек, произнес Адашев, стараясь по-старому поймать взор царя и внутренней, тайной силой внушить ему покорность словам и желаниям своим.

Но Иван упорно избегал посмотреть в глаза Адашеву, даже спиной к нему встал и произнес:

— Благодарствуйте на вестях... А теперь...

— А теперь? — не выдержав, спросил Сильвестр.

— Князь Иван! Ты — на Москву ворочайся, град мой державный блюди... А нам — колымаги подавать... Я верхом не поеду... И на Песношу, в путь трогаться! — громким, повелительным голосом приказал царь.

Молча все отдали поклон и вышли из кельи, где Иван стал быстро в дорогу снаряжаться.

Выйдя на крыльцо, царь подозвал Саина Бекбулатовича и что-то шепнул ему.

— Будь покоен, великий государь!.. — гортанным своим говором ответил царевич. И во весь путь, с лучшими воинами так и не отходил от колымаги, в которой ехала царица с Димитрием и мамками его. И потом, днем и ночью, у дверей ли кельи, в саду ли, куда гулять носят царевича, неотступной тенью следит за ним са́м Саин Бекбулатович или один из самых надежных удальцов-казаков его астраханских...

* * *

Вот прибыл и к Песношскому Николину скиту царский обширный поезд. Здесь, на Яхроме-реке, в которую впадает речонка Песконоша, суда приготовлены, на которых дальше по воде поедет Иван. Из Яхромы — в Сестру-реку, затем — вниз по Волге до места, где в нее впадает река Шексна. А по этой — вверх начнет подниматься флотилия до самого Белоозера, где и Кириллова обитель крепкая стоит.

Последняя искра надежды погасла здесь у сильвестровцев, когда Иван, прослушав молебен в монастырском храме, прямо прошел в келью к ненавистному всем старцу-заточнику Вассиану Топоркову, который в свою очередь горячо ненавидел всех сильных людей при царе, в убеждении, что они строят ковы и гнетут его, Вассиана, не желая видеть вблизи юного царя опасного для себя соперника.

Бывший епископ Коломенский, монах прославленной Иосифлянской обители, первый друг и советник покойного Василия, Вассиан неуклонно служил той же идее единодержавия, которую так ревностно проводил в жизнь отец Ивана IV. Ни жестокость, ни хитрость не считались дурным средством у обоих, если надо было достичь заветной цели. То, что с трудом прощалось господину, стало всем особенно ненавистно в слуге... И Вассиан сразу испытал на себе всеобщее озлобление, едва умер Василий и княгиня Елена, ценившая монаха. Возмутили народ против Вассиана; епископ едва не был побит каменьями; потом схватили и заточили его в дальний монастырь...

Вельможи долго мешали юному Ивану вспомнить о советнике, о друге отца, и повидаться с ним. Но события катились своим чередом, и сын Василия пришел за советом в келью к человеку, помогавшему московским князьям ковать русское самодержавие. Напрасно только так волновались перед этим свиданием напуганные сильвестровцы... Ничего или очень мало нового сказал Вассиан Ивану.

Вот сидят они один против другого.

Желтоватое, одутловатое, полное лицо Вассиана с редкой,

седой бородой и такими же усами — чисто русского склада. Две горькие, презрительные складки глубоко залегли по углам рта, который все словно пробует что-то, словно жует, — старческая, неказистая привычка. Глаза — небольшие, серые, тускловатые, странно выглядят из-за круглых больших очков в медной оправе, с сильно увеличивающими стеклами. Стекла эти особенно выпукло показывают лежащие под ними мешки — подглазины старика. Каждая складка, каждая из бесчисленного количества морщинок, окружающих глаза, так и вырезывается под этими круглыми стеклами. И получается впечатление не человеческой головы, а головы огромного сыча или филина, чему особенно помогают и клочки седых волос, торчащие во все стороны из-под скуфейки...

В пути еще часто думал Иван: «Недаром так опасаются Топорка мои други милые! Он мне даст палку на них... Пооткроет глаза! Посеку я главы непокорные...»

И первым вопросом его было:

— Научи, отче, как бы мог царствовать я отцовским обычаем, дабы великих и сильных своих вельмож и стратигов в послушанье иметь? Не запомнил я отцовых обычаев царских... А в книгах и летописях — что прочесть можно? Да и кроют от меня многое, что им на вред, а мне на науку пойти может. Ты же видел царство родителя. Поведай, научи меня!

Тягуче, медленно, каким-то бабьим голосом, не заговорил, а скорее зашептал Вассиан, все оглядываясь на двери, не подслушает ли там кто обычаем монастырским. Здесь не отстают и от дворцов, где, как известно, даже стены имеют уши, и очень чуткие.

Брызжа слюной, шепчет шепеляво Вассиан:

— Скажу, скажу... Давно я поджидал тебя... Все продумал. Не взошли бы... Не помешали ... Не услыхали бы...

— Не бойся! Я не велел тревожить нас. У дверей — моя охрана стоит верная. Чужие не подойдут.

— Ладно, ладно... Они — лукавые... Они подберутся... Да я тебе по тихости... На ухо скажу... Первое дело, аще хощеши самодержавцем быть, — не держи себе ни единого советника, которого почитаешь за мудрейшего себя. Понеже сам — ты лучше всех, аки от Бога помазанный. Тако будешь тверд на царстве. Сам про все осведомься... Всему — научись... Знай свою волю и твори ее! Глупых не слушай по их глупости. Аще же будешь иметь мудрейших близу себя — по нужде, поневоле будешь послушен им. И минет самодержавство! И земля узнает, что ты не царь, а сам в послушании у советников.

— Великое, справедливое слово твое, отче! Да ведь и без людей нельзя. С дураками царства не управишь. Дурака и купить,

и обмануть легше... как же быть? И вне, и внутри земли врагов не мало... Как же быть без помощников, без советников?

— Э-э-эх, малый... Ты слушай меня! — с досадой отмахнулся Вассиан. — Не говорю: вовсе мудрых прочь гони. Нет! При себе, во дворце, на Москве не держи. Кто самый мудрый да хороший у тебя, того на самую окраину пошли, к самому трудному и опасному делу приставь. Он дело там сделает, а слава на Москве — твоя. Гляди, от Москвы и по всей земле твоя же слава пошла. А как знают люди, что много у тебя мудрых ближних помощников, ино дело сам ты состряпал, а чернь бает: «Тот-то да тот-то за царя дела вершит!» К умникам и прут все. Умники твоей силой и разумом величаются... Казну твою хитят... Вот слово мое какое... Уразумел ли?

— Уразумел, отче... Дай руку твою облобызать за совет драгоценный! Еще и отец был бы ми жив, такого глагола полезного не поведал бы мне!

— То-то... Ты уж молчи, знай... Слушай, коли Бог привел нам свидеться... Я им насолю... Я научу тебя! — с нескрываемой и понятной Ивану злобой шипел Вассиан. — Чем им, подлым, так ты сам лучше чужими руками жар загребай... Землю ихней кровью покрепче склеивай. Нищают пусть, грызутся, яко псы,из-за подачки твоей да ярмо тянут, яко волы сельние. А ты всем пользуйся. Ты — хозяин, все твое. Да стравливай их почаще. Да не давай долго на одном месте сидеть, друзьями заручаться, от поборов богатеть. Ты — царь... Твоя вся земля... Твоя рука владыка... Сильные роды разоряй, подлых людей в знать веди. Первые слуги тебе будут. И гляди за всеми... Что тебе надо — ты берешь хозяйскою рукой. Ты одного не разоришь, чтобы иное поправить. А умные советники твои?! Крышу сымают, чтобы окна закрыть! Им гривну надо, а они на целый рубль серебра урону тебе царского причинят. Натворят, напортят, нашкодят... И-и!

И Вассиан от ярости на воображаемых грабителей казны даже закашлялся...

— Правда твоя, отче... И сам я часто также смекал...

— Еще б не правда... И еще от них горе: умный урвал от ума... А дурак увидал — себе тянет. Смерд боярину грозит: не смеешь-де мне перечить! У самого — рыло в дегтю. Тянут оба заодно. И такое решето выходит на место строю хозяйского, что беды! А как сам царь — голова, и награждает он, кого хочет, как похочет и за что вздумает. И лестно такому царю угодить... И слуги боятся его... стараются милости добыть... А не то, чтобы обмануть государя за спиной советников царских купленных...

— Знаю, знаю, отче! Полземли так уж роздано ворогам моим, чтобы против меня же стояли. Отцовские села и города невесть кому дадены...

— Вестимо... И не то еще будет, коли за ум не возьмешься...

— Да берусь уж, кажись... А после твоей беседы...

— Да, да, да... Так их, так их, так их... Скорпиями, бичами треязычными... Не стоют они лучше! — с пеной на выпяченных, бледных, бескровных губах шипел Вассиан, словно видел уж, как принялся Иван за слуг своих непокорных.

И долго еще читал шипящим голосом старый озлобленный монах свой урок хозяйничанья в земле юному и внимательному царю Ивану, и без того исполненному глухой вражды ко всем, окружающим его, советникам и временщикам зазнавшимся.

Темнее прежнего было лицо Ивана, когда он вышел из кельи, сел на большую барку, где был раскинут шатер для всей царской семьи, и приказал двинуться в дальнейший путь.

— Пропали мы! — объявил в тот же вечер Адашев Сильвестру. — Видно, все он узнал... Да и царица не промолчала, поди, насчет попытки моей...

— Пустое! — ответил упрямый протопоп. — Не больно легко и свалить нас, сам знаешь! Видишь, все идет по-старому. Мы — при царе, — и земля цела. Нас не станет — царству поруха! Не может же он забыть наши советы добрые. Всю удачу, какую мы ему несли до сих пор... Не забудет он и ночи той пожарной, когда... припугнули мы его, мертвых показали легковерному... Пожди, все перемелется, на прежнее повернет! Особливо есть тут способ один... Потом потолкуем! Одно знай: не уступлю я!

И оба, успокоясь, легли спать под наметом другой барки, плывущей вслед за царской.

А если бы знал Сильвестр о встрече фрязина с Иваном, конечно, об одном бы Бога стал молить: чтобы забыл государь ту пожарную ночь, когда был так грубо обманут и на шесть лет заключен словно в неволю.

* * *

Быстро, весело, с говором и песнями гребцов, а то и на парусах при попутном ветре спускались барки поезда царского сперва вниз по Сестре, а там — и по верхнему плесу Волги, до самой Шексны, где подниматься вверх пришлось, и сразу поездка замедлилась.

Но дни стояли светлые, теплые, совсем майские, хоть май уж минул, да и июнь — тоже почти прошел, и близок знойный июль,

месяц первой жатвы, страдная пора на Руси. Здесь, на воде, — даже зной не особенно ощутителен. Прохладой тянет от глади речной, из кустов и камышей прибрежных. Волны плещут, ласкают, баюкают...

Ивану и Настасье казалось, что никогда они еще не были так счастливы и не любили друг дружку, как в эти чудные, теплые, ясные дни...

Избыв войну, болезнь, опасность возмущения боярского, Иван словно ожил здесь. А решимость начать последнюю борьбу с непокорными слугами, нанести решительный, смертельный удар всем похитителям воли и власти царской — эта решимость придавала словам и движениям юного государя какую-то силу, зажигала глаза особым огнем! И не могла налюбоваться царица порой на супруга своего богоданного. Горячо, беззаветно ласкала его и сама принимала ласки горячие...

Одно заботило Ивана: здоровье ребенка-царевича. Не поверил он печальному предсказанию Максима, но принял его за скрытую угрозу со стороны тех людей, с которыми решил вступить в борьбу.

Наедине с царицей, ночью, он ей шептал не раз:

— Не Бог, сами Селивёрстовы да Адашевские приспешники, да дружки брата Володимера попытаются извести у нас сыночка, загубить семя наше царское... Все им надежда: авось не мой род царство унаследует, а ихние пащата...

— Спрятать, увезти куда младенчика, сокрыть бы его?! — заражаясь страхом Ивана, вся побледнев, шептала царица.

— Куда спрячешь тута? На воде как на ладони. А недруги: поп и Алешка, видишь, не зря увязалися... Вот приедем на Москву, иное дело... Там, покаместь Бог нам еще сына али двоих не пошлет, — мы энтаго укроем... Подменим, што ли, до поры... Чужого возьмем. Своего спрячем... Убьют подмененного, отравят ли — не беда... Пройдет время, а я и скажу им: «Што, аспиды! Промахнулись?.. Вот сын мой единокровный... А то — чужак был! Напрасно брали грех на душу, проливали кровку детскую!» Ну а до тех пор надо нам с тобой личину носить. Ласково принимать своих недругов...

И Иван залился в полутьме неслышным, довольным смехом, предвкушая наслаждение видеть, как изменятся лица у одураченных, изловленных на злодействе врагов...

Но беда была ближе, чем ждали ее. За плечами, не за горами стояло горе царское.

Второй день уж плывут струга, каторги царские вверх по Шексне; второй вечер румяный догорел, вторая ночь спустилась,

тихая, теплая, звездная и бледная в то же время, одна из северных белых ночей. Так пришлось, что поблизости, по берегам, — ни одной обители, ни городка не видно попутного. Прямо спустили якоря с кормы у всех судов, причалили под тем берегом, который покруче. Словно стеной стоит темный, кудрявый от лозняка приречного берег и охраняет путников от свежего заходничка — ветерка, гуляющего ночью по воде и по степи...

Весело было костры разводить, яства варить рыбные да грибные, всякие постные... Петровки еще не отошли. Еще веселей прошла вечерняя трапеза царская прямо на траве-мураве зеленой, где ковры и скатерти браные раскрыты, камчатные, да подушки мягкие разбросаны, чтобы можно было раскинуться поудобнее за походным столом, на сырой земле-матушке... Кончили ужин. А все в шатер не уходят Иван с Анастасией: глядят, как девки молодые из провожающих царицу, сенных, — по лугу бегают, в горелки играют, песни поют звонкие... А эхо им из рощи заречной темной так и откликается...

Царевича с кормилкой — раньше на барку услали, потому как ни тепло, а воздух луговой. Младенец береженый, холеный, из горниц ночью ни разу вынесен не был. Поберечь надо.

И сидит кормилка у колыбели младенца, скучает в шатре обширном, на опустелой барке, порою — песню мурлычит себе под нос, порою — не то дремлет, не то о чем-то смутно думает...

Душно в шатре, хоть и приоткрыта пола одна, где вход. Полусвет в шатре, хоть и мерцают лампады перед походным киотом в углу... А в приоткрытую дверцу — даль виднеется неясная, ночная, и небо голубое, на котором слабо выделяются звезды белой ночи, одной из последних в этом году.

Недолго оставалась одна кормилица. За стенами шатра послышались шаги. Миновав сходни, которыми барка соединена с берегом, кто-то зашагал по настилу судна...Вот в дверях — темная фигура обрисовалась, и быстро вошла сюда боярыня Курлятева, жена князя Димитрия, ближайшего друга Адашева и протопопа. Никто не помешал, да и не обратил внимания на боярыню, ехавшую в свите царицы; никто не спросил, куда идет она и зачем.

— И, чтой-то за духота какая в шатре?! — заговорила Курлятева, чуть вошла. — Так и знала я, что истомно тебе здеся, Марьюшка! Вот медку попить принесла.

Сразу просияло широкое, простое лицо кормилицы, здоровой, мощной телом, но недалекой крестьянки из дальних вологодских волостей, где бабы самые могучие.

— Вот, дай Бог тебе, боярыня... И то, думаю: чево бы мне? Сама не разберу, а словно не хватает чево... А то испить желал-

ся... Апосля ужина... Мед оно ничего и для младенчика, храни его Христос...

— Вестимо, ничего! — подтвердила боярыня, глядя, как жадно припала баба к сулее с медом. — А скажи мне, Марьюшка, зубки-то режутся ль у царевича нашего, сокола ясного? Чтой-то, слышно, словно блажить он стал по ночам?

— Резаться — режутся, — отдуваясь и отирая губы, отвечала кормилка, — а только ен смирный... Не блажит. Вот и таперя: не спит, лежит в колыске — и хошь бы што...

— Ну, быть не может, чтобы зубы резались и не блажил. Мои ребята по ночам и спать мне не давали... Царевичу сколь много времени? Восьмой месяц, никак? Може, и запоздает с зубками-то... А тебе бы надо поскорей царя порадовать. Знаешь, что бывает на зубок?

— Как не знать? — ухмыльнулась кормилица. — Не то у вас, бояр, и у нас, за первый зуб — кормилке подарочек... Это уж...

И, не кончив, она вдруг громко, сильно зевнула, словно сон напал на бабу.

— Подремать манится? — догадалась боярыня. — Ну, я пойду... Только все же дай взглянуть... Пальцем пощупаю: зубка не нащупаю ль? Вот тебе и обнова... — не сводя глаз с осоловелой бабы, негромко проговорила Курлятева.

Подойдя близко к младенцу, она наклонилась над ним и прямо в полураскрытые губки сунула ему свой мягкий, полный палец, который блестел, словно был намазан чем-то. Почуяв прикосновение, малютка втянул в рот палец и стал сосать его с такой охотой, как будто тот был очень сладок. Незаметно боярыня и другой свой палец дала пососать царевичу, приговаривая:

— Агу-агунюшки... Вот увидим сейчас: нет ли зубка-зубочка у нашего Митеньки, у красного солнышка?

В то же время она искоса поглядела на мамку.

Та, вдруг странно захлопав глазами, так и упала на подушки, лежащие на скамье, где сидела до сих пор, сторожа колыбельку.

Внезапный и глубокий сон овладел усталой женщиной. Сонное зелье, всыпанное в мед, сделало свое дело... Мгновенно изменилось приторно-сладкое выражение лица у Курлятевой. Она огляделась. Кругом — все тихо. Малютка, проглотивший что-то, чем были намазаны данные ему пальцы, тоже странно вздрогнул, вытянулся, закрыл большие, ясные глазки и стал глухо хрипеть, словно задыхался, а чрез несколько мгновений и совсем затих.

Тогда Курлятева вынула его из люльки и лицом вниз подложила совсем под бок спавшей мертвым, неестественным сном кормилицы, нажавшей теперь всем телом на Димитрия. Под ли-

чико ребенку Курлятева подложила угол мягкой подушки, лежащей тут же; еще раз огляделась, выскользнула из шатра и быстро перешла по сходням снова на берег, а по дороге — швырнула в воду сулею, из которой угощала кормилицу.

— Заспала кормилка младенчика — да и только! Никто иного и не помыслит... А что я медом угощала ее — не скажет от страху дура, если раньше еще ее царь сонную не пришибет! — подумала Курлятева, незаметно присоединяясь к общей группе боярынь царицыных, стоявших и сидевших на лугу.

Никто даже не заметил ее отсутствия, которое длилось десять-пятнадцать минут. С лишним через час — к стругам потянули все, на покой стали укладываться. Анастасия первая поторопилась к Димитрию. Видит: спит кормилица крепко... Тяжело, громко дышит во сне.

— Экая Марья наша! — обратилась царица к боярыне, шедшей за нею. — Спит, и никого при ней... Выпасть может из люльки Митенька!

И быстро подошла к колыбели мать. Что это? Не обманывают ли ее глаза? Колыбель пуста... Кругом — нигде не видно маленького...

Задрожав, с отчаянным воплем кинулась к мужу Анастасия, восклицая:

— Унесли! Украли. Митеньку нашего вороги унесли!..

Пока Иван, обезумевший от безотчетного страха, от воплей жены, добежал до колыбели, окружающие царицу боярыни успели открыть, в чем дело.

— Где? Кто смел тронуть? — закричал, подбегая к колыбели, Иван. Он был ужасен, с бледными трясущимися губами, с глазами, чуть не вышедшими из орбит. Царица не поспела за ним, она лежала на палубе и билась в рыданиях. Одна из боярынь, вся дрожа, не говоря ни слова, указала царю на скамью.

Там темной грудой возвышалась спящая, несмотря на общий переполох, кормилица, а из-под боку у нее белело тельце прижатого, похолодевшего уже царевича с посинелым, мертвым личиком.

Поняв, в чем дело, Иван кинулся к спящей бабе, схватил ее за горло, сдернул с малютки и продолжал держать и потрясать, пока кто-то подхватил Димитрия и опустил в колыбель, пока огненные круги не заплясали в глазах Ивана... Он отшвырнул полуудушенную, но еще не совсем проснувшуюся бабу прямо наземь, а сам припал головой к трупу сына и безумно зарыдал, не находя слов, не видя исхода своей муке, своему отчаянию... И только одну мысль мог уловить он в своем смятенном сознании, один вопрос жег его страдающую душу:

— Кто это? Кто? Бог ли, за то, что не послушал я старика-монаха, или они... враги мои сумели выполнить угрозу жестокую, дьявольскую?

Пришедшая в себя кое-как кормилица — словно остолбенела, когда ей сказали, что случилось, как во сне она заспала царевича.

До утра, до допроса ее оставили под караулом одного из гребцов — на корме судна. Но как только заснул этот случайный сторож, непривычный к своей новой должности, — баба поднялась с места, где лежала и выла, колотясь о палубу головой, огляделась кругом безумными глазами, в один миг грузно слетела вниз, через борт барки, разбив зеркальную гладь реки, и, после короткой, невольной борьбы с течением, — скрылась навек под водой.

Легко вздохнула Курлятева, узнав об этом поутру. А Ивану так и не удалось решить загадочного вопроса: случай или злодейский умысел людской унес у него первого сына?.. Анастасия — ни о чем не думала. Она горевала и металась в тоске. Усопшего царевича послали в Москву, где и положили его в ногах у деда, в усыпальнице царской, в соборе Архангельском. Объезд царский продолжался своим чередом, только похоронным он стал теперь, а не тем веселым, каким был раньше... Суеверный, тяжелый страх наполнил снова душу Ивана по отношению к двум прежним любимым советникам: Сильвестру и Адашеву. Любовь не возвратилась, как никогда не возвращается она обратно... Но им и не надо было любви царя. Довольно того, что он тих, мягок снова стал... Совета просит у них... Что и как думает этот затравленный человек? Собирается ли мстить в будущем, или разбит он последним ударом бесповоротно и навсегда? — не желали задаваться такими вопросами оба временщика.

— Раньше слушал... Заупрямился, а ныне — снова покорен стал... И хорошо. Надо стараться каждый удобный миг использовать и власть свою закреплять. А там, что дальше будет, — не все ли равно? Было хорошо. Должно еще лучше стать!

Так думали они, так и дело вели, стараясь глубже пустить корни, больше приверженцев насажать во всем царстве, на всех местах и во всех углах Земли.

А Иван, утешая горюющую жену, тихо-тихо шептал ей:

— Потерплю еще... Потерпим, милая, чтобы и нас не сжили со свету. Заклятиями — жизни тебя не лишили бы. Страшно нам... Тяжко нам... Но страшно же мстить я стану нечестивцам, кои царя, как узника, держат! Клянуся: отомщу...

Содрогнулась Анастасия, так свиреп был вид у мужа, так сурово звучал его голос в минуты эти клятв...

Не успели еще на Москву вернуться царь молодой с царицей

своей, чтобы там малютку-сына отпеть, а Рок и утешение им послал. Анастасия в Переяславле, где совершили преклонение у мощей св. Никиты, почувствовала, что снова будет матерью. И с каким-то пророческим видом она сказала мужу:

— Вот увидишь, Ваня, сына я тебе принесу другого... И уж сбережем мы его... Никто, никто у нас его не отымет!

Она угадала: в посту Великом следующего года, почти на Страстной неделе родился сын у них, и в честь отца — назвали его Иваном...

Глава III

Годы 7068—7071 (1560—1563)

Оправясь от ошеломления, от страшного удара, каким явилась смерть Димитрия-царевича, Иван медленно, осторожно, но верно стал приводить в исполнение свою клятву, стародавний, заветный план об освобождении ото всех прежних угнетателей, пестунов-советчиков, явных друзей и тайных врагов или просто — людей, которые могли быть опасны ему и царству, если не сейчас, так в будущем.

Обстоятельства так сложились, что он мог надеяться на полный и скорый успех.

Извне — росла и крепла власть царя Московского и всея Руси.

Через три года после взятия Казанского сильного юрта, — взято было почти без выстрела и царство Астраханское, где, как и в Казани, сидел давно московский ставленник, царь Дербиш-Алей. Вся Волга, эта широкая торговая дорога из варяг в греки и на богатый Восток, — стала русской, после небольших сравнительно колебаний. Астрахань — была много слабее Казани и держалась лишь с помощью сильных ногайских племен, кочевавших в степях за Волгой, и при поддержке хана Крымского, близкого родственника и единоверца Дербишу.

Сгубило юрт Астраханский то же самое, от чего рухнула Казань: вечное несогласие и распри отдельных родов и сильных князей мусульманских, постоянная усобица между отдельными владетелями, некогда губительная и для Руси в ее удельный период. И на собственном уроке научилась Москва, как пользоваться этим недугом у других, у врагов своих... Подарками, подкупами, привлечением ко двору московскому жадных, озлобленных и хитрых азиатов-претендентов, поджиганием страстей, подготовкой междоусобиц — Москва приводила к тому, что ногайские орды заливали степи своею собственной кровью и забывали об Астрахани... Сильнейший князь ногайский Измаил, приверженец Мо-

сквы, — закупленный ею, то и дело вынужден биться и враждовать с племянниками своими, детьми зарезанного им родного брата Юсуфа. Те в свою очередь по целым неделям, как озверелые, режутся целым племенем с племенем детей другого князя, Шиг-Мамая, устилая десятками тысяч трупов родную землю вокруг своих кибиток и кошей... Понятно, когда в 1554 году двинулся на Астрахань тридцатитысячный, сильный отряд русского войска, ни ногайцы-соседи, ни далекий Крым, которому Русь тоже много успела наделать хлопот, никто не пришел на помощь царю астраханскому Ямгурчею, все жены и дети которого попали в плен. Не помогли ногаи через два года и Дербишу — царю, посаженному на трон москвичами, но задумавшему изменить... 25 сентября 1556 года, когда Иван, по обычаю, праздновал день св. Сергия у Троицы, прискакал гонец и объявил, что атаман вольских казаков, Ляпун-Филимонов, выгнал из Астрахани-городка изменника — царя Дербиша, вошедшего в сношения с крымским ханом, — и воеводы московские Черемисинов и Татаринов со стрельцами своими да вятские ратные люди с главным воеводой Писемским вошли в опустелую столицу царства, засели там, укрепили «город», то есть крепость, и погнались потом за царем, который, несмотря на поддержку, полученную из Крыма и ногайских степей, не решился стать против русских. Сперва стрельцы и казаки пожгли всю флотилию, все струги астраханцев, спрятанные в плавнях, в устьях реки, а там в одном сражении окончательно разбили войско хана Дербиша,и пала Астрахань навеки как юрт мусульманский, возродясь как московская «береговая» земля, давая широкий выход в заманчивое, загадочное море Хвалынское...

Все Прикавказье, Чечня, Кабарда — были, в сущности, завоеваны бескровным образом в тот самый миг, когда Астрахань стала русским, крепким передовым городком.

И потянулись с тех пор на Москву разные князьки кабардинские, и чеченские, и шамхальские... И хивинские, и бухарские послы... Одни — принять веру московскую желают, чтобы сильнее поддержку оказал им новый, могучий сосед. Другие — просят не закрывать устья Волги для купцов из Бухары и Хивы, только и богатых, что торгом, который творится при помощи великого Волжского пути.

И замирение Казанской земли — как по маслу пошло. Теперь — нет уж поддержки тамошним племенам нагорным и лесным от враждебной Астрахани, от кочевых ногайцев. Все сплошь Русью стало! Только Крым еще мутит, орды высылает по-старому, города жжет, полон берет! Ну да с ним — дело впереди. Раньше —

поближе, под боком надо управиться. Но и Девлет-Гирею, приятелю московскому, султану Крымской орды — досталось по пути порядком... Земля-то русская уж двинулась! Под Казань ведь было до трехсот тысяч народу собрано...

И в течение трех-четырех лет не только успевали воеводы русские отражать все набеги крымцев, но впервые за все существование этой орды — русский конь ступил за рубеж Перекопский, в заповедные Мамаевы луга, куда воевода Шереметев двинулся со своими полками в 1555 г. Девлет, желая предупредить удар, опередил русских и кинулся было на Тулу. Здесь ждал его сам Иоанн.

Весь обоз хана достался Москве: шестьдесят тысяч коней, двести чудных аргамаков, тридцать верблюдов с вьюками и многое иное. За Тулой — столкнулся хан с Шереметевым и только был спасен тем, что тяжело раненный Шереметев свалился с коня, а русские войска, лишенные воеводы, растерялись.

Но, даже одержав решительную победу над этим сильным вражеским отрядом, Девлет не стал ждать иных встреч с московской ратью и быстро, по семидесяти верст пробегая каждый день, ушел назад, в крымские степи.

На другой год, опережая Девлета, решившего отмстить новым набегом, рать московская показалась у Азова-городка, у Ислам-Керменя, оттуда все разбежались от незваных гостей. Очаков — сдался. И только когда узнала горсть москвичей и казаков, которая, собственно, одною удалью могла достичь такого успеха, — что идет на них «большой» царевич крымский, колга,* с сильной ратью, — вернулись победители той же дорогой, как пришли, по пути еще побив немало неверных мусульман, даже и турок, страшных в то время всему миру...

Устрашенный Девлет отложил свой поход на Русь, отговариваясь тем, что «мор в его земле»... Но и Москва не раз отговаривалась тем же, если надо было воевать, а духу не хватало.

Таким образом, в первый раз казаки и Москва появились в турецких крымских пределах, познакомились с течением Днепра до самого моря. А уж где Русь побывала — туда скоро опять понаведается. И в 1557 году смельчак, хозяин всей Украины, староста Каневский, князь Димитрий Вишневецкий, вступив на службу Иоанну, поставил на Хортице-острове «город» — крепостцу против Конских вод, у самых крымских кочевьев, да так там устроился, что писал своему новому господину, царю Ивану:

* Наследник трона.

«Приходил на меня Девлетка со своими крымскими людьми. Двадцать четыре дня к Хортице — городку моему приступал, так и ушел ни с чем, с одним большим стыдом и уроном. А пока я буду сидеть на Хортице — и хану Девлету никуды войною ходить нельзя и земель вашего маестата* тревожить ему не мочно!»

Конечно, через полгода Девлет вернулся не один, а с турками и с волошскими союзниками, — и Вишневецкому пришлось уйти. Но, получив Белев от Ивана, князь Димитрий много крови и здоровья испортил крымцам во благо Москве.

Уже в 1558 году запросил мира грозный крымский хан, но не добился ничего, так как тон его грамот был слишком неприятен для русского уха.

Собрав сто тысяч войска, Девлет решился на крайнее дело: зимой пошел на Русь. Взманили татарина вести, что путь свободен сейчас на Москву. Царь, говорили, со всеми полками в Ливонии, Ригу воюет и беззащитен остался весь московский рубеж... Но когда полчища крымские вступили уже в пределы соседей и султан Магомет-Гирей, посланный отцом во главе войска, убедился, что страшные для татар воеводы: князь Вишневецкий и боярин Иван Шереметев ждут их со своими ратниками, один — в Белеве, другой — в Рязани, снова ринулись назад крымцы и тысячами людских и конских трупов — так и отметили зимний, тяжелый путь, каким вернулись на родину жадные ордынцы.

Весной 1559 года Даниил Адашев по Днепру, а Вишневецкий по Дону опять навестили Крым. Первый — совершил подвиг большой важности: выплыл на лодках в самое устье Днепра и взял там в плен два больших турецких корабля. Высадясь в Крыму, Адашев со своими полками прошел по берегу его такой же опустошительной грозой, какой не раз проходили крымцы по русской земле. Потом повернул и поднялся до пределов московских, следуя течению Днепра. И все время, на известном расстоянии, шел за Адашевым Девлет, не решаясь вступить в бой.

Тут волей-неволей пришлось Девлету заключить с Иваном мир, на условиях, удобных для Москвы.

Горою встали ближайшие советчики царя.

— Не надо мира! — твердили сильвестровцы и адашевцы, которым трудная война, захватившая Ивана, развязала бы руки во внутреннем управлении.

— Добей неверного хана! — настойчиво твердил протопоп. —

* Величество (титул).

Пусть воссияет Крест православный на месте поганого полумесяца.

Воеводы и бояре, которым крымская война сулила много выгод и почестей, твердили то же самое. Но Иван — мягко, ласково, где удавалось ему, — словом, всячески стоял на своем:

— Дадим хану мир. Иные дела на череду есть!

И мир был заключен.

О чем же думал юный царь? Что замышлял Иван?

Да, он не «думал» даже, а видел, всем существом своим чуял нечто иное, что теперь делать пора.

От рожденья заложен был в нем дар правителя, хозяина земли. Недаром также часто и подолгу зачитывался Иван книгами и хартиями разными, где отмечены были деяния прежних царей, недаром часами разбирал он бесконечные столбцы и записи различных посольских приказов, где толковалось о сношениях Москвы с Литвой да с Польшей, с Крымом да с султаном турецким, могучим и грозным врагом; где отмечены были переговоры и договоры с былой данницей, Ливонской землей, с соседней Швецией, с датскими людьми и с королями да императорами Запада. Живым, внятным языком говорили царю о былом молчаливые хартии.

— Книги — зело много дают, а себе ничего не просят... Не то, что люди! — твердил нередко царь...

Во все вникал, все запоминал пытливый ум Ивана, все впитывала его чуткая, горячая душа...

Порою после такого чтения казалось ему, что он как на крыльях поднялся высоко-высоко надо всей землей русской... И видит ее... И видит всю половину «яблока земного», где, наряду с иными царствами, и Русь необъятная синеется...

Словно живое что-то, лежит она, клубком большим свернулась, как еж, а леса — иглы ежа... По краям у клубка того — зазубрины выщерблены... Это — чужие земли в русскую врезались углами. Все царства — к морям западным хоть одним концом придвинуты... А первая зазубрина московская — берег моря Варяжского, особенно — Ливонский рог (залив), который искони — русским был, а теперь — чужой. И ближе, скорей всего к нему можно придвинуться. Родовые права — за Иваном... Сил на борьбу тоже хватит. Легко разбить расшатанные устои орденской власти, теперь — особенно.

Вон толкуют: знатные — тонут у них в разврате и лени, а чернь — на господ глядя, тоже испоганилась. Некому будет и отпору дать, если Москва насядет хорошенько. А тогда — богатый Запад, с его сокровищами знаний, с приливом новых сил в виде

ученых и искусных людей, — все это станет доступно для Москвы. И не по одним преданиям, а истинным блеском Москва, как Третий Рим, — восстановит картину всемогущего Древнего Рима, владыки... Покончив с Ливонами, — с ближней и легкой добычей, — можно будет и за Крым приняться, от которого ширские степи и быстрые реки отделяют московскую Русь... Крым — не Казань, что под боком под самым у Москвы лежала. Надо широкую дорожку по степям проложить, по которой не текла бы русская кровь, а двигалась бы сила могучая, словно лапы, выпущенные из клубка. И этими лапами легко будет захватить жемчужину дорогую: столицу и власть хана крымского на гористом полуострову. А там? Раньше ли, позже ли... Но вся Литва теперешняя, которая издавна лежит на землях — вотчинах предков Ивана, и Киев святой, и дальний Краков, и Полоцк, удел древний, и Подолье, и Волынь вся, и Витебский городок... все должно вернуться под сень Мономахова скипетра, откуда вырвано было это наследье Ивана в разные годы военной грозою.

Польша? Тогда ее тоже осилить будет нетрудно, без поддержки литовской... Салтан — в Цареграде? На своем ли он троне сидит?! Нет! На троне Палеологов. А мощному царю всея Руси и крулю Литовскому и Польскому — смело западные владыки помогать станут против всеобщего тирана и врага — султана туркского... И тогда корона Византии тоже...

Но тут обрывались мечты Ивана, так как от волнения даже дух перехватывало!

Прежде всего, значит, надо с Ливонами, с люторами злыми покончить... Да тоже умненько. Они, вон, куды чище москвичей живут. Их повоевавши, не сведешь полоном в Москву. Надо и милость им оказать: по местам оставить, с русскими перемешать, чтобы те учились от соседей чистому житью. Пожалуй, шведы помешать захотят. Да те — не страшны! — решил Иван. И он был прав.

Когда в 1558 году крымцы напали на Литву и Польшу, Иван поторопился заключить с этими соседями сносный мир, чтобы все силы направить в Ливонию. И при этом допустил даже, чтобы ляхи не поминали в грамоте его титула нового царского, которого Литва никак не желала давать Ивану...

Старик Густав Ваза, король шведский, еще в 1554 году, придравшись к пограничным недоразумениям, затеял было войну с Москвой. Он, как и Литва, хорошо понимал, что нельзя позволить Москве проглотить Ливонию и навязать себе таким образом опасного соседа. Но сил у маленькой Швеции хватило ненадолго. Русские так опустошили край под Выборгом, столько «полону»

нахватали, что пленного шведа продавали за алтын, а шведку-девушку — за гривенник, предавая их этим в вечную кабалу.

Орешек-городок между тем, теперешний Шлиссельбург, — упорно не сдавался осаждающим его шведам. Ни Польша, ни Ливонский орден не помогли своему естественному защитнику, и скоро Иван получил от Густава грамоту с униженным «челобитьем о заключении мира»... Мир заключен, унизительный, тяжелый для шведов. Да еще посмеялся Иван над стариком. Когда шведы стали просить, чтобы вперед не новгородские наместники, а сам царь вступил в сношение с их королем, им отвечали от имени царя:

— Как было из века — так и будет. Царю Московскому — неуместно сноситься с вашим государем. Первое: пригородки новгородские, Псков и Устюг, — много больше города королевского вашего, Стекольны*. Второе: наместники новгородские: один — князь Федор Даирович, внук царя Казанского, Ибрагима. Другой — Булгаков, Литовскому королю брат в четвертом колене. Князья Михайло и Борис — Суздальские князья... А про вашего государя не в укор скажем: какого он роду? Мужичьего... И как животиною, скотом торговал, и как в Свейскую землю вашу пришел недавно, — всем оно ведомо!

Стерпели и такие обиды прижатые к стене шведы...

В договоре с ними особенно выразилось желание Ивана залучить к себе ученых и мастеров западных, которых ревниво не пропускали ливонцы на Русь.

Покончив с этим препятствием, царь взялся за Ливонию.

Началось дело с требования уплатить старую, позабытую почти за полвека дань, которую Дерпт — Юрьев по-старому — еще в 1503 году обязался платить Василию Иоанновичу. Требуя этой дани, Иван, кстати, упрекнул литовцев в отступничестве их от папы, от католичества и в приятии «Лютерской злой ереси».

Подчеркивая этими словами свое звание «главы христианства», Иван дальновидно заручился с тем сочувствием всех католических владык в походе на западное, хотя и небольшое, государство.

Три года сроку выпросили ливонцы, чтобы собрать эту дань, но, конечно, ничего не дали Ивану, а только постарались укрепиться, нанять побольше ратников во всех концах Европы и ждали войны.

---

* Стокгольма.

Война разразилась в 1558 году с ужасной силой.

Еще в ноябре 1557 года подошло большое, грозное войско московское к границам Ливонии. Сорок тысяч ратников под начальством Ших-Алея, Адашева, Саина Бекбулатовича, Михаила Глинского и Данилы Романыча Захарьина ждали знака, чтобы войти в пределы врага. Особенно страшны были татары Ших-Алея, мордва, черемисы и черкесы пятигорские, которыми начальствовали царевич Саин Бекбулатович и князь Темрюк. Запад знал, что значит нашествие этих диких полчищ!

В декабре приехали ливонские послы к Ивану и стали молить:

— Возьми дань 45000 ефимков, — только не начинай опустошительной войны!

Иван знал, что послы приехали без денег. Эту сумму обещали на месте им собрать богатые купцы московские, заинтересованные в торговле с Ливонией, которая потом бы и вернула долг. Царь согласился принять выкуп и не начинать войны; а в то же время под страхом смерти запретил русским купцам собирать деньги для послов пережившего свою мощь Ордена Меченосцев. Исход понятен. Послы вернулись домой со стыдом, не имея возможности исполнить посула; а в январе 1558 года вся лавина московской рати хлынула из Пскова на Ливонию. И где прошла она широкой полосой на двести верст, там ужас, смерть и кровь остались по ее следам; а вместо людных, богатых сел и городов лежала мертвая пустыня. В феврале вернулись полки назад, к Пскову. В мае была взята сильная Нарва. А перед тем послы ливонские вручили Ивану в Москве 60000 талеров недоимки и военных издержек, словно плату за разгром, произведенный русской ратью в их родной земле.

Начались переговоры о мире, причем особенно старались московские купцы, выручавшие много прибылей от заморского торга с Ливонией. Они задаривали думных бояр. Те влияли на царя. Иван стал склоняться к миру. Между тем уже до двадцати городов досталось Москве в завоеванных землях Ордена. В июле пал сильный, богатый Дерпт, древний Юрьев, отчизна князя Ярослава, или Георгия Владимировича, по христианскому имени его...

Только Ревель, старая Колывань, устоял... Но в январе 1559 года новая рать московская, теперь уже в 130000 человек, также язвой моровой, ураганом смертельным прошла в два края по немецкой земле: до моря Варяжского и до прусских и литовских границ, «не щадя младенцев во чреве матери», как пишет летописец...

Дрогнул Орден. Бессильная Швеция не могла помочь. Обратились меченосцы к Литве и к Польше. Начиная с 1549 года десять

лет у Москвы — ни мир, ни война с Речью Посполитою. Все сводилось к перемириям, которые перемежались мелкими схватками. Короли литовские и польские особенно ясно понимали значение Ливонии для Москвы — и всеми силами всегда помогали Ордену против русских завоевателей... Поляки постоянно подзуживали Орден против «москалей». Сигизмунд-Август писал королеве английской: «Если нарвская навигация для Москвы не будет закрыта, беда грозит! Царь силен и всевластен в земле. А из Нарвы везут ему оружие, прибывают искусники, с помощью которых Иван покорит всех врагов».

И, конечно, магистр понимал, что в случае крайности Польша и Литва станут за него, а не за Ивана, как желал последний. Пока Иван слал послов и «задирал», склонял Литву на вечный мир, чтобы тогда покончить сразу с Орденом, магистр и правительство Ливонское в сентябре 1559 года успело заключить с крулем Сигизмундом-Августом в Вильно такой договор: круль обязуется защищать Орден от Москвы, а Ливония — в лице архиепископа и магистра Кетлера — отдала крулю своих девять волостей. После войны эти волости Орден мог получить обратно, уплатив 700000 польских гульденов своему бескорыстному защитнику — крулю...

В таком положении застал царя Ивана конец 1559 года. Это было по царству. В семье все тоже шло не очень худо.

Анастасия сдержала обещание: кроме Вани-царевича, которому шел уж седьмой год, подарила она царю через год дочь Евдокию, а в 1558 году второго сына — Федора. Только сама, от тоски ли по Димитрию, от опасений ли за жизнь свою и мужа или от чего иного, но стала хиреть и таять царица на глазах у всех. Не слышно больше смеху ее веселого, напоминающего воркованье голубиное. Пропал румянец на щеках. Только огоньками — пятна его порой вспыхивают и гаснут тотчас снова. Но стоит войти Ивану в терем царицы — и оживляется она, шутит, улыбается ему, про детей рассказывает... Мало ли может мать про детей рассказать?! Вон с Ваней, когда ему двух лет не было, явное чудо случилось.

В полдень, после трапезы спали все в терему. Ваня на руках у няньки-кормилки сидел в горнице, на скамье. На той же скамье, в углу, стоял невысокий кувшин оловянный, крышкой покрытый, в котором хранилась святая вода из колодца, что у мощей Никиты-верижника, в монастыре Переяславском зачерпнута. Тут же сидела и боярыня — вдова благочестивая, ближняя слуга царицы, Фотинья. Дремлет мамка, баюкая царевича... А Фотинья и вспомнила: на днях подарил ей монах, пришедший из того же Никитина

монастыря, крестик белый небольшой, словно из камня какого мягкого резанный и сказал:

— Вот, госпожа честная... Есть у царя сосудец некий с водой из колодезя вашего, монастырского. Ежели хочешь от царя милостей великих — окуни сей крестик в ту воду потайно... Чтобы не знал, не видал никто. И что задумаешь в сей час, все исполнится. Только, храни Господь, чтобы никто не знал о погружении. Крестик сей резан из камня при гробнице святителя. Ты сверши с верой, как говорю. А что будет, увидишь.

Взяла вдова крестик, схоронила на груди. Щедро одарила монаха.

Теперь сидит и думает:

— Как раз — пора. Мамка дремлет, не видит... Сосуд тут же стоит...

Приподняла крышку и, сняв с гайтана ладанку, в которой крестик заветный лежит, взяла, окунула его в воду. Что за чудо? Вскипела вода... Испугалась Фотинья, руку отдернула и крест совсем уронила в кувшин. Только успела крышкой сосуд накрыть, а вода так и забурлила в кувшине, даже мамка в испуге проснулась.

— Ой, горюшко! Не протек ли кувшинец, не прохудился ли? — кричит. — Надо позвать кого!

— Молчи! — шепнула Фотинья — чудо это... Царевичу — милость посылается... Гляди!

Смотрят обе, а вода из-под крышки — пеной через край так и бьет... Словно кипит без огня...

Подняла крышку Фотинья, черпает пену, мажет царевича с молитвой, а сама ищет: как бы пальцами крестик свой незаметно захватить — вытащить, чтобы кому не попал, улик бы не осталось... Но того и след простыл: словно соль, растаял крест в чудесной воде...

Царицу позвали — и она видела, как без огня вода кипит, пенится... Тоже стала царевича мыть этой пеной и, шепча молитвы, твердила:

— Пошли, Боже, счастья и силы царской дитяти моему!

Немало поразило такое чудо Ивана. Щедрые вклады послал в Никитину пустынь, щедро и Фотинью одарил... А когда чудо еще дважды повторилось, богата стала совсем боярыня; прочно обстроилась милостью царской обитель в Переяславле, куда сам Иван приехал благодарить за чудо, водою монастырской явленное.

За исключением таких крупных событий — тихо тянется жизнь в теремах царицы с царскими детками.

Иван приходит — и начинает порой толковать о событиях в царстве, о планах своих. Отрывисто, смело звучит его речь. Чего он не доскажет ясно — угадает царица.

— Порадую тебя, Настя! Долго-долго не будешь Одашева видеть, — сказал он ей как-то.

Вспыхнуло от радости лицо у царицы, но она сдержалась и тихо ответила:

— Что же, государь, я для тебя толковала порой... Не прямой он слуга... Дальше — лучше его...

— Вот, вот... В Ливоны сплавил я его... Позвал к себе и ласково так говорю: «Алеша! Мне бы самому ехать надо... Да как царство оставить? Хошь какой я ни есть, — все же чин на мне царский. Замени уж меня, поезжай в Ливоны. По Ших-Алее царе первым там станешь». Много еще сулил ему разного... Ну, он и поддался. И других из ихней шайки туды же сплавил я. Выживут— ладно. А и убьют — не беда... А к ним — Данилку я нашего, брата твово придал да черкешина, Саина-царевича... Милягу мово, друга первого... Верные те люди, все мне передадут, если станут что супротивное лифляндские наши воеводы затевать... Поняла? И нет здесь Адашева, нет Курбского... Курлятева нет же... И не обидел я никого... По следам протопопа — так и сплавил всех.

Иван невольно вспомнил о Сильвестре. Вот уж около году удалился Сильвестр в Кирилловский монастырь, на покой. Гордый, всевластный временщик не мог не заметить, что потихоньку, полегоньку — но уходит власть от него, и навсегда. Все люди: и попы, и светские, раньше им на места поставленные, постепенно вытесняемы были новыми людьми, ставленниками Захарьиных, Макария, самого царя... К пустякам придерутся, жалобу поймают пустую, раздуют ее — и сместят человека, если он был сторонник Сильвестровой и Адашевской дружины.

А раньше, — что бы ни натворил ставленник этой партии, — разве смел им даже сам царь слово сказать?

Владимир Андреевич, князь Старицкий, тот раньше понял, что с неизбежным надо примириться. Двое сыновей родились у царя... Далек стал от самого Владимира трон московский — и нерешительный удельный князь опять постарался войти в дружбу с братом-царем... Иван словно и ждал того... Радостно пошел навстречу Владимиру. Дружба завелась лучше прежнего. Искренно, нет ли? — кому какое дело. Сокрыта душа Ивана от всех людей... И, лишенные знамени, понемногу не только распались ряды единомышленников — бояр и князей, бунтовавших так грозно перед спальней больного царя шесть лет назад, но даже грызться стали они между собой, поддаваясь ловким проискам,

наветам Захарьиных и мягкому влиянию самого царя, умеющего стравливать врагов своих или тех, кого он считал врагами.

— Дал бы тебе эту вотчину, — говорил он порою сильному просителю-вельможе, стороннику Адашева, другу старых порядков, когда царь плясал по воле бояр, — дал бы тебе, да лих шептал мне Шуйский речи негожие: будто ты на Литву бежать собираешься, нас врагам предать готов...

Возмущенный боярин начинал изливать все, что знал про Шуйского. Этому тоже немедленно сообщалось о поклепах, возводимых на него прежним соумышленником, адашевцем... Ну а что дальше было, само собой ясно: друзья становились смертельными врагами, а царь улыбался своей новой, кривой усмешкой, причем и губ не раскрывал. Словно позабыл он смех свой веселый, прежний, громкий и раскатистый...

Только царица и слышала порой тот веселый, заразительный смех, когда царь сообщал ей об удачах своих.

— Слышь, Настя, а немцев побили мы снова же... Как для меня адашевцы, вороги мои стараются! Спасибо старцу Вассьяну за совет!

И расхохочется... Лицо веселое станет, словно помолодеет оно. Тридцать лет нет царю, а выглядит он обыкновенно намного старше... И вечно злой блеск у него в глазах, даже когда смеется он или ласково с нужными людьми говорит, а сам скользит глазами мимо, мимо... Только на миг порой уставится прямо в глаза глазами — и прожжет испытующим, недоверчивым взором своего собеседника.

Да, изменился царь...

И только лаская детей и жену, становится он на прежнего, живого да веселого Ивана похож.

— Слышь, — говорит он царице, — слышь, Настасья! Своих крамольников поусмирю, с Ливонами покончу и за Крым примусь. Приспеет и ему время... Все боле да шире к Летню, к Югу подвигаются грани царства Московского... Не миновать нам драчи с крымцами... Лишь бы Литва на мир пошла... Тышкевич, когда был от Литвы у нас в последний раз, — за малым дело стало...

— Ваня, голубчик, да не довольно ли? Сколько ты земель набрал? Отдохни... Со мной, с детками поживи! — нерешительно отозвалась царица. — Вон, почитай, и не видим мы тебя... Сам — на войну, в Ливоны ходил... И что перемаялась я тогда, Бог видит! Надо ли больше? Вон и отец, и дед твой столько не воевывали... Прославил ты имя свое царское — и будет...

— Будет? Ну нет! Мало, как отцы да деды мои жили! Помене

дано было им Господом, поменей и спросится... У меня вон ныне один удел — Вятский, Беломорский ли — боле всей Руси, которою дед володел... Так и стол мой царский я должен инако держать... Не по-старому! Дома не сидеть мне! Особливо как замирю здесь недругов, задушу крамолу... То-то волю дам себе! Слышь, Настя, не мимо молвится: что плохо лежит — к Москве бежит... Ливоны — дармовой кусок. Кто владыка у них? Князь — рыцарь, майстер по-ихнему, да арцибискуп — поп. Нам ли ею не завладеть?! И Крым — не силен, только боек, особливо без подмоги салтана турского. Сарайчик-то * крымский Казани и Астрахани не грознее: а те — наши... И ему тоже будет... Вот... Польша, Литва? Иное дело! Большие куски, не проглотнуть сразу! Рада ихняя и земщина вся, ничего, что спорят промеж собой; а не укусишь их. Пьяны, да не без разума... Шатаются, да не пали. Ну да авось! Бог один знает, что мне Он на душу кладет, какие думы посылает рабу своему... А придется на Литве подраться, так туды воевод уж не пошлешь. Свое царское величество трудить надобно будет. Да это еще далеко впереди. Говорю: с домашними крысами прежде поуправиться приходится.

Работал хозяин земли русской, но и «крысы», как он их звал, не легко давались в обиду...

Старый, дружинный, удельный строй, уместный раньше, вступил в последнюю, смертельную борьбу с новым державным укладом земли русской, где грани раздвинулись, где усложнились отношения извне и в самой земле, так что понадобилась могучая единичная воля, ведущая, под всеми парусами, вперед всенародную ладью. Не годны стали теперь те сотни поводырей, которые бечевой тянули раньше широкую, неуклюжую барку по мелкому перекату речному, у самых истоков русской государственной жизни. Все ширясь да ширясь, могучий поток этой жизни разлился потом на полмира почти!

Конечно, основа борьбы только безотчетно чуялась бойцами обоих враждующих станов... Но умирать, хотя бы и по воле судьбы, никому неохота. И боярство в последний миг отчаянно стояло за себя!

Упорная, глухая борьба началась на каждом шагу! Боярам было тем труднее бороться, что Иван сумел привлечь народ на свою сторону. И случай, и ход событий — в этом ему помогли. Земля, правда, помнила вече, но она живо помнила и татарщину! Помнила, что единение и сильная власть царская, сменившая

---

* Бахчисарай.

толчею удельных прав, спасла землю от ига мусульманского. В самый разгар борьбы против Ивана, яркого носителя идеи самодержавия, сторонники боярского соуправления землей должны были сохранять внешний вид полной покорности царю, оставаться в границах законности. Поступая иначе, внося смуту в царство, недавно лишь окрепшее, бояре подняли бы руку и на самих себя, уничтожили бы плоды трехвековой борьбы Москвы за свое устроение земское. Могли бы, пожалуй, крамольные бояре и князья и попы, к ним приставшие, поднять бунт против законного царя. Предлог нашелся бы... Толки о вмешательстве Овчины-Телепнева в семейную жизнь Василия Ивановича не прекращались. Иные говорили, что, даже при несомненном происхождении Ивана от Василия, сын наследовал не одно царство, но и смертельный «гнилой» недуг отца... А это — не приведет к добру... Какие дети будут от полубольного, жестокого в детстве самом и развратного в зрелые годы царя Ивана? Начал царь сокращать самовольство грубых, порой неграмотных попов — и новый предлог к недовольству породил он в темном народе.

Но все это и многое другое тонуло за блеском военных удач царя, к которым так падок народ всегда и везде. Оставалось ждать, чтобы царь зарвался на этом пути, потерпел крупную неудачу. И тогда — нанести посильнее удар... А пока — тысячи людей тысячью способов старались помешать замыслам, планам и всем действиям Ивана. Кто успел — убегал к врагам Москвы. Сильвестр и его близкие потакали таким перебежчикам, чуть не явно помогали им... Все это видел Иван.

Тупое, упорное, молчаливое сопротивление, бранчливая распря — сменялись порой и жестокими личными ударами, наносимыми исподтишка Ивану и семье его, как мы видели. Но гнулся, терпел Иван, пока не мог отплатить тем же. Обе стороны боролись упорно, молча, словно опасаясь даже сказать, за что борются.

Но оне сознавали — за что.

И когда начались ужасы опричнины, бояре только упрямо спрашивали:

— Почто бьешь верных? Не предаем мы тебя, мучителя. Губителю нашему служим верой и правдой, не тебя ради, но ради земли всей, ради царства... Почто гонишь?

А Иван, криво улыбаясь, отвечал:

— Верны вы, да не на мою стать! Не на мой самодержавный лад! Я — в дому голова!

И кровь лилась без конца.

Только надо отдать справедливость боярам: все они сделали, чтобы привести к такому исходу.

Особенно ужасен, тяжел был Ивану последний их удар...

Чуя за собой вину по отношению к царице, Адашев думал, и не без основания, что она влияет на Ивана, вооружая его против советников. Сильвестр тоже видел, как сильно повлияло на Анастасию вмешательство протопопа в присягу Димитрию, когда Сильвестр хлопотал за Владимира.

И вот за предполагаемые «тихие, наветные речи» царицы — противники клеймили ее явно именем Евдокии Византийской, а Сильвестра сравнили с Иоанном Златоустом, которого старалась погубить та нечестивая императрица.

И это знал Иван, но должен был молчать и терпеть, довольный удалением протопопа в Белозерский монастырь.

Так настала осень 1559 года.

На обычную охоту в сентябре к Волоколамску уж и не поехал Иван за недосугом.

В Ливонии дела, так успешно было начатые, словно остановились. Пишет Иван наказы и письма воеводам, грозит и молит их: не тратить даром времени... Но те знают, что покорение немцев — заветная мечта царя, и не очень спешат порадовать его, чтобы труднее показалось дело, чтобы щедрее была награда...

В октябре все-таки, когда установился путь, прошли ливни осенние, поехал царь со своей семьей в объезд монастырей, на богомолье. Через месяц, на обратном пути в Москву, царский поезд уж к Можайску подъезжал, а тут снова оттепель ударила сильная, дожди пролились нежданно-негаданно. Пришлось остановиться в Можайске, пока сюда лошадей лишних сгоняли, людей собирали, выручали из грязи колымаги тяжелые, царские, по ступицу ушедшие в размытую дорогу...

Тут продуло ли ветром царицу, случилось ли что, но сильно захворала она... Лежит на постели, разметалась, огнем горит все тело. Кровь горлом пошла.

Растерялся царь. Гонцов во все концы разослал, за лекарями, за всеми удобствами и припасами, так как плохо живут люди в Можайске. И у воеводы — обиход мужицкий. А царя не ждали сюда, ничего не заготовили. Мечется Иван... Не отходит от больной жены и лекаря не отпускает ни днем, ни ночью, вот третьи сутки. Тот — с ног валится. А Иван молит:

— Спаси царицу... Озолочу!.. Целую область тебе отдам!А нет, тогда гляди...

И царь не договаривает, но холод пробегает у измученного лекаря по спине... И, одолевая смертельную усталость, борется он с недугом царицы, понимая, что борьба бесплодна...

— Что с ней? Не иначе как отрава?! Да? — допытывался царь.

Молчит лекарь, не знает, что сказать.

Отрицать догадку, — потерявший голову Иван его за сообщника сочтет... Согласиться? Как решиться на такое дело? И бормочет несчастный:

— Прости, государь: сейчас не могу еще решить... Пожди малость... Дай делу выясниться... Все тебе скажу...

На счастье бедняка — дни ясные стали, легкие морозы ударили, легче стало больной. Тут и кони подоспели, и меха теплые, и все припасы, за которыми послали гонцов. Только из бояр никто не поспешил на зов царя.

Каждый — за делами-де земскими, каждому — недосуг...

Одни Захарьины да близкие к ним как были с Иваном, так и остались на перепутье, пока не явилась возможность оправившуюся Анастасию дальше, в Москву повезти.

— Гады ядовитые! — стиснув зубы, шепчет Иван, сидя рядом с больной женою в колымаге и следя тревожными глазами, как на ней тяжелая дорога отражается. — Ишь, ни сами не явили очей своих, ни позаботились раньше, чтобы пути повыглядеть, нам дорогу лучше до Москвы уладить... Рады, если все мы с детьми и царицей повымрем, без помощи людской и Божией?! Ну ладно же!

И только бледнея, сжимает он кулаки и грозит кому-то из оконца крытой колымаги...

А царица тихо шепчет Ивану:

— Миленький мой! Ну вот, и все прошло! Дал Господь. Утешься. Совсем легше мне. Погляди, дома по-старому расцвету... Прознобилась я — и все тут... Теперь — все прошло...

А сама кашляет в большой шелковый красный платок, чтобы не видел Иван струйки кровавой, которая нет-нет да хлынет горлом...

* * *

На Москве быстро угасала Анастасия. Так и сгорела на глазах у царя. 7 августа 1560 года ее не стало...

Когда стали класть в последнее жилище омытый труп единственного, неизменного друга, каким была для Ивана жена его, он словно обезумел...

— Отравили! Отняли! Убийцы! Крамольники! — кинул он ужасное слово в глаза всем друзьям и врагам своим, собравшимся на печальный обряд.

— Чадо мое, Христос с тобой! Что глаголишь? — содрогнувшись не меньше всех, стоящих здесь, едва мог произнести преста-

релый Макарий, который еле держался на ногах, не столько от дряхлости, сколько от непритворной скорби по этой «ангельской, чистой душе», как звал он всегда царицу.

— Да!.. Да!.. Да!.. — неистово беснуясь, неумолчно выкрикивал Иван, отталкивая старика и кидаясь к стене пораженных бояр, невольных свидетелей горя этого неукротимого человека. — Вот, они, они все... Они загубили... И Курлятевы, и Ростовские, и Шуйские... Все... Все... А всех первее злобные внушители, враги мои: протопоп да Алешка! Митю сгубили... Ее сгубили, голубку мою...

И снова рухнул на гроб жены, как раньше лежал на трупе, не давая обмыть и одеть его...

* * *

Схоронили царицу.... Кое-как образумился Иван. Все больше молчит, избегает видеть, говорить с людьми, особенно с боярами ненавистными... Только скачет, словно в прежние, юношеские годы, с доезжачими своими по полям, ночует в селах подмосковных и там вином заливает тоску, заводя позабытые, дикие пирушки, предаваясь стихийному разгулу, грубому любострастию, словно этим думает горе душевное, боль сердечную заглушить.

Шепотом передают потом спутники царя во дворцовых углах о похождениях Ивана, о вспышках безумной, бешеной злобы, жертвой которых падают и кони, и псы любимые... А недавно — и своего доезжачего ударом ножа так и уложил Иван за то только, что зверь из-под носа у царской своры ушел.

Но так же скоро, как и вспыхнул, так и прошел первый, острый приступ тоски.

Заботы о войне, о царстве — взяли верх над личным горем Ивана. Стал он снова послов и своих дьяков, воевод и бояр думных принимать. Бледные, напряженные входили они к царю, так и выходили, еще бледнее и взволнованней.

Две новости разнеслись очень скоро по Москве: царь думает сватать сестру старого, бездетного Сигизмунда, так как непристойно детям царским без опеки женской, царю без подруги жить. А еще наряжает следствие царь по поводу смерти царицыной, так как послухи нашлись, что Сильвестр с Адашевым извели заглазно, испортили царицу.

Последняя весть громом прошла по всей земле — скоро докатилась и до Сильвестра в Белозерский скит, и до Адашева.

Адашева Иван, очевидно в расчете подольше удержать вдали от себя, в сентябре 1560 года назначил воеводой в город Феллин, незадолго перед тем взятый Иваном Федоровичем Мстиславским.

Даниле Адашеву царь тоже велел быть при брате, выслал к ним и сына Сильвестрова, Анфима, которого раньше очень жаловал ради отца...

Как только решено было судить Адашева и Сильвестра, первого — перевели из Феллина в Дерпт, откуда он не мог бежать, и заключили под стражу. Симеон Бекбулатович, при крещенье названный так, вместо Саина, — получив подробное письмо от Ивана, арестовал своего недавнего соратника и берег, как зеницу ока.

Понял Адашев, что дни его сочтены.

Понял и Сильвестр, что не суд, а готовый приговор ждет его скоро. Но ни тот, ни другой не склонились.

Письма, просьбы об очной ставке, угрозы и увещания полетели к Ивану от обоих. Захарьины даже не допускали до очей царя эти послания.

Как один человек, поднялись все друзья обвиненных. Они кинулись к Макарию, старались влиять на царя. Макарий ответил:

— Власть моя — не от мира сего! Что могу я против воли царской ? Постараюсь, да надежды мало...

Царь? Он даже не отвечал ничего... И только при имени Сильвестра или Адашева — так взглядывал на просителя, что тот умолкал невольно, шепча:

— Спаси и помилуй нас, Господи! Смягчи, Боже, сердце царя!

* * *

Настал день суда. Единственный пример на Руси, когда заочно судили двух первых людей в государстве, обвиненных в величайшем государственном и уголовном преступлении...

Сгибла, видно, сила боярская, дружинная, княжеская, если мог свершиться подобный суд.

Полна народу Грановитая палата во дворце Иоанна, где суд совершается.

На царском месте один Иван сидит. Юрия нет. Он болен, доживает последние дни свои, пораженный тяжким недугом, убившим его отца, — разложением заживо... По правую руку от царя Владимир Андреевич поместился... Макарий на своем владычном престоле выделялся среди всего духовенства, которое, наравне с князьями и думными боярами, собрано сюда, так как предстоит произнести приговор над священнослужителем, над Сильвестром.

Как составлено судилище духовное, видно из того, что главою

здесь является не кто иной, как Вассиан Топорков. Нарочно Иван выписал старца, всю власть ему вручил и дело вести повелел.

Из высших иерархов мало здесь лиц, расположенных к низвергнутому временщику-протопопу. Даже люди, поставленные при его помощи, не могут простить своей долгой зависимости от простого священника, хотя бы и духовника царского... А уж те, кого чем-нибудь задел, обидел Сильвестр, надменный и прямой всю свою жизнь, о!.. Те сумеют теперь расквитаться с обидчиком, когда он не только в опале, но даже не допущен к защите.

Знают, что митрополит намерен слово замолвить за несчастного... Но знают также, что царь заранее решил вопрос о вине Сильвестра. Так не ссориться же им с Иваном. А митрополит? Стар уже Макарий. Сумел он почти двадцать лет продержаться в клобуке владыки духовного всея Руси. Но смерть не щадит ни князя, ни владыки... И близка эта гостья от кроткого старика... Все видят... Чего же считаться с голосом Макария? Многие знают, что и преемник ему намечен: тоже протоиерей Благовещенский, новый духовник царя, отец Афанасий... Оба они с Вассианом первый голос ведут среди собравшихся на судбище иерархов московских. Третий с ними — Пимен, архиепископ Новгородский. Аскет, но завистливый и жестокий человек, он давно ненавидел удачника-протопопа...

Светские судьи? В тех еще более уверен Иван.

Все молодой, не родовитый люд столпился здесь вкруг царя, им созданный, для него живущий. Немало также пришельцев восточных, князьков азиатских. И Симеон Бекбулатович в числе думных бояр... И отец его, Абдулла-Бек-Булат. Иван, за преданность и услуги сына, пожаловал отцу царство Касимовское, богато одарив при этом обоих.

И князь Михайло Темгрюкович Черкасский здесь, тот самый, который сумел посватать царю сестру-красавицу, Марию Темгрюковну, когда Польша отказ прислала Ивану. За царем — рынды стоят, молодые ребята голоусые... И среди них красавец, женоподобный, лукавый Федя Басманов, которого за последние дни Иван так и не отпускает от себя, лаская непристойно порою...

Не русские больше, незнатные, новые лица видны вокруг, вблизи самого трона. Но и старых бояр, и знатных князей немало созвал для судбища Иван. Да не просто, как случилось, а по выбору созвал.

Лишний раз еще проверить ему хочется свои наблюдения долголетние, людские толки упорные о том: кто друг, кто недруг царю московскому самодержавному? Все они тут, кого давно записал в памяти своей Иван, про кого шепчут ему Захарьины и

другие прислужники царя. И три брата здесь, бояре Сатины из роду князей Козельских, покойная сестра которых, Настасья, была женой ненавистного Адашева. Он бояр этих и в люди вывел, обогатил, земли для кормления дал, «путями» обеспечил... Вот сидит - величается красавец молодой, князь Димитрий Иванович Овчинин-Оболенский, племянник родной того самого Овчины, который так близок к княгине Елене был всю жизнь... Ненавистная близость... И теперь, недавно еще посмел мальчишка-новожен, Митька Овчина, похвастать в пьяной беседе: «Что за царь у нас! — говорит. — Я, да Иван Челяднин, боярин, одной мы с ним крови!.. Захотим завтра в цари попадем...»

Курлятевы здесь, Димитрий и Василий; первые друзья Сильвестра и Адашева — князья Прозоровские, Иван Шаховской, Щенятев Петр, Горбатый-Суздальский.

Темкин и Пронский князь, и Рыбин, Одоевские и храбрец, «слуга царский», Воротынский Михаил... Все они здесь, воеводы отважные, которые с Иваном под Казанью были, видели слезы и страх его и часто, чуть не в глаза, поминали про это. И суровый князь Репнин. Не говорит никогда ничего, упрямец старый; но так смотрит, словно в лицо бьет укорливым взглядом... И надменный князь Александр Ярославский, который кичится, что род его — старше рода Иванова. Много, много их всех... Потом имена этих людей станут длинными рядами в поминальном списке, в кровавом «синодике» набожного и жестокого царя, Ивана Грозного... А сейчас, как кошка, играющая мышью, созвал он их, говорит с ними ласково, советов их спрашивать собирается: как ему изменников судить? Пусть потешаются... людишки подлые... Недолго уж им осталось... Подготовил иных людей себе на помощь Иван, чтобы править землей. Недаром также наемные алебардщики немецкие и преданные черкесы Саиновские стоят везде на страже в царском дворе. Кроме Бога — никого теперь не боится Иван. Терять ему нечего, все взято крамольниками, до жены любимой включительно. Так сокрушит же он главу змиеву, выведет крамолу на Руси до конца и мирное царство, без мятежных бояр, передаст сыну своему с милостью Божией. Согнет и сломит он волю боярскую или — головы им всем снесет!

Улыбается криво Иван этим мыслям своим. А люди кругом шепчут:

— Доволен, весел нынче царь... Авось отвертятся от беды поп Селиверст с Алешкой Одашевым?

Плохо знают эти люди скрытую, изболевшую душу царя своего. Вместе с Анастасией — умерла у Ивана и жалость последняя к людям.

В бармах, в шапке Мономаха, в золотом облачении царском, с жезлом в руке, — сидит Иван олицетворением власти Господней на земле. Но пусто в груди у этого величавого человека. Вернее, ни искры добрых чувств ни к кому в мире не осталось; а вся грудь полна подозрениями, ожесточением и страхом, который тем мучительней, чем искуснее скрывает его царь.

Кто знает: не принесено ли оружие кем-нибудь? Не дохнет ли кто тонким ядом, не повлияет ли адским искусством, черными чарами, чтобы снова овладеть волей царя, как десять лет владели ею два заочно судимых человека?

И потому, окидывая беглым, подозрительным взглядом все это море голов, темнеющее перед троном, Иван боится хотя на ком-нибудь остановить подольше глаза, чтобы не подпасть такому же влиянию, каким обладал Адашев одно время...

Еретик и колдун Адашев, даже минуя все его лихие дела! Как смел он пользоваться своею властью над царем? Убить бы, казнить бы его велеть? Сейчас же! Да нет... Подождать все-таки надо... Война кругом кипит... Все воеводы — друзья Адашева... А они — нужны... Значит, и при расправе с Алешкой — надо хоть призрака законности держаться. Надев личину, подымается царь, поклон отдает Макарию.

— Благослови, отче-господине, делу судному быти...

Встал Макарий, осеняет всех крестом. С молитвой призывает дух благодати и кротости Господней на судей, прося у Бога послать им прозрение чистое.

Низко поклонившись митрополиту, царю и Думе на все стороны, дьяк Мясоед Вислой стал читать длинный список вин и воровских дел болярина Олексея Одашева, «окольничего с путем»* и воеводы царского... Много написано тут ужасов. А страшнее всего, что «вор тот Олешка мало, что не слушал и писаний царя самого, но, взяв град Вильян (Феллин), отпасть пожелал от службы царской, предаться замыслил Литве, как и допрежь того князь Ростовский, Семеон, его друг и бегун ведомый, да еще некиим волхованием и зельем, через людей подосланным, погубил жизнь и здравие порушил благоверной новопреставленной царицы и великой княгини Анастасии Романовны... А тому бесовскому делу — послухи и сведущие люди: такие-то и такие-то...» Все больше подкупленные Захарьиными кабальные люди черные или, обиженные Адашевым случайно, слуги и дети боярские...

---

* «Окольничий с путем» — с городами, данными для кормления.

Встал затем инок Мисаил Сукин и прочел такой же лист обвинений против Сильвестра. Оба обвиняются в том, «что долгое время разными чарами и прелестью бесовскою влияли они на царя самого, лишая его малейшей воли, во вред земле и царству, в нарушение правосудия и правды всенародной...».

— Твое первое слово, отче-господине! — сказал Иван, когда смолк гнусавый, монотонный, протяжный голос монаха-чтеца.

— Что скажешь нам, владыко?

Макарий все время сидел с поникшей головой и тяжело вздыхал, слушая чтение, предвидя, к чему приведет подобный суд... Правда, и сам он хотел удаления обоих временщиков. Но раз те волей-неволей да ушли — стоит ли травить их? И жестоко, и недостойно помазанника Божия, недостойно того Ивана, каким рисовал себе старый мечтатель своего воспитанника...

Тихо, но твердым голосом заговорил Макарий:

— Царь великий, чадо мое о Христе! Подобает царю — творити волю свою. Но есть иной Владыко и свят закон Его... А по закону тому — подобает мужам обвиненным приведенными быти пред нас зде, да, очевидно, вина их докажется по обвинению послухов... И воистину нам убо слышать надлежит, что они на то отвещати могут...

Говор пошел по всей палате.

Огнем скрытой ярости блеснули глаза Ивана из-под нахмуренных бровей, дрогнул тяжелый посох в руке его, ноздри так и раздулись, и затрепетали...

Но ни единым звуком не выдает он того, что происходит в нем. Глядит и ждет...

Недолго ждать пришлось. В разных местах — словно одною силою подняло десятки людей: все сторонники и друзья обвиненных, все честные люди, не замешанные в дрязгах дворцовых, все, любившие Макария и желавшие искренно добра Ивану, поднялись — и зашумели отовсюду их голоса, сливаясь в одну просьбу, в одну речь:

— Царь-государь! Прикажи обвиненным предстать на суд пред лицом твоим!

Сильнее дрожит царский посох в руке Ивана.

Быстро переводит он взор от одного поднявшегося к другому и каждый раз даже прищуривает глаза, словно лучше желает запомнить наружность говорящего, выражение лица, позу и самый звук его голоса...

А сам незаметно нагнулся к печатнику, близкому советнику своему, Казарину Дубровскому, стоящему за плечом у царя, и шепчет:

— Пиши... Пиши... Всех этих запиши!

И продолжает глядеть на всех, и улыбается довольной, нечеловеческой улыбкой...

Долго звучат голоса. Ждут все, что заговорит царь, перебьет их сам, примет или отклонит их мольбу. Но Иван молчит и улыбается. И понемногу, мало-помалу — затихают голоса, словно срываются струны с гигантской арфы, зазвучавшей под налетом урагана...

Смолкли постепенно, опускаются все на места, в недоумении, смущенные, раздосадованные.

— Переписал? Хорошо... — шепчет Иван Дубровскому и только теперь подымает свой голос в ответ на умолкшие просьбы: — На суд мы сошлись, бояре, а не в храм Господен, где милость царит, где молить Всевышнего и каяться можно... И сами же вы судить, карать и миловать должны. Вижу: не все заодно с владыкой думают. Пусть и те, иные, свое слово скажут. Не милости, а правосудия жду от суда. А глас народа — глас Божий. Пусть все, здесь сидящие, голос подадут. Чьих голосов больше — тех и правда. Искони так было... Говорите, бояре, Дума моя верная...

Замолк и снова сидит, улыбается. Как ни много крамольников голосило сейчас, но четверти их нет против «своих», в которых уверен Иван.

Первый вскочил Захарьин, брат несчастной Анастасии. Ненависть, злоба — так и сверкают из глаз боярина, да он и не таит своих чувств. К чему?

— Звать? Сюды? Их, злодеев, ведунов и чарователей безбожных? Ну, это зачем же? Велика злоба и сила их! Придут сюды сосуды эти диавольские — и нас всех очаруют, невредимы сквозь стены темничные уйдут! Коли по слухам стольким уж веры нет, царю своему верьте! При светлых очах его говорю, голова моя в ответе за речь смелую. Много лет самого царя в оковах держали те ведуны проклятые. И мне, и людям разным то ведомо. Как в неволю, заточили на многие дни государя людишки те худые, чародеи лукавые. Чарами богомерзкими — очи царю закрывали, не давали ни на что глядеть самому, ежели не их волею. Аще и ты теперь, владыко, припустишь их к себе и к царю, они и тебя ослепят, а царя и детей его — загубят. Народ чарами взметут. Каменьями чернь побьет и нас, и царя, что посмели судить лукавых. Исчадие адово! Не можно звать их на очи! Делами своими осудили они себя. Что же помогут речи их лживые? Даже стыд и совесть не велит сказать того, что Адашев с попом затевали, земле и царю на пагубу, на смущение души усопшей царицы — сестры моей...

Знал теперь Иван, на что намекает Захарьин, — и пятнами стыда, загробной ревности и злобы покрылось бледное лицо его.

Кончил шурин, и зашумели все присные ихней семьи, все враги двух заочно судимых:

— Так! Истинно... Воистину! Знаем, все мы ведаем: правду боярин говорит... Сам царь не таит того...

— Не потаю! — внезапно поднимаясь, громко проговорил Иван. — Отогнать удалось мне злых тех советников с Божией помощью, — тогда лишь и раскрылись глаза... И все уразумел я ... Истину сейчас боярин молвил про чародеев тех и про воровство ихнее против особы нашей царской. Глазом, и видом, и волхованием — вязали меня, аки пеленами младенца вяжут неразумна. И желал, а сказать был безгласен. Понимал, а делал против разума! Вот и мое царское свидетельство против лихих людей тех, на воровстве изловленных...

Ни звука не промолвил больше никто в защиту обвиненных. Только кривой Кирик Тыртов, юный, пылкий воевода-храбрец, потерявший глаз под Казанью, личный друг Адашева, решился заговорить, не выдержал:

— Прости, государь, спросить я хочу... Ратник я, не ученый муж какой... Знать бы хотелось... Вот видел я сам, как Адашев Алексей в дому у себя — не то сирых, прокаженных держал, поил, кормил, сам язвы ихние обмывал порою... И знать бы хотел: может ли такой человек чародеем стать, зло умышлять на царя, землю родную губить? Отцы духовные, владыко митрополит! Разрешите душу мою...

— И я о том же ведаю... Тако же ответа молю! — поддержал Тыртова еще один голос — дьяка Ивана Выродкова, строителя пресловутой осадной башни казанской.

Так и передернуло лицо у Ивана. Никто не ответил ни звука на дерзкий вызов, каким являлся смиренный вопрос двух честных соратников опального воеводы. Только совесть заскреблась у многих в груди, и лица краской стыда вспыхнули.

Заговорил тогда Леонтий, архимандрит Чудовский, хитрый, честолюбивый и беспутный старик:

— Лукав враг человеческий... Личины приемлет всякие... И чудотворцев святых искушать поспевал. А уж тебя, воине честной, и подавно нетрудно было ему провести. Ты — прокаженных видел, а може, то ведьмы были юноподобные, любострастные, кои к ревнителю своему на богомерзкие игрища слеталися?

— Да, да! Конечно, так и было! — подхватил Пимен Новгородский. — Ко мне, я знаю, в келью мою — не раз всякая нечисть под видом нищих, убогих человеков так и просилася... Да я сразу

видел, что за птицы летят, крестом их отгонял. Как учну по башке, по башке их медным крестом большим!.. Так и разбегутся, сгинут нечистые...

— Еретики, ведуны, чародеи они оба ведомые! — зашумели все кругом...

Недолго суд тянулся.

На Соловки приговорили сослать Сильвестра. Адашеву — в Дерпте, в заключении быть, пока царь ему воли своей не объявит.

Но Адашев не стал долго ждать...

Скоро гонец прискакал к царю:

— Долго жить приказал тебе воевода твой опальный, Олешка Одашев...

Вспыхнул от досады царь.

— Как? Ведь я наказал беречь аспида?

— Берегли, государь. Он после огневицы, что с ним приключилась, поправляться было стал. А как узнал, что приказано его из Дерпта в цепях на Москву везти, заметался... «Не хочу, кричит, на Москву! Измучат, запытают, истиранят меня тамо! Здесь, при войсках своих, помру!» К вечеру, правда, взял — и помер... Пена клубом шла изо рта... И все лицо словно опаленное стало... Ровно он обжег себя чем... Так и схоронили...

— Помяни Господи душу раба твоего Алексея! — широким крестом осенив себе грудь, произнес только Иван.

Первый шаг на пути мести был сделан и принес много наслажденья больной душе Ивана.

Но зато, со смертью Анастасии, — прежнее счастье в мире и на войне — словно навсегда покинуло царя. Андрей Курбский, один из храбрейших и главных воевод в Ливонии, явно охладел к делу, когда на его глазах разыгралась печальная история гибели Адашева.

В то же время гроссмейстер Ордена Меченосцев, Кетлер, депутаты от всей Ливонии и Рижский архиепископ — успели привлечь Сигизмунда-Августа к борьбе против Ивана.

28 ноября 1561 года король польский был признан государем Ливонским, Кетлеру дано звание наследственного герцога Курляндского, на условии вассального подчинения Польше. Ревель-Колывань, Гаррия и половина Вирландии отошли к Швеции, а небольшой, но укрепленный остров Эзель был отдан брату датского короля Христиана, королевичу Магнусу... Так поделены были земли Ордена между врагами Москвы, лишь бы ей не достались! И Ордена Меченосцев Господних не стало...

Конечно, труднее стало бороться московским войскам против соединенных сил стольких королей, хотя бы и небольшие рати

послали они на подмогу воспрянувшим духом ливонцам, колыванцам и венденцам.

Ивана злило замедление, наступившее в победном раньше передвижении русских войск по земле, чуть ли не завоеванной им...

А шептуны-Захарьины и новые люди, желавшие создать свое счастье на гибели других, не зевали...

— Милостив ты, царь! — только и твердили вокруг похлебники, соучастники пиров и разгула, заменившего теперь прежний монастырский строй жизни во дворце. — И как еще милостив! Что пишут из ратей, что толкуют люди! Вон Курбский, князь Ондрей... Прямо изменяет тебе! С врагами сносится... С умыслом города твои врагам назад отдает. Под Невелем какую поруху тебе причинил! Горсть поляков была, всего четыре тысячи! А рати русской — видимо-невидимо, и воевода Курбский — умышленно тыл дал, опозорил тебя и землю. С умыслом не добывает он новых побед твоему царскому величеству. Все за Олешку, за друга и похлебника свово отмщать желает. Не кроючись — поносит твою милость, всячески бранит и корит, яко Ирода-царя нечестивого...

Слушает — криво улыбается царь.

— Сочтемся... Над нами не каплет, торопиться некуды! Раньше — пусть дело сделает, землю мне завоюет люторскую, а там... Про Невель, про позор наш, вестимо, напишу я ему. Пригрожу... Он и подтянется. Хоть и изменник он нам, да воин лихой. Ради всей земли русской — постарается. Тогда уж я с ним за все: за худое и за доброе разочтуся!

Но у Курбского тоже есть друзья при царе... Написали, передали воеводе от звука до звука речи Ивана.

А вслед за тем, будто в подтверждение, — и письмо пришло грозное от царя: укоряет он в бездействии воеводу, опалой грозит за трусость, за предательство родины.

— Угрозы пошли? — думает Курбский. — А скольких уж он, безо всяких угроз, так, тишком загубил, казнил, в монастыри запрятал!

Первыми пали брат и племянник Адашева; потом запытали, замучили на допросе подругу несчастного воеводы, пылкую, красивую и такую веселую, такую добрую женщину, Марину, польку родом, принявшую имя Магдалины, когда из-за любви к овдовевшему Адашеву она, тоже вдова, католичка, решилась в схизму перейти... Не судили ее, нет: на допросах запытали, дознаваясь, как она с покойным другом царицу извела? Пятерых детишек ее тоже не пощадили, запытали вместе с матерью.

Михаил Темгрюкович Черкасский, боярин большой, не по-

гнушался сыском заняться и без содрогания мучит, пытает русских людей. Что они ему? Давно ли он нападал на пределы московские со своими джигитами-удальцами, резал жен, стариков и детей, жег на огне, дознаваясь: где добро лучше запрятано? Теперь времена переменились. Он русскому царю служит. А дело у него почти прежнее. Иван приказал казну и добро, какое найдут у опальных, у преступников настоящих или мнимых — все в его царскую казну отбирать, в виде виры, оплаты греха, какая прежде на Руси водилась. Назначил было Иван и Саина Бекбулатовича в палачи, так тот в ноги упал; взмолился юный, добрый царевич:

— На войну пошли, воевать! А резать людей беззащитных не умею!

Не стал Иван настаивать, отпустил своего любимца...

Все вспоминает князь Курбский...

Родич Адашева, Шишкин Иван, с женой и с детьми убиты, затравлены, стерты с лица земли... А имение их богатое отошло к Ивану. Мертв брат Алексея, Данило; мертв сын последнего, Тарас, мальчуган совсем, лет двенадцати. Да еще наглумился Иван над ребенком раньше, опозорил красивого мальчика. А когда тот пришел к отцу, сказал, что с ним сделали, — Данило с воплем к царю кинулся. Тут и погибли оба!

— Хорошо, что не на Москве, что со мною детки мои! — содрогаясь думает Курбский. — И они бы в наложники попали!

А память дальше шепчет свое: убит и тесть Данилин, боярин Туров, Петр, и три брата Сатины... И много слуг и близких Адашеву либо убитым родичам его... Весь род бояр Курлятевых уж почуял на себе руку Ивана: кто убит, кто заточен в кельи, по монастырям далеким... Не иначе как за самого князя Андрея теперь приняться думает царь. Знает, какая дружба была между ними...

Нет, нельзя ждать, уходить скорей, пока не наглумился озверелый Иван, не сгубил Курбского за все труды, за раны, принятые на службе земле и царю. А умирать — неохота; тридцать пять лет всего воеводе. Он породой не ниже царя, а храбростью? Что и говорить! Зачем же шею под обух подставлять безумцу ожесточенному?

Зять воеводы, князь Прозоровский, более робкий духом, которого Курбский стал было звать за собой, нерешительно возразил:

— Ладно ли, брате? Присягу рушить? Земле — изменять? Предавать братий своих врагам? Жесток стал царь, да авось, даст Бог, одумается...

— Одумается?! Ну, брате, плохо ты знаешь царя! Только под нашей уздою зверь этот и был на человека похож. А теперь, как нет препоны ему... Когда змии и василиски окружили солнце земли, царя православного, — мор да чума пойдут по земле, вместо света и радости! А я — не первый и не последний в бегунах стану. Есть и почище меня. И Бельский, и князь Воротынский и другие-прочие! Случалось, сами братия царские бегивали... Гроза идет, как не посторониться?

Перед отъездом, не зная еще, где и как примут его, явился к жене князь Андрей, спросил ее:

— Чего хочешь? Мертвым ли видеть меня либо с живым расстаться навеки? Говори прямо. Как скажешь, так и сделаю.

Залилась слезами напуганная, побледневшая женщина... Она видела, догадывалась давно, к чему дело клонится. Теперь, припав на грудь к мужу, едва проговорила от слез:

— Что ты, княже мой милый?! Не то видеть тебя мертвым, а и слышать о смерти твоей не желаю... Легче самой умереть.

— Ну, так нынче в ночь — еду я к литовцам... Стан ихний — недалече от Юрьева, слышь, стал... А за себя и за деток — не опасайся. Не тронет вас зверь — Иван Московский. И родные не выдадут, да не повинны вы ни в чем!

И бежал князь, ушел на Литву с одним слугой надежным, с Васькой Шибановым.

Оба они через стену городскую перебрались. А ключи от ворот в воду кинул князь.

Хотя не пророком, но отгадчиком верным оказался Курбский. Как сказал он Прозоровскому — так все сбываться стало.

Разозленный, перепуганный при первой вести о побеге воеводы, Иван утроил жестокость и подозрительность. Принуждал бояр чуть не каждый месяц присягу на верность повторять! Почти всех бояр ручаться заставил друг за друга. Десять, двадцать — за одного отвечают, если тот убежит. Десятки тысяч рублей должны вносить за бегунов оставшиеся поручатели... Царская казна богатеет, бояре — беднеют. Теперь они так же волею царя связаны, как он был раньше ими скован. Меньше стали убегать бояре. Всей казны своей, всего добра не увезешь с собой... Да еще близких — друзей-поручателей в нищету ввергнешь. А на чужбине — плохо без денег. Лучше уж дома терпеть как-нибудь, на глаза царю, ожесточившему сердце свое, и не попадаться, по своим углам сидеть...

Но он и там находил их. И растет-удлиняется широкий столбец, на который Иван завел обыкновение записывать имена «убиенных», по приказу его царскому, для поминания о душах крамольников.

Он губит их тела, но душ грешных — губить не желает, чтобы Господь и ему отпустил все грехи, вольные и невольные, на страшном суде Своем!

Сказано ведь: какою мерою мерите, такою и отмерится вам! А бесчеловечный Иван твердо верит Откровению Господню...

* * *

Еще потеря вскоре постигла царя: тихо скончался, словно угас, Макарий, двадцать два года, с 1542 по 1564 год, умевший удержаться на престоле митрополитов Московских и всея Руси.

Правда, за последнее время Иван старался избегать умного, кроткого старца, который даже не особенно надоедал с поучениями или с заступой за опальных, а только так пристально глядел в глаза царю, словно хотел в душу ему заглянуть и угадать, погасла там последняя человеческая искра или тлеет еще... Да все поминал ему дни былые, когда царь-отрок забегал к владыке, книги читал, мечтал о славных, высоких подвигах доблести и милосердия царского.

— Давно то было, владыко! Мир да злобу его я по книжкам только и знал да по тем мукам, какие дитятей перенес. А ныне — тридцать и три года нам! Чего не знаю, чего не видел? Ужаснула меня душа человеческая... На троне сидя, всю землю под собой имея, — кроме тебя и Насти — и людей не нашел за столькие годы! Чего ж и мне их жалеть? Дело стану я делать свое царское, как Бог заповедал. Простого люду — не тронул ведь я... А крамольники? Ну, те — ходи да оглядывайся! На скота упрямого — и бич потребен тяжкий, прутья и скорпии железные...

Понял Макарий, что слова тут бессильны — да так и затих, до самой смерти уж не трогал царя.

А умирая, позвал Ивана и только сказал ему:

— Чадо, вот на память, — возьми распятие Христово! Он, Господь, доброй волею — на кресте замучен... А боле этим дела сделал Агнец жертвенный, кроткий, чем все буи — дельцы в миру делают... Кровью Своей святою — пролитою за ны, за рабы, за мытари, за грешники, — вселенское Царство Христианское созиждил, превыше всех царств на земле! Памятуй сии слова мои, царь земной, властелин земли Русской...

Задумался Иван, поцеловал руку владыки, еще имеющую силы благословить царя.

И рвалось на уста Ивану слово ответное:

— Что Богу прилично, что Христу подобало и по силам — того не подымет душа простая, смертная, хоть бы и царская душа моя!

Но промолчал он, чтобы не смутить души отходящего в иной мир старца — верного друга своего...

* * *

На короткое время смерть владыки миром повеяла в душу царя... Но скоро опять начались розыски, пытки и казни, без суда, без права, кроме воли царской.

Опьяненный первой кровью, как гончий пес, настигающий раненую добычу и терзающий ее на куски, под ударами бича доезжачих, — так и Иван не мог уж остановиться, однажды начав кровавое дело мести и возмездия, как он говорил; дело палача и убийцы, как говорили все вокруг... Дикие оргии, которым предавался царь, несмотря на недавний брак с Марией Темгрюковной, подрывали здоровье; вечной усталью и тяжестью давили мощную раньше грудь царя... Жгучая жажда мести — потрясала душу, мутила ум, сливаясь с безотчетным страхом, который вселился в Ивана скоро после первых казней, совершенных по его приказу.

Он — царь; он прав, наказуя слуг своих... Но он мстит им. Так, нет сомненья, что и холопы станут мстить ему за смерть близких, за свое разорение и унижение. Не промолчат, не стерпят они!

Этого опасался Иван — и недаром.

Курбский — первый расквитался. На другой же год после побега к Литве явился князь на Русь во главе врагов, стал под Полоцком и много бед причинил русской земле, бывшей его родине.

Среди лиц, на которых клеветали окружающие Ивана, — попадались и такие, замышляли на самом деле отплатить царю за муки близких людей, жадно искали только случая и возможности. Но таких было мало.

Большинство повторяло слова Прозоровского:

— Авось — одумается царь... А враждовать с ним, с помазанником Божиим — и совесть, и Бог не велит. Пусть лучше тело наше загубит злой царь, да душу свою мы в чистоте сбережем!

Иван понимал такое благородство и верность долгу. Сознавал порою, что невинны были замученные им. В эти минуты страх еще сильнее овладевал потрясенною больною душой царя...

— Ежели ополчится Господь на меня за гонение невинных... несдобровать и мне, и детям моим! Руками врагов — накажет нас Милосердный!

И совершенно неожиданно новая мысль всецело овладевала его умом:

— Так не надо ждать! Скорее, пока жив, переловить, перегубить врагов трона и земли моей, и семьи моей. Если я погибну в

борьбе с крамолой, дети мои — свободно вздохнут. Не узнают той злой доли, какую я узнал, по причине слабости отцовской. Не успел, не решился родитель вовремя крамолу извести, вот через это целую жизнь я маялся и буду маяться еще долго! Так нечего времени терять!

К чему приводило такое неожиданное заключение — само собой понятно!

Рос и удлинялся список «убиенных» по воле царя, если не рукой его властной... А последних тоже насчитывалось немало...

Охота на животных, охота на людей... В затемненном сознании Ивана — эти два занятия казались почти равнозначащими.

— Гады, звери — крамольники, бояре все мои, лишь во образе человеческом! — не раз говорил Иван.

И поступал с людьми хуже, чем со скотом...

Часть II

ЦАРЬ-ОПРИЧНИК

Глава I

Год 7372 (1564)

Подошел незаметно 1564 год. Двадцать лет уж прошло, как венчали на царство Иоанна IV.

Темные дни настали для Руси. Темные дни пришли и для царя Ивана, хотя буйно и весело проводит он бессонные свои ночи... И ночи, и дни одно и то же думает царь: врагов извести, от врагов оберечься.

Рано встал в один из вешних дней Иван, к общей молитве семейной вышел.

После молитвы ранней, на которую всегда поднимается царь, как бы поздно накануне ни ушел от стола вечернего, Иван обратился к молодой жене, красавице Марии Темгрюковне, с обычным вопросом:

— Как детки почивали?

— Тихо, ладно, благодарение Богу! — гортанным говором ответила худощавая, смуглая дикарка-черкешенка, новая царица московская, не смея поднять глаз на повелителя и мужа, опустив голову, отягченную двумя тяжелыми косами волос, черных, как ночь. Плохо говорит она «по-московски», но понимает все...

Вот обычаи здешние чужды и дики ей, хотя и напоминают обычаи родного гарема, где росла княжна у матери, у русской пленницы. Оттого и знакома ей русская речь. Но задыхается грудь царицы, привыкшей к горному, вольному воздуху. Тяжело дышит красавица в этом затхлом, спертом воздухе царских теремов, где не цветами полевыми, а ладаном пахнет и травами сухими, целебными. Давит ей лоб высокий убор головной, кика, богато расшитая жемчугами и самоцветами, жмет плечи душегрея парчовая; тяжел сарафан аксамитный, шумливый, расшитый кругом. Легче Марии, когда царю охота придет, велит он ей одеть ее платье природное, азиатское: шальвары полупрозрачные, домашние, бешмет длинный, разрезной и шапочку с монетами, небольшую, легкую, круглую... Порой и сам черкесом, азиатом нарядится... В непривычном наряде пугает детей, особенно — сына Федю и сестру его троюродную, восьмилетнюю Марию, дочь князя Владимира. Обе дочери от первого брака князя Старицкого, и Вася, старший сын его, недавно от отца взяты из дому и во дворце с детьми Ивана поселены. Старшей княжне Старицкой, Евфимии, уже десятый, Васе, княжичу, — седьмой годок пошел.

— Что же это, брат-государь, не аманатов ли берешь у меня? — спросил было Владимир. — В залог детей — за отца?

— А хотя бы и так? — угрюмо ответил Иван. — Видели мы правду твою ко мне и к детям моим. Недавно еще. А теперь — пускай вместе растут твои девчонки с моею Дунюшкой. Горе ли, радость ли, по-родственному станут делить. Да не бойся, зла им не будет. Подрастут — замуж выдам хорошо. Васю тоже не обижу!.. Может, за мою доброту — Бог мне поможет, а ты — верней прямить станешь брату и царю своему... Да и не всех детей, вишь, беру. Сыновья твои, поменьше которые, с тобою и с матерью остаются. Расти их. А Васе и девчонкам — худа у меня не будет! Не зверь же я, как про царя своего толкуют, поди, везде людишки лихие, злобные?

— При мне не смеют, брат-государь...

— Будем думать, что так...

И покончился разговор. Старший княжич и две княжны Старицкие поселились во дворце, у царя.

Застенчивая, скрытная Евфимия понимала, что опасаться следует дяди Ивана, всегда держалась в стороне.

А Мария, хорошенькая, живая, резвая, скоро сдружилась не только с троюродной сестрой своей, царевной Дунюшкой, но и с матушкой-царицей, и с самим Иваном, который порою, после оргии пьяной, после зрелища пыток, на которых любил присутствовать, являлся в терем к царице, принимался весело шутить,

играть с детьми, словно желая смыть с души грязь, нанесенную жизнью, стереть все дурное нежным прикосновением детских ручек к его пылающему лбу, к воспаленным глазам, злобно сверкающим под нахмуренными бровями...

И сейчас вот хотел бы Иван побыть с детьми, отдохнуть душой, послушать веселое щебетанье подростков-девочек, подразнить капризного, вспыльчивого царевича старшего, который так напоминает царю его самого в детстве... Приласкать бы надо тихого, хворого младшего сына, «Федорушку-царевну», как зовут братья и сестры плаксивого братца. И Васе-племяннику слово кинуть милостивое. Да времени совсем нет. Из Литвы, из Ливонской земли, из Крыма, отовсюду гонцы с недобрыми вестями пожаловали.

Эти гонцы с вестями дурными со всех сторон так и летят теперь, словно вороны черные. Иной такую весть скажет, что всю силу воли должен употребить Иван, только бы тут же на месте не уложить зловещего глашатая. Да ведь и то: не повинен гонец за весть, им доставленную. И не напасешься народу, если за каждую плохую весть убивать гонцов теперь. Что ни весть доходит, — то плохая. Надо идти, отписываться на донесенья...

Бегло приласкав детей, поднял царь за подбородок личико жены и говорит:

— Буде невеститься... Все очи потупляешь свои с поволокою? Али не привыкла? Или на чужих деток завидно? Погоди! И своих мы с тобой заведем. Время еще не ушло... Давно ли и повенчаны... Скажи, Маруша, хотела бы деток?

— Хотела бы, государь! — зардевшись, шепчет царица.

— Ладно. Будет по твоему прошению. А покуда — за этими приглядывай...

Поцеловал жену и ушел.

Со вздохом поглядела мужу вслед царица.

Не верит она, что даст им Бог детей. Слишком порывисты, грубы, жестоки порою ласки царя. А порой словно ему и глядеть противно на красу ее женскую. Недаром толкуют, что иные, нездешние даже, азиатские обычаи завелись у Ивана. И гарем свой есть у него, и мальчуганы-наложники...

Честолюбец-брат Михайло знал, все знал, когда принудил сестру идти за царя. Что делать! Такова доля женская, что в Кабарде, что на Москве: игрушкой, рабою быть у мужей, у братьев и у отцов своих.

Смахнув слезу, царица грустно улыбается, слушая, как подбежавшие к ней дети толкуют «матушке-царице», о новой проказе братца Ванюшки.

А царь, кончив диктовать ответы на полученные донесения, отослал своего печатника, Казарина Дубровского, который, написав тайные грамоты, тут же печать к ним царскую прикладывал. Оставшись один, Иван достал из запертого, изукрашенного ларца тетрадь толстую, большую, в переплете, с застежками серебряными, раскрыл ее, взял перо и задумался, глядя на пустую страницу, де собрался что-то писать...

В том же ларце, откуда добыта была тетрадь, — лежат свитки, хартии разные, четко исписанные рукой самого царя.

Это — род дневника, который давно ведет Иван, чуть ли не с двенадцати лет, когда его взманил пример Макария, писавшего жития царей и святых, причем из разных книг и списков владыка все собирал и записывал в одну тетрадь большую, особую.

Познакомясь с Царственной Книгой, служившей чем-то вроде ежедневника из жизни царя Василия, прочитав отрывки из Степенной книги, начатой еще митрополитом Киприаном и продолжать которую взялся Макарий, мальчик Иван захотел сам по-своему записать для будущего времени все, что помнил важного в прошлом, и то незаурядное, что впереди случиться может.

Конечно, это намерение осуществилось далеко не так полно, как думал ребенок. Но когда возмужалому Ивану прочли сперва выдержки, а там и целиком отдали завещания его отца и деда, эти большие, часто и четко исписанные хартии, где обо всем говорилось: и о соседях по царству, и о заботах государских, и о семейном укладе, — Иван порадовался своей затее: писать самому обиходную книгу, повседневную. В постепенных записях отразились не только события тревожной жизни юного царя, но и взгляды, чувства, заветные планы и думы Ивана.

— Умру, — подумал он тогда же, — вот и завещание готовое моим детям. Да такое полное, ясное, какого ни отец, ни дед не писывали!

Не знал Иван, что много раньше сослужат ему службу эти страницы, писанные порою слезами, порою желчью и кровью.

В данную минуту только было встряхнул головой Иван, сделал движение, чтобы обмакнуть перо гусиное в чернильницу, — каламар турецкий, литого золота, стоящую здесь же, на столе, а за дверью послышался знакомый, сладенький голосок:

— Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй ны!

— Аминь! Иди, иди, Феденька! — поводя плечами и отбросив перо, проговорил Иван. И пока вошел его новый любимчик, Федор Басманов, пока отвесил обычный поклон, царь успел сложить в ларец книгу и запер его ключом, висящим у креста, на гайтане.

— Здорово! С чем пришла-приехала, Феодулия ты моя ми-

лая? — спросил Иван, хлопая Басманова по румяной, нежной щеке, покрытой пушком, словно у красной девицы.

Да и вообще, вся фигура наперсника царского, с пухлой грудью, с широкими, упитанными бедрами, вихляя которыми подходит он к Ивану, — все в Басманове дышало притворной слащавостью и женственностью. Азиат происхождением, он наследовал от своих дедов или, скорее, от бабок — миндалевидные, с наглой поволокой очи, брови соболиные дугой, полные губы, яркие, пунцовые, каким любая боярыня позавидует... Всем видом своим напоминал он мальчиков-наложников, которых много при дворах восточных владык, которых и на Русь привозили бухарские и хивинские купцы, наравне с рабынями-одалисками... Казань и ближний к Москве Касимов-городок щедро платили купцам за редкий товар...

— Счастия и долгоденствия желаю царю моему милому, любимому! — раболепно, но в то же время с неуловимым оттенком панибратства произнес Басманов, красиво и плавно сгибаясь всем телом, чтобы отдать вторичный поклон.

Казалось, испорченный юноша, влюбленный в свою же животную красоту, вечно любуется, глядит умственным взором, со стороны — на каждое свое движение, слушает каждое свое слово... Близко, гораздо ближе, чем допускает строгий обычай московский, подошел Басманов к царю и продолжал нежно:

— С чем же больше и могу прийти я к тебе, царь ты мой любименький?

Обороты речей, дышащие бабьей льстиво-заманчивой податливостью, звуки мягкого, сдобного голоса, юношеского контральто, поворот стана, выражение глаз, наглые ужимки фаворита сразу пробудили какое-то особое настроение в Иване. Словно защекотало у него в груди... Загорелись, потемнели глаза, губы задвигались, дрогнули ноздри...

— Один ты, что ли? — спросил Иван. И голос у него звучит как-то хрипло, необычно.

— Один, один... Там — нет никого... — шепчет извращенный любимец, прижимаясь к Ивану.

— Ну, говори, что надо? — тоже негромко почему-то переспросил Иван, крепко охватив одной рукою стан любимца, а другой играя кистями его богатого пояса, словно желая развязать узлы...

Но Басманов внезапно переменил игривое, лукавое выражение лица и плаксиво, чуть не хныча, совсем уж по-бабьи,быстро зажалобился:

— Вот, вот... «Что надо?» Все так думают, что я к тебе, царечек

ты мой, только по нужде и наведываюсь... Не от души-де люблю да почитаю так владыку своего земного, как писано есть: и духом и плотию да послужит раб господину своему...

— Так, так... Да ты толком говори... Обидел, что ли, кто?

— Долго ли меня обидеть? У меня сердце мягкое, доброе. И красоту мне Бог дал, как на грех... Искушение послано... Вот, Митька Овчинин и стал было шутить со мною шутки негожие... Нахрапом полез...

— Митька? — сжимая кулаки, крикнул Иван.

— Он, он... Да что еще... Когда я погнал его, «прочь, говорю, дай вперед пройти»... На крыльце это было, на твоем, нынче... А он и говорит: «Как же! Пройдешь ты, татарская погань, впереди меня! Ты — содомлянин гнусный! Непотребством служишь царю нашему! Я же от знаменитого рода-племени... И деды мои со славой и на прибыток царству служили... и государю моему!» Услыхал я, — ничего не сказал... Може, думаю, сам царь про меня такую славу пустил... А не стерпелось: пришел тебе плакать да жалобиться... Или, может, Митька тебе,государь, меня дороже? Так и отпусти меня лучше... Вон, Саинов батько, Абдала, давно меня в Касимов зовет. Чего-чего не сулит.

И, отирая покрасневшие от слез глаза, в искренней обиде и досаде, стоял этот выродок перед царем.

— Митька? Тебе — в Касимов? Врешь! Покажу я тебе! Нынче ж покажу, кто из вас обоих мне милее. Увидишь. От меня пойдешь, так скажи, чтобы нынче на вечерний стол Митьку ко мне позвали... Очень-де царь просит милости хлеба-соли откушать... Романеи испить... Хе-хе-хе! Угощу!

Удушенным, больным, разбитым смехом рассмеялся Иван и стал утешать, ласкать гнусного фаворита, который, скрывая свое ликованье, продолжал притворно хныкать и томно вздыхать...

* * *

Кончился долгий царский день, полный волнений, забот и труда. Обычные гости к царю, на вечернюю пирушку собираться стали. И незаметно шепнул Басманову Иван:

— Сядь, Федюля, рядком с Митькой да поласковей с ним будь, когда стану мирить вас.

— Нас мирить? — капризно начал было избалованный прихлебатель, но Иван только поглядел на него да, палец приложив к губам, произнес:

— Тсс! Молчи, помалкивай...

— Слушаю, государь! — сразу принимая самый раболепный вид, с поклоном отвечал Басманов.

Все уселись уже за столы, когда Димитрий Овчинин заметил, что рядом с ним пустое место оставлено.

И только что подумал:

«Кого Бог в соседи пошлет?»— глядит: ненавистный ему Федька направляется сюда.

Вскочил было Овчинин, оглядывается: куда бы перейти?

А из переднего, хозяйского угла сам царь заговорил:

— Митя, что вскочил? Али от пира бежать собираешься, не солоно хлебавши? Пожди, посиди... Нонче, глянь-ко, не простая беседа у нас, все гости особливые, знатные... Вон и сам князь Михайло скудной нашей трапезой не погнушался, не побрезговал... Вот спаси тя Христос! Благодарствуй, гость дорогой!

И Иван отвесил поклон из-за стола в ту сторону, где сидел приглашенный к царю князь Репнин.

Тот, не меняя сурового выражения своего открытого мужественного лица, отдал поклон царю и произнес, поглаживая длинную седую бороду:

— Царский позыв что Божий приказ! Так нас отцы учили! Всегда твои гости, и на пиру, и в бою... Все ж надо правду молвить: на бой охочей хожу я, чем на забавы, хоша и твои бы, государские...

— Знаю, знаю... Вон, слышишь, Митя, как старые люди говорят? А ты от хлеба-соли бежать норовишь... Это — не литовцы, право...

— Я, царь, ни от литовцев, ни от татар не бегивал! — не выдержал и, вспыхнув, ответил Овчинин, опускаясь на место.

Промолчал Иван, потемнело только все лицо у него. Понял царь намек.

А Басманов тут как тут.

— Это, государь, он от меня бежит. Мы с ним утром повздорили. Он и ладит не сесть бы со мной... А я и не в обиде...

— Молодец, Федя! — живо отозвался Иван. — По-христиански творишь. Тебя в ланиту, подставь и другую... Лих, я не научился доселе такой великой благости... Ну, слышь, Овчина, хоть ты и собирался бежать от потомка татарского, от Феди, да я помирю вас. Выпьете чару меду сладкого и прю позабудете горькую...

Видя, что Овчинин покорно склонил голову в ответ на предложение мириться, царь подал знак к началу пира. Молитва была прочитана. Блюдами обносить гостей стали. Чаши запенились

медами сычеными разными, и крепкими фряжскими винами, и романеей душистой...

Большие чары, уемистые, наливаются и выпиваются на вечеринках царя. Немало людей, кто послабее, сознанье теряет — и выносят их прочь на свежий воздух, для протрезвления, или увозят, полумертвых, домой, если не кинут где в углу, чтобы проспались они до утра тут же, на половине дворцовой, особенной, где происходят пирушки...

Быстро охмелел непривычный к вину молодой князь Димитрий. И так благодушно настроился, что совсем примирился с соседом, раньше ненавистным. Шутит с ним, хохочет, чуть что не обнимается.

— Ты прости... Може, я и обидел тебя, парень... Один Бог без греха... — бормочет Овчинин. — Ну, помиримся, поцелуемся с тобой... Чисто по-братски... А ежели ты скот мерзкий — не мне судить... Бог всем Судия... Поцелуемся...

И целуются они.

А Иван нет-нет посмотрит — и улыбнется кривою усмешкою, которая теперь почти не сходит у него с лица.

Что дальше, то громче говор, красные лица у пирующих. Бороды гостей костями рыбьими изукрасились, маслом, сметаной залиты... Блинами справляет хозяин державный неделю мясопустную...

Руки у всех — сальные, грязные стали. Куски — прямо руками берутся... На платье, на пол падают. Там — псы царя любимые, в покой впущенные, из-за объедков грызутся, ворчат и ссорятся, так же как и люди за столом порой начинают грызться, вспомнив спьяну обиду или вражду затаенную, старую...

Хозяин не в обиде на споры такие. Только когда уж очень в задор люди войдут, столы уронят, за тяжелый трехсвечник ухватятся или за ендову литую, царь на них прикрикнет грозно.

— Эй, вы, потише там!

И осядут спорщики... Через минуту — обнимаются, песню удалую, разухабистую, бесстыдную затягивают.

Хрипло, нестройно звучат пьяные, надорванные спором, распаленные вином голоса.

— Пождите, свиньи! Вам Тимошка мой споет, — кричит Иван.

Тимошка, злой, хромоногий, пройдоха и выродок-шут, выходит на середину, между столами, выставя ногу вперед, ударяет в изукрашенный бубен, берет без слов первую, высокую, залихватскую ноту, вдруг обрывает ее и запевает:

— Тпр-р-р-р...
Ни в тын, ни в ворота!
Боярыня — криворота!
Толстобрюха, толстонога,
Всяво у ей — много, много...
И усов, и бороды,
И — бяды, бяды, бяды!
И и-и-и-и-и-и-и-и-их!

И снова гремит залихватская, плясовая песня:

— Ходи изба, ходи печь!
С сударыней негде лечь...
Болярыня, повернись,
Сделай милость, повернись... Эхма...
Дулась-дулась — повернулась...
Не поспала — сама встала... Лю-ю-ю-бо!

И долго льется песня, меняя ритм и склад, полная самых циничных образов, которые бесстыдный, пьяный шут поясняет жестами и мимикой на потеху опьянелых, грубых гостей. Все хохочут, все довольны... Грубые картины не мутят душу, а вызывают лишь грубую чувственность... От хохота, грохота — стены дрожат!

Весело пир идет у царя Ивана...

Только не все веселы на нем.

Мрачен сидит князь Михайло Репнин. Рядом с ним — тих и сумрачен также, поместился набожный, почти аскет в мирской одежде воина, голова стрелецкий и богатый обыватель московский, Мытнов Молчан. По шерсти кличка дана Молчану. Молчалив всегда; но твердый и правдивый он, отважный в бою, не робкий в миру человек.

Трется у царского стола стольник Ивана, боярин Алексей Басманов, отец развратного Феди, и шепчет хозяину пира:

— Чтой-то, государь, гости твои не больно веселы...

— Кто? Какие?.. — уставясь на Басманова мутным, опьяневшим взором, спрашивает Иван.

— Да вон, гляди: и гостинька редкий, князь Михайло... И соседушка его, холоп Мытнов! За счастье бы почел, что к столу твоему царскому позван. А он?! Знаешь, царь, это все — семя адашевское. Награбили вместе. Теперь, видишь, и кадык поднял: я-ста, не я-ста! А на нас, поди, глядит и твердит: «Скоты, пианицы горькие!» Не ведает, лицемере, кто пьян да умен — два угодья в том! Дух-то адашевский не вышел из подлых... Дивно, как терпишь ты только, великий государь! Казнить бы ворога твоего явного. И прибытку казне твоей немало стало бы... И тебе избыться лишнего аспида...

— Да, да... Избудемся... Избудемся... Вечер долог еще... Не

торопись, пиявушка ты мой... Слуга ты мой верный... Пососешь нынче кровки, пососешь годи! Дай пиру — беседе честной разойтись малость...

И все веселей, все шумней вечеринка идет у царя.

Совсем уже пьян князь Димитрий Овчина молодой. Еле лыко вяжет...

— Федя! — вдруг проносится резкий голос Ивана. — Что ж ты друга нового, соседа милого плохо потчуешь? Гляди, и не пьет совсем... Осовел — сидит. Так не годится у нас. Ну-ка, чашу поуемистей, за здравье за мое!

Подбежал Алексей Басманов с большой чашей — кубком. Иван сам налил туда вина пенного, крепкого... Понюхать — дух перехватывает, не то что выпить.

А сквозь общий гул уже прорезается обычное чествование, неизбежное, если блюдом или кубком царь жалует.

— Жалует царь-государь и великий князь всея Руси Иван Васильевич чарой из его царских рук болярина князя Димитрия Ивановича Овчину, роду князей русских и Оболенских! Пить чару во единый дух за его царское здравие, до самого до донышка. А кто не пьет до дна — не видать добра! На том и лихо сбудется!

Князь Димитрий еле грузно поднялся с лавки, стоит, руками за край стола держится... Ворот рубахи расстегнут, лицо пылает и от духоты, и от вина. Язык еле во рту ворочается.

— Кланяюсь низко на милости, царь-государь и великий князь. Да я уж тово, — лепечет он, — невмоготу! Уволь... Уж попито во здравие твое во царское... Тово... Довольно-достаточно... Уволь, не взыщи... Иным разом.

— Да что ты, очумел! — прикрикнул даже на него Федор Басманов. — Не видишь, царь — ждет, глядит... Нешто можно не пить здоровье царское?

— Да уж принатужься, гость дорогой, — приглашает хозяин, а сам не сводит засверкавших внезапно глаз от Овчинина.

— Твоя воля... Што уж... Давай, боярин... — вздохнув с искренним отчаянием, произнес князь Димитрий и с поклоном принял тяжелую, полную чару.

Но едва он поднес ее к своим губам,как сейчас же и отвел...

— У-у, Господи, Владыко Милостивый. Да ведь и не мед это.

— Да и не отрава ж? Право, гость дорогой! Пей...

— Да больно крепка, государь. Этим и начинать бы впору, а не то пирушку кончать...

— Да уж приневолься...

— Твоя воля! Во здравие царя и государя!

И медленно, с трудом, с передышками, стал пить свой послед-

ний кубок Овчина. Но и половины не допил... Задохнулся, закашлялся, отплевываться стал...

— Ой, нет... Умру... Ой, невмоготу, уволь, го...гос... сударь! — еле уж лепечет опоенный Димитрий.

— Вот уж оно как! — поднимаясь на ноги, заговорил тогда Иван. И все, кто еще мог, тоже поднялись за царем.

А он, сверкая глазами, но сдерживая еще ярость свою, так и загремел на Овчинина:

— Что же ты, гость дорогой, князинька милый! Али поруху чести и здравию нашему царскому причинить желаешь? Али явно недоброхотен нам, что чару во здравие наше пить не соизволишь? Так ли мне, государю своему, всего блага желаешь? Тако ли мне, царю, своему милостивцу, любовь и верность показуешь свои?

— Помилуй. Не серчай, государь... Рад бы я — душа не принимает... Утроба не велит... Больно романея твоя крепка...

— Ин быть по-твоему, гостенька... Я — хозяин не надсадливый. Силком не пою людей, хоша бы и за наше царское здравие. Эта чаша крепка для тебя... Ладно... Сам в подвалы в погреба ступай мои... Недалечко тут... Испробуй, нет ли легче, по душе чего? Сам поищи, сам и нальешь себе чару свою! — каким-то загадочным жестким тоном произнес Иван и в ладоши хлопнул.

Ключник и еще один из ближних слуг царевых, которые наготове стояли, сейчас же подошли.

Шепчет им что-то Иван.

А Димитрий стоит, низко кланяется, улыбается всем своим юным, пылающим лицом и лепечет:

— Вот спасибо... Вот царь... Вот милостивец... Сам тамо я уже погляжу... Чего полегче... на прохладе... Да и пройдусь, обвеет малость... Две чары тогда за здравие твое... Уж поверь... Я ли царю не слуга...

И, шатаясь, поддерживаемый двумя спутниками, вышел он из покоя, где душно и шумно так, где копоть и чад от светильников еще больше кружит охмеленные головы...

Ничего не набросил князь молодой на себя, в рубахе, как сидел, так и вышел по переходам в небольшой внутренний дворик, где был вход в ближние погреба царские.

Свежий, ночной февральский воздух сразу благотворно подействовал на отуманенную голову Димитрия.

Ярко светит полная луна, бросая длинные тени по талому снегу, которым покрыт весь дворик. Мягко ступает нога... Вот распахнулась тяжелая дверь подвальная, вошли туда все трое. Спустились вниз. Обширен, удобен царский дворцовый подвал. Бочки рядами стоят, сидоры, сулеи огромные, кувшины высокие

с винами дорогими, заморскими. На каждом сосуде хартийка привешена: когда привезено, сколько было всего вина, когда, кому бралось и поскольку...

— Ну что же, где у вас послаще что? Полегче? — спрашивает ключника Овчинин.

— Здесь, подале, княже... — отвечает тот. — Вот, в этом бочонке. Налить? Али сам потрудишься?

— Постой, я попробую... Сам нацежу сперва...

И нагибается князь... А третий спутник уже за спиной у его... Петля мертвая ловко и сразу на шею князю наброшена... Затянут конец, навзничь упал Овчина от толчка, глаза из орбит выходят... Крикнуть, позвать на помощь... Но горло тесно перехвачено... Ни звука не вырывается оттуда, хрип один...

Руками оттянуть бечеву... Но петля так и врезалась в шею, и все глубже, глубже врезается... В борьбу бы вступить с палачом... Но тот далеко стоит, только конец аркана затягивает, причем все грузное тело юноши скользит по влажной земле... И руки Димитрия, бесплодно, нелепо сделав несколько взмахов в воздухе, вдруг задергались, словно от судорги... Заплясали и ноги. Лицо, раньше багровое, теперь синеть начало, исказилось каким-то совсем не подходящим выражением, похожим на гримасу сладострастия... Еще два-три хриплых звука, две-три судороги, и князь затих, выпив последнюю чару свою, чашу мучений, до дна!

А наверху пирушка веселая идет, шумит, продолжается без конца. «Столованье» государское кончено. Лишние столы убраны или в углы сдвинуты, блюда с яствами унесены: в соседних горницах челядь Иванова, все прислужники остатки доедают, опивки глотают... А царь и гости его пьют без конца, на скоморохов глядят, забавляются; с девушками сенными шутят, которых Иван приказал позвать, песни чтобы петь да играть игры вольные... И среди девушек сенных, среди бабенок веселых, которые у царя под видом дворни содержатся, — ходит одна странная, невиданная... Женоподобный красавец, Федя Басманов, — подсурьмился, подбелился, подрумянился; как заправская щеголиха того времени, в богатый сарафан нарядился, в душегрею, кокошник вздел с фатой полупрозрачною и толкается между народом, наглый, бесстыдный, зазывающий... Грудью задевает, плечом трется, бедрами вертит — совсем как бабенка, от вина и страсти ошалелая...

Любо Ивану, шутит он с бабенкой невиданной, щиплет ее, хлопает, грубо стыдит, заигрывает... А Басманов визжит и хихикает гадким, пьяным бабьим смешком.

Скоро новая забава ввалилась в покой: обычная тройка

скоморошья, масляничная — медведь, коза в сарафане и поводырь.

Радостно встретили любимую, наивную забаву пьяные гости, которые еще не свалились от хмеля под столы и под лавки широкие... Прошла обычная интермедия, пляс веселый идет. К нему все остальные шуты и скоморохи примкнули. У многих диковинные машкеры-личины вздеты, которыми не зря безобразные, пьяные лица свои прикрывают распутники. Ведь не одни холопы кабальные скоморошничают: бывает, купчик молодой, богатый, сын боярский, скучающий, — и они на масляной к скоморошьим стайкам пристают, по домам шатаются, ради житья веселого, ради бабьего да девичьего погляденья... Только лицо свое прячут...

И словно шабаш дикий затеялся, когда все эти люди со звериными, свиными, львиными харями, с арапскими, эфиопскими, татарскими личинами пустились в дикий, неистовый пляс. А среди них Басманов, девица красная, вихрем носится...

— Стой! — кричит хозяин. — Федюля, пройдись разочек... Безо всех пройдись!

Бесшабашный плясовой мотив смолк, оборвался вдруг, сразу... Домры, балалайки и дудки тихо, мерно наигрывают, словно песню выговаривают:

По улице мостовой
Шла девица за водой...

И девица-выродок, Басманов плавно, с платочком, грудью вперед, на пальчиках, как заправская плясунья, ходит в медленном танце перед восхищенными пьяными зрителями, которые стонут даже порой от удовольствия, грохочут от смеха при ином особенно удачном или вызывающем движении бесстыдного плясуна, даже в такой тихий скромный танец умеющего вкладывать грязный соблазн.

Чуть только начал плясать Басманов, к царю подошел палач-слуга, который ходил в подвалы с несчастным князем Димитрием, и шепнул одно слово на ухо государю.

Иван вздрогнул, дал знак слуге уйти, вскочил с места и возбужденным голосом крикнул:

— Федь! Я с тобой в чету становлюсь... Слышь: «За ней парень молодой...» — лихо подхватывая слова песни, запел Иван. — Чем я не парень? А?! Да личину мне позабавней давайте... Вот эту! — сорвав с головы скомороха, стоящего рядом, харю арапа, решил Иван и надел маску на свое лицо. — И все, гости милые, все вы — хари, личины надевайте... Все — скоморохами станем, плясать

пойдем... Веселье так-то... Все... Чтобы лица человечьего, подобия Божьего — и не видел я сейчас. Ну же, гости дорогие...

И, кинув такой приказ, пошел в пляс с Басмановым, который теперь просто из себя выходит, стараясь быть попривлекательней, позабавней, изгибается, вьется, носится по дощатому помосту, словно по льду скользит... И танцор державный, хозяин ласковый, лихо пляшет с этой лукавой тварью, с развращенным приспешником.

Недолго плясал Иван. Хмель дает себя знать даже такому мощному человеку, каков сам хозяин пирушки. Упал он на лавку, развалился, сидит, смотрит на остальных... Все нарядились, пляшут, шумят, хохочут, с девками шутки шутят вольные, не стесняясь людских очей... Все — свои здесь... Чего же стыдиться? И вдруг, еще не глядя в ту сторону, почувствовал Иван справа от себя: кто-то глядит на него...

Маску, от которой душно стало, сорвал с себя царь и прямо на лице почувствовал чей-то взгляд.

Обернулся — и побледнел. Сидит в углу, в стороне старец седобородый, князь Репнин; лицо скорбное, глаза широко раскрыты и, должно быть, — слезы на них... Близкое пламя стоящего на столе, перед князем, трехсвечника словно искрами загорается, отражаясь в раскрытых глазах Репнина...

Слезы? Сейчас? Здесь? По ком? По Овчине ли? Или по душе самого Ивана? Не смеет плакать никто! А этот... святоша, ханжа, сильвестровец — меньше всех!

И поднялся Иван, «харю» в руке держит, нетвердыми шагами идет к Репнину прямо.

— О чем горюешь, князь, на пиру на моем на веселом? Вон и очи в слезах... Не по душе ли Митькиной?

— Нет, государь... Не по ней... Жива душа князя Димитрия...

— Жива ли? А вон сейчас шепнули мне: в погребу нашем — упился вконец, в вине утонул... Как пишут сказание про одного дуку англинского... В «нетях» твой Митенька. Истинно говорю. Молись за упокой души княжича.

Ничего не сказал Репнин, вздрогнул только и, широко крестясь, стал шептать молитву. А слезы еще быстрее покатились по щекам, по седой бороде.

Вздрогнул и Мытнов, сидевший совсем в тени, неподалеку от князя, и тоже стал креститься.

— Вот теперь хоть есть тебе плакать по ком, княже! — продолжает между тем Иван. — А раньше кого же оплакивал? Скажи. Правду только... От нас не потаи...

— Всю жизнь я по правде, государь, жил.. А перед царем и

подавно! Образ Божий — царь на земле... Душа не велит таиться от него... По тебе я плакал... Образ Божий мрачишь, государь! Хари вздеваешь на главу помазанную, на лик свой царский пресветлый. Со скоморохами, с блудодеями пляшешь. По душе твоей — моя душа слезы льет. Прости, государь...

— Вижу, вижу: прямой слуга наш царский — князь Репнин. Режет правду-матку в глаза, хошь и колется правда его. Да не все и прав ты, старче. Нет укора царю, что бы ни творил он. Лебедь белый в каку бы грязь-тину ни попал — окунется в воду студеную, в окиян-море, — и снова снега белее, чище золота... Знаешь ли, князь?

— То — телесное осквернение, наружное царь... А ты — душу свою сквернишь...

— Этим-то? Личиной-то ничтожной, руками скомороха сотворенной? Стыдись, князь. Поумней тебя я чёл... Веселье не во грех и не в осуждение... Ты — больше грешишь, что царя своего осудил, когда он по трудах, по заботах царских, усталый от борьбы с вами же, с крамольниками, сердцу волю дать пожелал, в веселье позабыться хочет... И не иначе откупишься за вину, если сам эту личину взденешь и плясать с нами пойдешь... Ну-ка, живей...

И он протянул князю свою маску.

Ни слова не отвечает старик, стоит, опустя очи в землю.

— А! — сразу меняя легкий, глумливый прежний тон на иной, суровый и зловещий, заговорил Иван. — Сам — не хочешь? Слову царскому не повинуешься? Так я же силой заставлю тебя...

И, двинувшись вперед, он начал своими руками надевать маску на лицо Репнина.

Живая статуя ожила.

Сильным движением вырвал старик у Ивана из рук маску, швырнул на пол, ногой придавил и, подняв гордо седую, львиную голову с растрепавшимися прядями серебристых волос, задыхаясь, заговорил:

— Царь... Негоже... негоже творишь... Не будет надо мной такого бесчиния... Безумия не сотворю... Я — советник, воин, думный боярин твой... Защитник земли... А не скоморох и блудодей позорный...

И замолк, тяжело дыша...

Замерли все кругом давно уже столпившиеся вокруг князя и царя гости, и слуги, и скоморохи царские.

Ждут: что будет?!

Первым движением — к поясу дернулась рука Ивана. Да нет там оружия... И столы опустели от ножей... До крови закусив

губу, стоит Иван, в глаза глядит дерзкому. Не опускает глаз своих и Репнин. И вдруг потупился Иван, глухо проговорил:

— Добро... Ин пусть тако будет... В моем же дому гости-рабы поносят хозяина...

И снова молчание.

Но и Репнин, и все прочли приговор у него на лице.

—Царь, отпусти меня, молю! — мягче теперь, примирительным звуком заговорил старик, понявший, что и он погорячился. — Поздно уж... Прости старика, Христа ради для... Отпусти! Вон к заутрене скоро ударят... Домой бы заглянуть мне... Скинуть прочь одежду эту грязную, запоганенную... В чистой к Богу прийти хочу. Прости, государь...

— А ты мыслишь еще, княже, что после слов твоих, после того, как руку ты на нас, на царя своего, поднял, — живым еще выпустят тебя отсюда? А? Скажи, князь...

— Твоя воля, государь... Выпустят — все равно, не уйду никуды. Твердо памятую: жизнь наша в руцех Божиих... В церкви всегда найдут меня... Нет мне теперь путей иных... Враги не грозят земле... Так в церковь мне и путь-дорога одна... И домой потом!

— Ин добро! Правда твоя: такие, как ты, княже, не бегают. Терпок ты, да не лукав... Ступай, помолись, боярин, в последний раз... Благодарствуй на слове смелом да искренном...

— Не на чем, государь!

И, отдав поклон, вышел Репнин, минуя толпу людей, пораженных всем происходящим. Не ожидали они подобного исхода!

Но едва переступил Репнин порог, сопровождаемый особым спутником, без которого никого не выпускали с пирушки царской, едва начался прежний разгул и гомон, как царь мигнул князю Михайле Черкасскому:

— Гей, шурин...

Тот подошел, пьяный, черный, зверообразный.

— Нынче — поздно, гляди... Не успеешь... Завтра — людей изготовь... Где придется, пораньше, как в церковь пойдет старик этот дерзкий, схвати его... В «мешок» его, как хочешь там... Но чтобы больше не видал я его никогда!

— Ладно, государь... А там — и на двор к нему, для обыску, заглянуть можно будет?

— Э, как хочешь!

И, досадливо отмахнувшись рукой, Иван вернулся к своему месту, взял в руки оставленный здесь посох царский, воткнул его стальным острием в доски пола и, подперши подбородок руками, глядеть стал на общее беснование, сразу потерявшее всю прелесть в глазах обозленного Ивана.

Отец и сын Басмановы подсели сейчас же к царю. И один из Захарьиных, Василий Юрьев, тут же.

— Заскучал, царенька! Ишь, старичишка поганый, как огорчил государя мово желанного! — начал было Федя.

Но Иван сидит, словно и не слышит слов наложника.

— А слыхал я, — заговорил отец Басманов, — за такую поруху имени царскому и величеству его — казни дают самые жестокие.

Молчит, не откликается Иван.

— Да уж последнее дело, если гости хозяина, государя своего, в его же дому поносят... Вот, слыхал я, фрязин один мне сказывал,— заговорил Василий Юрьев, — у галльского круля, что помер, почитай, в тот год, как царю нашему на царство сесть время приспело... когда преставилась великая княгиня покойная... Лудвих Первый-надесять он звался...

— Ну, знаю! — отозвался заинтересованный Иван. — Так что же фрязин твой сказывал?

— А у Лудвиха того самого так же вот крамола промеж дуков, дворян да советников его старых пошла... Когда землю, не хуже вот тебя, царь, — собирать он вздумал, порядок заводить...

— Ну, знаю, знаю... Все знаю... Дале что?

— И удумал Лудвих: ото всех, от старых, от супротивных вельможей отделаться захотел. Они там — свои дела делают, земские и ратные, как он же им прикажет, по-старому... А что новое хочет завести — новых людей набрал... Особо и зажил с ними. Что велит, вот, как ты нам, скажем, — то и сделано. *Опричь* царя никого те люди не знали. И берегли его от всяких ворогов. А царь за то и жаловал их сверх меры...

— Опричь царя? Опричь круля своего Лудвиха. Знаю... Слыхал и я ... Стой, стой! Как же мне доселе невдомек... Правда... Старых — не переделаешь... И без них — не проживешь же пока. Давно я то говорю... А ты сейчас... Надоумил ты меня... Спасибо, Вася... Сам не знаешь, какую послугу мне да царству всему, всей земле оказал... Жди награды великой.

Просиял Захарьин, который неспроста здесь, в вихре беспутной вечеринки, зародил в голове царя мысль о новом деле великом, о московской опричнине.

Сидит, задумался Иван. Собеседники — не тревожат царя: ясно, что не до них Ивану.

Вдруг шум за дверьми раздался. Вернулся провожатый Репнина и Молчан Мытнов с ним.

Подошли оба к Ивану.

— Что такое? Что надо? — словно просыпаясь, резко спросил тот, уставясь на обоих воспаленными глазами.

— Да вот, государь, — заговорил привратник, — князя ты выпустить повелел. А этот — за ним увязался. Тоже домой, вишь, просится. А я без приказу твово...

— Вестимо. Никто не смеет раней нас с пиру уходить. Не водится того. Молчанушка, аль ты не знаешь? И то, редко видим мы тебя на беседе веселой нашей. А слыхал пословицу: насупился молодец, знать, худое в голове... Аль не любо и тебе, как князю Репнину, глядеть на забаву нашу царскую? Так он — князь; хошь и дальний, да кровный родич наш... А ты? Что же молчишь? Аль и виниться не хочешь, холоп? Все молчишь? Эй, чару сюда! Самую большую... Пусть все осушит во здравие наше, за поруху свою негожую...

Подали ту же самую, широкую, полную вина чашу, которую перед смертью не допил никак Овчинин.

Но Мытнов и не принял ее. Поняв, что выхода нет, что он без вины осужден — и погиб, как осужден Репнин, как погиб сейчас князь Димитрий, о смерти которого успели все проведать на пирушке, — Молчан решил хоть одно совершить перед смертью: кинуть в лицо кровопийце свой последний упрек.

— Слава царю-государю! — громко, твердо проговорил он и сильно отвел от себя поданную чашу левой рукой, так что половина влаги расплескалась на пол и на одежду пролилась чашнику, подносившему вино. — Слава владыке нашему милосердному! — правой рукой касаясь земли, повторил Молчан.

И, выпрямляясь быстро, продолжал среди зловещей тишины, воцарившейся в покое:

— Воистину, царю! Возлюбил ны, рабы свои! Ничего не жалеешь для слуг своих верных... Как сам упиваешься, тако и нас принуждаешь, окаянных, пити мед твой крепкий, мед, с кровию братий наших, христиан православных, смешанный... Слава тебе, госу...

Но он не договорил...

Блеснуло что-то в воздухе... Поднял руку Иван, быстрее молнии — и острый конец жезла, «осно» самое, с ужасной силой вонзилось в горло Молчану... Кровь так и хлынула из раны широкой струей, когда мгновенно выдернул Иван жезл из раны и готовился второй удар нанести. Но этого не пришлось: Мытнов так и рухнул, лицом вниз, задев ноги царя головой, залив потоком алой крови его одежду и помост кругом.

Отодвинулся невольно Иван, но снова поднял руку, чтобы, сверху вниз, второй удар нанести... Вдруг за окнами прогудело в воздухе, пронеслось — разлилось волною что-то, как вздох могучий, как восклицанье тяжкое, громкое... Это — пронесся первый удар колокольный с ближайшей звонницы кремлевской и поле-

тел, замирая, далеко в свежем, прохладном предрассветном воздухе...

Остановив руку с жезлом на полпути, царь уронил губительный посох, взглянул в передний угол, на иконы, и, зашептав молитву, стал осенять себя истовым, размашистым крестом... И все сотворили крестное знамение.

— Убрать... вон... за порог долой пса этого... — распорядился Иван.

Пока двое прислужников волокли полумертвого Молчана во двор, где и добили его, царь обратился к присутствующим:

— Простите, гости дорогие... Не обессудьте! Угостил, чем мог. Теперь — на молитву пора... Ступайте... И я скоро приду... А вы... все прочь! Сгиньте, окаянные! — прикрикнул он на шутов, скоморохов и бабенок, которые, дрожа от испуга, устрашенные смертью Мытнова, столпились в углу, словно стадо овец беспастушное...

Как ветром вынесло всю челядь из покоя... Гости — тоже расходились не мешкая, без излишних прощаний, только поклон земной отвесив царю...

— Ты, Федюля, проводи меня... Отдохну малость... Да переоденусь тоже... для храма Божия... — обратился Иван к Басманову-сыну. — Ишь, кровью на кафтан брызнуло.

И, опираясь на плечо переряженного любимца, пошел в свои покои неверным, колеблющимся шагом. Хмель и кровь совсем опьянили его.

Но все же, придя в свою опочивальню, прежде всего достал из ларца Иван сверток особый, недавно заведенный, где записывал имена всех казненных, — и неверной рукой стал выводить:«И Димитрия... и... Молчана... и... Михаила... — подумав немного, приписал Иван, а сверху вывел: — Овчина, Мытнов, Репня, князь...»

— Как же, царенька? — раздался приторный, гнусный голос Басманова. — Откеда Михайло взялся? Ну, Митрий... сказали мне, как упоили голубчика... Ну, Молчан... Энто сам видел... А князь Михайла ты же здрава и невредима отпустил... Почто же причисляешь его к лику праведных? Хи-хи-хи! — довольный собственной шуткой захихикал Басманов.

— Сам он причислил себя... Не все ли равно? Заодно уж... Ныне ли, после ли? Слыхал, чай, и сам он сдогадался: «Не уйду!» — говорит... И не уйдет... Никто из крамольников — рук моих не уйдет... Аспиды проклятые... Так пусть красуется загодя... Не придется лишний раз — столбца доставать, в ларец лазить... Это ведь не к бабе за пазуху? А, Федюха? Как думаешь, краса моя писаная?

И он, притянув к себе Басманова, неверною рукою стал срывать с него фату и весь женский наряд...

* * *

После блестящей, но единичной удачи с Полоцком, который был взят у Литвы при участии самого Ивана, — военное счастье в эту пору словно совсем отвернулось от царя, потерявшего душевный покой и семейное счастие.

Литва — с Крымом, со своим исконным врагом и опустошителем, сноситься стала, с султаном в переговоры вошла, шведов в союз вовлекла... Мир с Литвою, или хотя бы перемирие, пришлось Москве заключать. Ряд поражений потерпели русские войска, начиная с битвы на реке Уле, где пало трое воевод-князей: Петр Шуйский и двое Палецких, а других двое: Захар Плещеев да князь Охлябинин — в плен сдались.

Свара с боярами и воеводами все жарче разгоралась. Вельможи пытались заступиться один за другого, а Иван еще грознее карал заступников, видя в их возмущении — бунт против его власти, от Бога данной, по наследству от предков полученной. И нужны были воеводы для борьбы с внешними врагами, и не верил им Иван... Всегда не верил... А тут — еще бежавший Курбский подлил масла в огонь.

Только вышел Иван ранним майским утром из покоев, чтобы в колымагу сесть, ехать к Троице-Сергию, — как подвели к самому крыльцу стражи дворцовые какого-то человека, в пыли, усталого...

— Кто такой? Что надо?

— Не говорит, государь... Все тут тискался... Неведомо, каким путем и пришел во двор царский... Спрашивал, допытывал-допытывал: скоро ль ты, надежа, выйдешь, пожалуешь? Обыскали: нет при ем такого ничего... Как сам прикажешь? Допросить али пустить?

— Оставьте... Я знаю его... Ты, Васька? Я — у князя Андрея... у пса забеглого, у отъезжика-Курбского видал тебя... С ним, сказывали, и на Литву ты бежал, холопской ради верности... Што, али по Руси скучился? Али домой захотел? Или про хозяина имеешь сказать вести новые? Говори, мы слушаем... Вы, подале отойдите... — приказал окружающим Иван.

— Имею сказать, государь! — с поклоном ответил Васька Шибанов, глядя в лицо царю. — Только не тоска-засуха, служба господская привела меня в Москву. Вот, приказал князь, господин мой, в руки тебе, государь, цидулу его передать нарочитую...

— А-а... давай, давай... Что пишет князь? Уж не с повинной ли ползет собака к старому хозяину? Так погоди еще. Давай, подавай-ка послание? Где оно у тебя?

— Вот, государь! — рванув подкладку у шапки и доставая оттуда сложенный кусок пергамента, произнес Шибанов. И, с новым поклоном, протянул письмо князю Черкасскому, стоявшему между ним и царем на всякий случай.

Иван быстро выхватил сверток из рук шурина, взглянул на печать, увидел, что хоть и помята она дорогой, но не тронута. Быстро сорвал шнурок и стал читать. С первых же строк лицо царя, веселое и довольное раньше, потемнело. Жилы на лбу кровью налились, все черты лица так и задергались. Читает, губами шевелит. Даже пена проступила на них от внезапного прилива ярости. Остановился скоро, руку с письмом опустил, а рука ходнем так и ходит... Другая рука, в которой неизменный, неразлучный с царем посох-копье находится, так острием жезла и пронзает доски крыльца.

— А поди-ка поближе сюды к нам, гонец-посланец... Что тут писано, — знаешь ли?

— Не отопрусь, знаю, государь... Не потаил господин, с какой эпистолией шлет меня...

— Знаешь? Знаешь? — зашипел Иван.

И вдруг, вытянув конец жезла из доски, куда тот был вонжен, поднял и опустил его прямо на ступню Шибанова, который не на коленях, по-холопски, а стоя, смело говорит с царем.

— Ох, Господи! — невольно вырвалось из груди у того. Но он не двинулся с места. Только слезы, против воли, слезы, вызванные мучительной болью, покатились по запыленному, загорелому лицу верного слуги и, капая вниз, смешивались с тонкой струйкой крови, которая стала просачиваться из пробитого сапога, из пронженной ноги холопа-мученика.

А Иван приналег всей грудью на посох, близко придвинул свое яростное, потемнелое лицо к побледневшему лицу Шибанова и спрашивает:

— Поди, чай, не один у тебя и список был? Не ты один и гонцом погнан? Еще иным многим людям цидула эта ныне уж ведома, передана?

— Верно, государь... Гонцом — я один взялся быть... А здеся пришлось уже кой-кому такие ж эпистолии пораздать: знали бы люди, что тебе, царю, господин мой, князь пишет...

— Так, так... Друг ты, выходит, князю верный, не простой гонец ото пса забеглого. Ну, коли одни люди знают, пусть и все другие слышат: что холоп — царю своему пишет. Не потаимся.

Сказано же: кто к небу восплюет, на лицо тому же слюна его, злоба отрыгнутая вся падет. Читай погромче, дьяк...

И передал царь одному из сопровождавших его дьяков письмо Курбского.

— А ты, Васенька, тоже послушай постой... Лишний разок оно пригодится тебе...

Глядит на бледного Шибанова и улыбается.

Тот головой поник, зубы стиснул, чтобы не закричать по-бабьи, себя, господина своего не осрамить. Знал ведь, на что шел. Чего же тут выть, молить да жалобиться.

Стоит и молчит, чуя, как все глубже в ногу острие жезла вонзается, кости дробит мелкие, мясо рвет... Вот и подошву прошло, в дерево врезалось... А там, погодя немного, — чудо Божие! — не слышит уж и боли никакой Шибанов.

И голову поднял, и губы не кусает. Лицо — спокойное, ясное, словно не он к полу железом пригвожден, как Христа римляне ко древу пригвождали.

А Иван, опершись на свой жезл, стоит, слушает, что читают, сам глаз не сводит с холопа и злится, отчего не видно муки на лице у смерда предерзкого.

Ярко сияет майское солнце с небес, озаряя всю картину.

Дьяк громко, мерно читает послание:

«Царю, от Бога препрославленному, паче же православием просиявшему, ныне же, грех наших ради, — сопротивно прежнего ставшему! Да уразумеет он, совесть прокаженну имущий, ему подобного же ныне и в землях безбожных языческих не обретается... Но всего не стану глаголати даже. Толико, гонения ради твоего царского, как искал ты мне и у покрова моего, у круля повредити, — скажу тебе, мало потщуся изрещи ото всего огорчения своего сердечного! Почто, царю, сильных во Израиле побил еси? И воевод, от Бога данных ты, различным смертям предал еси? И святую кровь их, яко недавно кровь князя Репнина, — в церкви Божией на очах митрополита-владыки, — пролил еси?

Чем провинились пред тобой, о царю! Чем прогневили тя, христианский предстателю? Не они ли прегордыя царства бусурменския разорили и покорили тебе? А ране — праотцы наши тем, неверным агарянам, работали, дани несли!

Сам Христос — Судитель меж тобой и мною. Коего зла и гонения от тебя не претерпех, коих напастей и бед не воздвиг на меня еси! Не испросих, не умолих тя слезным рыданием, ни ходатайством архиереев-заступников...

Кровь моя, аки вода, пролитая за тя в боях, вопиет к Богу —

на царя моего! Потрудихся много, всегда за отечество свое стоях, мало матерь свою зрех и жены не познавая... Всегда в дальних градах против врагов твоих ополчахся и нужду терпех, и нужды, им же Христос свидетель. И ранами учащен, сокрушено язвами все тело мое, но тебе, царю, все сие — аки ничто есть... Одну ярость и ненависть лютую являешь к нам! Не в похвалу то реку. Да буди тебе, царю, ведомо: не узришь в мире лица моего до дня преславного явления Христа-Спасителя... Но и молчати не стану! Со слезами стану до скончания века вопиять на тя Пребезначальней Троице... И не я один, вси, заточенные и прогнанные тобою, избиенные тобою, — они на небе, мы — на земле, — к Богу вопием день и нощь... Мучишь ты род христианский, ангельский образ попираючи, силой во схиму, в монастыри заточающи, чин монашеский налагающе, подобно отцу своему... И ласкателей слушаешь своих, губителей души и тела своего... Они ведут тебя на дела Афродитские, детьми своими, паче жрецов Кроновых, — жертвуют тебе, дух твой развращающи... Особливо — боярин твой, христианский губитель, от блуда зачатый, богоборный антихрист, Олешка Басманов, синклита твой, иже от прелюбодеяния рожден есть, как всем то ведомо! И шепчет ложное в уши царю, и льет кровь христианскую... И много уж выгубил! Не пригоже таким потакати, о царю! Сам ты, развращенный и прелукавый, к ранним грехам юности своея обратился. Прескверных паразитов и маньяков собрал к себе, како были у тя в юности — Бельский с товарищами богомерзкими, прегнуснодейными... На его место — Федька Басманов ныне... Вспомяни, царю, те дни минувшие, когда блаженно царствовал, при Сильвестре — отце нашем! При советах его... Очутися и воспряни! Многое нам зде приходящие от земли твоей поведали... Девиц, глаголют, чистых четы собираешь, за собой и на войну и всюды подводами их волочишь... Нещадно чистоту их растлеваешь... И другое многое слышно... Не губи себя и дома своего! Прибегни, царю, к раскаянию. Бог не отвергнет тебя... И Петр апостол, согрешив, со слезами покаялся... Мудрому — довлеет!

Аминь!

Писано в Вольмере, граде государя моего, Августа-Жигимонта короля, от него же надеюся много пожалован и утешен быти ото всех скорбей моих, милостию его господарскою,паче же — милостию Божию, яко есть Он всем скорый помощник и утешитель!

А еще помяну: затворил еси царство русское непохвальным обычаем. Заградил свободу людям, яко души грешныя затворены в стенах адовых. И кто бы из земли твоей поехал до чужих земель, —

ты называешь того изменником... А изымают его на пределе твоем — и ты казнишь смертями различными, яко изменника, то забываючи, что поневоле принуждены были крест целовать, обычай московский знаючи: кто присяги государю не даст, — горчайшею смертию умрет. О себе же поведаю! Тогда уж мнение твое грядущее на мя угадал, когда сестру мою насилием от меня взял за того же брата, Володимира, коего мы словно на царство хотели... А еще выдумал, что царицу у тебя очаровано и тебя с ней разлучено... И от кого же? От святых мужей, правота коих — сама речет за себя! Не устрашился ты притчи Хамовой. Блаженного Сильвестра, исповедника и отца своего, так облыгаешь! Может ли что прегнуснейшаго бысть? Не он ли грехи твои все на своей вые носил? Победы принес тебе сей священнослужитель, не глядя, что казнил и наказывал тебе сурово о неподобных делах твоих. Исайя же пророк писал: «Лучше лоза и жезл приятеля, нежели ласкательные целования вражии...» Помяни те дни светлые и воротися к ним! Ласкатели твои клеветали на старца, что устрашал он тя не истинными, но льстивыми видениями... И я глаголю: воистину, льстец он был, коварец и — благо козней при всем том. Понеже взял тя, исторгнул из сетей адовых и ко Христу-Богу привел... Так и врачи премудрые творят: дикие мяса и неудобьцелимыя гагрины* бритвами режут, а потом — заживляют недуг, когда до живаго тела дойдут... Так и сей Сильвестр-пресвитер творил над тобою... Но умолчу дале, ради сокращения писанейца сего... Не хочу бо, раб убогий, с твоею царскою высотою сва́ритися...

Андрей Курбский, князь Ковельский».

Замолк дьяк.

Тишина кругом. Слышно, как кони царские пофыркивают, воробьи щебечут, в пыли купаются.

С ближней площади кремлевской — голоса и гомон доносятся.

Иван, протянув руку, взял у дьяка письмо, сам глядит все на Шибанова. Тот стоит — шатается, обессилел от потери крови и сразу, как мешок, осел на помост крыльца.

— Уберите-ка гонца! — вытаскивая острие жезла из ноги, произнес царь. — Да на ноги поставить его поскорей; лекаря, что ли, к нему послать. Он — живой мне надобен...

И прошел вперед.

---

* Гагрина — гангрена.

* * *

Быстро оправился Шибанов, на другой же день — и в застенок, на допрос попал... Но никакими муками ничего не вызнали у несчастного больше того, что он царю сказал. Так и умер он под пыткой...

* * *

Более месяца прошло со дня смерти Шибанова.

Июльская знойная ночь парит над землей.

В селе своем Коломенском от летней жары спасается государь.

Все спит кругом. Сторожа лишь порой перекликаются. Залает собака на селе, далеко — и смолкнет. Петух протяжно, звонко запоет — и стихнет!

Ему рядом другой откликнется... Дальше, все дальше их перекличка звонкая пойдет, пока в самых дальних деревнях, вкруг царского села раскинутых, в небольших поселках окрестных — последние, ели слышные зовы петушиные не протянутся... Не то — птица прокричала, не то в лесу — эхо слабое, еле внятное, отдалось... А там — с воды гоготание гуся сонного поднимается. Ему вся стая гусиная откликнется, словно людная толпа — речью перекинется. И снова мертвая, немая тишина. Простор и полутьма, пронизанные лучами полной луны, которыми сыплет она с чистого неба на целый спящий мир.

Близко рассвет. Все спят. Не спит один Иван в своей прохладной светелке, в опочивальне летней.

Сидит перед столом, в легком кафтане из канауса, подбитом пестрядью домотканой. Сидит — и читает длинный свиток, лежащий перед ним. А порой возьмет перо и поправляет в нем что-то.

Это — ответ царя на письмо Курбского, на дерзкое, неслыханное послание, какого ни один из царей русских не получал еще от подвластных своих, как бы знатны те ни были!

Оно бы и не подобало царю на лай раба отвечать. Да натуру не переделаешь. «Первый ритор в премудрости словенской», царь Иван IV упустит ли случай разбить врагов и на письме, как на поле брани порой разбивал?

И, развернув свою заветную книгу, которую думал вместо завещания детям оставить, стал он выбирать оттуда и прилаживать одно к другому все, что могло покрыть стыдом голову Курбского и всех крамольников царских.

Не трудна работа... Но все-таки больше месяца ушло на нее.

Тем более что захотел царь свой ответ изукрасить и мудростью церковной. Книги священные стал пересматривать, Апостолов послания, и Златоуста, и отцов церкви. И те фолианты, — историю царей, — которые он часто у Макария читал, а теперь по наследству от покойного старца в дар получил...

И выводил потом строку за строкою, в свободные часы, — даже не раз пирушки отменяя ради письма ответного-заветного. Чертит Иван четкие строки, а сам вдаль глядит, словно заранее увидеть душою желает, как смутится, как посрамлен будет Курбский, прочитав витиеватый ответ царя, полный укоров и улик тяжелых...

Тут же, на столе, лежит и послание князя. Порой и в него заглядывает царь, чтобы убедиться, что ничего не забыл, на каждую строку возразил этому наглому холопу, который ни умом, ни саном, ничем, ничем не смеет равнять себя с Иваном, Московским царем, всея Руси, милостию Божией...

Макарий, умирая, последнюю услугу оказал царю. Хлопоча у патриарха Константинопольского о венчании Иоанна IV на царство, митрополит вывел его род, через Рюрика, от Прусса, брата императора Августа... Иван сам скоро поверил шаткой выдумке. И тем надменней и нетерпимей стал. Тем больнее показались ему уколы опального князя... Сам патриарх вселенский, хоть и за большие жертвы, но признал Иоанна царем, защитой всех восточных христиан, Москву «Третьим Римом» величает...

А смерд окаянный решается?!

И мнутся, шуршат под пальцами царя края широкой, длинной ответной хартии.

«Бог наш Троица, иже прежде век бывший и ныне есть, Отец и Сын и Святой Дух, им же цари царствуют и властители пишут правду. Се пишем мы, великий государь, царь и великий князь Иоанн Васильевич всея Руси, Владимирский, Московский, Новгородский, царь Казанский, царь Астраханский, государь Псковский и великий князь Смоленский, Тверский, Югорский, Пермский, Вятский, Болгарский и иных, государь и великий князь Новагорода, Низовской земли, Черниговский, Рязанский, Полоцкий, Ростовский, Ярославский, Белоозерский, государь отчинный и обладатель земли Лифляндской немецкого чину, Удорский, Обдорский, Кондийский и всея Сибирской земли и Северной страны повелитель — бывшему нашему боярину и воеводе, князю Андрею Михайловичу Курбскому».

Так начинается послание царя. Но зная, что не один Курбский читать будет хартию, не везде придерживается одной истины державный сочинитель.

Всю нагую, жестокую правду написал он там, где перечислить захотел страдания, испытанные им в юности, где пытался изобразить вины бояр-расхитителей наследия Иванова, разорителей всей земли. Здесь — и происки дядьев Ивана отмечены, и измены бояр... Только касаясь самого Курбского, Сильвестра и Адашева, вышел из рамок справедливости Иван, написал, может быть, то, в чем сам не был твердо убежден.

Проглядывает обширное послание Иван, а порой и вслух перечитывает особенно удачные, по его мнению, места. Отправлять надо скоро письмо... Посол московский в Литву едет. Он и передаст. Да переписать придется несколько копий. Себе оставить, боярам здесь раздать, чтобы знали, как посрамил царь своего хулителя! Да и за рубежом, где, наверно, Курбский свое послание широко разбросал повсюду, — надо тем же холопу отплатить...

И постепенно, с одного конца сворачивает, разворачивает с другого длинную хартию и скользит по строкам глазами Иван.

«... Аще праведен и благочестив ты еси, по твоему гласу, почто убоялся неповинныя смерти, коя не смерть для души, но спасение? Апостол Павел же рече: «Всяка душа владыкам предвладующим да повинуется, несть бо владычества, еже не от Бога учинена есть! Противится кто власти — Божию повелению противится!

Како же не усрамишься раба своего, Васьки Шибанова? Он, благочестие свое соблюдая, перед царем и передо всем народом, при смертных вратах стоя, ради крестного целования, тебе данного, не отверг господина своего, но похвалял тебя и всячески за тя умереть был готов... Ты же — и того не сумел! Единого ради слова моего гневного душу свою погубил и души всех прародителей своих, кои за себя и за сынов своих присягу отцам нашим давали на верность вечную... Ты все забыл, собацким изменным обычаем, бегуном сделался...»

Читает Иван, а сам думает:

— Нет, не понять души холопьей. Не вернется он ко мне. А если бы?..

И пальцы шевелятся, крючатся у него от предвкушения: что можно бы сделать тогда с изменником!

«... Оттого ли моя совесть прокаженная, что царство свое в руках держать захотелось? А работникам своим владеть мною и царством не давал? Так изначала самого — российские самодержавцы владеют сами всеми царствами, а не бояре и вельможи у них, как в иных странах языческих... Мог ли я под властию попа, тобой помянутого, и под вашим злочестием — самодержавцем быти? И не восхотел я пребывать под вашей властию, сгубить себя не дал... Что же, собака, пишешь и болезнуешь о злобе своей?

Вспомяни из царей великого владыку, царя Константина. Царства своего ради и во спасение земли он сына убил единственного своего! И во святых почитается Давид-царь, а не оный ли Иевфусеев всех побивать велел, кои не признавали его царем... Могу ли я вас миловать?

Лучше ли есть, когда царством поп, невежа обладает, а злодеи, изменники ведомые — царем повелевают? А сам знаешь: поп тот и прегордые, лукавые рабы владели, а я, царь, одним председанием и царской почестью величаем был... Властию же истинной — всякого раба похуже. А как ссадил я приставников и пестунов — все оттого и приключилось. Помнили бы, злодеи, что и в Ветхом Завете, и в Новом писано, и в Греческом, и Римском царствии было? Илие-пророку не далося царство, но юному царю Давиду... Августа-Кесаря держава, сынам поделенная, хоть и полсвета обьяла, а распалася и скудность приняла. Такоже и Италийские владыки, и царствие Греческое преста быти, междоусобными бранями растленное... А вы того ж для Руси хотели?! Ино дело — власть святительская, ино — царская... А и то бы, собака, рассудил: три патриарха собрались со многими святителями, нечестивому царю Феодосию многословный свиток написали, но таких хулений не изрыгнули в письме, тебе подобно, хоть и нечестив был тот царь...»

Тексты священные пестрят письмо... Их пропускает Иван.

А вот еще место... Надо перечесть...

«Не судьями и воеводами земля правится, а Божиим произволением. Нет правды в земле — и правители бессильны. Если же мы воевод своих многих различными смертями казнили, так помимо вас, изменников, множество есть и других таковых же у нас... А жаловать своих холопей мы вольны... А и казнить их — вольны же! Облыгать же нам слуг своих — не из чего. Есть их, что ли, живьем я собираюсь? Власти ли их желаем, рубища ли их жалкого? Царские, свои есть достатки у нас. Про наш век хватит...»

— А и возьму что у рабов? — думает Иван. — Так свое же назад отберу. От меня и от отцов моих полученное или наворованное... Ну, далей... Где тут про Адашева? А, вот...

И он опять стал проглядывать хартию...

«... Алексей же, ваш начальник при дворе нашем царском, в юности нашей, не вем, каким обычаем из батожников, из челяди водворился. Измены от вельмож наших видя, взял я его из гноища, поставил наряду с вельможами, верной службы чая... И честью, и богатствами одарил не только его, но и всех сродников его... И какую службу прямую увидел от него? Сейчас поведаю...

С Сильвестром сдружился Алексей. Потайно от нас стали они советы держать... Честь у нас отняли... Новых людей, молодых детей боярских стали в честь вести... Вотчины наши отцовские, родовые — по ветру раскидали, по рукам роздали, друзей себе созидая... Повсюду — властями угодников своих поставили... И все по своей воле творили! Аз же, что и на благо скажу — все неладно им было! Все-де я развращенно и строптиво советую... И так — до спания моего и обуви самой — во всем я им покоряться повинен был... Кто же хоть малость доброхотен нам, или покорен — тому гонения. Кто нас раздражит, утеснит ли чем — тому богатство, честь и слава! И ото дня до дня росли такие утеснения мои... И мне толковано, будто все сие на пользу мне, а не их лукавства ради!

Когда же захворал... — даже негромко, но вслух стал читать Иван, подойдя к самому больному месту для себя, — почли вы с попом Сильвестром и с начальником вашим, Алексеем, что уж не жить нам на свете... И тут от упоения самовластного восшатались, яко пьяные...

Когда же оздравели мы — злоба ваша не престала... И на царицу нашу, Анастасию, злобу воздвигли и гонение лютое... Когда же изменник старый, собака, Ростовский князь Семен Литовским послам порочил нас и бежать хотел, а мы не казнили, только с глаз сослали его, поп Сильвестр и с вами, злодеями, того собаку в великом бережении держали... И все твердили, яко согрешений наших ради — болезни на нас, на царице и на чадах наших приключаются... Ради моего непослушания вам... И вспомнить тяжко горькое возвращение мое на Москву с недужной царицей из Можайска, без молитв божественных, без лекарей в помощь... Когда же отошел от двора поп Сильвестр, никого сперва я казнью не коснулся...

Лишь когда стали вы против меня больше стояти и измену творить — я захотел вас воле своей покорить, хотя бы и кровавыми казнями... Бояре же крамольные, кои царя, Богом данного, на троне рожденного, отвергли, преступив клятву, зло всякое нам и дому нашему творили, словом, и делом, и умышлением, ужли они не стоют казней?

А и с женою моею про что вы меня разлучили? Не отняли бы у меня юницы моей — и не было бы жертв Афродитиных, и юношеских игр Кроносовых... В чем теперь упрекаешь меня — одно скажу: все мы люди, все — человеки!

Только не мните сызнова устрашить меня, как поп Сильвестр и Алексей прежде сего *устрашали меня страшилами вздорными, детскими*! Минула та пора...»

Много еще тут написано и про *мнимые* заслуги воевод царских, а Курбского — в особенности... Про разные подвохи, им учиненные...

Вот и конец близко...

«... Лицо же свое, пишешь, не покажешь нам и до страшного су́да? — так кто захочет такое эфиопское лицо видети!» — прочел и плюнул даже Иван...

— Аспид... Ехидна... Воистину, лик эфиопский...

И, докончив читать, он начал выводить под письмом: «Писано в нашей великой России преименитом, царствующем, престольном граде Москве, в лето от создания мира — 7072, июля в пятый день...»

Прочел Иван, бесконечно длинное, умно и сильно составленное обвинение врагов, а свое оправдание — и задумался...

Чувство удовлетворенного авторского самолюбия, сладость мести, хотя бы и такой неполной, как это жгучее письмо, — эти ощущения смешиваются с иными... Курбский, один из вернейших до сих пор, один из самых близких по крови и по положению, — бежал, нарушил присягу. Не выдержал грозы, поднятой во спасение рода царского самим царем, и бежал. Мало того: свершил неслыханное дело — привел литовские войска на Русь... И теперь вот осмелился, как правый и равный, писать царю, корить его, грозить... Грозить ему, могучему, беспощадному, грозному... Да, чует Иван, что он — грознее всех: грознее деда и сурового отца своего... Казалось: растет и ширится, незыблемо стоит власть царей московских. А вот какой-то Курбский... Нет, не один Курбский... Он — плоть от плоти, кость от кости всей темной, старобоярской и княжеской толпы, которая с немым осуждением, как Репнин, или с дерзким вызовом, как Мытнов, глядит теперь на царя... Одного казни — десять новых займут место казненного... И борьба идет без конца... Правда: народ за него, за Ивана, за царя, взявшего Казань, взявшего Астрахань, повоевавшего Ливонию... Но народная толпа непостоянна... Две-три неудачи — и нового кумира изберет она...

Надо вызнать хорошенько, что думает народ? И уйти поскорее да подальше от попов, от бояр. Тогда только избавится душа Ивана от мучительного страха, каким исполнена с той самой минуты, как на крыльце, при всех, прозвучало это проклятое письмо далекого, ненавистного врага. Убийства тайного, восстания открытого — всего теперь ждет и боится царь.

Отравлены его радости, испорчены пиры, ужасны дни, мучительны ночи темные. Вот почему сейчас, окончив чтение, прижался в кресле царь, как будто ожидая удара сзади. Бледный,

затаив дыхание, раскрыв широко безумные свои глаза, сидит Иван и боится с места тронуться, к постели боится подойти, пока в окно не прольется первый луч рассвета, вступая в борьбу с мерцающим, красноватым сияньем восковых, нагоревших свечей...

Глава II

Год 7073 (1565)

Николин день, 6 декабря, царь приговорил провести в селе Коломенском. Неохотно, вообще, и зимою теперь оставался он в Кремлевском дворце, из которого раньше только летом выезжал. Новые привычки Ивана требовали большего простора, какого не могли дать высокие стены садов и строений царского дворца, возведенного среди людных площадей и улиц кремлевских. Как ни таись, — все, что здесь творится, — выплывает, словно масло на воду, становится достоянием толпы народной, предметом осуждений и кривотолков людских.

Да и слишком много печальных воспоминаний пробуждают в душе царя стены, предметы, все, что он видит в старом дедовском и отцовском жилище. Тяжелые эти воспоминанья, пугающие, кошмарные образы и тени хоронятся по темным углам покоев, мелькают и скользят по извилистым переходам... Из подвалов — какие-то стоны доносятся... Правда, в «мешке», в подземной темнице каменной, которая у Аргамачьих дворов устроена, под стеной городской, — там немало несчастных сидит... Стонут, гляди, воют, Бога и Дьявола призывают себе на помощь, на гибель царю, ввергнувшему их сюда. Но Аргамачьи конюшни — далеко! До покоев царя никакой звук не может оттуда долететь, от самых ворот, от Троицких. Кто же стонет и где, не давая уснуть царю?

Или штуки опять это чьи-нибудь, как тогда, на Воробьевых горах, Сильвестр с Адашевым устраивали? Нет! Никто, кроме царя, этих стонов не слышит; никто не знает про них и страхом владыки не пользуется. Льстят перед ним; наушничают все друг на друга; телом и душою готовы платить за каждую подачку царскую. А пугать, в руки брать властелина, пользуясь непонятными стонами, — никто не думает.

И не говорит Иван о ночных этих стонах даже лекарю своему, с которым часто советуется о своем здоровье. Что-то странное творится с царем. Пустая, хоть и грязная хворь, захваченная Иваном от татарок еще под стенами Казани, — там же скоро излеченная, — опять вернулась к нему. Невоздержанная жизнь — помогла недугу. Медленно, но верно стал он расти...

— Родительских соков дурных много в тебе, государь! — толкует лекарь. И как-то опасливо покачивает головой, словно хочет сказать что-то и боится.

— Все говори, не бойся! — приказывает царь.

— Надо сказать... В кровь и в кости хворь твоя прошла... Надо сильней за нее взяться... Не то — кончишь и ты свои дни, как покойный родитель твой...

Вздрогнул Иван.

Заживо распадаться?! Нет, это слишком страшно. Теперь умереть, когда ничего еще из задуманного не сделано? Когда и за сына не спокоен Иван: удержит ли Ваня трон за собою по смерти отца? Десять лет всего царевичу — и никого вокруг. У самого Ивана — княгиня-мать была, к правлению — привычная, сильными людьми окруженная. А теперешняя царица, черкешенка, Темгрюковна? Что знает она? Кто встанет за нее? Захочет ли сама она бороться ради пасынка, ради чужого ребенка? Что смогут сделать для племянника — ненавистные всем, всех ненавидящие и трусливые Захарьины? Эти и тысячу других, не менее жгучих вопросов давили душу, мозг Ивана, доводя порою чуть не до безумия. Для леченья, которое, по словам врача, будет тяжело и продолжительно, и для осуществления своих последних, заветных замыслов, — порешил царь выехать из Москвы.

Зима тот год стояла теплая. Вообще, густые северные леса, покрывавшие тогда, словно шубой, Россию — делали сноснее климат средней ее полосы. Больше влаги и тепла сохранялось в воздухе круглый год. Не говоря ни слова никому о цели поездки, 3 декабря 1564 года, огромным поездом тронулся Иван из Кремлевского дворца.

Знали бояре и народ, что царь собирается престольный праздник Николы зимнего встретить в храме села Коломенского. Но если оттуда вернется он назад, — зачем такие сборы великие? Зачем этот поезд большой, словно царь снова на Ливонов, за рубеж отъезжает?

Так думал народ — и волновался.

Бояре, воеводы — те еще больше волновались, так как узнали кое-что позагадочней.

Чего ради Иван изо всех соборов кремлевских, из моленных, крестовых палат и часовен дворцовых — забрал кресты с мощами и чудотворные иконы, золотом и каменьями дорогими украшенные, в золотых ризах? Все забрал, какие только числились за великими князьями Московскими, в числе их родового наследства... Мало того. Из кладовых церковных и монастырских, из тайников, обширных, глубоких, устроенных под башней, которая к

Москве-реке глядит, выбрать царь велел все сокровища, казну и вещи, которые хранились там от пожаров, от нашествия вражеского, нежданного... Сосуды золотые, серебряные и иные, платье царское узорчатое, парчовое и шелковое, уборы и меха — тоже взял; сотни саней нагрузил, все за собой увез... А кто из бояр, дворян и ближних приказных людей сопровождал Ивана, тем велено целым домом ехать, с женами и детьми, со скарбом со всяким, словно на переселение вел их царь.

Одних коней за царем и его провожатыми — гонят целый табун, голов в тысячу! И коров ведут... Мелкий скот тянется... Совсем переселение Израиля из земли Иудейской в землю Ханаанскую.

Глядит Иван на все в окна своей колымаги — и сердце радуется. За много дней — впервые вздохнул свободно больной, усталый, измученный человек. Правда, измучен он по своей вине не меньше, чем по чужой. Да ему не легче от того, еще тяжелее...

А народ глядит, поклонами провожая поезд царский, и думает:

— Быть худу... Быть бедам!

Бояре — ту же горькую думу думают.

И не ошибся народ, не ошиблись бояре.

Отпраздновали Николу зимнего, а царь и не думает в Москву возвращаться. Ждет чего-то. По направлению к Троице и дальше, за Троицу, к Александровской, далекой, крепкой слободе велит коней выгонять, подставы готовить.

Вьюги разыгрались зимние, метет метель, пути снегом засыпает, избы — доверху заносит. А на реках полноводных — кой-где не совсем и окрепнуть успел еще наст, кора ледяная... Ждет чего-то царь, дожидается. Неделю, и другую... Из Коломенского в Москву и обратно каждый день с вестями и слухами люди разного звания скачут, едут и пешком идут. Иван все слухи разузнает. Сам, при помощи приспешников своих, такие слухи сеет, какие ему на руку.

И больше всего прошел по Москве один слух: царь-де узнал про великую, про новую измену боярскую... Затеяли бояре на Москву татарина неверного, Крымского хана назвать, чтобы Девлет-Гирей грозного судью ихнего, Ивана, в плен захватил, Владимира посадил на трон Московский и всея Руси, и стал бы получать с Москвы тяжелую дань, непомерную, какую Русь Батыю платила...

Замутилась Москва... По ближним городам — смута пошла. По церквам молебны служат, плач раздается! Умягчил бы Господь сердце царя! Не дал бы царь земли в обиду, оборонил бы от бояр-изменников...

Попы, более ясно понимающие дело, близкие к боярам, на

которых, очевидно, направлен был удар грозного, загадочного царя, — попы повсюду стали было успокаивать чернь...

— Чего мятетесь, безумцы? — толковали они. — Ну, уйдет Иван Васильевич, государь, — настанет иной у нас царь, Владимир Андреевич, того же корню царского... Боярам и воеводам — хозяин милостивый, вам — властелин добрый, врагам — покоритель скорый. Он же и под Казанью себя показал, и в Ливонах сколько неверных люторов поборол...

Но народ, обычно веривший попам, несмотря на бесчинства и невежество многих из ихней братии, — теперь и слушать не стал увещаний...

— Знаем мы новых царей... Знаем правду боярскую... Видели ее, пока малолетен был царь Иван... И чужие нас били, и свои трепали... Только с боку на бок поворачивайся. Один и есть царь у земли, великий князь Иван Васильевич, наш, московский... А при Владимире, гляди, Старица либо Новгород сызнова нос подымут, нас зашибать станут. Не надобно нам новых! Царь наш Иван, великий князь Московский... А речи попов — облыжные... И сами же они — изменники!

Так толковали между собой москвичи и пригородный люд. А чужаков — псковичей, владимирцев, новгородцев — и в кулаки принимали, если те, чуя смуту, пытались хоть слово против Ивана сказать...

Известно это стало царю. И все тверже зрело решение его, крепла дума, недавно задуманная. Вот только болезнь и непогода мешают... Леченье такое — ванны да припарки горячие. Оне, говорит лекарь, дурные соки из тела гонят. Мазью какою-то красной растирают тело больное. А потом сажают в горячую воду ароматную. И внутрь что-то дают. Декоктум. Вязкий, противный, горький и соленый такой. Морщится, пьет, все терпит Иван. Окрепнуть бы скорей! До цели похода добраться бы, карты свои раскрыть и наверняка обыграть бояр-противников...

Да, наверняка! Народ подал свой голос за царя, а это все, что Ивану и надобно...

Две недели прошло. Стихли вьюги. Морозцы легкие пошли. Дорога чудная стала. Лекарь говорит: надо на недельку отдых дать телу. Не сразу болезнь гнать, не то очень потрясется все тело... Тем лучше. Дальше в путь выступил царь.

В Троицу заехали. Там помолились о здравии Ивана, — и снова в путь.

Доехали до села Александровского, — остановились. Жизнь закипела, работа... На долгое житье здесь все устраиваются.

Митрополит Афанасий, преемник Макария, архиепископы

все, пребывающие в Москве, не вытерпели, послали к царю грамоту: пусть де успокоит их царь... Как его отъезд понимать?

— Болен я! Так и передайте отцам святым! — отвечал Иван посланным боярам. — Лечусь... Лекарства нужны мне особые. Излечусь — снова на Москву буду. Не исцелюся, — Божья воля.

Передали в Москве гонцы двусмысленный ответ царя и ничем не облегчил он всеобщего смущения, уныния и страха!

Только через месяц, 3 января 1565 года — загадка разъяснилась.

В шумный базарный день — воскресный — по высокому горбатому мосту, перекинутому через Яузу, показалась кучка всадников, гонцов царских. Легко их узнать по шапкам с красным верхом, по одежде богатой, воинской, по окрикам грозным:

— Прочь с дороги! Вести царские!

Сторонится народ, чтобы не попасть под копыта скакунов, под удар тяжелой плети... Но сейчас же кидаются следом люди; кто на конях, те вдогонку скачут... Каждому хочется узнать поскорей: добрые или худые вести от царя пришли?

И все узнали.

Стотысячная толпа быстро сбежалась в Кремль. Здесь объявлено было, что из села Александровского две грамоты царь прислал: одну — на имя митрополита — духовенству и боярам; другую — люду московскому, гостям торговым, ко всему христианству православному, ко всей Земле. На площадях, на перекрестках стали читать эту грамоту. Пишет царь, чтобы народ в сомнение не впадал, беды пока не грозит никакой. Не гневается на них царь, опалы не готовит. Все дело — в измене боярской, про которую и написано ныне отцу митрополиту.

Содержание второй грамоты тоже скоро стало известно. То был длинный список обид и измен, причиненных боярами Ивану и семье его за все года и все дни; список, подобный письму, посланному князю Курбскому... И дворецкие, и конюшие, и окольничии царские, и дьяки, и казначеи, и дети боярские и приказные, — все не по правде служили-де царю и Земле! Казну земскую и царскую убыточили, земли — расхищали... За собой и за друзьями своими — поместья и вотчины царские держали, доходы сбирали, получая и от царя жалованье; богатели сами; а о царе и о тяглых, простых людях — ничуть не думали, угнетали народ! А захочет царь бояр, воевод или приказных, крючкодеев своих, наказать за худую службу — остальные стеной встают, мешают царю, своих покрывают... Лихоимцам и взяточникам — суда даже не было! Царь земле указы да льготы давал, а начальство — нарушало их, скрывая слово царское.

«И от великой жалости сердца, не могши столь многих изменных дел боярских терпеть, порешили мы, отче-владыко, оставить свое государство, поискать поселиться инако где-либо, хотя и в чужих краях, где Бог наставит». Так заканчивал свое послание царь.

Эта грамота, которую народ узнал и подкрепил взрывом сочувствия, громкими рыданиями и стонами по обиженном царе, вечном защитнике и друге народа, она явилась смертельным ударом уже подкошенному боярству и всемогущему раньше клиру монахов и священнослужителей; она создала в народе, на много веков вперед, убеждение: «Царь льготы дает. Дворяне да подьячие — скрывают эти льготы»!

Удар был нанесен мастерски! Теперь и подумать никто из бояр не смел — предложить народу избрать иного царя...

Нет! Народ кинулся к митрополиту... Рыдания, вопли носились над многотысячной толпой.

— Горе нам! Согрешили, видно, окаянные... Прогневили государя... Милости его великие — обратили на гнев. Он ли нас, простецов, от бояр не боронил? Суд давал скорый и правый. К очам своим царским легко допускал! Самим в углах своих управляться дозволил, без насилия злого, наместничьего... Кто нас помилует? Кто избавит от нашествия ворогов? Како стадо без пастыря? Волки только и ждут того, чтобы нагрянуть... Скорей, отец митрополит, умоли государя воротиться, гнев на милость переложить! Бояре, воеводы, подьячие — изменники! Пусть их и карает! Мы ни при чем! Злодеев головой царю выдадим. Своими руками перевяжем их.

Так говорил народ, так говорили выборные «лучшие люди», посланные в Думу к боярам, к митрополиту.

А стрельцы, ратники и младшие воеводы? О них и говорить нечего. Никто так не умел привлечь к себе людей, если хотел, как Иван своих ратников.

— Пусть велит государь! — шумели стрельцы, чернь и купечество московское. — Своими руками, на клочья разнесем лиходеев царских... А нам за них — не погибать же!

Отсутствующий Иван страшнее оказался недругам его: попам, боярам и дьякам, чем даже был, пока сидел в Москве. Царь сам указал народу на преграду, стоящую между троном и землей: на чиновный, служилый люд того времени.

Исход понятен.

В селе Александровском скоро к ногам Ивана упали все: митрополит, духовенство, бояре, воеводы, выборные от Москвы, ото всей Земли — и молили униженно вернуться на трон. А условия? Пусть царь диктует!

Он продиктовал.

Те, что были с ним, да еще другие люди, из близких, которые в Москве оставались, способствуя видам Ивана, всего тысячи две человек — составили новый, исключительный двор царский, всем знакомую «опричнину, новый, дворовый царский обиход».

Двор кремлевский в Москве оставался по-старому. Хотел царь — туда мог вернуться. Но к царю в село без зову — никто не смеет ни ногой! От земли, на расходы, из большой Земской казны было взято сто тысяч рублей единовременно, на подъем новому двору царскому. Это по-теперешнему — около двух миллионов рублей. И для дальнейшего содержания Иван взял, отделил от земли двадцать городов «опричных», с волостями, с доходными статьями всякими. Чтобы своих доходов с великокняжеских земель родовых не тратить на новый двор, а копить казну детям и внукам. Весь строй земли остался без изменения, как его и раньше Иван уложил: в земстве осталися десяцкие, пятидесяцкие, соцкие, городовые приказчики (потом городничие). Дальше шли дворские приказчики, целовальники земские, вроде коронных судей, и «лучшие люди», как бы присяжные заседатели и судьи... Губные старосты, сословные головы по выбору от обывателей, затем — наместники от царя, тиуны-сборщики, наместники-волостели... Все осталось. И если царь раньше заявил, что бояре изменяли ему; изменяли народу, — теперь, когда царю предоставлена полная власть и простор, не стоит смещать этих бояр, да и некем их сразу заменить. Новых «служилых людей» — еще мало. Страх послужит виновным вельможам во исправление. Так думал народ и успокоился. Иначе полагал Иван... Но он скоро выказал свою заветную думу.

Отныне царь считал себя лично безопасным в далеком дворце, Александровском, среди людей, преданных ему, давших клятву, страшную клятву: отца и брата зарезать, если царь глазом мигнет! И, смело опираясь на народ, опираясь на сознание бессилия, выказанное боярами и попами так явно, — царь принялся потоками лить кровь крамольников, это «старое вино», которым не хотел наполнить новые мехи государственной русской жизни, где старый дружинный уклад отныне заменялся самодержавием. Период опричнины врезан страшными чертами и в память народную, и в историю. Тяжек для земли был «крамольный» недуг боярский; но лечение оказалось еще ужаснее.

Мимо да идут эти ужасы!

* * *

Страшный, изможденный болезнью, лишенный волос на голове и на бороде, вышел к послам земли Иван, едва сойдя с

постели, в которой держал его врач, — и продиктовал свои условия просителям, пораженным и нравственным ужасом, и пугающим видом царя.

— Вот что сделали со мною крамолы ваши! — не утерпел, с укором произнес Иван и поспешил свалить на плечи бояр-врагов даже последствия своего гнилого недуга.

Приказал, чтобы дела шли покуда своим чередом, ему докладывать только о переговорах с чужими владыками, о делах войны и мира да о великих земских делах. Первым в Думе царь повелел быть своему ближнему другу, астраханскому царевичу Саину, или Симеону Бекбулатовичу. И предан царевич Ивану искренно, всей душой, и в то же время не запятнал себя теми жестокостями, которые — царь это знал — в глазах земли и народа делали отверженниками всех остальных, окружающих царя ближних слуг, бояр и князей, теперь названных «опричниками».

Но Ивану даже нравилась всеобщая к ним ненависть. Она мешала его опричникам, этим новым преторианцам, — покинуть своего вождя и перейти на сторону Земли. Так гораздо спокойнее царю... Пусть опричнина опасает «земских людей», пусть земщина ненавидит «опричнину».

А царь будет самовластно править ими, согласно старому, верному правилу хозяйской мудрости: «Всех перессорь, сам поживись ото всех!»

Как только дело это было улажено, начались казни, казни без конца... Дня не проходило без пыток...

И какие пытки! Вот краткое свидетельство о них летописца-современника: «И были у Иоанна мучительные орудия, сковороды, печи раскаленные, бичи жестокие, ногти железные, острые, клещи раскаленные, иглы для вонзания под ногти людям; резал он по суставам людей, перетирал, перепиливал веревками надвое не только мужчин, но и женщин из благородного сословия и много еще пыток было у него для осужденных...»

Двенадцать лет длилась гроза... 6000 человек уместилось на бесконечном свитке Ивана, в кровавом Синодике, по которому должны были монахи белозерские молиться за упокой души «убиенных» — тех-то и тех-то...

Так успел выполнить свой грозный, губительный план мести — Боголюбивый раньше, теперь — Грозный царь Иван Васильевич... Быстро редели ряды людей, давно намеченных им, ряды врагов самодержавия.

Но, наряду с печальными и однотонными событиями внутри государства, где Иван дорушивал древний, великокняжеский, удельный и вечевой уклад, — совершались иные, более разнооб-

разные и не менее важные для Земли и для бояр события за пределами России.

Глава III

Год 7074 (1560)

Крым и Литва — вот кто теперь был опасен царству. Ливония также заботила Иоанна.

Придравшись к своему родству с князем Темгрюком Черкасским, будто для обороны тестя, приказал Иван на Тереке «город», крепостцу поставить, стрельцов астраханских и казаков украинских в городке том посадить.

Затревожились крымцы. Года три тому назад, при помощи богатых даров и подкупов удалось Москве получить от Крыма «шертную» грамоту, мирный временный договор. И, надеясь на безопасность Украины от татар, Иван все пограничные южные войска мог двинуть на борьбу в Ливонию и в Литву, у которой даже взят был Полоцк...

Тогда напуганный Сигизмунд-Август прислал даров вдвое больше — и хан крымский, нарушив перемирие неожиданно напал на окраину русскую, появился под самой Рязанью.

Беспутный, злой, но храбрый воевода Алексей Басманов с сыном Федором, — которых Иван наскоро послал устроить оборону города, пока подойдет подмога из других городов, — оба они собрали ратников — рязанцев, вооружили боярских детей, горожан, купцов, и успели отбить первые приступы татар. А там, заслышав, что близко войска московские, хан ушел назад. К нападению на Русь подбивал хана не один король. Новый «хункер» — султан турецкий Солиман II, проведав, что на Москве сейчас разлад пошел, вздумал отнять у Иоанна оба мусульманских юрта: Казань и Астрахань, и поручить их тому же хану Девлету. Но крымцы боялись своих единоверцев турок больше, чем Москвы. Султан давно жар загребал чужими руками, подбивал ханов на войны с христианами, а все плоды этих тяжелых походов, вплоть до пленников, забирал себе...

И Девлет старался только искусно лавировать между другом — султаном и врагами — Польшей да Москвой: как бы первому отдать поменьше из того, что выжмет из вторых... А выжимать удавалось прекрасно...

Пользуясь каждым случаем, видя, как важно для враждующих христианских государств невмешательство хана, Девлет нагло клал свою саблю на весы, между Русью и Литвой, и спрашивал:

— Кто даст больше?

Но, узнав, что Иван подбирается даже к Тереку, хан не на шутку озлился.

Много лет жил в Крыму посол московский, боярин Нагой, наружно — хлопоча о заключении вечного мира, а на самом деле — стараясь вызнать слабые стороны врагов, язык и нравы которых прекрасно изучил, подкупать которых мог щедрою рукою, когда это требовалось...

Хан призвал Нагого и заявил:

— Плохо делает твой царь! Вечного мира просит, а наших мусульманских юртов нам не отдает. Поминки присылает легкие. Дани прежние не платит... И приговорили со мной все салтаны-царевичи, карачи, князья да мурзы и вся земля: «Мириться нам с Москвою никак не возможно... С царем помириться — значит, круля ему головой выдать! Сейчас царь завоюет Киев, станет по Днепру города строить и до нас доберется... Нам тогда Москвы не избыть. Ничего, что царь мурзам и мне поминки посылает, шубы дарит. Вон и казанцам тоже шубы дарились, а теперь — Казань к Москве отошла! Так нечего московским шубам радоваться...» Вот что все в Совете говорили... Да еще причина: теперь твой царь на Тереке город ставит... Так и Шамхальское ханство, и Тюмень всю возьмет... Ты скажи: города бы он не ставил! И Астрахань с Казанью вернул бы. Да поминки большие, старинные, Магмет-Гиреевские давал бы... Тогда помирюсь... Иначе, горы золота давай, миру не быть! Из-за пустого мне с султаном не пригоже ссориться... А он — тоже велит Москву воевать.

Кое-как, подарками и посулами удалось Ивану оттянуть нападение крымцев на рубеж. Но успокоиться царь уже не мог.

С Литвой не лучше дело шло.

Дальше Полоцка не пошли завоевания Ивана. Да и то, как он узнал: шведы и крымцы — готовы прийти на помощь Литве; все средства пущены в ход, чтобы заставить русские войска убраться из Ливонии, уйти из Литвы, тогда, пользуясь временной удачей московских воевод, разбивших войска Литвы под Озерищем, под Черниговом, — с помощью нескольких православных литовских воевод, подкупленных московским золотом, решил Иван заключить мир лет на десять, на пятнадцать с Литвою.

Дело сперва наладилось. По обыкновению, послы московские запросили гибель уступок, «без которых и о мире нельзя-де говорить!». А свели все к одному Полоцку с пригородами и требовали, чтобы Литва отказалась от своих недавно приобретенных прав на Ливонию.

Усталая от войны, Литва готова была на уступки.

В Москву явились «большие послы» литовские — гетманы Тышкевич и Хоткевич.

Нежданные вести, негаданные объявили они. Король и паны все, ближняя рада литовская — согласны на мир, вернее, на продолжительное перемирие, уступая Москве завоеванный Иваном Полоцк и все города внутри Ливонии, с тем чтобы Русь не двигалась там дальше, ближе к морю.

— Вот уж того не может статься! — ответил Иоанн. — Море нам нужно. Пускай Ригу отдадут да Ревель. Мы взамен всю Курляндию крулю уступим, без слова единого! Да по ту сторону Двины — границу хорошую Литве дадим, чтобы и впредь — споров не было!

На это гетманы, как они уверяли, не были уполномочены, снялись и уехали. Но почин был сделан. Иван решил немедля своих полномочных послов отрядить на Литву, кончать с королем насчет Ливонии и повета Полоцкого.

— Так и время не затянется! — толковали в московской Думе бояре. — Не поспеют поляки с германским императором и с крымским ханом столковаться путем. А русские войска тою порою изготовятся к большому походу в Ливонию...

— Мало того, бояре! — возразил царь. — Надо ныне же накрепко порешить: мир или война с Литвой? Дело-то надвое класть не приходится! Много уж крови пролито, много казны ушло... Вон и земля жмется; жалобы я слышу: война тяжела-де! Надо о деле о великом всю Землю спросить.

Не хотелось бы боярам земщину серую в дела государские путать. У вельмож это честь отымет, черни — новую силу придаст! Да — *царь сказал...* А времена такие пришли, что с ним много не потолкуешь... Сказал — исполнять надобно!

Поскакали гонцы-бирючи во все концы земли, звать выборных лучших людей на совет к царю... Ни земским боярам своим, старинным кривотолкам, продажным изменникам, ни молодой опричнине, служащей из корысти и страха Ивану, царь в глубине души не доверял. Захотелось ему узнать всенародное мнение.

Глас народа — глас Божий! Этот один завет из всех заветов Сильвестра и Адашева, преподанный тогда еще, когда не вмешались они в свару боярскую, — он один и уцелел в душе Иоанна. Видел царь, что не терял никогда, обращаясь прямо к народу. Не потеряет, наверное, и теперь.

Трех недель не прошло, стали в Москву съезжаться выборные люди ото всей Земли. Из духовенства, кроме митрополита Афанасия, собралось девять архиереев, четырнадцать архимандритов

и игумнов и девять старцев благочестивых, своим подвижничеством в целом народе прославленных.

Бояре, окольничии, казначеи городские и царские: земские, государевы дьяки, дворяне первых родов, дети боярские и дворяне помельче, второй статьи, особенно соседние с Полоцком, помещики повета Луцкого и Торопецкого, дьяки и приказные люди всех родов, гости торговые и купцы свои, московские, лучшие, и смоленские обыватели, знающие новый, царем завоеванный край, — все съехались понемногу... И сейчас же, собираясь по чинам, о деле стали толковать.

Много собраний было, много споров-перекоров, и шуму, и гомону! Наконец на обширной площади Кремлевской, у места Лобного, собрались земские послы, ждут появления царя. Веет ветерок майский, свежий и ласковый. И все-таки пот катится ручьем по красным лицам у взволнованных, непривычных к своему делу земских советников. К тому же наряжены они в лучшие наряды свои, в дедовские, тяжелые, в кафтаны расшитые, иные и в шубах жалованных... Пусть знают люди: не кто-нибудь это, а слуга верный, среди многих отличенный! Духовенство стоит на особом помосте. Бояре — на другом. Дворяне, окольничии на конях сидят.

Грянул звон колокольный. Царь показался, подъехал. Слез с коня, прошел на свое место царское, минуя ряды склонившихся в земном поклоне советчиков земских. Идет он не прежней быстрой поступью; тяжело ступает, медленно. На жезл окованный, людям и заглазно знакомый, опирается. Согнулся стан под тяжелыми ризами. Еще не оправился царь после недуга последнего. Да и жизнь, которую ведет теперь государь, — не красит она людей. А без веселья дикого в свободные часы не выносит жизни Иван.

Борода и волосы — снова отросли у царя, но нет уже прежних темных кудрей... И борода — жиденькая выросла, какая-то клочковатая. Брови совсем нависли над глазами, которые нездоровым, странным огнем горят и все по сторонам бегают, словно выслеживают кого или заглянуть каждому в душу хотят... Кто встретится с упорным, тяжелым этим взглядом исподлобья — невольно опускает глаза, а сердце сжимается от ужаса, словно на мертвеца ожившего глядит человек, на вурдалака опасного. Не человечий взгляд стал у Ивана. Только губы, полные и красиво очерченные, по-прежнему улыбаются порой. Но бледны они и слабо искривляются от улыбки, а не раскрываются с веселым смехом, по-старому, непринужденно, широко.

Сейчас старается царь принять поласковее вид. Но не вполне удается ему попытка. Глубокая складка меж бровей, и эти брови,

никак не уме щие расправиться, — омрачают они веселую, ласковую мину царя, как тучи грозовые осенние мрачат синее, ясное небо...

Осень жизни, ранняя осень настала для царя. Сам он это чувствует.

Поклонясь на все стороны, Иван заговорил.

Но слабо, глухо, хрипловато звучит когда-то мощный и звонкий голос. Его тоже болезнь подкосила...

Все-таки внятно довольно проносится над толпой каждое слово царя. Да выборные и раньше знают, что скажет царь. Мало кто перед самым днем сейма прибыл. Большинство давно на Москве живут, успели узнать, о чем речь будет. Как отвечать им надо? — тоже столковались... Но все по порядку должно пойти.

Царь говорит:

— Король, брат наш, Жигимонт-Август добрые вести прислал, думает мир делать на долгие годы. И немалые нам уступки чинит. Юрьев и земли тамошние, Ливонские, что к рубежу к русскому подошли, наши оне остаются. Полоцк — нашим же будет, как повоевали мы его своею царскою рукой. И вверх по Двине, на пятнадцать верст, и вниз — на пять верст все нам же отойдет. Только лишь за Двиной — земель ни пяди не дают. А про Ливоны толкует круль: «Рад-де я с тобой заключить мир честный и выгодный. Да без Ливонии ни чести, ни выгод нет для Литвы. Рига на Двине сбытчик наш прямой. Нельзя без Риги Литве стоять. Заберет себе Москва всю Ливонию, с гаванями да крепостями частыми, с городами богатыми, торговыми и реками судоходными, — что же Литве останется? То мы Москве пути к морю заграждали, а то — она нам заградит их. Не может того быть. Такой мир к большой войне поведет. Теперь через прусские гавани — все везут к нам лучшее, и наши товары увозят по свету. И золота, и серебра, и платья западного — всего у нас довольно. А возьмет себе Москва те гавани, — и нам разор!» Так говорил наш брат круль. Мы же ему отвечали: «Чтобы миру промеж нас быть, отдай нам города, раньше нами повоеванные, ныне тобой в обереганье взятые: Ригу, Вольмар, Ронебурх, Кокенхузен и иные с ними, которые к порубежным городам нашим Псковским и Юрьевским подошли, да заречье Полоцкое за Двиной... А мы тебе взамен — уступаем из повоеванного пять городов в Полоцком повете, но за Двиной, верст на шестьдесят или семьдесят во все стороны, уступаем Озерище-городок, волость Усвятскую в Ливонской земле, шестнадцать городов по-за Двиною в Курляндской земле, с уездами, с угодьями со всеми. Полоцких пленных, полончан всех — пущу без выкупу, а русских пленных — выку-

пать стану. Вот все, — что дать тебе могу...» Только на те мои слова от послов великих брата нашего Жигимонта-круля — согласья не было. Наших должны мы теперь послов посылать. Только, может статься, речей наших не примет брат Жигимонт и до бою дело доведется. Так хочу знать вашу думу: в бой ли идти, снова кровь лить христианскую, казну терять, потом да кровию вашей добытую, или мир писать и еще уступать литовцам, как они прикажут? По правде Божией, по вашей совести дайте нам ответ, как крест целовали нам, сюда собравшись!

Снова отдал поклон, на сиденье опустился, здесь для него поставленное. Словно жужжанье пчелиное, говор пошел по толпе многолюдной. Речь Ивана, умно и ясно составленная, рассеяла последние сомнения, если они и были у кого, — насчет ответа царю.

... Какой тут мир, если Литва, нами же разбитая, хочет столь жирный кус — Ливонию — из-под носа отнять? Ну, повоевали, поизубыточились... Что поделаешь: в драке волос не жалеть! — пословица старая. А Литва, хоть и грозна, да не больно страшна, все это видели...

И все растет жужжанье, переговоры людские... Иван, отпив глоток из кубка, который наготове держит его врач, — глядит, ждет, что-то будет? Раньше смутно угадывал он, что не выдаст его народ. А сейчас и совсем уверился в этом, глядя на лица возбужденные, на сверкающие отвагой глаза людей, стоящих здесь, и молодых и старых...

Первое, как и следует по чину, духовенство откликнулось. От лица всех заговорил болезненный, хилый митрополит Афанасий:

— Велико смирение государево! И правда его царская перед королем велика есть! Больше, как сказано государем, ничего уступить нельзя! Пригоже стоять за те города ливонские, которые отнять думает коруль у царя. Если же не стоять царю за те города, то они укрепятся за Литвой и разорение оттуда пойдет церквам православным, которых много в Ливонии. Не одному Юрьеву притесненье начнется. Пскову да Нову-городу теснота станет великая, и в иных городах торговля для русских торговых людей затворится... В ливонские города коруль — неправдой вступился. Пока Русь на Ливонов не пошла, литовцы и думать не могли взять земли ливонские... А Ливонская земля от прародителей, от Ярослава Владимировича — искони русская. И наш совет государю: за те города и земли стоять. А как стоять? — в том его государская воля, как Бог вразумит. Нам должно за него Бога молить, а учить — непригоже...

Царевич Саин Бекбулатович, как первый в Думе, отвечал от лица бояр, окольничих и приказных людей, у которых голоса были опрошены в свое время, на совещаниях особых.

— Царь-государь! Как Бог и ты рассудишь! А нам сдается: нельзя и пяди земли уступать! Если у Полоцка Заречье Литве отдать — в осаде город учинится. По сю сторону Двины, в Полоцком повете — все худые места, а лучшие по-за Двиною. Стоит в годы мирные литовцам за рекой новый город поставить, — и возьмут наш город враги, если сызнова брань начнется! Также и в Ливонии — нельзя ходу давать королю. Лучше тебе, государю, не давать врагам часу рать большую созвать, не мириться с корулем на высоком безмерье его. Пока Руси Бог удачу пожелает, — потоль и не пропускать ее. А еще по всем вестям: с цесарем германским у польского короля брань идет, недосуг теперь ему. И помощи Польша Литве не подаст. По всем этим делам: мириться царю с королем непригоже. А нам всем — за государя головы свои класть, видя надменность и высость короля... и на Бога надежду держать надо. Бог гордым противится. А нам как показалось, так государю мы и являем мысли свои...

Все с поклоном отступили. Один дьяк государев ближний, Иван Висковатов, впереди стоит, хочет слово сказать.

— А! Не согласен, видно, со всеми? Ну, говори, Михайлыч: что надумал? Ты человек не глупый... Висковатый, и то сказать!

— Согласен и я со всеми, государь... Да одно, ин, прибавлю: чтобы не сразу разруху мирным задиркам учинить, и так можно бы положить: пусть на перемирие согласится круль Жигимонт. Да пусть войска свои из Ливонии повыведет... Да пусть не мешает государю нашему воевать германов неверных, изменников... Да не помогал бы им, если года выйдут перемирные... Тогда не надобно и ждать от круля, чтобы уступал он нам то, на что сам прав не имеет...

— Да, умно! — улыбнулся Иван. — Тех же штей, да пожиже влей... Не он даст, мы сами возьмем... Любо бы... Да, лих, не захочет.

— Бог да ты, государь, — про то знаете. А я свою мыслишку холопскую сказал, как крест целовал: всю думу по правде свою говорить.

Заговорили, наконец, торопецкие и луцкие помещики, вызванные в качестве «сведущих людей».

Из густой, нарядной толпы всадников, увешанных оружием, выдвинулся один, старейший по годам и влиянию между всеми.

— Царь-государь! Мы, холопы твои, за одну десятину земли повета Полоцкого да Озерищенского головы свои сложим. Без той земли нам не жить! Отдашь их — нам в Полоцке так и помирать тощими, от врага запертыми... Вот мы сейчас на конях сидим. Так за государя с коня и помрем, на врагов кинемся. Пусть прикажет

лишь... Государя нашего перед крулем правда. По-нашему: за Ливонские земли государю стоять крепко, а мы, холопы его, на государево дело и службу — все готовы! Да живет великий государь на многия лета!

И грянуло, прокатилось «Многая лета!» — по широкой многолюдной площади.

Дворяне и дети боярские — то же сказали, что и все.

— Челом бью Земле за совет и за пораду... Знаю думу всенародную. А там — тому быть, чему Господь присудит! — с поклоном, громко, сверкая глазами, словно помолодевший сразу, произнес Иван.

Грянули колокола. Царь вернулся сперва во дворец Кремлевский, а потом и в свою «опричную Слободу»... А люди выборные земские разъехались по своим углам, гордые тем, что им делать пришлось, полные смелых надежд и светлых ожиданий.

Воспрянул царь после решения всенародного, думского. Не ошибся он в Земле! Напрасно ему шептали, что бояре казнимые успели в народ забросить зерна недоверия и нелюбви к царю... Земля чует, что не во вред ей ведет царь-кормчий ладью государственную...

А в этом кроется и утешение, и сила огромная для измученной души Иоанна. Народа, любви народной терять бы он не хотел.

В покое своем, в Слободе, сидит Иоанн и толкует с послом «большим», отправляемым на Литву — с Колычевым-Умным. Последний наказ ему дает, как дело вести, чего держаться, чего избегать, чего требовать.

Почтительно склонясь, стоит Колычев и слушает отрывистую, усталую, но властную речь Иоанна, который все старается припомнить, все предугадать, как глубоко понимающий дело и знающий людей человек.

— А еще, ежели к случаю будет, брату нашему Жигимонту помяни: это ли брата правда, что ссылается со шведским против нас? А и чести своей круль не бережет: пишется шведскому брату равным. Ну да то его дело, хотя бы водовозу своему звался братом. Его воля... А какая в том правда, что пишет круль нам, будто Лифляндская земля — его вотчина, а шведскому отписывает: вступился-де он за убогих германов, за повоеванную, опустошенную землю. Письма его мы те довольно видели. Значит, то не его земля выходит! Помни...

— Запомню, государь.

— А еще: епископы и паны литовские затеяли неудобную гордость! Раней боярам нашим писали и братьями нарицались с теми. А ныне отцу митрополиту пишут, с ним ссылаются, когда

митрополит у нас на Москве в такой же чести, как и братья наши, цари венчанные... Так пригоже ли подданным — митрополиту братьями писаться...

— Понял, государь.

— Да еще, воеводы литовские — перемирие то и знай нарушают... А иные и более того. Как мы Тарваст взяли, так Троицкий воевода ихний к боярскому сыну нашему... Как его?

— К князю Кропоткину...

— К нему, к нему... Грамоту зазывную подослал: князек бы от службы нашей отступился, ради нашей царской жестокости... К литовцам бы перешел... А это совсем негоже. Мечом воюй; а подсылы слать — не к чести крулевской.

— Вестимо, государь...

— Да стой, молчи! Мало того! Собаку — Козлова, отъезжика нашего, круль к себе приблизил, к нашему величеству послом посылал... И тот, собака, грамоты зазывные привез и передал боярам нашим главным... Бельскому, Мстиславскому, Воротынскому и конюшему боярину, Ивану Петровичу Челяднину... Так вот они ответы бояр моих верных на те грамоты... Пусть читает да почесывается. Отобьет у злобного литвина охоту — бояр наших переманивать!

Иван подал Колычеву грамоты, подписанные теми боярами, которых перечислил сейчас. Но составлял те гордые, полные брани ответы — сам Иоанн, перехвативши письма Сигизмунда. И, конечно, напуганные бояре — все подписали, еще от себя яду прибавили, только бы оправдаться от подозрения в соучастии с Козловым, соблазнявшим их к отъезду... Кой-кого, кто понужнее был, — простил Иван, а с остальными по-своему расправился... Вспомнив об этой расправе, быстрее заговорил царь:

— А если вопрос будет: за что государь казначея своего, Тютина, и князя Щенятю, Петра, и троих Ростовских князей, да Ряполовского Димитрия с Турунтаем Пронским и с Куракиным Булгаком казнил? — скажи прямо: «За это, за самое! За письма зазывные, за измену ихнюю... Что хотели земле изменить эти бояре...»

— Так и скажу, государь...

— Так и скажи. Или мы изменников своих казнить не вольны стали? Вон Вероникина изымали у поляков, что он нам, помимо воле нашей, письма писал, службу предлагал клятвопреступную: круля обещал извести... Литовцы его казнили же? Так и мне не закажет никто.

— Помилуй, государь, кто посмеет?

— Были охотники! Ну да дело надо... Про Киев сказать мож-

но, он-де искони вечная вотчина наша... от великого князя Владимира. Нам ею и владеть. И еще скажи: мы у его братской чести ничего не убавляем, а брат наш в грамотах своих пишет наше царское имя не сполна. А его все государи пишут, которые и повыше будут круля... Бог нам дал его... Сам ведь знаешь, какого мы колена?

— Знаю, государь! Август-кесарь, всею вселенною возобладавший, имел брата Прусса и на берегах Вислы его постановил... До самой реки, до Немана. То и есть Пруссия ныне. А от Прусса — четырнадцатое колено, гляди, и до государя великого, до Рюрика, прадеда твоего, государь...

— Так, так... Все ты и выложи им... Да, вот еще... Если спросят ненароком: куда государь зимою из Москвы вон ездил, в запрошлой зиме? И опалу за что на людей клал? И что такая у вас за опричнина? И для чего приказал на Москве государь поставить себе двор за городом, на Арбате да на Петровке? Что скажешь, а?

— То и скажу, государь: двор за городом для государского прохладу и здоровья ради поставлен... А не для раздела, не для опалы на бояр али горожан... Делиться государю не с кем, все его!

— Так, так...

— А зимой уезжал да опалу клал за измены боярские и дворянские великие. И которые дворяне служат царю правдою — те поближе к царю живут. А которые раней неправды делали — подале от очей его светлых...

— Так, добро... А еще прибавь: мужичье, мол, не зная, зовет опричниной. Так мужичьим речам верить нечего...

— Попомню, государь!

— Вижу, вижу... По шерсти кличка... Умный Колычев... Не зря тебя прозвали... Вон, толкуют, игумен Соловецкий, Филипп, родич твой, и вовсе свят человек.

— Великого благочестия инок!

— Слыхал... Говорили нам про него... Ну так вот... Тут еще тебе для памяти, написано на хартии многое... Возьми, поглядишь... Наказ ума не портит. Наказ помни, ума не теряй... Ступай... Стой... Курбского увидишь — и говорить с изменником не смей... Слышь? А спросят про измену его, так и говори: царю изменял, над Анастасией, над детьми моими промышлял чародейным обычаем... Так и скажи...

— Не пожалею, государь...

— А если... Речи ходят... Если паны литовские слово закинут, чтобы сына Ивана я им на царство дал... Отмолчися... Рано об этом еще звон начинать...

— Трудно ль отмолчаться, государь?

— То-то! Ну, все. Ступай...

И он отпустил посла.

Скоро от Колычева-Умного и вести из Литвы пришли, но невеселые.

Как царь заранее знал, король не согласился на условия, предложенные Москвой. Послов приняли сурово, кормов им не дали. Задержали на Литве, а в то же время послан был вестник войны, Быковский, с «разметом»...

На пути между Москвой и Новгородом принял Иоанн посла, прискакавшего с объявлением войны.

Быковского ввели в шатер царский, где царь в доспехах боевых, окруженный своими воеводами, тоже во всеоружии, принял гонца.

— Ладно же круль, брат наш, держит мирных послов московских! — резким упреком начал царь свою речь. — Мало того, что бесчестье нашему послу нанесли, кормов им не давали, — еще и задерживают их без права и причины. Не бывало того николи! И ты не подивись, что сидим мы здесь в приправе воинской. Ведомо нам, со стрелами пришел ты от брата нашего Жигимонта... Потому мы и изготовились так...

— Творю я волю пославшего меня, государь... А что про твоих послов, про Колычева-Умного со товарищи... Сами они виной, упрямство их не по сердцу пришло королю... И король мой Сигизмунд-Август Богом Распятым свидетельствуется, что не от него война, которую я прислан объявить тебе, великий князь Московский. А вот и королевская разметная грамота. Нет боле мира меж Литвой и Русью! Да здравствует круль мой, Сигизмунд-Август.

— Да здрав будет царь и великий князь Иван Васильевич на многие лета... С нами Бог! — загремел ответ вождей московских, бывших в шатре.

Началась опять война...

Быковский был взят под стражу, в оплату за Колычева-Умного, которого задержали на Литве. Имущество посла, товары купцов, ехавших под его охраной, по обычаю, отобраны в казну.

Глава IV

Годы 7075—7077 (1567—1569)

В самой Москве между тем дела совсем не гладко шли.

Умер, а иные толкуют: убит был митрополит Афанасий, и двух лет не посидевший на митрополии.

Избран был на его место епископ Казанский, Герман, из рода князей Смоленских, умный, образованный монах, напоминавший по складу Макария. Почуяли сразу в нем врага опричники — и через два-три дня после избрания, еще не усевшись хорошо на митрополичьем престоле, он был устранен. Ранним утром мертвого нашли его во дворе хором митрополичьих. Яд или просто петля покончила с Германом? — так и не дознались люди. Шептались только, что Алексей Басманов с сыном Федором на коленях, со слезами остерегали царя:

— Не ставь Германа. Хуже Сильвестра с Адашевым овладеет тобою монах лукавый!

На соборе духовном, собравшемся немедленно, по желанию царя избран был митрополитом Филипп, игумен далекого Соловецкого монастыря. Монастырь славился строгой чистотою жизни своих монахов, а Филипп, в миру раньше — Федор Степаныч Колычев, из рода прусских выходцев, уже два века живших в России, — даже суровых монахов-соловчан дивил подвигами святости.

Зная продажность, распущенность и алчность большинства высших представителей духовничества, Иоанн и выбрал Филиппа, прославленного во всей земле, строгого, безупречного монаха, известного благочестием. Царь решил возвести аскета-инока на опустелый митрополичий престол. Хоть одного бы человека вроде Макария захотелось царю иметь возле себя. Филипп хорошо знал, что творится в Москве. Понять все пути, какими бурная, кипучая натура Иоанна пришла к последним делам своим, — этот кроткий, человеколюбивый старец не мог и не постиг бы при всем желании.

— Царство одно на земле: Божие царство! — твердил он. — А в Божием царстве — мир и благодать... И все, что не мир, не благодать, — не от Бога, от лукавого...

Действуя по своим словам, Филипп ушел от мира, от соблазнов и грехов его, удалился на скалистый остров, омываемый холодными волнами Студеного моря, и там служил усердно Богу своему — Богу любви и кротости.

Но мир нашел отшельника, вздумавшего отвергать силу мира. Жизнь подхватила на гребень своей бурливой волны аскета, ушедшего от жизни, и, взметнув кверху, оставила на недосягаемой для обыкновенных смертных высоте, на престоле митрополитов Московских и всея Руси, — «кои царем самим зовутся и пишутся братьями...»,

Но Иван только говорил так, а думал иначе...

И с первой же минуты начались столкновения этих двух сил:

Ивана, обладающего царским, твердым характером, стальною волей и мощной душой, Филиппа, в котором сердце трепетало мучительной любовью и жалостью к людям, душа была полна веры и кротости; но в этой кротости была так же неукротима и велика, как дух Ивана в его жестокости.

Сталь о кремень ударила. И загорелось яркое пламя. Оно сожгло душу Ивана, закрепило за ним имя «жестокого, грозного...». И довершило, доплело сияющий венец, каким окружен кроткий лик Филиппа на всех изображениях святителя-страдальца...

Еще до избрания, едва он был вызван и явился в Москву, Филипп заявил священному собору:

— Отцы преподобные! Освободите! Оставьте мне смирение мое. Не ищу славы мира, ни жезла архипастырского... Раб Божий есмь, не надлежит мне князем церкви соделаться.

— Нельзя, святой отец! Сам царь пожелал. Надо творить волю царскую.

— Божия воля — первей всего. А желает царь, чтобы пас я стадо православное, пусть сотворит по глаголу Господню: да будет едино стадо и един пастырь. А то Земля раскололась... Земщина — по сю сторонь; опричнина, кромешнина всякая — по ту сторонь. Расколы пошли... За Волгу люд убегает. Не должно тому быть. Все люди, вся земля — дети царские, овцы стада Христова. Пусть идут вместе в царствие небесное. Раскол — он смуту множит. Люд опричный, злобный поджигает царя против Земли всей. Далек я был от мира! А и ко мне, на Соловки, дошли стоны и вопли умученных, жалобы разоренных, слезы насильно постригаемых! Грех то великий пред Господом. И, аки верховный владыко христиан православных, аще бы принял жезл архипастырский, не могу допустить того. Так и царю скажите... Пока опричнина-кромешнина есть на Руси, — не ступлю ногою во храм Христов для восприятия сана. Сами видите, отцы преподобные: лучше ж в покое оставить меня... Уж о том не говоря, что мира бегу я лукавого... Афанасия смертного часа, Германа кончины безвременной — тоже наслышан много... К чему мне сие?

Кой-как решились сказать Иоанну об отказе Филиппа, о причинах, им выставленных...

— Что? И здесь крамола? — произнес только Иван, и брови у него заходили, лицо исказилось. — Ну, пусть знают попы: если не уговорят Филиппа безо всяких пререканий, как оно досель бывало, — сан приять... Если воля моя не будет исполнена... и ему, и всем им плохо станется... Выискался старец! Клобука еще не вздел владычного, а с нами в свару вступает?! Да я! Ну, больше

не стоит и толковать... Что я сказал, чтоб так и было по-моему. Меня — враги слушают... А уж попам подавно потачки не дам, невежам хмельным...

Приказ царя был передан Филиппу и собору духовному. Все знали, что значат угрозы Ивана.

Челом кинулись бить иерархи; молили, чтоб царь гнев свой отложил. А на Филиппа так и насели:

— Что ж ты, отче?! Или гибели нашей хочешь, и со чады и со домочадцы?! Ты исполни волю царя, а там — владычествуй, как Бог тебе на душу положит. Хошь венец примай мученический. Нас-то зачем подводить?

Грустно улыбнулся старец.

— И то! Довлеет миру злоба его... Не всем дано, оно ведомо. Могий вместити — да вместит... А вы...

Вздохнул, ничего не сказал больше.

— Так принимаешь сан?

— Не сан я принимаю, вериги возлагаю на себя, крест тяжкий на рамена подъемлю. Все же душой кривить не могу. Так и скажите царю: против воли иду на заклание. Пусть не будет той заслуги моей, что добровольно на муку сподобился.

— И, батько! Какая мука — клобук носить митрополичий, Московский? Всяк бы рад, да не всяк, лих, взял... А тебе, как слепому, само счастье пришло!

— Терн Христов — счастье истинное... А муки? Что есть — то видят ваши очи земные... Что будет — теми же очами увидите, как провожу я сейчас очами души моей смятенной.

— Ладно. Манатью оденешь богатую, перестанет под ей метаться душа! — пошутил один из семи святителей, совершавших избрание, архиепископ Суздальский. — И чего невестишься? Ну, кто уверует, что митрополии не желаешь? Так, вестимо, больше напущаешь на себя, отче... Умно, одно могу сказать... «Во смирении, ибо сказано...»

Совсем печальным взглядом окинул иерарха Филипп.

— Истинно скажу тебе, отче, молил я жарко Создателя: «Да минет меня чаша сия...» Не услыхал Господь... Приму и стану испивать до конца. Двух годов не минет — попомнишь слова мои... Ежели и сам жив будешь...

Смутился тот, отошел и бормочет:

— Ну, прорицанья-то бы свои для царя оставил. Мы тоже сами знаем, что знаем... Провидцы немало и зря говорят!

Но Филипп не ошибся. В самое тревожное время принял он жезл и клобук владычный. Кругом казни, ссылки, пострижения насильственные. Опричнина лютует без конца...

Перед самым посвящением своим вынужден был Филипп подписать такой договор с Иоанном:

«Лета 7074 (1566), июля 20, понуждал царь и великий князь Иван Васильевич всея Руси со архиепископы и епископы и с архимандриты, и со всем собором чтобы игумен обители во имя великих чудотворцев соловецких Зосимы и Савватия, Филипп, на митрополию бы стал. И игумен Филипп о том говорил, чтоб царь и великий князь отставил опришнину; а не отставит, — и ему в митрополитех быти невозможно. А хотя его и поставят в митрополиты, и ему затем придет нужда митрополию оставити. А соединил бы царь воедино всю Землю, как и прежде было. И царю великому князю архиепископы и епископы о том били челом, о его царском гневу... И царь гнев свой отложил, а игумену Филиппу велел молвити свое слово: чтобы игумен Филипп в опричнину и царский домовый обиход не вступался, а на митрополию бы ставился... И по поставлении царю от опришнины не отставать, и домашнего обихода не менять, а Филиппу зато от митрополии не отставлятися... А советовал бы с царем и великим князем, как и прежние митрополиты с отцом и дедом его советовали...

И игумен Филипп, по царскому слову, дал свое тогда слово архиепископам и епископам, что он, по царскому слову и по их благословению, на волю дается ихнюю: стати ему на митрополию, а в опричнину ему и в царский домовой обиход не вступатися. Тако же, по поставлении, за опришнину и за царский домовый обиход митрополии не оставливати никак. А на утверждение сему приговору — нареченный на митрополью Соловецкий игумен Филипп и архиепископы и епископы руки свои приложили». И подписано: «Филипп, игумен бывый Соловецкий, смиренный митрополит Московский и всея Руси». И подписи всех остальных иерархов.

Душу, искавшую подвига, полную редких сил, думали сковать или спасти этой формальной подписью, надеялись росчерком пера избавить от венца мученического... Конечно, попытка не удалась.

* * *

Дело посла литовского Козлова с его зазывными грамотами — росло и росло. Немногие из замешанных в дело бояр, самые сильные и богатые: Бельский, воевода Воротынский и ближний родич Иоанна, Иван Мстиславский, — отделались временной ссылкой и тяжелою пеней.

Казнены были десятки бояр, загублены, сожжены сотни челядинцев и близких холопов из людей, принадлежащих опальникам...

— Что Челяднин толкует? — спросил Иоанн шурина, князя Михаила Темгрюковича, когда тот пришел из застенка, где пытали осужденных.

— Привезли его только что. «Ни в чем, говорит, не повинен. Умысла на царя и на трон его царский у меня не было. И речей я пустошных не говорил, будто одной мы крови с государем. И что права у меня на царство такие же, как его права. Все — клевета и наветы вражеские...» И нас, опришнину твою верную, стал поносить... Давай честить на все корки!

— Ха-ха... Клевета? А еще что сказывал?

— «Только, говорит, и есть, что сказано было как-то спьяну: молошные мы братья с царем... Родною мне грудью вскормлен да вспоен он был...»

— Родная ему грудь? Все не забывают они родства этого молошного... Вон и Ромулуса волчица кормила. Так волченята ж ее в царство не мешалися. Овец царских беспошлинно не резали ж. Били дубьем тех волков за воровство. Так само и «родичам» кормилочьим будет моим. Довольно срамили они меня и матерь мою. И здесь, на Руси, и за рубежом далеко. Попытаешь еще малость «родича» да нынче на вечеринку приведи его ко мне... Да наряд мой царский изготовь, богатый...

Поклонился князь-палач и вышел.

* * *

Окончена служба вечерняя в Слободе, в храме, где царь и все ближние опричники в черных монашеских рясах, в скуфьях стоят. Иоанн — игумном зовет себя. Келарь — князь Афанасий Вяземский, а пономарем — один из недавних, новых любимцев Иоанна: ражий, здоровый мужик, из служилых людей, Малюта Скурлятев-Бельский. Как пес хозяину, — глядит он в глаза Иоанну. Как кровожадный зверь, по взгляду, по мановению руки Ивана, терзает всех, на кого укажет царь. И, служа чужой лютости, тешит свою грубую, зверскую натуру, сам наслаждается. Истязает так мастерски, столько души влагает в дело, что свирепый азиат князь Черкасский должен уступать ему, — тот самый князь Михаил, который шашкой своей на четыре куска разрубил казначея царского Тютина.

Хитрый, лукавый, как все выскочки из черни, чуждый жалости и самолюбия, Малюта успел понемногу втереться в доверие к царю, не только как искусный, толковый палач, но как советник... Постепенно забирает в руки всю дикую, неистовую братию Слободской обители, с Федором Басмановым во главе, — этот простой, неуклюжий с виду, краснобородый мужик, который, с

таким грубым видом, — сладкой лестью умеет щекотать усталую душу Ивана.

Кончилась служба. За столы все перешли...

Только первую чару за здравие царя и государя Ивана Васильевича всея Руси выпить успели застольники, дверь распахнулась, новый гость вошел.

В сопровождении двух приставов показался бледный, дрожащий, измученный Челяднин, со следами пытки на лице, в одежде, кое-как наброшенной на него перед тем, что его из застенка вывели и к Ивану повели.

— А, и гость дорогой пожаловал! — вскочив с места, произнес Иван. — Многая лета царю и государю Ивану Петровичу всея Руси!

— Многая лета! — заголосили опричники, еще не понимая, в чем дело, но предчувствуя забаву веселую.

— Сюды, сюды... На трон сажайте государя! — приказал Иван приставам, помогавшим Челяднину двигаться вперед.

Страдальца опустили на царское место, нарочно перед тем возведенное в горнице.

— Что, ничего государь по царству своему не приказывал? — обратился Иоанн с вопросом к Черкасскому, который тоже появился вместе с Челядниным.

— Нет, отец игумен... Молчит... Видно, гневаться на нас изволит, на слуг своих верных! — подхватывая глумливую издевку Ивана над полузамученным человеком, отвечал князь.

— Да вот оно что? Кубок вина пусть подадут государю. Авось заговорит. Да что же это: в каком рубище государь! Эй, слуги! Одеть великого царя Ивана Петровича. Что зеваете?

Малюта, посвященный в затеи Иоанна, мигом подал приготовленный царский наряд, бармы, жезл, шапку высокую и одели и нарядили, как труп, молчаливого, замученного Челяднина, даже плохо понимающего, что творят с ним эти люди.

— Вот так... Теперь государь наш во всей славе сидит, прохрипел Иван, которого стала бесить такая безответность, молчаливая покорность жертвы.

Если бы тот кричал, молил, проклинал, — было бы забавнее.

А молчание, такая неподвижность полутрупа, это уж как-то даже страшно становится.

— Да ты, шурин, не перепустил ли там? — обратился царь к Темгрюковичу.

— Нет, самую малость! — негромко отвечал тот, поняв, что речь идет о пытке.

— Что же молчишь все, царь-государь! Скажи слово ласко-

вое? — с пеной у рта стал уж настаивать Иван, близко подойдя к трону. — Любо ли? Достиг своего. Вот, и на трон попал наш прародительский. Любо ли? Скажи!

— Христос... пусть от... отплатит тебе... за меня... за муки мои... и жены... и детей моих... — только и мог пролепетать бессильный мученик.

Горло опять перехватило у него. Крепко сжались запекшиеся губы, на которых пена кровавая видна...

— А... Христос? Что ты, царь? За что Христа на нас призываешь? Зачем с укором таким в глаза нам глядишь? Не гляди... Слышь, не гляди... В чем вина наша? Видишь? Раб твой Ивашка Московский с людишками всеми низко тебе на царстве челом бьет, — как-то словно зверь, подвигаясь мягко вперед по ступеням трона, хрипел вышедший из себя Иван. — Да не гляди! Не гляди так, говорю... Не гляди!

Миг, нож сверкнул в костлявой руке царя — и полумертвый до того Челяднин трупом свалился с трона, с широким ножом, оставленным у него в груди рукой обезумевшего убийцы...

— Возьмите! Возьмите прочь! — крикнул Иван. — И мертвый — глядит... Не сомкнул глаз своих окаянных... Уберите скорей... Вина... Песни петь... Скорей вина! Девок гоните сюды!

И началась шумная оргия, дикая тризна ночная по несчастному Челяднину.

А на заре на коней сели опричники, вихрем помчались прямо в богатое, родовое село Челяднина, под Москвою...

На воздух взорваны были постройки. Стоя в боевом порядке, опричники, с Иваном во главе, ждали, пока порох, заложенный в подвалах и подожженный фитилем, — совершит свое дело... Прогремел страшный взрыв, причем погибли почти все бывшие в доме, так как их перевязали и выйти не дали. С гиком, с воплями кинулись затем опричники топтать и добивать тех, кто уцелел; и по всей деревне — ураганом пронеслись! Вырезали людей, разрушили избы, сожгли их, скирды разметали... Оставя пустыню вместо богатого, людного села, захватив все, что получше и подороже, обесчестили всех девушек и баб молодых покрасивее, потом избили, изранили или совсем прирезали и обратно домой поскакали «братья Слободские», с Иваном, с царем-опричником впереди.

* * *

Немного дней спустя, на Успенье, в день престольного праздника в Успенском, древнейшем из храмов Кремля, еще Иваном

Калитою воздвигнутом в 1329 году, — совершалась торжественная служба. Высокий, полутемный обычно храм — теперь залит огнями. Все паникадила тяжелые, громоздкие, словно звездами, усеяны огнями свечей... Все лампады возжены, озаряют неровным трепетным сияньем венчики местных икон, темные лики и фигуры святых и патриархов, на стенах нарисованных. Иконостас залит огнем. Свечи, тонкие и большие, тяжелые, в стальнообразных подсвечниках, — всюду горят и сверкают, колебля языки длинного красноватого пламени, которое дробится искрами в драгоценных каменьях, украшающих золотые оклады чудотворных икон...

Народу видимо-невидимо... И самый храм битком набит, где служба уже подходит к концу, долгая торжественная служба митрополичья, совершаемая Филиппом соборне со всем причтом храма. Голова кружится от жара, какой дают пылающие свечи, от дыхания многотысячной толпы, напряженной, молящейся, восторженной и рыдающей. И за стенами храма — толпы, от паперти — так и тянутся, чернеют, заливая половину обширной площади.

Давно не видали царя в Кремле. Только вот на праздниках таких всенародных и появляется Иван. Одни говорят: «Болен наш сокол, солнце красное! Трудно ему поспеть повсюду!»

Другие, более сведущие люди, замечают:

— Не желает государь с митрополитом-владыкой видаться. Больно наскучает царю старик, все печалуется за крамольников владыко: «Никого не казни. Всех прости!» Царю не по сердцу печалованье, он и ладит: не встречаться бы.

— Раньше — молил... А теперя, как очень разлютовался царь, и прямо грозит ему святитель: «Не минуешь, грит, геенны огненной!» Конечно, государю докука! — прибавляют те, что посмелее...

Глас народа — глас Божий. Так все оно и было, как толки шли.

Не выдержал долго Филипп. Сперва только молил о прощении опальных... А убедясь, что наряду с виновными — много и невинных гибнет, стал укорять Ивана, поминать ему о суде Божием, на котором и его, Ивана, грехи взвешены будут...

— Уговор ты, видно, позабыл, владыко? Что на том суде будет, увидим мы с тобой потом. Какой суд здесь мне давать людям — я сам вижу, царь и владыко рабов моих лукавых... Оставь пустые речи!

Филипп не унимался. Когда царь не хотел допускать его к себе, Филипп пользовался каждой встречей и продолжал толковать все одно:

— Царь, помни о суде Божием...

И требовал если не прощения, так облегчения участи кого-нибудь из осужденных, недостатка в которых не было.

Последние жестокие казни коснулись и многих из рода Колычевых, как будто Иван хотел остеречь этим Филиппа. Но кровавое предостережение не повлияло на непреклонный дух святителя. Торжественно служба идет. Ангельскими голосами звенят и поют певчие прославленной «стайки» митрополичьей, которой даже царская «стая» первенство должна уступить. Октавы архиаконов потрясают даже эти тяжелые вековые стены соборные, просясь на волю, дальше, на простор из-под высокого, круглого купола, куда сбираются все голоса, напевы, все звуки, все клубы дыму кадильного, все струи воздуха жаркого.

Вот царь медленно, словно с неохотой, предчувствуя новое столкновение с непреклонным, упорным «печальником» — митрополитом, подходит за благословением к владыке. Царская свита вся тут же. Не в рясах черных, как в Слободе, а в богатых кафтанах, сверкая золотым и серебряным набором поясов и чеканном оружия... Народ, молящиеся, столько же и сами, столько под напором приставов царских, стеснилися до невозможного, раздалися во все стороны, очищая широкий путь царю и присным его.

— Мир тебе, царь православный, защитник христианский! — твердо, громко произносит владыко, встречая с крестом царя.

— С тобою мир, отче-господине! Благослови, владыко!

— Пожди! Что так спешишь, великий государь? Редко доводится видаться с тобой. Не допускаешь и посланий, и увещаний пастырских смиренных моих до слуха своего царского. Здесь хотя, перед престолом Всевышнего, перед ликом предстательницы Присно-Девы Честной за весь род человеческий, здесь молю: выслушай предстательство наше смиренное за чада церкви, гонимыя тобой. За мирские мужи, за священнослу...

— Постой, владыко... Не проповедь ли читать почал? Не время... Дай срок... Благослови и отпусти нас... Дела ждут государские... — покусывая губы, царапая концом жезла по железным плитам, устилающим храм, глухо произнес Иван.

Он чувствует, что привычный прилив холодной, ярой злобы овладевает им. Но в то же время с мучительной тоской в груди должен сознаться, что, если прав он, Иоанн, ведущий к спасению землю Русскую в бурное время нестроения всеобщего, — так прав по-своему и Филипп. Бесстрашие владыки искреннее. Жалость его к людям — непритворная, неподкупленная, никем не вымоленная. Чист и свят владыко, хоть опричники и стараются оклеветать врага своего. Но Иван знает, что они клевещут... И потому

терпит от Филиппа многое, чего не потерпел бы ни от кого из окружающих. Иван — не может поступить иначе. И Филипп не может действовать иначе. Иван вот понимает это. Филипп — не хочет или не умеет понять... А если бы он мог? Как хорошо было бы тогда... Все, что осталось чистого в больной, измученной, исковерканной и загрязненной душе Ивана, — все рвется к Филиппу. И если бы тот понял! Нет, он слишком чист и свят, чтобы понять закон мирской, закон созидания и разрушения земных, преходящих царств, а не единого, запредельного царства Света и правды Божией. И при мысли, что никогда Иван и Филипп не поймут друг друга, — ярость и жалость смешанной, опьяняющей волной захватывают и несут куда-то в пропасть душу царя Иоанна.

— Дела государские — твой удел высокий, царский. А почто творишь дела диаволи, чадо? Почто окружил себя сими слугами сатаны, кои и над таинствами церковными, с тобою вкупе, — кощунствуют? Почто с ними вкупе — лиешь, яко воду, кровь христианскую? Поведай ми, царю? Покайся, припади к стопам Христа, тогда дам отпущение, благословение дланей, молитву уст моих. Тогда — душу мою отдам ти. Тело мое за тебя — терзать повелю!

Громко звучит горькая укоризна Филиппа.

Толпы народа — все дальше и дальше отступают, чтобы не быть свидетелями тому, от чего страх наполняет их душу и холод пробегает по спине.

Иван и Филипп перед престолом Бога тяжбу, последнюю тяжбу о душе царской ведут.

И, как злые духи, стерегущие душу, много грешившую, надвинулись ближе опричники. Не то они хотят всю тяжелую сцену скрыть от народа, не то немую угрозу Филиппу выказать... Если бы не тысячи народа, которые разорвут на куски каждого, кто дотронется до риз владыки, — тут же упал бы он мертвым под ножом любого из свиты царской. Но понимают палачи, что в Успенском соборе — роли поменялись. Хозяин, судья, повелитель — Филипп. Они же, с самим царем вместе, — только духовные чада и ответчики перед митрополитом Московским и всея Руси.

А голос Филиппа звучит все тверже и укоризненней...

Словно бы стараясь заглушить эту укоризну в ушах народа, в душе царя, который даже растерялся, не ожидая ничего подобного, — опричники перекидываются между собою тревожным, поспешным говором:

— Да что же царь молчит?! Спускает монаху безумному!.. Опешил, видно, царь... А тот и рад! За народом никого не боится, ничего не пужается чернец обнаглелый...

Уколы достигли ушей царя...

И правда, что это с ним? На глазах у всех холопов этих, у черни, у попов, — он, Иван, поруганье подобное терпит!

Пусть даже безупречен Филипп... Но не смеет он! Царь перед ним, владыка всей земли! Владыка тел и душ людских, милостию Божией, наравне с самим митрополитом...

Громко несется речь Филиппа:

— Покайся, царь! Омой от крови длани свои, очисти душу от скверны, отринь слуг адовых, что обступили тебя, блудодеи, и ведут к погибели. К Богу прииди, и я за тебя...

— Молчи, гей, замолчи, отец святый! — вдруг, не имея сил сдержаться больше, прогремел, всей грудью выкрикнул Иван, словно надеялся, что грозный оклик отрезвит, остановит бичевателя.

— Я замолчу — камни возопиют! И несть тебе тогда спасения!

— Только молчи! Одно тебе говорю... Молчи, пока могу сдержать дух гнева, владеющий мною... Длань моя тяжка, ты знаешь! Так молчи... и благослови нас!

— Наше молчание архипастырское — гибель на душу твою навлечет, смерть нанесет душе твоей бессмертной, на веки вечные, с кромешниками всеми в геенне адовой! Не стану молчать! Не боюсь духа гнева твоего... Владеет бо нами — Дух Святый Господен! Ему же несть одоления от людей...

— Постой... Еще в последний раз послушай... В последний раз говорю тебе, как уж много разов тебе сказывал... Царство шатается... Сильные — слабых истязают! И не ты, не молитвы твои обуздают надменников, но мощная длань наша карательная. Ближние мои — встали на меня. Зла мне ищут сотворить. Не мешай же мне пахать государскую ниву мою для жатвы богатой, не мешай зерна сеять тяжелые, кровью орошать их горячею, чтобы жатва, великая жатва мира и мощи царственной созрела для великой Руси!

— Чума и гибель растет на нивах, кровью орошенных, не покой для земли, не величие царств. Духом созидают они: духом же разрушаются... Вспомни Вавилон, вспомни твердыни Ассурския!

— Да нет, не то совсем... Не понять тебе, владыко... Так оставь ты лучше! Какое дело тебе до наших советов царских, до путей наших властительных? Слышишь, молчи!

— Я пастырь стада Христова! Ищу заблудшую овцу свою... И радость будет велия, ежели обрету ее... Знаешь, какая радость?! Вот отчего не замолчу, покуда исходит дыхание из уст моих.

— Филиппе, не прекословь! — ударив жезлом о помост так, что погнулось острое жало стальное, властно крикнул Иоанн. —

Не прекословь державе нашей, данной нам от Господа, чтобы не постиг тебя жестокий гнев мой! Лучше, владыко... Ты вон что лучше: покинь... Оставь митрополию...

— Не покину, чадо мое. И мне сан мой священный — дарован от Бога! Я — не просил, не искал через подружий своих, поминки не слал, бояр, попов, епархов не закупливал... В пустыне моей — нашел меня Господь. Ты же, о царь жестокий, извлек меня из тихого прибежища моего, мирного и сладкого. Зачем, о царь, лишил меня пустыни моей? Ввергнул зачем в пучину житейскую?!

Громко, скорбно вопрошает Филипп, а слезы, крупные слезы — так и скатываются по старческим, исхудалым щекам, темнят своей влагой светлое, блестящее облачение владыки...

И что-то в ответ словно дрогнуло в груди Ивана... Что-то забытое, прекрасное, мучительно-жгучее вместе с тем, как первая ласка, как укор совести, как незваный прилив раскаяния... Со смерти жены не плакал Иван. Он разучился и хохотать, и плакать... Одна кривая улыбка болезненная осталась ему...

А сейчас? Нет, он не допустит... Нет! Нельзя. Заплакать теперь — значит на позор предать себя, на посмеянье...

И еще раз звонкий удар искривленного острия по железным плитам — пронесся, прозвенел под сводами храма... Постоял два-три мгновения в раздумье Иван... И от этого раздумья дыбом волосы встали, зашевелились у всех опричников, у провожатых царя...

А что, если монах — победит? Если падет Иван сейчас на колени перед владыкой и...

Тогда им из этого храма нет другой дороги, как в тюрьмы, на плахи, под топоры и на виселицы...

Или уж тогда — обоих не выпустить из храма... Не даром отдать свою жизнь?!

Без сговоров, у каждого из палачей пронеслась одна и та же мысль в смятенном уме.

Но судьба сжалилась: спасла Иоанна, временную отсрочку дала Филиппу.

Круто повернул царь и, ни слова не говоря, быстро пошел из храма. Опричники с шумом, с веселым говором теснятся за ним.

Вздрогнул Филипп. Пока царь стоял в нерешительности, владыка так и пронизывал его глазами, полными слез; в душу грешника хотел без слов пролить луч благодати... Горячо, молча молилась душа Филиппа за душу царя...

Но Иоанн ушел.

И часто-часто каплют слезы из опечаленных глаз владыки на железные плиты собора, носящие следы от ударов жезла царского...

Бескровные губы аскета шепчут одно:

— Спаси, Боже, царя... Землю, Господь, защити!

О себе не молится владыка. Филипп позабыл о себе.

* * *

Заочно собор осудил Сильвестра.

Филиппа заочно осудить нельзя. И судить-то его не должны иерархи российские, как ему подчиненные. Экзарх, присланный от вселенского патриарха Константинопольского, — один может дело разобрать, судить и смещать первосвященника, епископа верховного российской церкви, греческой...

Но Ивану дела нет до уставов канонических.

Он видит, что для прекращения соблазна, толков и смуты в народе, которая грозит бедой самому Иоанну, — надо скорей сместить Филиппа, другого, более покладистого владыку избрать и, на глазах народа, — помириться с церковью, в лице нового митрополита.

А опричники, кроме того, все в дело пустили, целый ад на ноги подняли, только бы скорей низвергнуть ненавистного своего гонителя.

Нашлись предатели-Иуды, ложные послухи, ложные обвинители, наглые клеветники.

Новый настоятель Соловецкого монастыря, игумен Паисий, ненасытный честолюбец, завидуя тому, чье место он занял, упоенный обещаниями кромешников, пославших своих гонцов и на Соловки, подумал:

— Отчего бы и мне не занять места, какое занял Филипп — такой же раньше игумен, каким я сейчас?

Эта мысль усыпила совесть.

Он и духовник Ивана, Благовещенский протопоп Евстафий, открыто решились возвести клевету, кинуть груду нелепых обвинений в лицо Филиппу.

Восьмого ноября 1568 года в том же Успенском храме собрался на судбище собор духовный. Владыки Новгородский Пимен, Суздальский и Рязанский, усердные приспешники Ивана и опричников его, еще другие иерархи высшие и низшие и даже светские лица, — к великому соблазну общему, — вопреки церковным законам, преданиям и правилам, приняли участие в этой пародии суда.

Горько улыбался Филипп, глядел в лицо «судьям», царю и молчал в ответ на обвинения и клевету. А то, что говорил святитель, — конечно, не могло спасти его, только ускорило гибель.

И люди молчали кругом... Иные равнодушно глядели на позорное судилище, другим — личный, подлый страх зажимал уста,

хотя в душе жалели они Филиппа, преклоняясь пред величием старца.

А клеветники выступили вперед. Говорили громко, надменно. Только в глаза избегали они посмотреть тому, кого чуть не антихристом, «зверем из бездны» и еретиком рисовали эти отбросы человечества...

Недолго длился суд.

С гиком, свистом и хохотом вывели опричники «обвиненного» и отставленного от митрополии владыку на паперть храма.

Блестящий наряд святительский был сорван во время обряда низложения. Старая, рваная ряса монашеская, покрытая грязью, заплатами, — сменила мантию и оплечья первосвященника. Из судей многие, забежав на паперть вперед, целовали украдкой одежду осужденного ими... рыдали беззвучно...

Простые дровни стояли наготове. Сюда посадили Филиппа. Один опричник сел вместо возницы... Остальные — на конях, где у седла скалили зубы собачьи головы, сверкая стеклянными глазами, и, взяв в руки метлы небольшие, которые тоже постоянно возили за собой, поскакали палачи за дровнями, то и дело нанося удары, осыпая бранью страдальца-мученика...

Народ, собравшийся к собору, бежал издали, опасаясь оружья буйных опричников... Со слезами провожали встречные люди позорную колесницу, тянули к святителю детей своих... А он, глядя кротко на всех, не издавая ни жалобы, ни стона, благословлял народ исхудалыми, дрожащими руками, насколько позволяли веревки, которыми опутали по рукам и по ногам старика.

Вот за подгородной рощей скрылся поезд... Подъехал к воротам ближней обители во имя Богоявления Господня — и глубокие, немые тюрьмы монастырские приняли под свои своды нового узника.

Радость царила в Слободе много дней после падения Филиппа. Но один там не радовался. Смертельная тоска овладела душой Ивана. Он ждал, что гнет с нее свалится, когда падет Филипп. А вместо того свинцовый груз навалился на грудь. Сердце так больно сжималось, так безотчетно, беспричинно, что ни вино, ни пытки, ни ласки самые дикие, небывалые — не могли развеять этой тоски, снять груз с больной души несчастного Ивана, этого зверя в человеческом образе...

* * *

Дивные вещи, как говорят современники, совершились потом...

Кротость Филиппа растрогала даже врагов его, усмирила не только медведей, но и опричников.

Игумен Богоявленской обители, не любивший владыку, боявшийся Иоанна пуще смерти, неуклонно исполнил приказ царя. На Филиппа были наложены тяжкие оковы.

Даже по поясу лег широкий обруч железный. Сами опричники, прискакавшие за дровнями, заклепали замки.

Дверь подвала, кроме тяжких засовов с большими замками, была еще забита наглухо костылями громадными. Без пищи, без воды приказал Иван оставить там Филиппа. Думал: не смирят ли старика тяжкие лишения?

Ускакали опричники. Ключи от темницы с собой увезли, как было им приказано, чтобы монахи не разжалобились, не сделали потачки Филиппу.

Но тайные тюрьмы монастырские полны чудес. Недаром толкуют, что и войти и выйти из них — легко и трудно одинаково. Все зависит от уменья... Когда через три дня явились опричники проведать заключенного, думая встретить или усмиренного горделивца, или труп жалкого старика, — свершилось нечто странное.

Целы — запоры дверные. Нетронуты двери, наглухо забитые. С трудом раскрыли двери. И до слуха кромешников донеслось пение псалмов благодарственных. Стоя с руками, поднятыми к небу, стряхнув, как скорлупу, все цепи тяжелые, слабым голосом воспевал узник Господа Сил.

Азиат суеверный, князь Михайло Черкасский, и другие, с ним вошедшие в подвал, так и дрогнули. Волосы зашевелились у них от неодолимого, священного ужаса.

— Чудо! Чудо! — как из одной груди, вырвалось у всех, и мучители, бездушные, продажные грешники, — с мольбой и рыданием припали к ногам своей жертвы, шепотом или с воплем, кто как умел, молить стали:

— Благослови, владыко! Отпусти нам окаянство наше, грехи неисчислимые, тяжкие!

И он благословил. Он дал им отпущение, палачам своим.

Кинулись к царю эти звери, пережившие минуты просветления, рассказали все. Лица — мокры от слез... Лица только с брызгами крови да вина раньше знакомые...

И дрогнул царь. Но иное слово сорвалось с его бледных, дрожащих губ.

— Чары, чары, чары! — хрипло зашептал Иван. — Недруг он мой... Изменник, предатель! Не на суд ли Божий зовет меня старец упрямый? Так давай тягаться! Эй, псарей сюда! Пусть Андрюшу с цепи возьмут, в обитель свезут да к Филиппу припу-

стят. Опричников моих, гляди, очаровал ведун... Пусть зверя очарует, тогда уверую в правоту... или в силу его... Да не кормить Андрея до завтрева. Ни крупицы нынче не давать... И завтра же... В подвал Андрюшу к старцу впустить... Пусть вдвоем потолкуют.

Андрюша был бурый медведь, могучий, самый злой из всего зверинца царского, где медведи и псы-людоеды содержались для диких охот и забав Ивана, какие тот по примеру цезарей порой затевал... Имя зверю дано в честь двух Андреев: Шуйского и Курбского.

Исполнили волю Ивана. Точно ли, нет ли? — кто знает...

Ходил за медведем один только, кого не трогал свирепый зверь: псарь по имени Приезжий Обернибесов. Он и повел Андрюшу. И в подвал его загнал. При всей грубости — набожный, верующий человек был псарь. Может, и накормил раньше досыта мишку. Или на самом деле, встретясь со взором твердого человека, в полутемном подвале, слабо освещенном светом ночника, — зверь отступил, отвернул налитые кровью глаза и смиренно улегся в углу? Как было — никто не знает... Но именно так и застал обоих царь, когда наутро, терзаемый любопытством и неясным страхом, сам он явился в монастырь, дверь распахнуть приказал и заглянул в темницу.

— Глянь, государь! — забасил шедший впереди Обернибесов. — Ондрейко-то наш — приручился, видно... Лежит смирнехонько в углу. Не тронул медведь старца Божия.

— Вижу, вижу! — протяжно отвечал Иван.

— Чудо! Чудо! — зашумели все стоявшие за царем: монахи, стрельцы и опричники...

— Чары! Чары! — говорю вам... Я — говорю! Царь и властитель ваш... Плохо вы здесь сторожите, голубчики... Нынче же в Тверской Отроч монастырь отвезти крамольного епископа! А тебя, приятель, обратясь к псарю-медвежатнику, тебя, Обернибесушка, я попытаю нынче ж о чуде об этом!

И прочь пошел.

Филиппа в Тверь повезли. А на другое утро в Синодике новое имя стояло, Иваном вписанное: Приезжий Обернибесов... Сверху — звание проставлено: псарь...

Что ни день — то больше росла и ширилась тоска больной души, овладевшая царем после удаления Филиппа.

Видят это опричники — и хмуриться стали.

— Все, вишь, пригляделось игумну нашему... Надоть бы поновей чего, позабористее...

И они нашли.

Чтобы не было ни сроку, ни отдыху, чтобы не успевал пооду-

маться царь — одно средство оставалось верное, испытанное: против сильного какого-нибудь, хоть бы и выдуманного, врага домашнего натравить надо царя. Старые внешние враги теперь уже, как нечто знакомое, мало занимали Ивана.

И нашелся случай под рукою.

То ссорясь, то мирясь, но довольно сносно в последние годы жили оба брата двоюродных: Иоанн IV и Владимир Андреевич.

Именно в эту пору, летом 1569 года, Иоанн послал князя, в качестве вождя, с московскими ратями против турок. Их ожидали со стороны ногайских степей, так как хан Девлет с помощью 17000 янычар турецкого султана сбирался отнять у Иоанна царство Астраханское.

Через Кострому поехал Владимир со всей семьей и остановился в Нижнем Новгороде, где, по обыкновению, назначен был сбор служилым, ратным людям, казакам и азиатским, кавказским князькам с их дружинами.

Кострома недавно отошла к Владимиру, вместо старого удела, с другими еще городами: Дмитровом, Боровским и Звенигородом.

Старый дедовский удел, с известными целями, был отнят у брата Иваном.

Костромичи, из усердия, миряне и духовенство все, желая в лице брата почтить самого царя, встретили Владимира торжественно, с царскими почестями.

Принял хлеб-соль Владимир, спасибо сказал новым оброчникам своим и проехал дальше, в Нижний, где стал к походу готовиться. Пока войска собрались, турки узнали, что отпор им сильный будет, — без боя домой вернулись.

Владимир послал вести о том брату, а сам остался жить в Нижнем, ожидая дальнейших приказов от царя. Было это уже в конце 1569 года.

Только что оставил царя гонец от Владимира и стал Иоанн разбирать, что пишет ему двоюродный брат, — как вдруг неслышно, без доклада, показался в покое Басманов. Видя, что царь в бумаги ушел, кашлянул легонько.

— А, ты? Что надо? — не оглядываясь, узнав по кашлю Федю, возмужалого, бородой пообросшего, теперь — смелого воина, спросил Иван. Хотя и не по-прежнему, но особенное расположение питает он к этому лукавому парню.

— Так. Проведать заглянул... Слышно: вести от князя Володимира. Турок, что ли, расколотил?

— Не жди турок... Не бойся, Федя... Цел останешься... Турки к нам за тобой не заглянут... Вовсе не пожалуют... Вот пишет Володимир!

— А про то, как встречали его в Костроме да везде и повсюду, с крестами-хоругвями и со звоном колокольным, ниц перед ним как падали, государем-царем величали, — о том пишет ли князь?

— Что ты плетешь? Что за притча?

— Бабы да девки на коклюшках плетут, а мне не пристало. Видишь, вон: рубчик на лбу, от сабли татарской... Это — мое плетенье ноне... А я правду говорю...

— Как царя его встретили, говоришь? С чего ж бы то?

— Э, государь... Да ноне, видно, один у нас чутье потерял: игумен наш премудрый.. «С чего бы?» А с того бы самого, с чего и в некие дни былой хвори твоей — присяги князь давать не хотел усопшему царевичу Димитрию... Не кроется князь даже... Тут — и Филипп помог... И толки, что Ивана-царевича своего ты на трон литовцам отдаешь... И мало ль что... А Федор-царевич, здоровьем-де слаб, толкуют... Головой некрепок, вот как твой же брат был покойный, государь Юрий Васильевич... Один и выходит царь впереди: Володимир свет Андреевич!

— Да врешь ты...

— Экий, право, царенька... Заладил одно: врешь да врешь. С чего мне врать-то? Спроси сам хотя костромичей тех... Они не скроют...

— Ладно... Свезти их сюда, всех, которые... Я с ними...

«Дело» палачами было найдено. За костромичей несчастных взялися. Свезли в Слободу самых важных из тех, кто во встрече Владимира участвовал. Напуганные бедняки и таиться не стали, поведали, как государева брата встречали торжественно, чин чином...

— Не царя ли себе в нем чаяли, милые?

— А это не наше дело! — отвечали простодушные костромичи. — Велишь — и за царя его почтем!

Кнут и пытка служили наградой за их простодушную откровенность. А пытка была такая тяжелая, что ни один из привезенных в Слободу домой не вернулся, рассказать даже не мог, что испытал, что видел он в этом чистилище.

Не привык Иван на полпути останавливаться.

Старые подозрения, ненависть к Владимиру, искусно пробужденная сворой беспутных опричников, — завладели волей и душой Ивана так властно, что ни о чем ином он больше думать не мог.

Во сне снилось, наяву — то же самое думалось: устранить опасного соперника по царству.

В Нижний гонцы поскакали, люди были подосланы разузнать, как да что там... Из опричников были, конечно, те люди...

Скоро вернулись и столько насказали, что позеленело от ярости и страху лицо Ивана.

— Извести меня задумал? Откуда знаете? — спросил царь.

— А слыхали. Да можно князя и с поличным поймать... Уж как это сделать, у нас придумано!

— Ладно. Изловите мне только его. А уж я... И вашу службу не забуду.

— Что ты, государь? Мы — из усердия к тебе! — низко кланяясь, заверяли иуды.

А глаза у самих алчно сверкают, предчувствуя поживу богатую...

Затеянная опричниками ловушка проста была до наглости.

Нежданно-негаданно явился к Владимиру в Нижнем один из поваров Иоанна, Шемёта, Пищик по прозванию, и стал просить тайного разговора.

Допустил его Владимир в свою опочивальню. Кинулся в ноги холоп, лежит — не поднимается.

— Встань, говори, что надо?

— Шемёта я, поваренок царский, государь!

— Помню... Видал тебя... Батогами тебя хлестали единова, что царю не угодил. Помню: ты за науку кланяться пришел, при мне челом бил брату-государю.

— Так, так... Истинная правда... А вот анамнясь куда было дело почище... Женка моя — дура, заартачилась, в покои дворцовые ночью идти плясать не похотела... Мастерица она плясать... Так...

— Ну, что же?

— Да уж больно смешно, осударь... Плиту принесли железную, на которой медведей плясать учат. Под плитою тою — огонь разводить бо-о-ольшой меня же заставили... Чтобы красной была плита... И...

— Говори, не тяни...

— Да, забавно больно, осударь... Женку мою на ту плиту, на самую... поставили, босыми ногами, нагую... «Пляши, говорят, здесь, коли пред царем не хотела...» А я все огонь подкладываю...

Как будто от волненья, умолк лукавый притворщик мужик.

— Ну и...

— Плясать стала... Кругом с ножами стоят... Чуть она с плиты — нож торчит... Больно... Пахнем мясом паленым... Ревет моя женка: «Шемётушка! Заступись... Пожалей моих малых детушек... Гибну я, Шемётушко!» Ну, какая заступка тут? Самого, гляди, на плиту посадят...

— Так как же?..

— Поплясала малость... Думала: потешутся и отпустят... А там пала плашмя... и... вся дожарилась... И конец...

— А ты?

— Я... Что же... Я — дрова подкладывал...

Говорит — и ни слезинки на глазах. Только дышит тяжело.

Правда, был он при такой сцене, но чужую, не его жену тогда плясать учили. Он только теперь на себя принял личину того несчастного, который с ума сошел тут же, видя муки жены.

Владимир от ужаса даже лицо руками закрыл. Но быстро опомнился.

— Ты что же это? Чтобы мне такие сказки потешные рассказывать — и пришел сюда? Или на царя жалобиться? Так я и прибавить велю, да к нему пошлю с вестью, какие слуги у него болтливые...

— Нет, храни Бог, осударь... К слову пришлось. Сам ты понукаешь: скорей да скорей... Я и рассказал... А я — за рыбкой, осударь... Как поваренок его царский...

— Так мне-то что же? Скажи дворецкому... Он велит тебе на торгу, что получше, отобрать...

— Не! Я и сам могу... А я к тебе... Слово есть тайное. Боюсь, прогневаешься али не уверуешь. Тут мне и крышка... А я еще помстить должен...

— Кому мстить?

— Учителям-то... женки моей... Окаянным опришникам...

— Воистину окаянные! — невольно сорвалось с языка у вечно осторожного Владимира.

— Да, что они только против тебя, осударь, задумали? — словно ободренный этими словами, подхватил Шемёта. — Даже ужасти... Наклепали, вишь, что ты в цари — сам сесть задумал... Костромичей, которы тебя встречали, всех переказнили...

— Эй, вздору не мели, холоп! — с сердцем оборвал Владимир, не успевший еще от друзей своих из Слободы получить никакой вести. — Гляди, не было б худо...

— Твоя правда... Вздор молочу... Прости, осударь... Вот донесут тебе, кто поважней меня — тем и верь... А мне, холопу, верить можно ли? Весь-то, холоп, — копья не стою я медного, полушки татарской, ломаной...

Задумался Владимир. Может быть, и правда... Знает он, как подозрителен, беспощаден Иван.

А Шемёта, на коленях стоя, подполз поближе, шепчет:

— Коли узнаешь, что прав я был... И пожелаешь гнев царя на милость обратить. Счастья добыть себе да ласки братней. Шемёту шепни... Я — на кухне у царя... Не все, что пьет и ест царь, —

стольники пробуют. Есть корни и травы приворотные... целющие... Мне мигни... Дай, перешли мне что надо... Прямо во уста царю попадет... И взлетишь ты надо всеми, как солнце над землей. Любовью братской да жалованьем... — быстро подхватил предатель, заметя испуганный взор Владимира. — Тогда и меня не забудешь... Дашь с теми пораспрaвиться, которы Анютку мою — плясать учили... Живую палили... Деток сиротами моих оставили...

— Вон! — только и мог крикнуть Владимир.

И не стало иуды в покое.

А через неделю ввели его, избитого, окровавленного, истерзанного, в опочивальню Ивана.

— Гляди! — кричал Федор Басманов. — Гляди, государь, куды дело пошло... В Нижний, за рыбой ездил этот смерд... А люди, какие были с ним, подводчики, и донесли здесь, чуть вернулися, что к себе предателя князь Владимир звал... Долго шептался с аспидом. А один Федька Наумов, холоп твой, донес: пятьдесят рублей Шемёта взял, царя бы извести. Обыск мы сделали... Гляди! Вот, что нашли... Казны: полсотни рублей серебра. И сверточек бумажный...

Показывает Иоанну в бумажнике — порошок какой-то, красноватый.

— Дали псу дворовому мы зелья этого... Вмиг околел... Вот чем, царь, братец-князь твой промышляет...

Молчит Иван, дрожит, бледен весь...

Наконец заговорил.

— А сам-то... этот... сознался... Открыл ли вам что?

— Нет... Клянется, подкинули зелье-де...

— Ну так попытайте собаку...

И пнул прямо в лицо носком сапога Шемёту-предателя, который, ради обещанной награды, — даже согласился комедию пыток разыграть, когда ему пообещали с клятвой, что дело пустяками кончится.

Но на пытки — сам царь пришел... Тут уж не до шуток. И все сказал полузамученный человек, как хотели опричники, лишь бы передышку получить до приезда Владимира, против которого он должен был свое показанье давать...

Вторым свидетелем явился дьяк Савлук Иванов, посаженный некогда в тюрьму Владимиром за разные грехи, однажды успевший уже оклеветать Владимира и мать его, иноку Евдокию, а в миру княгиню Евфросинию.

Ничего об этом не зная, получил Владимир ласковое письмо от Ивана: «Брату нашему любезному... Пишем твоей милости: турки, как сведали мы, вконец назад повернули... А тебе бы из

Нижняго в свой удел поспешать... Да как поедешь туды, к нам заехал бы в Слободу, для дела великого, тайного. А стоять тебе, брату нашему, не в Слободе, а в селе Москатине, что на Богане... Там уж будет все поизготовлено... И целуем тебя братски, и супругу твою с детками. А дочки твои обе у нас здравы... Василий, княжич твой, здрав же... и с женой молодою... Службу нам в Ливонах служит верную... А как твои молодшие сынки? Здоровы ль? Поглядеть мне на них охотится...»

Поверил братскому призыву Владимир, с женой и с двумя сыновьями младшими, которые росли при нем, из Нижнего выехал, со всеми челядинцами, с боярынями жены и с прислужницами ближними, которые души не чаяли в молодой, ласковой княгине Евдокии Романовне, урожденной Одоевской, второй жене Владимира.

Стали на Богане, как царь приказал.

Тут только и дошли к Владимиру вести тревожные обо всем, что было в Слободе.

Да не вернешься назад... Поздно. А и вернешься, так догонят опричники... Немало их... шесть тысяч человек теперь в Слободе скопилось, да еще другие живут по разным городам, из тех двадцати, которые на опричнину записаны...

Ждет Владимир, что-то будет.

Спасибо, недолго ждать пришлось.

Заря не занималась, а из Слободы выехали тысячи две опричников, с Иоанном во главе. Тихо подъехали к селу, где ночевал Владимир. Трубы резко прозвучали. Все село было оцеплено. Как в побежденный лагерь вступили туда нападающие. Иван занял большую избу, недалеко от той, где Владимир с семьей помещался.

С шумом, с проклятиями ворвались в покои князя и княгини два посланца Ивановых: Грязной Василий да Малюта-палач, Скурлятев рыжебородый.

— Вставай, изменник... Иди с княгиней твоей на суд, перед очи царские...

— Прочь, холопы — обнажив меч, крикнул Владимир. — Пойдем мы сами к царю... Но вы не смейте касаться ни меня, ни княгини, ни детей наших...

Отступили оба, ждут.

Наскоро одетые, пошли за Владимиром к царю — жена его, оба сына... Ближние женщины княгинины...

Обезоруженного Владимира с семьею ввели в пустую горницу, где ждал их царь, судья и палач, все вместе. И старший сын, Иван-царевич, с отцом тут же.

— За что позоришь так брата своего, государь? — спросил было при входе Владимир.

— Молчи, предатель! Мне здесь спрашивать, тебе — ответ держать надлежит. Ты чего ради отравить меня людей подкупал, холопов моих?

— Когда? Помилуй, государь!

— Когда? Эй, ты... Шемета... Как тебя? Уличай...

На коленях подполз предатель и, не отрывая головы от земляного пола, чтобы не встретиться с глазами Владимира своим бегающим взором, повар стал повторять заученный урок...

— Призвал князь... Денег сулил... Полста дал тут же... И зелья в бумажку отсыпал из ларца... У постели на поставце стоит... Нарядный ларец...

И повар описал подробно ларец дорогой, который приметить успел в спальне у Владимира.

— Знаю, знаю ларец... — кивая головой, произнес Иван. — Видывал его. Старинный, дедовский... Что скажешь, брате? Чем оправить себя думаешь? Чем смертный грех братоубийства и цареубийства окупишь, кроме смерти же?

— Не ради жизни, но твоей и моей души спасения ради говорить буду, государь... Только деток и княгиню увести повели... Видишь, неможется ей...

— Жена и муж — да будут воедино, — по слову апостола! Вместе умышляли на меня, заодно и ответ вам держать. Говори...

Скрепился Владимир, все рассказал, как было.

— Хитро придумано... Подослан, значит, был поваренок к тебе, так думаешь? А кто же подсылал? Скажи уж, не потаи!

— Того не ведаю, государь...

— Попытать бы тебя, — скажешь! Да, лих, крови нашей царской проливать, тела братняго мучить не хочу...

— Не пытай, государь... Ее — не пытай, княгиню мою... Только и молю тебя! Вижу: помеха мы тебе на белом свете... Так... постриг принять повели... Схиму великую... И забудешь ты об нас, и свет позабудет... Спокойно царствуй... Молю тебя, пусти нас в монастырь... И ты проси, жена... Дети, молите дядю...

Кинулись они к ногам царя.

Рыдают, ноги целуют мучителю... Он сидит, задумался... А что, если бы?

Но угадали минуту колебания, прочли искру сожаления на глазах у Иоанна слуги его кровожадные. Не того им хочется... Да и опасно оставить в живых такого сильного, так глубоко обиженного человека!

— Государь! — шепчет Малюта. — Слышно, инокиня-то Ев-

фросиния, на что баба, на что в монастыре уж сидит, а царюет тамо! Все бояре к ней исподтишка съезжаются, да боярыни-княгини! Словно бы на богомолье... А о чем Бога молят? И о том ты сдогадаться можешь... Так уж теперь, если этих еще в монастырь... Поди убереги их!

— Да, да, и монастырские стены — порука ненадежная от умыслов злодейских... Дощатые стены домовины, гроб трилокотный, — хоть и тоньше, а куды прочнее... Правда твоя, Малютушка! — встрепенувшись, ответил царь и оттолкнул прильнувших к его ногам детей.

— Прочь... Довольно... Стыдно валяться так... Все же кровь вы царская...

— И то, стыдно! — поднимаясь, поняв, что все кончено, прошептал Владимир, помог подняться и жене, детей к себе прижал.

Перепуганы насмерть мальчики... Не поймут, что творится. Все перед отцом и матерью ихней ниц падали... А теперь — сидит в грязной избе страшный старик... В рясе черной... Дядя он ихний, правда, царь... Но противный... злой... И мучит отца с матерью.

— Не смей обижать тятю... Не трогай маму! — вдруг, вырвавшись из рук у отца, крикнул прямо в лицо Ивану старший, семилетний мальчуган.

Мать быстрее молнии схватила ребенка, лицом к груди прижала, молчал бы только, не губил себя и всех.

— Ого! Волчонок зубы показал! Хорошо настроили сынка... Вижу, как учили вы племянничка меня, царя и дядю, почитать! — заскрипев зубами, сказал Иван. — И то, чего тянуть да зря слова терять? Слушай, брат... Жизни моей, и венца, и трона искал ты моего... Забыл крестное целование, записи многократные клятвенныя... Холопов на царя подвигал, на помазанника Божия... Яд мне изготовил... Так сам его испей сейчас же... на моих глазах... Милую тебя: без муки покараю... За мою жизнь, на кою умышлял, твою жизнь отыму, как оно и в законе сказано: око за око... Эй, подать сюда кубок меду, для меня братом сычёного... Сам пускай изопьет!

Усадили князя... В полуобмороке княгиня опустилась на лавку подле него... Кубок с ядом принесли...

— Пей!

Покачал головой Влáдимир.

— Нет, сам пить не стану. Вижу: час мой пришел. Предаю себя в руки Божии... Но сам не стану руки на себя налагать. Грех то смертный... Не хочу я души своей загубить, как ты, брат-государь, тело губишь мое...

— Пей, говорю, не то — за пытки примусь... Хуже будет...

Вдруг поднялась с места княгиня Евдокия, молчавшая и только рыдавшая до сих пор.

С земным поклоном обратилась она к мужу:

— Прости, княже! В годину эту лютую позволишь ли жене своей совет подать тебе? Слово сказать, как думаю?

И ласково, но твердо звучит голос измученной, прекрасной, страдающей женщины.

— Говори, милая... Говори, голубка моя... Ты ль мне не советница была? Ты ли не любая, не помощница? Говори. Как скажешь — так и сделаю! Крестом святым божусь, души спасением заклинаюсь... Говори...

И обнял крепко... По волосам гладит, в глаза нежно ей глядит.

Иван слушает, смотрит, даже с лавки привстал...

Что это? Наваждение диавольское? Не Настя ли то воскресла? Не ее ли слова? Не она ль говорит? Не ее ли голос слышится?

А княгиня так же спокойно, громко, словно про что-нибудь по дому толкует, дальше речь ведет:

— Испей чару, как он вот велит... Откушай, князь-государь... Видит все Господь. Знает, чай, не сам ты налагаешь руки на себя... Тот губит тебя, кто отраву дает брату, без вины, без прорухи всякой... На его душу и ляжет грех... Лучше же от руки царя-брата смерть принять, чем палачу-кату подлому тело твое терзать, душу томить... А бог отомстит на страшном суде за кровь неповинную... На нем, на проклятом, на детях на его — кровь наша и детей наших! — оборотясь к Ивану с выражением ненависти и невыразимого презрения, крикнула княгиня.

И умолкла. Больше ей нечего сказать. Напрасно кинулись было палачи рот зажать Евдокии. Только посмотрела она на них — и отступили те. Стоит и молчит княгиня.

— Ну, ин так... Будь по-твоему... Жить помогала ты мне... Умирать же научила, княгинюшка! Низкий поклон тебе! И тебе, брат-государь, за венец мученический, коий приемлю из рук твоих... Дайте чару мою смертную...

Твердой рукой взял он большой, толстого стекла стакан, полный до краев мутной, беловатой жидкости. К губам подносит...

— Постой князь! — шепнула княгиня. — Гляди, по-честному с нами поделись, не все осушай... Нас трое здесь еще... Не то знаешь, что может быть?

— Знаю, знаю... Он все может... — отвечает князь, словно и нет здесь Ивана, словно не о нем и речь. — Оставлю и на вашу долю...

Отпил спокойно больше половины.

— Вот так... Гляди — и на вас хватит!

— Как не хватит? Чай, знаешь зелье свое, которое изготовил на царя! — говорит Иван.

И смотрит: что дальше будет.

Захватило его то, что происходит перед ним. Словно это не люди живые... И не брат его яд выпил так спокойно... И не жена брата молит: на мою долю, на сыновей оставь.... И сам Иван — не он теперь. Нет! Давно забытые картины выплывают перед Иоанном. Сидит он, читает о временах мучительства, какие творили кесари римские над христианами... И эта чета перед ним, — чета римлян стародавних... И пьют они смерть, словно вино сладкое... А он, Иван, кесарем ставший, любуется, как люди жить и умирать умеют хорошо!

— Вот, вместо пещнаго, такое бы действо представить... — вдруг нежданная пробегает, неуместная мысль у царя.

А Евдокия тоже успела между тем отпить из стакана... И детей заставила... Честно остаток поделила. Себе — побольше. Детям — поменьше...

Смотрит дальше Иван.

Плохо влияет яд... Прием у княгини и детей — не довольно велик... Владимира — того уж поводить начало, как бересту на огне. Но он обнял жену, детей, сидит, муки пересиливает, улыбаться старается... Молитву громко читает отходную... Евдокия и дети повторяют священные слова за князем. Сами себя готовят люди в иной мир.

И невольно Иван стал вторить за жертвами своими бесконечно грустные и бесконечно утешительные слова моленья страшного, последнего моленья...

— Ныне отпущаеши раба твоего, Владыко, по глаголу твоему... Упокой, Господи, души рабов Твоих... Владимира... Евдокии... Ивана да Юрия...

— Мама! Мама! — шепчет напуганный старший ребенок. — Разве ж и я умру... И братец меньшой, Юра? За что, мама? Не хочу помереть... Страшно в могилке... Видел я: клали бабушку нашу старенькую... Мама, не хочу... Жаль мне... И братца жаль...

— Нет, милый, не бойся: не смерть... жизнь тебя ждет вечная, ангельчик ты мой! — костенеющим языком отвечает мать...

— Ой, больно мне, мама! Мама, что с тятей? Упал он... Как поводит его... Ой, больно! Мама, какие глаза у тяти страшные! Ой, больно, страшно мне!

Малютка Георгий- княжич только хрипит на коленях у матери и весь извивается...

И княгиню муки осилили. С воплем пронеслось:

— Господи, помилуй... Не дай видеть муки детей моих... Господи, помилуй!

Глядит, глаз не отводит Иван, как очарованный, как к месту пригвожденный... Словно во сне, не наяву все это видит... И ни звука не говорит...

Вдруг сзади за ним, быстро, один за другим, — прогремели три-четыре выстрела...

Не вынес Иван-царевич и еще двое опричников... Дрогнули сердца косматые... Три куска свинца впились в мать и в детей, прерывая мучения.

— Спасибо! — только и прошептала княгиня — и затихла.

Детки тоже вытянулись, смирно лежат... А Владимир от яду коченеть уже стал.

Быстро обернулся Иван.

— Кто смел? — пробормотал он.

Но все позади стояли с такими измученными, печальными лицами, что не повторил царь вопроса, а, как Каин, гонимый совестью, кинулся вон из горницы...

* * *

Говорит летописец: «Призвал Иван дворню женскую всю княгини и сказал:

— Глядите, как я злодеев своих казню... И вам — то же следует... Но если станете молить о пощаде — помилую вас. Станете Бога молить о князьях ваших и о моей душе многогрешной...

С ужасом взглянули боярыни и прислужницы на тела злополучных, невинных господ своих, скрепили сердце, отогнали страх и в один голос отвечали мучителю:

— Не хотим твоей милости, кровожадный убийца нашего благочестивого господина! Лучше умрем, чтобы там, в небесах, до страшного суда вопиять на тебя к Богу, чем останемся под твоей тиранскою властию... Делай, что хочешь!

Так Господь чрез слабых жен обличил Ивана. Мучители не любят сознаваться в своих злодействах.

Царь закипел яростью, велел всех женщин обнажить и гонять по улицам села, между народом, как зайцев или собак, для позора. Потом — расстрелять и изрубить велел, а трупы бросить в чистое поле...»

Слова женщин успокоили Ивана.

Он убедился, что крамола гнездилась в доме Владимира и казнь постигла князя со всей семьею недаром... Кроме имен, здесь

погибших, дня через два Иван записал в Синодик еще имя: Княгиня-инока, Евдокия (Евфросиния Старицкая) потоплена в Горах*, в Шексне-реке... Там постиг ее гнев тирана...

* * *

Захарьины, после смерти Анастасии, после возвышения Басмановых, отошли совсем на задний план. И задумали они поправить дело. Путь для того один, всем известный. Надо только возбудить ярость полуобезумевшего Ивана против какого-нибудь из заведомых ненавистных врагов... И припутать к делу Басмановых. Урок последних впрок пошел врагам их. К Захарьиным пристал и князь Михайло Темгрюкович Черкасский. Незадолго перед тем умерла Мария Темгрюковна. Толковали, что зачахла она в своем терему, под замком сидя, с трудом вынося дикие ласки больного царя... А князь Михайле думалось, что не без помощи Басмановых закрыла глаза царица. И он, раньше шурин царский, теперь — невольно терял значение... Особенно был ненавистен всем старик Басманов, боярин Алексей, надменностью давивший даже своих товарищей опричников.

Тихо, незримо интрига ползла... Сына успели против отца поднять... Запутали, завертели обоих... И ко всему новгородцев приплели... С этих-то, собственно, и начали. На веселом пиру вдруг упал к ногам царя какой-то не то холоп, не то однодворец, Петр, из волынских людей:

— Слово великое, царь, имею поведать тебе! Измена готовится всесветная!

— Какая измена еще? Говори!

— Господин Великий Новгород за Литву себя отдает!

Что красный платок быку показать, что помянуть царю про новгородцев, закоснелых врагов его, — все одинаково...

Вскочил, дрожит Иван.

— Говори, скорей говори...

— Служил я у Бессона, у подьячева новгородского... В кабалу ему задался... И другой ошшо подьячей к ему хаживал же, Сухан... И оба толковали... И грамоту писали, как им на новгородском вече, на миру приговорено... И на совет тое грамоту носили на вселюдный... А в грамоте писано: отдать бы Новгород и все

---

* Горицкий Воскресенский девичий монастырь у города Кириллова, где жила инокиня, мать Владимира, Евфросиния, потом нареченная Евдокией.

пятины новгородские, и псковские тута же, за круля польского... А на твое место Владимира-князя садить... Да признано, что казнен князь... Так поотложили. А грамоту ту писанную к крулю — до времени схоронили за образ чудотворный Софийской Божией Матери, что соборне... А потому вече за круля стоит, что он в Ливоны вошел, не нынче завтра силом земли все поберет псковские да новгородские... Людей посечет, порубит. Так лучше поране, без урону к ёму отойти. И сюды я с грамотой послан же от хозяина, про вести московские разведать... Да совесть меня зазрила... К тебе пришел. Твоя воля — казнить али миловать...

— Моя воля, холоп... Великое слово ты нам сказал. Оправдаешь слова свои, — счастье ждет тебя великое ж! Если же солгал?.. Ну-ка, кажи грамоту твою, эпистолию дьякову... К кому она?

Из-за пазухи Петр-волынец быстро выхватил столбчик запечатанный, отдал царю прямо в руки.

— Боярину Алексию Федоровичу Басманову... Ловко... Добрые ж друзья и заступники у Новгорода крамольного — за моим столом сидят, хлеб мой едят, вино пьют сладкое... Ванюшка, слышь, каки дела?! — обратился он к старшему сыну, охотно принимавшему участие в пирушках и забавах отца. — Ну, почитаем... почитаем...

Если бы гром упал с ясного неба, — меньше оглушил и напугал бы он всех, здесь сидящих, чем заявление Петра-волынца.

Сразу все отшатнулись от старого Басманова. Одинок воевода остался в своем углу, где сидел. Да поодаль Федор виден. Отодвинулся, но не совсем отошел от отца.

Читает Иван, жилы вздулись на лбу. Пятна на лице показались. Люди и дыханье затаили кругом...

Послание ловко было составлено. Будто отвечает Басманову Новгород. Если удастся-де при помощи боярина от царя избавиться, на место Ивана литовского гетмана посадить, если Господин Великий Новгород волю прежнюю получит, так Басманову, с родом его, владеть вольным, богатым городом, в звании наместника вековечного Псковского и Новгородского...

— Ловко... Смело залетел, Алеша... Лих, промашку дал... Бога забыл... Бог — предает предателей-крамольников... А ты что же, Федя? К отцу так и жмешься? Али с ним заодно?

— Я? Что ты, государь! Не кори, не обижай понапрасну. Нет у меня иного отца, кроме тебя, государь... Как я крест тебе целовал... А стою, так на случай... Не прикажешь ли чего? Да гляжу: над собой бы не учинил греха изменник твой царский...

— Ай да молодец, Федя... Так помнишь клятву? Ни отца, ни родимую матерь не щадить... За меня, за царя стоять за единого! Поглядим... Сейчас узнаем... Всю правду слуг моих изведаю теперь.

И, поднявшись, царь торжественно произнес:

— Федор Басманов! Опричника нашего, в вине уличенного, царю предателя, Алексея Басманова — тут же на месте казнить я повелеваю тебе!

Смотрят все, ждут... Смотрит и Алексей Басманов. Не верит он... Не думает... чтобы сын его? Чтобы Федя в ноги царю не кинулся, молить за отца не стал... Все-таки кровь родная...

Мертвая тишина в палате.

Постоял немного Федор, короткой, быстрой судорогой лицо у него повело, словно он горькое что проглотил. И вдруг тихо стал двигаться... Все замерли.

К старику приближается сын, только не прямо глядит, а все как-то в сторону... На одно мгновение сверкнула на воздухе сталь, — и прямо в сердце широкий нож вонзился старику... Разок один только и вздрогнул тот, слабо совсем. А из горла — кровь, с пеною вместе, так и хлынула...

Федор Басманов исполнил присягу свою...

* * *

В декабре того же 1569 года со всей ратью кромешною — выступил царь к Новому-городу... Ко Пскову пошел.

Тверь по пути лежит. Высоко стоит, белеет Отроч монастырь Тверской, где заточен низверженный Филипп.

Вся Русь, весь народ православный, — чтит владыку по-прежнему, хоть носит не мантию он, а рясу инока. В монастыре — тесно всегда от богомольцев-поклонников... И братия, вопреки суровым наказам Ивана, чтит узника Филиппа больше, чем игумна своего.

Игумен — тоже Филиппу первое место и честь отдает.

Только молит всех:

— Потише, голубчики... Посмирнее, братчики вы мои! До Москвы бы не дошло... До Ирода лютого... До кромешнины его! До его опричнины до окаянной...

А как узнали, что мимо Иван на Новгород пройдет, сразу все изменилось. Рясу дали Филиппу старую, в подвал опять посадили.

И молят:

— На время только. Авось царь заглянет? Боязно! Потерпи,

святой отче! Проедет царь — все станет по-старому, по-хорошему...

— Да Христос с вами! По мне, так вот, в подвале — и лучше еще, для души почище...

И кротко благословляет всех, утешает, успокаивает святитель.

Монахи не ошиблись... У самых ворот монастырских остановился Иван.

— Малюта, а загляни-ка к Филиппу, к старцу строптивому. Не поумнел ли? Уж давно не шлет мне грамоток грозных своих, не гласит: анафемы! Скажи: просит-де государь его благословения святительского, на врагов одоление дал бы Господь... Да, може, обмяк он? Не возьмет ли назад митрополичий посох свой в руки? Кирилка-то наш, новый владыко, — куды не на месте сидит! Пить — здоров. А кадить да в святцы глядеть не его дело!

Спустился Малюта к святителю. Передал слова царя.

— Иди за мною, сатана! — ответил ему Филипп.

Гневом, негодованием загорелись даже эти ясные, кроткие глаза.

— Не торгую душою бессмертной и престолом владычным, не покупаю благ земных — погибелью души моей бессмертной, как ты, как всесветный, убийца князя Владимира неповинного. Ступай, пес, скажи господину твоему: тако рече Филипп, бывший митрополит Московский: «Царь! Услышь слово мое великое! Аще обещаешьси покаятися о своих гресех и отогнати от себя полк весь сатанинский, сиречь — опришников-кромешников адовых, — то и благословлю тя, и на престол мой, послушав тя, вернуся. Аще же не послушаешь — да будешь проклят и в сем веце, и в будущем, со кромешники твоими кровоядцами, и со всеми приспешниками, во веки веков. Аминь... На пагубу христиан ты идешь, нет на то моего благословения!»

Сказал — и отвернулся от Малюты. Тяжело ему видеть такое искажение лика Божия в человеке.

— Не больно лайся, старче... Все ты изведал, кроме пыток да смерти... А оно — не за горами, за плечами... — пробормотал обозленный палач и к царю пошел.

— Что? Смирился?

— Какое! Полагать надо, не больно тут ему плохо было... Откормился старец, сил набрался... Злобой пышет... Тебя клянет. Ругает так, что руки чесались у меня заткнуть уста богохульные. Без приказу — не посмел... А он ладит одно: пес проклятый твой царь. И анафема, и трижды...

— Ну, молчи... Повторять еще вздумал? Ступай, в последний раз... Слышишь? В последний раз — попытайся смирить крамольника... А если клясть начнет? Ну, ступай... Понял, Малюта?

— Младенец поймет, государь... Я давно бы... Да приказу не было твоего...

— Ну... и сейчас ничего не приказываю, — перебил Иван. — Долг свой помни...

— Не позабуду, государь...

И снова стоит Малюта перед старцем в сырой, подвальной полутемной келии, где пусто и голо все... Склеп, а не келья...

— Ошшо раз — здрав буди, старце... И не тревожил бы тебе... царь повелел... В последний раз — милости пришел я просить у тебя: благослови царя... Да и меня заодно... Иду на дело трудное...

Глядит прямо в глаза палачу старик и отвечает:

— Благословен грядый во имя Господне! Без воли Господа волос не спадет с головы человеческой... Вижу: на что ты идешь. Господь ведет длани твои... Благословен грядый во имя Господне...

Смутился Малюта.

— Мудреный ты, старче... Выходит, меня — благословляешь? И за то спасибо... Свят ты очень... Вон, лик-то у тебя... Нездешний словно... Ну да все пустое... Царя благословляешь ли? Ответа он ждет...

Говорит, а сам ближе подходит.

— Проклят твой царь от меня, от людей и от Бога, пока не покается, слышал ведь, грешник?

— Ой, не кляни царя... Ой, не кляни! — грозит Малюта, а сам совсем близко подошел.

— Не я, Господь проклинает... И род его и все пути его... и...

Но Филипп не кончил.

— Не я, — присяга моя творит! — вдруг, хватая за грудь и за тонкую сухую шею инока, прохрипел Малюта. А сам полой рясы старенькой всю голову покрыл старику, чтобы не видать лица страдальца.

Но не пришлось и возиться долго палачу с полуживым аскетом.

Тихо стал Филипп валиться на землю.

Подождал немного Малюта. Потрогал рукой начинающее быстро остывать, бескровное старческое тело и кинулся прочь на воздух из этого подвала, из этой могилы...

Выслушав Малюту, Иван, крестом осенил свою грудь, шепча:

— Ты сам, Малюта! Я не сказал. Я — ничего тебе не говорил!

И дальше ехать велел...

* * *

В Новом-городе дело шло совсем как по писаному!

Князь Богдан Бельский, новый юноша-любимец, заменяющий место Федора Басманова, теперь возмужавшего, ездил тайно

в Новгород и нашел за образом, в соборе Святой Софии подложную и подложенную Петром-волынцом грамоту от имени архиепископа Пимена, бывшего прихлебника царского. Подписи владыки, лучших людей новгородских, бояр, детей боярских, богатейших гостей торговых и местных купцов, — подписи эти были подделаны до обмана хорошо на предательской грамоте. Город с поветами и всеми землями своими отдавал-де себя под высокую руку короля Сигизмунда...

Теперь, раскрыв этот мнимый заговор, словно в краю враждебном, идет грозою царь на ненавистных новгородцев. Разгром начался — от Клина от самого. Везде — сыски и казни разразились. Особенно Тверь пострадала... А 2 января 1570 года показались — передовые отряды и под Новгородом. Заставой стали на всех путях ратники. Стрельцы, казаки, татарские отряды Саина и князя Черкасского... Ни в город, ни из города птице не пролететь, не то — человеку пройти.

Как в могиле, тихо в Новом-городе, в вольном некогда, великом центре вечевом.

Заикнулся было кто-то — за бердыши взяться, за ржавые мечи за отцовские... Город закрыть, отсидеться.

— Казань — отсиделась? Полоцк — отсиделся ли? Города все ливонские — покрепче Нова-города, а их все побрал Иван. Не отсидишься от него... Одно: на Бога надежда! — заговорили люди. — Послал Он испытание — надо терпеть до конца...

И стали казну собирать богатую, шлют навстречу царю... Дарят всех без конца, в ком только можно опору найти... Опричники деньги берут, чего-чего не обещают!

Но слаба оказалась опора. Безумный, ярый гнев Ивана — не слышал и не видел ничего!

Дети боярские из передового полка царского — все пригородные монастыри закрыли, казну монастырскую — запечатали, монахов, игумнов-настоятелей, сотни людей в Новгороде заперли в тюрьмах городских, пока царь дело разберет.

Весь причт новгородский, духовных людей, которые могли бы народ объединить и всегда стояли во главе всяких волнений народных, — этих под стражу отдали... В оковах держат, выкупы палками выколачивают... Казна церковная, кладовые «лучших» людей — все переписано, запечатано...

Гостям, торговым и приказным людям — тоже пощады не дали. Их взяли под стражу, с детьми и с женами...

На Крещенье Иван сам пожаловал... И с царевичем, с Иваном Ивановичем...

— Гляди, как я отмщу обидчикам моим, которые с детства

самого, с юных ногтей крамолы мне чинят... — сказал царь сыну. — Покончу с ними, чтобы тебе царить спокойно после меня.

— Погляжу, погляжу! Знаю я всю злобу людишек тех лихих!

И глядит юный царевич.

На Торговом конце, на Городище, остановились всем станом, Иван и две тысячи человек, провожатых его.

На другой же день приказал царь первым делом палками насмерть забить всех игуменов, всех монахов, какие в подогорных монастырях были захвачены. Неделю целую трупы иноков развозили по монастырям, откуда были взяты эти несчастные. Там и погребали их в братских могилах.

В воскресенье, восьмого января, к детинцу Новгородскому тронулся Иоанн, чтобы в кремле, в древнем храме соборном Св. Софии — обедню отстоять.

На самом мосту, на Волхове-реке, встретил царя владыко Новгородский, Пимен, как следует, с крестами и хоругвями, со всем причтом... Благословить, осенить крестом захотел. Но Иоанн уклонился, не подошел к епископу.

— Злочестивый, стой! — громко заговорил Иоанн. — Держишь ты в руке не Крест животворящий, но оружие некое... И этим оружием думаешь уязвить сердце наше! Вижу коварство твое, монах... С Иевфуссеянами своими, с новгородцами, от века крамольными, отвергнуть задумали вы меня, царя своего законного... Так и я, аки Давид, покараю вы! Сотру главу змиеву! Отчину нашу, богоспасаемый град, великий Новгород — задумали вы предать врагу нашему, Жигимонту-Августу! Так знай: с этой минуты — не пастырь более, не учитель ты стада Христова, но волк хищный, губитель всенародный, изменник нашей царской багрянице и короне — досадитель! И да падет на твою голову вся кровь, которая прольется по вине твоей!

— Аминь, Господи! — только и мог ответить дрожащий Пимен. — Не отринь, Владыко, раба своего... Не покинь меня, Господи.

— Он не покинет, он взыщет тебя... Веруй, твердо веруй... А ныне... Ступай к Святой Софии... Помолись за души всех грешных. И за свою — молись...

— Буду за тебя, государь, молить Господа! Да смягчит он сердце твое... Да пошлет кротость и милосердие владыке земному нашему...

И все вошли в собор.

Служба началась, молебен благодарственный за пришествие царское, невредимое. И обедня, и молебен на похоронный обряд походили, такая смута и печаль царили в стенах древнего храма. Слезы ручьями лились у всех новгородцев, здесь стоящих. Жарко

молили они: да спасет их Бог и Святая София... Предстоит что-то страшное! А что — и представить себе боятся!

Опричники — тоже как будто молились, а сами — разглядывали, сколько богатств в храме собрано... Нельзя ли и тут поживиться немного?

После молебна — в столовой палате архиепископской за столы сел Иван. И царевич рядом. Опричники тут же. Сидит между двумя пресвитерами и Пимен на своем возвышенном месте...

Только что стали блюда разносить... Вдруг крик неистовый, громкий, пронзительный крик прорезал царящую в палате мертвую тишину:

— Гей! Лови, вяжи изменников! Бей в мою голову!

Это Иван обычным криком подал знак к нападению... Вмиг закипел грабеж, началось насилие...

Пимен — разоблачен, связан и полунагой отдан под стражу. Казну его, двор весь богатый опустошили, разграбили...

Из Святой Софии тоже забрали утварь дорогую и богатую ризницу... В монастырях, в церквах новгородских опустошение пошло...

А Иоанн, вернувшись в стан свой, на Городище, приказал суд начать... Захваченных новгородцев при нем допрашивали, на медленном огне жгли, про измену узнавали, а больше допытывались палачи, где у кого казна спрятана.

Знали все новгородцы о предстоящем погроме и, что получше, — в землю зарыли, как от татар, припрятали в соседних борах... А теперь, на пытке, — заговорили люди и про измены свои небывалые, и про тайники настоящие... Затем добивали их, полумертвых, палачи или вязали крепко и с моста прямо на Волхов кидали, в полынью большую, которая так и не замерзает с той поры! Детей, грудных ребят — привязывали к груди материнской — и вместе топили их... Кто выплывет, тех баграми под лед толкают, добивают, как на промыслах северных поморы тюленей, моржей дубинами глушат...

Пять недель уже бойня идет... Волхов трупов не пронес, вода по льду разлилась...

И все время Иван сам следит за казнями...

Пожелтел, похудел, измучился весь... Уж и не слышит он стонов... так прислушался к ним... Крови не видит, столько пролито ее... Только в лица смотрит казнимым, пытаемым. Смотрит, трясется и твердит:

— Чары... Чары проклятые!

И правда — чары... Все, кого ни пытают перед ним, кого ни секут на куски, кого ни жгут на углях: стариков, молодых ли,

женщин, детей ли, — все равно... У всех — одно и то же лицо... Кроткое, старческое... Бескровное... Лицо Филиппа, удушенного еще там, под Тверью далекой, в Отрочьем монастыре... Раскрыты широко стекловидные глаза... И прямо в сердце глядят Ивану... И жгут это сердце... Мучительно жгут... Сунул нарочно Иван свою руку к огню, на котором пытали кого-то... Куда слабее палит этот огонь, чем тот, которым грудь полна.

— Что ты, государь! Ай очумел? — басит Малюта. — Руки-то как греешь! Опалит совсем... Гляди!

А Иван и не слышит боли, не чует обжога... Шепчет тихо Малюте:

— Скажи, Малютушка: удавил ты его?

— Которого?..

— Ну, знаешь, того, старика... Бледного... Худого...

— Энто позавчерашнего? Вестимо, удавил... Как он стал тебя лаять, со зла да от прижару, так я и тиснул его... Замолчал...

— Нет, нет... Не позавчера... А того... В Твери?

Ни за что Иван имени сказать не хочет... Как будто, сказавши имя, — он из могилы поднимет страшного мертвеца-мстителя...

— А? Про Филиппа ты? Ну, о чем и спрашивать... Похоронили, гляди, давно. Чего хватился!

— Так как же это? Зачем они? Как смеют? Зачем лица чужие у них, у крамольников? И глядят с укоризной... Его очами глядят... Напугать меня думают? Чары, чары все! — визгливо уж выкрикивает Иван... И вдруг упал на руки Малюте в сильном припадке, какие все чаще теперь у царя...

* * *

Не видно больше на пытках Иоанна. Уговорили его не ходить. Но тянется по-прежнему расправа кровавая.

Вокруг города на двести верст во все концы рассеялись отряды опричников. Там — все то же повторяется, что и в самом Новгороде происходит...

Наконец 13 февраля — шестинедельной бойне положен был конец... Среди свиты своей кромешной стоит Иоанн.

Перед ним — выборные от Новгорода, из каждой улицы лучший человек отобран... Хоть и выбирать мало кого осталось. До шести тысяч лучших людей новгородских, с женами, с детьми — лежат на дне Волхова-реки, в ямы уложены, в глубокие могилы, в общие...

Да и уцелелые горожане, призванные к царю, стоят перед ним на коленях, мертвецов бледнее, ждут, какие пытки для них приготовлены. Дрожат, как в лихорадке, глаз не смеют поднять на Иоанна.

И вдруг хрипло, но ласково, без прежней ярости зазвучал голос царя:

— Встаньте, люди мои... Вы, горожане новгородские, кого смерть не унесла... Молите Господа Бога, Пречистую Его Матерь и всех святых о нашем благочестивом самодержавстве царственном, о детях моих, царевичах Иване да Федоре, о всем нашем христолюбивом воинстве. Да дарует Господь нам победу и одоление на всех врагов, видимых и невидимых... Да свершится суд Божий общему изменнику моему и вашему, владыке Пимену, его злым советникам-мнихам, и попам, и всяким соумышленным его... Кровь пролитая — сыщется на их душах изменничьих... Вы об том, что было, теперь не скорбите, живите в Новгороде моем благодарно... А на место себя — ставлю вам наместника — боярина своего и воеводу, князя Петра Даниловича Пронского.

В тот же день Иоанн выступил ко Пскову.

Притупилась жажда крови, затих огонь ужасный в груди Ивана. Немного казней и пыток увидали псковичи после того, как все, на пороге у домов своих, с иконами, с хлебом-солью в руках, разодетые в лучшее платье, с колокольным трезвоном и веселыми кликами встретили въезд царя, кидаясь ниц на снег лицом.

Пограбили только горожан опричники... А казненных почти что и не было... Под самым Псковом к тому же встреча одна Ивану была тяжелая.

Нагой, не глядя на мороз, еле рубищем да веригами прикрытый, встретил Иоанна Никола-Салос, чтимый всем народом, Христа ради юродивый. Идет к царю, а в руке — кусок сырого мяса держит.

— Куда идешь, блаженный? Зачем мясо у тебя? — спросил Иоанн.

— На могилки новгородские иду... Есть его там буду... Бери, и ты поешь малость!

— В пост Великий?! Грех, блаженный муж!

— А ты, великий царь, кровь льешь христианскую... Не грех то?

— Не говори речей пустяшных, старче... Благослови нас!

— От Везельбула благословен ты... Эй, Ивашко, Ивашко! Буде тебе христианскую кровь пить! Захлебнешься... Сыроядец ты истый ноне! Не замай, минуй нас лучше... Не иди на град наш, не то и убежать не будет на чем... Вот, не хуже его! — и юродивый показал на шута царского, который ехал рядом с Иоанном, важно сидя на быке.

Иоанн смутился, молча въехал во Псков, — но пощадил жителей...

Особенно смутило Иоанна, что конь, на котором он ехал, — мертвым пал часа через два после того, как вступил царь в город. Словно накликал эту беду юродивый...

Скоро к Слободе повернул царь с войском своим кромешным... Но и в Слободе долго звучал раскат грозы Иоанновской, гибельной грозы, вконец сломившей гордость и силу новогородскую... Узнал царь, что принимали близкие ему люди подарки от новгородцев перед разгромом, что сношения с ними вели — и пал за это отцеубийца Басманов, погибло с ним еще немало из числа дружины царской, из опричников буйных и продажных...

Шестьдесят тысяч жертв скосила эта гроза, как толковал народ... В синодике — до трех тысяч отмечено... А было их — тысяч десять, не менее... Большая была гроза, но, к счастью, почти что и последняя...

* * *

Стоит начало апреля 1570 года. Ясный, тихий полдень. Небольшая, но людная сейчас площадь базарная в Торжке-городке так вся и тонет в вешней грязи.

По шерсти и кличка дана городку. Торжок — «подторжье» и Москве, и Новгороду, между которыми он стоит, и Пскову соседнему. Там базары великие, здесь — «подбазарок».

Недаром город на старом Ганзейском пути лежит. И на самой площади базарной высится несуразная, круглая каменная башня, Ганзою еще строенная.

Без башни площадь невелика была, а от нее теснее стало вдвое. Раньше сторожевою башня была. А под нею, в обширных, глубоких подвалах склад ганзейских товаров помещался.

Сейчас городок лишен почти всякого боевого значения. Есть в нем небольшой «двор воеводский», или княжеский, для тех лиц, которым порою за какие-нибудь заслуги Торжок со всеми прилежащими волостями пожалован бывает царем Московским.

А торг по-старому кипит и в лавочках, на базарах и площадях, и в амбарах-складах, по берегам Тверцы-реки, прихотливо бегущей мимо городка посреди лозняков да береговой заросли кудрявой.

Огромным оседающим куличом темнеет среди людной площади старая башня с ее невысокой, кое-где провалившейся от времени крышей, с узкими, беспорядочно разбросанными оконцами, пробитыми к толще стены больше в виде бойниц, чем для освещения внутреннего пространства полутемной, угрюмой «Просвирни», как прозвали башню за круглый, бесформенный вид.

Угрюмо, мрачно и темно в кельях, покоях и покойчиках, на

которые кое-как, перегородками и стенами, где в два, где в один этаж разделена внутренность башни. А уж в подвалах, куда свет еле проникает сквозь отдушины, пробитые над самой замлей, да еще забранные толстыми решетками, — там, в сухих, каменных мешках, темно, почти как в могиле.

Две тяжелые, железом окованные подъемные двери ведут из башни в два отделения этих подвалов.

По стертым, выбитым каменным ступеням можно опуститься туда. Первое отделение обращено сейчас в арсенал, где сложен небольшой запас оружия, старые пищали, бердыши, бочонки с «зельем», с порохом.

Второе отделение обращено в тюрьму, теперь переполненную пленными. Тут и немцы, взятые царем Иваном в Ливонии, которую он недавно так сильно разгромил, и татары, частью степные, частью из тех наемных орд, которые служили и Речи Посполитой, и Ордену, запродаваемые своими беками и князьями.

Кроме трех небольших смежных помещений, сейчас битком набитых пленными, — идут от второго подвала далеко под землею еще тайники, склады, ходы потаенные, чуть ли не под Тверцой-рекой, давая выходы на другом берегу, где-то в лозняках. Так толкуют старики. И в стенах подвалов видны словно двери замуравленные или даже настоящие железные двери с тяжелыми и ржавыми замками.

Ключи от тех замков, как говорят, у воевод торжковских да у самого царя находятся, и что за теми дверями — только они и знают.

Раз как-то, много лет назад, рыл один рыбник-горожанин подвал себе при доме. А двор его неподалеку от башни раскинулся. И наткнулся он на провалину, очистил ее от земли. Коридор оказался старинными кирпичами, тонкими да звонкими, выложен. Пошел рыбник один по тому коридору. Никто из рабочих за ним не решился следовать. Огня взял с собой. Не скоро назад вернулся. Еле идет. Бледный... И говорит:

— Долог ход. В одном месте ровно покойчик, расходится вширь он. И костей там человечьих куча. Дух — тяжкой, так что обмер я даже раз. А в покое дверь железная, запертая. И за той дверью, слышно, опять пусто...

Потом с братом вторично пошел он туда. Кости наружу вынесли, похоронили их. Может быть, еще что-нибудь, кроме костей нашел там рыбник. Только скоро в гору пошел, в Тверь сперва, а там и на Москву с братом переехал, широко торг повел.

Сухо сравнительно в подземной тюрьме. Из почвы вода не просачивается. На сухом месте башня построена. Темно только, душно здесь.

Дыхание нескольких десятков грудей отравляет воздух, увлажняет стены и каплями собирается на потолке, где оседает также влажный воздух, проникающий сквозь отдушины извне, как дыхание грязной, тающей вешней земли.

Бледные, истомленные лица пленных носят на себе следы лишений и голода.

Не дают воздуха вдосталь, не дают хлеба, даже воды не дают вволю этим несчастным их сторожа и тюремщики.

Кормовые гроши, какие отпускаются на узников, конечно, не доходят к ним.

Они нужнее и дьякам тюремного приказа, там, в далекой Москве, и здесь, местному хозяину «Просвирни», тюремному приказчику и сторожу главному, до которого все-таки доходят оборышки казны, отпускаемой от царя на прокормление пленных.

Все-таки есть людям надо. И их выводят раза два в неделю в город; бедняки, жалкие, почернелые от тюремного сиденья, вызывают сострадание в самых огрубелых сердцах, и им дают все, что под рукой: хлеб, яйца, сухари, остатки обеда или овощей, обрезки мяса похуже, какие залежались на лотках у торговцев... Потом это делится всеми заключенными, при участии ихней стражи, отбирающей что получше. И питаются, живут люди.

Вода, правда, ничего не стоит. Ее бы вдоволь можно давать несчастным. Но для воды нужны кадочки, ушаты... Нужно приходить, отпирать двери подвалов, водить узников к реке, где они могут набрать воды... Все проволочки, труд, трата времени. Обойдутся и без свежей воды бусурмане-немцы и орда некрещеная. И неделями стоит-застаивается вода в большом церерезе в углу одного из казематов. Порой — и совсем пуста. И томятся жаждой жалкие люди, ждут, пока другие, вольные их собратья вспомнят о заключенных, придут, поведут их воды набрать!

Выпускают и на работы заключенных. Грузят они барки казенные мукой, лесом и рудою. Городовому приказчику, тюремщику своему, разные дела справляют, на воеводском дворе тоже исполняют, что велят. Но платы за то не получают.

И мерзнут в нетопленом подземелье зимой, задыхаются в летний зной несчастные полоненные, не видя просвета в своих муках.

— Тяжко жить в неволе! Алла! Алла! — стонет порою негромко старый степной волк, Кара-Мелиль, скорчившись в своем углу, на полуистлелых стружках и соломе.

И, словно сны наяву, проходят у него перед глазами яркие картины прошлого. Степь родная... Зной... В прозрачном воздухе звон жаворонков, стрекотанье кузнечиков. Ястреб висит черной

точкой в вышине или реет кругами над добычей... И волком притаился сам Мелиль за степным курганом со своими товарищами... Подстерегают врага... Налетели, заарканили, зарубили или издали сняли с коней своими меткими стрелами зазевавшихся гяуров-разведчиков рати московской... И гайда дальше новой добычи искать... Мчатся гривастые, косматые коньки, ветер свищет в ушах... Любо!

А оглянется батыр, увидит, где он, и зажмет острыми и крепкими еще зубами своими звено ржавой цепи, надетой на нем, упадет ничком на землю и глухо застонет, не то рыдает, не то воет всей грудью:

— Ы-ы-ы!

Похоронным воплем свободе звучит этот стон под сводами тесной темницы. Жутко становится от него товарищам Мелиля, таким же, как он, жалким, задавленным, измученным.

Бросают они свой тихий переговор, замолкают и сидят неподвижно, сбившись в кучу, словно стадо овец в бурю... И мигают красными, воспаленными, гноящимися глазами...

Не плачут, нет слез у них... Молчат и мигают распухшими, красными веками...

А в других двух кельях, полусводами отделенных от этой, сгрудились пленные немцы. И там выносить не могут стонов Мелиля.

— Молчи, пес татарский! — крикнет кто-нибудь злобно из темноты в темноту.

Не понимает Мелиль слов. Не понимает смысла окрика, значения звуков.

Со скрипом, еще сильнее стискивает он свою цепь зубами, сдерживая протяжный, душу надрывающий стон... И только в глубине груди, там продолжает клокотать и звучать его прерванное рыдание...

Среди немецких пленных — человек двадцать заправских вояк, наемных рейтаров или аркебузников из отряда самого магистра. Остальные — горожане, мызники, батраки безземельные или ремесленники, оторванные от мирной жизни, завербованные почти насильно в ряды армии или просто захваченные русскими во время набегов на незащищенные посады, села, городки ливонские, люди, взятые в плен после сдачи крепостей, которых немало успел уже забрать московский царь у Ордена.

— Проклятые свиньи московские! — громко ворчит Кунц Байерлэ, крепыш-померанец, лет сорока, служивший не под одним знаменем и носящий и на лице и на теле много рубцов, следов старых ран.

Его бронзовое усатое лицо потемнело и исхудало в неволе. Одна небольшая рана на груди раскрылась и багровеет из-под изодранной рубахи. Перевязать ее нечем. Словно плотно сжатые губы с ободранной на них кожей, глядят края старого рубца.

— Скоты, живорезы! Голодом нас заморить собираются, что ли? Сегодня день сбора. Уж если эти воры подлые обирают нас, пусть не мешают кормиться хоть подаянием... И никто не является. Перепились, верно, ради своего праздника! Носороги подлые! Алло, Эверт! Брось ты свою насесть... Слезай сюда. Сыграем, что ли, партию. Может быть, голод забудем.

Тот, к кому обращался Байерлэ, юноша лет двадцати, пристроился наверху у одной из отдушин, забранных решетками. Разрезав на полосы два кожаных широких пояса, он связал их вместе; одним концом привязал к решетке, а к другому концу прикрепил толстую палку. На таких стремянках и сейчас маляры порою штукатурят стены. Ремень был короток. Эверту пришлось стать на плечи одному из товарищей повыше, чтобы привязать конец за решетку. Чтобы легче подниматься к своей перекладине, юноша выбил в стене небольшие уступы при помощи собственной цепи. Упершись ногами в палку, держась за решетку, Эверт целыми часами оставался в таком неудобном положении, стараясь не отнимать у товарищей жалкого света, льющегося из оконца, и в то же время, чтобы самому увидать уголок грязной, людной площади, крошечный клочок синего неба, для чего приходилось очень изогнуться и совсем запрокинуть назад голову.

Худощавый, с впалой грудью, Эверт служил музыкантом при отряде. Взятый в плен, брошенный в темницу, он таял у всех на глазах. И только любуясь клочком далекого неба, мечтая о воле, о природе, которую юноша так любил, забывал он печальную свою судьбу. Сверкающие, окаймленные черными кругами глаза его принимали более мягкое выражение. Порою слезинки редко-редко скатывались по исхудалым щекам.

Услышав призыв товарища, он легко соскочил вниз, но сейчас же закашлялся, схватился руками за грудь.

— Голоден, товарищ? — заговорил он, отдышавшись немного. — А сегодня нас как и раз не поведут побираться. Был я вчера на кухне у нашего тюремщика. Со двора, где мы рубили дрова, зазвала меня старуха-стряпка. «Сынок, говорит, у меня был такой же... Иди, поешь да помолись за упокой его душеньки...»

— Да, тебе хорошо. Мальчишка на вид. Тебя и жалеют больше... Да и говорить на ихнем собачьем языке ты умеешь... Вот тебе и везет. Но почему ты думаешь, что не выпустят нас нынче?

— Пока ел я, слышал, как толковали. Сегодня царь москов-

ский придет смотреть нас. После нашей милой Ливонии он свои собственные земли разорять стал. Во Пскове, в Твери, в Новгороде — больше 40 тысяч народу порезал, потопил или огнем пожег... Теперь на Москву через этот город возвращается. Нас смотреть и будет.

— Да что он сумасшедший или совсем зверь лютый, что собственных подданных столько извел? За что? Бунт там был или что-нибудь такое?

— Нет. Говорят, Новгород богатый ограбить захотелось ему и его приспешникам, опричникам, как их зовут, гвардии его любимой. Вот и подослали они подкупного предателя... А тот оклеветал весь народ, сказал, что новгородцы со Псковом к Литве отойти хотят... И началась потеха...

— Татары были с этим зверем-царем?

— Кажется, были...

— Ну, значит, хорошо досталось горожанам-беднякам. У, скоты проклятые! — грозя кулаком в ту сторону, где теснились татарские пленные, проворчал Кунц. — Много горя они и в нашей прекрасной Ливонии понатворили. Если бы не в плену здесь я с ними встретился, дал бы им себя знать... Но чего от нас хочет московский царь? Уж не будет ли сманывать к себе на службу? Пускай меня повесят, а не стану драться за разорителя Лифляндии!

— Я тоже нет! — так и выкрикнул Эверт. — Пускай замучат... Может быть, после смерти душа моя пролетит над милыми голубыми озерами родной Шотландии... Услышу звук волынки... увижу...

Он не договорил.

— И я не согласен... И мы... И я... — отозвались остальные пленники.

— А может быть, — вдруг прозвучал из полумрака нерешительный, дрожащий голос, — может быть, нас хотят обменять на русских пленных? Может быть, нас собираются выкупить родные? Вот царь и...

Голос оборвался, умолк.

Никто не поверил этим робким словам надежды, как не верил им и сам говорящий. Но все так и вздохнули одним общим« Может быть! Дай Бог!»

И они, столпившиеся раньше вокруг говорящих, снова вернулись на свои места, где лежали и сидели, истомленные, неподвижные...

Против окна-отдушины, на полу, куда падало пятно слабого света, было начерчено на каменной плите подобие шашечницы, лежали черные и белые камешки, подобранные у реки, заменяющие шашки.

Оба партнера освоились за время неволи с полутьмой и свободно различали клетки своеобразной игорной доски, смело двигали свои шашки, впрочем, узнавая их больше по положению и на ощупь, чем по различию цветов.

— Первую в лоб, пли! Битва началась! — побивая шашку Эверта, объявил Кунц.

— А я две за одну, — ответил юноша, и даже слабая улыбка удовольствия озарила его лицо. — Слышишь, Кунц, — продолжал он, пока тот задумался, не решаясь, как ходить, — нам плохо... Так, что уж и говорить нечего... А только и московам нехорошо... Поди, не лучше нашего! Много и навидался я сам, пока сюда нас вели... И слышал тоже... Дорогой ценою купил ихний царь свои победы и в Ливонии, и на Юге, на востоке... в Казани, в Астрахани... Сам, пожалуй, видел, как безлюдны стали их города. А в глубь страны поглядеть или на севере — прямо пустыня... От Вологды до Ярославля — недавно один торговец говорил — больше 50 сел, деревень и посадов, словно после чумы, пусты стоят. Дома новые, дворы — покинуты. Народ от наборов, от поборов в степи, на Волгу, на Дон разбежался...

— В казаки? Вольницей стали, как здесь называют?

— Да. Ходи, товарищ, не то я возьму пешку еще... Муромчанин один, торговец, другому жалобился: на целом посаде — из 600 дворов — только десять живым народом еще у них занято. Остальные разбежались... А тот ему отвечает: «И у нас, на Кошире не лучше! Полтыщи хозяев было... Приезжаю с товаром — и сотни не осталось. Кто сбежал, кто в обозе стрелецком ушел, иные разбойничать стали или сами убиты... Так и продавать товаров некому!»

— Хо-хо... Гляди, скоро приостановит московский царь свои походы, как людей не станет у него да кормить нечем войско... Да податей некому платить...

— Должно быть... Поплатится тогда Москва за все обиды, которые кругом наносит... А царь этот Иоанн ихний, «кровожадный», как у нас называют его... Он и сам непрочен... Ненавидят его попы и бояре... Теперь и простые люди стали бояться и проклинать потихоньку за избиение своих же собратий во Пскове и в Новгороде... Изведут, говорят, скоро этого царя, нового выберут они себе...

— Новый-то, пожалуй, и отпустит нас на самом деле, — в раздумье покручивая седеющий ус, проговорил Кунц...

— Может быть! — прозвенел ответ Эверта. — Я бы тогда сейчас домой, в Шотландию...

— Что? Довольно? Повидал света? Постранствовал? Хе-хе... То-то, молодо-зелено...

И Кунц самодовольно начал подсмеиваться над Эвертом, словно сам не был таким же неудачным пленником-бродягой, как и этот мечтатель-юноша...

Между тем Кара-Мелиль успокоился у себя в углу и занялся другим пленным, племянником своим Ибраимом, атлетом-удальцом лет двадцати двух.

Вместе были они взяты в плен — и с тех пор не разлучались. Да и не выжил бы Ибраим без старика. Взяли его с поля битвы израненного, и простреленного, и проколотого в нескольких местах.

Старик сперва на руках почти нес долгое время Ибраима, только не бросить бы его в степи на растерзание волкам.

Потом умолил обозных, и раненого не пришибли, а позволили приютиться на одном из возов. Так и дотащились оба до Торжка, где их кинули в подвал.

Дорогой от грязи у Ибраима более глубокие раны загноились, в них завелись черви. Но крепкая натура молодого татарина долго позволяла ему все выносить. Старик омывал раны, порою томился жаждой, только бы сберечь каплю чистой воды больному племяннику... За этими заботами он забывал свои страданья, свой плен.

Одно время Ибраим стал поправляться. Но вдруг, должно быть от перехода гнойного заражения в кровь, стал бредить и метался целыми часами в жару, только изредка приходя в себя...

Склонясь над Ибраимом, прислушивался теперь Кара-Мелиль к его порывистому дыханию и видел, что тот скоро станет бредить.

Этого старик очень не любил. В бреду больной вскакивал. У Кара не хватало сил удержать могучего юношу. И тот метался по своей каменной клетке, тревожа остальных пленных собратьев.

Нередко попадал он и туда, где сидят немцы. Хотя они щадили больного, но все-таки довольно нелюбезно выпроваживали его обратно в «татарский» угол.

Ласково, почти с материнской нежностью поник суровый Кара-Мелиль над пылающим племянником и начал что-то нашептывать ему, словно желая заговорить, заколдовать больного от приступа бреда.

В это самое время говор, топот, лязг запоров послышался за входной дверью.

Пленные немцы, занимающие келью, первую от входа, все, кто только мог держаться на ногах, вскочили, прижались к стене, против двери, и стали ожидать.

Заскрипела на ржавых петлях тяжелая, окованная дверь. И

по мере того, как она раскрывалась, потоки красноватого света от факелов и фонарей вливались в подземелье, заставляя щуриться пленных.

Немцы из второй кельи, а за ними и все татары из своего отделения сейчас же кинулись на свет, на звуки и сгрудились темной стеной между полусводами, отделяющими келью от кельи.

Первым вошел, спустившись по нескольким выщербленным ступеням, тюремный приказчик и с ним два факелоносца.

Человек восемь стрельцов протянулись затем живой стеной между пленными и царем, который появился в подземелье, окруженный ближайшими опричниками.

Как «игумен» и глава «братьи слободской», этого гнезда насильников, которое, по прихоти больного царя, подчинялось монастырскому строгому уставу и строю, — Иоанн одет в черную рясу, поверх которой темная шубка. На голове — шапка меховая, невысокая, вроде клобука. Под рясой звенит кольчуга. В руке — тяжелый посох со стальным острием на конце. За широким, иноческим поясом — дорогой восточный кинжал, — смесь монаха с воином.

Совсем близко за его плечом, справа, одетый почти так же, стоит кряжистый, широкоплечий Григорий Лукьяныч Малюта Скурлятев-Бельский. Рыжая борода беспорядочно обрамляет его простое мужицкое лицо. Понурый взгляд исподлобья и мясистые, бесформенные черты живого лица делают очень неприглядным этого первого помощника и палача царского, параклисиарха, пономаря Александровской «обители».

Рядом с этой отталкивающей маской выигрывало даже лицо Ивана, испитое, синевато-бледное, как у мертвеца, обрамленное жидкой, клочковатой бородой и повисшими усами, причем глаза так и горели, так и бегали, как у затравленного зверя, а мимолетная гримаса-судорога то и дело искажала все черты. Его сильные, желтоватые зубы оскаливались до клыков — и настоящий зверь глядел тогда на окружающих.

Иногда тяжелый, отвратительный недуг, много лет пожирающий Ивана, заставлял отекать его тело, все лицо. Тонко очерченный, красивый нос, сохраняющие еще былую правильность очертаний губы — все это искажалось, тонуло, обрюзглое, между вздутыми, отекшими щеками. Тогда Иван становился ужасным, отталкивающим на вид не меньше Малюты.

Отступя немного от обоих, встал соперник и тайный враг Скурлятева, князь Афанасий Вяземский, «келарь» братии. Стройный чернокудрый красавец, он не проигрывал даже под черным подрясником и скуфьей. А в блестящем боевом наряде чаровал и своих, и иностранных гостей.

Недаром одно время толковали, что нет и не будет у царя любимца ближе Вяземского. Но потом женоподобный Басманов, вкрадчивый, упитанный щеголь-князек Богдан Бельский заняли у Ивана то место, на которое не пошел мужественный, грубоватый подчас Вяземский.

Из думных и дворцовых бояр здесь постельничий царский, князь Димитрий Иваныч Годунов и племянник его, юный Борис Федорович, царь в грядущем.

Последнего особенно отличает Иван. Недавно подарил ему даже весь московский дворец убитого брата своего двоюродного, Владимира Андреевича, последнего удельного князя Старицкого.

Но «земских» мало с царем. Все опричники, человек сотня. Иные сюда вниз протискались, другие — в башне наверху остались, на дворе пережидают, не кликнет ли их «игумен» державный? Не отдаст ли им кого на расправу, на потеху.

Еще и на пороге не показался царь, как уж приказчик тюремный крикнул заключенным: «В землю ударьте челом государю царю великому Ивану Васильевичу вся Руси!» — хватил тяжелой плетью ближайшего немца, словно желая таким образом сделать русскую речь понятнее «бусурманам», и сам упал ниц.

Неохотно, один за другим, позвякивая оковами, склонились передние ряды, за ними задние.

Кто стоял в самой глубине, в темноте — те только согнули спины. Все равно не видно!

Отрывают свои головы от земли пленники, выпрямляются, не вставая с колен, глядя, слушают.

Царь стоит на верхней ступеньке, озаренный факелами, и глухой, носового оттенка, скрипучий какой-то, но внятный голос властно звучит под сводами:

— Сколько много всех их? Какие?

Также на коленях, смиренно, не подымая очей и головы, мучитель узников, тюремщик их робко, сладенько отвечает:

— Бусурман девять десят и три да татарвы — с два десятка... Али-бо-копа! Крымчаков — пяток, гляди, коли не врут... А то — ногайцы, степняки все.

— Крымских отбери. В обмен пригодятся. Из этих, — кивнув на литовцев, отрывисто, быстро проговорил Иван, обращаясь к толмачу-дьяку, — кто «посошные»*, кто — настоящие ратники? — отделятся пускай друг от дружки.

---

* Земское войско, милиция

Толмач по-немецки крикнул прежде: «Встаньте!» — и, когда все поднялись, повторил им приказ Ивана.

Переглянулись угрюмо пленники, но ни один не шевельнулся.

— Да што же они стоят? Не понимают, што ли? Али все — одной масти? — уже с заметным раздражением сказал Иван. — Пускай же объявят: какие они? посошники? рейтары? копейщики? сыны Вельзевула проклятого?

С проклятиями, с богохульствами повторил дьяк вопрос.

Кунц, стоящий в переднем ряду, негромко, угрюмо заговорил:

— А зачем это знать вашему царю? Все равно, горожане мы, крестьяне, солдаты ли — воевать к нему против наших братий не пойдем... Мы — не татары, поганые язычники... Такие же христиане, как вы верные слуги нашего великого Ордена. А царь ваш жестокий — губит и нас, и вас самих без пощады!

Понимающий по-немецки Иван внимательно вслушивался в простую, нескладную речь ландскнехта, очень несхожую с книжной, и понял лишь главное: раб смел отказаться и за себя, и за остальных.

Красными пятнами покрылось лицо царя. Глаза засверкали. Зазвенел стальной конец посоха, ударяясь о каменные ступени.

Не успел еще толмач перевести слов Кунца, как Иван шагнул вперед, почти к самой толпе пленных, надменно выпрямил свою сгорбленную до того фигуру и негромко, но грозно заговорил:

— Не желает? Он не желает? Так я понял, Шемшура? Сам не желает и другие не хотят, ежели бы я позволил их к себе на службу взять? А?

— Так, государь, так, милостивец, родименький... Ясный со...

— А на дыбу он желает? А огоньку попробовать, чтобы других не мутил, не выскакивал, в коноводы смут не совался? Ну-ка!

И наложил тяжелую руку на плечо Кунца: он отделил его от стены товарищей и толкнул за неподвижный ряд стрельцов, вперед к Малюте. Сам обернулся туда же и, разглядев на груди у Кунца багровую полосу старой, раскрытой раны, ткнул прямо туда острым концом своего посоха, отчего кровь закапала часто-часто, и сказал:

— Припали-ка ему это местечко, кум. Видишь, полечить надобно.

Стиснув крепко зубы, звука не издал старый солдат.

Малюта неторопливо, лениво даже как-то, взял один из факелов у провожатых.

В то же мгновение Эверт рванулся вперед к толмачу, судорожно ухватил его за рукав шубы и заговорил, задыхаясь, глотая слова:

— Скажи... скажи ему... Скажи царю... Так... так нельзя...

Ему... пленных мучить... Низко... Гадко... нехорошо... Бог его накажет... Стыдно...

— Цыц, щенок! — отбросив юношу, прикрикнул дьяк. Но царь так уж и впился глазами в Эверта.

— Второй заговорил... што, паренек? Што, милый? Али не по нраву тебе расправа моя царская с холопами, с ослушниками своими и чужими? Так я не сразу... Я прежде добром почал... А не захотел он, сам виноват... Молоденек ты еще... Жаль тебе, вижу, товарища.... Ишь, личико-то все твое так и перекорежилось... Плачешь... Руки кусаешь.... Хе-хе-хе... Гляди, локтя не достанешь ли? Ну ладно, и мне тебя жаль... Как мыслишь, Ваня: пожалеть малого? — обратился вдруг царь к царевичу Ивану, спустившемуся в это время в подвал.

Ростом чуть пониже отца, стройный, светлорусый, светлоглазый, он очень напоминал мать, покойную царицу Анастасию. Только орлиный нос, красивые, упрямые губы, ранняя складка между бровей и общее властно-презрительное выражение лица говорили, что этот розовый, кудрявый пятнадцатилетний отрок — сын одряхлелого и постарелого до срока Ивана. Царю самому всего-то было сорок лет.

Спокойно, почти безучастно поглядел царевич на своего сверстника-пленного, на раба, смевшего осуждать волю повелителя целого царства, и, слегка пожав плечом, сказал:

— Конечно, рук марать не стоит... Толков апосля сколько будет: пленных-де ты изводишь, мучаешь, батюшка... И то, лают больно про твое царское здоровье вороги и дома и в людях...

— Вороги... Истинно, вороги. Ты знаешь, Ваня, не зверь я... Справедливость люблю... И покорность! На то я и царь! Ну ладно... Слышь, Шемшура, скажи малому: ежели он пойдет ко мне на службу... Хошь и дохлый — ну да ничего. Видать: смел паренек. Это мне любо. Тогда отпущу ту собаку старую, бранчливую... И пытать не велю.

Дьяку, очевидно, жаль стало мальчика, и он очень охотно и убедительно передал по-немецки слова царя.

— Я... я вместо... — начал Эверт и не договорил, остановился в тяжелом раздумье.

— Не сметь... Эверт, не смей... Не хочу! — вдруг властно крикнул ему Кунц, внимательно прислушивавшийся к речам толмача и царя. — Все равно, сам покончу с собой, но не хочу... Ни я, ни ты, никто не должен служить этому злодею против нашей родины... Подлому этому мучителю, истребителю собственных людей... Он скоро сам...

Кунц не досказал. Малюта схватил его, зажал ему рот рукой,

толкнул куда-то в угол, за толпу опричников и, когда вернулся назад, стал за плечом Ивана, — при свете факелов видно было, что весь перед его шубы и черная ряса под ней забрызганы чем-то липким, влажным... И пятна, брызги крови на руках он отирал о ту же самую рясу.

Дико вскрикнул Эверт. Вздрогнули, заволновались, дали отклик и все остальные пленники.

— Господи! Спаси и помилуй нас, Боже! Бог — защита наша! Проклятие мучителям! Проклятие убийцам! — негромко, но сильно заголосили ливонцы.

Татары молча, в ужасе смотрели и ждали, предчувствуя беду.

— Подлый убийца! — не выдержав, прямо в лицо Малюте крикнул Эверт и плюнул ему в глаза.

Тот быстрым движением выхватил свой окровавленный нож и, только обменявшись коротким взглядом с царем, подошел и нанес страшный удар в грудь, у самого горла, юноше.

Тот, протяжно, мучительно застонав, свалился, едва не потянув за собой убийцу.

Нож Малюты застрял в костях, и палач выпустил рукоять его. Так и замер в судорожных движениях Эверт с ножом в плече, заливая потоками крови пол темницы.

В диком ужасе шарахнулись немцы назад, словно желая укрыться от надвигающейся гибели в темноте подземелья.

Дернув недовольно плечом, царевич незаметно скрылся за дверью, ушел из подвала.

А из глубины третьей кельи, куда татары были отброшены напором ливонцев, послышались какие-то дикие, гортанные звуки. Кто-то хриплым, рвущимся голосом напевал веселую плясовую песню, странно прозвучавшую в этот миг в подземелье.

Ибраим, в припадке бреда, вообразил себя на веселой пирушке, вскочил, сорвал с головы повязку, прикрывающую его выбитый стрелою кровавый глаз, и, размахивая куском грязной ткани, словно кинжалом, пробился с песней и угрозами через толпу, выделывая ногами быстрые, ловкие движения танца.

За ним показался и Кара-Мелиль, напрасно стараясь удержать больного, но могучего еще «батыра» и повторяя:

— Ибраим... Ибраим! Постой! Погоди... Остановись. Ты погибнешь...

Вырвавшись из толпы на свободное место, больной прямо мимо озадаченных стрельцов кинулся в своем бешеном танце к царю.

Иван, не понимая, в чем дело, задрожал, откинулся назад, успел поднять только свой посох и ударил им безумного.

Удар слегка скользнул по руке. Ибраим словно и не заметил боли, пронесся дальше в своей пляске, не видя, что и стрельцы занесли свои бердыши, ожидая только приказа.

— Булна! Булна! — отчаянно завопил Кара-Мелиль, стараясь оттащить в толпу пленных племянника и пуская в ход свое знание русской речи. Потом быстро заговорил по-татарски:

— Безумный, больной это! Он не в себе... Он пляшет...

— Пляшет? — успокоясь повторил Иван, разобрав татарскую речь.— Больной? Ин ладно! Пусть пляшет, забавляет нас... Пустите его... — приказал он стрельцам, тащившим Ибраима из темной кучи пленных, куда последним усилием увлек его Мелиль.

Отбившись от стрельцов и от дяди, Ибраим, усиливая напев, опять стал носиться по свободному пространству.

Вдруг Иван, не спускавший с него глаз, проговорил:

— Ну, довольно! Не станешь другой раз пугать нас зря, собака!

В темя, как быка, поразил посох Ивана татарина, промелькнувшего в это самое время очень близко.

Взмахнув широко руками, упал танцор и забился на плитах всем своим мощным телом, обрызгивая кровью стоящих кругом.

— Ай-ай! Что сделал? Зачем сделал? — завопил старик, падая на спину племяннику и стараясь рукой, клочками одежды закрыть зияющий пролом, остановить поток крови.

Но удар был нанесен сильной, умелой рукой.

Еще несколько движений, — и Ибраим вытянулся, затих.

— Это уж, государь, стоило ль? — негромко заметил Ивану Вяземский, боевое сердце которого не могло спокойно выносить вида подобной травли.

— Што-о? — сверкнув глазами, окинув злым взглядом любимца, спросил только Иван.

Но Вяземский, начав, уж не унимался.

— Сказано же было: больной... безумный татарин. Все равно што наш юродивый... Вот я...

Он не докончил.

В этот самый миг Мелиль, убедясь, что Ибраим мертв, огляделся вокруг с растерянным, жалким видом, заметил нож, торчащий из плеча Эверта, рванул его, что было силы и, как кошка, прыгнул прямо на Ивана, стараясь угодить ему в пах.

Малюта, хотя и следил внимательно за разговором врага своего Вяземского с царем, все же как-то бессознательно заметил первое и второе движение татарина, с бранью кинулся ему наперерез, желая ухватить за вооруженную руку старика, но не успел — и нож скользнул самому Малюте по ноге, прорезал полы шу-

бы, голенище сапога и нанес довольно глубокую рану выше колена.

Только услыхав проклятие Малюты, увидя, что тот почти лежит перед ним, навалившись на татарина, а из ноги у опричника так и льется струя крови, — только тут понял Иван, какая опасность грозила ему самому.

Близость неожиданной смерти так поразила его, что ноги подкосились и Иван опустился на ступени, весь трепеща, посинелый, безмолвный. Но сейчас же вскочил, прохрипел: «Всех... всех до единого... искрошить! Извести... окаянных бунтовщиков, а головы на колья насадить на поученье иным злодеям!» И быстро поспешил вон, звонко ударяя стальным острием своего посоха по ступеням и каменным плитам подземелья...

А здесь, в глубине каменных мешков, в самом дальнем из них, куда кинулись одурелой толпой все — и немцы, и татары, при неверном свете факелов засверкала сталь, подымались и опускались бердыши... Обнажили ножи свои опричники, взялись за топорики...

Быстро редело обреченное на гибель беззащитное стадо людских существ... С воплями, гремя цепями, прятались они друг за друга, молили, проклинали — и падали, изрубленные, на каменные плиты пола, где ноги убийц скользили и погружались по щиколотку в лужу крови...

Иные из пленных, обезумев, старались защищаться, отбивались, кидались на землю, впивались зубами в ноги мучителям.

Те топтали несчастных, отбрасывали их под ножи товарищей и потом добивали сами, кромсая уже мертвые тела, шаря под трупами, чтобы посмотреть, не укрылся ли там еще живой кто-нибудь...

И только когда все пленные были перебиты, один за другим стали подыматься наверх палачи, унося с собой отрубленные головы.

Тюремный приказчик, сам напуганный до полусмерти, стоял в стороне и остался теперь последним, с двумя сторожами, у которых были в руках фонари.

— Что же, теперя хоронить надобно... Где их, экую ораву, повытаскивать наверх? Да и зазорно, поди... Митька, принеси кирки, лопаты... Ошшо двоих позовите.... Яму тута выроем... поглыбже. Похороним всех!

И, осеняя себя крестом, он стал шептать молитвы.

Глава V

Годы 7078—7079 (1570—1571)

Весь 1570 год был труден для Иоанна, хотя и довольно удачен. Новые затеи и широкие планы государственные охватили неуго-

монную, кипучую душу царя. А с ними вместе, конечно, и новые заботы. Из себя выходил он, видя, как тупо и косно большинство окружающих его, все старые бояре и князья. Невежество считается чуть ли не доблестью, лень и тунеядство — признаком благородной крови. А дела — так много... Литва и Польша выразили явное желание призвать на трон Иоанна, когда умрет доживающий свои последние дни Сигизмунд... Да и помимо их желания — все решил сделать царь, лишь бы только уладить дело и, без крови, приковать корону Ягеллонов и Пястов к тяжелой шапке Мономаха, украшенной и без того целым рядом новых корон! Видя, что Ливонию взять труднее, чем казалось вначале, Иоанн придумал новый ход, воспользовавшись мыслью двух приближенных немцев, давно служивших на Москве. Он вызвал с острова Эзеля брата датского короля, Фридриха, — королевича Магнуса, посватал ему свою племянницу Евфимию Владимировну и объявил:

— Желаешь быть королем Ливонским, с тем чтобы мы считались первой защитой твоей, а тебе — нас слушаться, как след голдовнику* — тогда всякую помощь получишь и войсками, и деньгами... И города за племянницей дадим тебе на Руси, пока в свое царство войдешь...

Без возражений согласился бедный эзельский герцог на такие блестящие условия и выступил во главе двадцатипятитысячного русского войска в походе на Ливонию. После нескольких удач осадил королевич сильный Ревель, подойдя к городу 21 августа 1570 года, да и засел здесь надолго — до 10 марта следующего года!

В то же время с востока тучи поднялись. Девлет-Гирей, как доносили, собрал стотысячное войско и шел на Русь.

Сам выступил с полками Иоанн, стал у Серпухова, желая встретиться с ханом и проучить хорошо... В Касимове как раз умер Абдалла отец царевича Саин-Булата... Иоанн неизменного своего любимца посадил на место отца беречь юго-восточную окраину, пока иного дела не подойдет. Но из Думы московской — тоже его не выпускал.

Покорный, незаметный, гибкий, как воск, в руках царя, но очень неглупый человек, Саин был незаменимый помощник. И ценил его царь.

В Литве у Ивана дела так удачно пошли, что король Сигиз-

---

* Вассал.

мунд приказал уж и архивы свои вывозить из Вильно, трусливо заявив:

— Куды пошел Полоцк, — видно, и Вильне ехать за ним! Вильна — не сильнее Полоцка... А русские его взяли... Проклятые москали, за что взялись — не отступаются!

Кончилось тем, что на три года заключили перемирие враги. За Иоанном оставалось пока все, что успел он захватить у Литвы.

Но чтобы вся эта громадная машина шла, хотя бы и неровным, ходом, Иоанну приходилось тратить всю мощь его души, больной, искалеченной, правда, но все-таки широкой и смелой... Царь до последней степени напрягал свой холодный, проницательный ум, вспоминал все, что прочел и услышал, что сам увидеть успел за свою жизнь — по части царского правления...

И шла машина... Скрипела, визжала... Ревела тысячью недовольных голосов... ломались тысячи негодных колес и щедро приходилось смазывать механизм горячей кровью людской, проливаемой и в боях, и на плахе... Но без битвы — не дается никакая победа... А плаха? Она тогда играла в общественной и государственной жизни не большую роль, чем теперь многолетнее заключение в одиночных тюрьмах. Тяжелая, позорная, но общепринятая кара! Грубый век если и не требовал грубой, первобытной кары, — то мирился с нею, не умея создать чего-нибудь лучшего... Только редкие люди сознавали, что их век жесток... Но они готовили миру *будущее*, а в настоящем часто сами ложились умной, отважной головой на залитый кровью обрубок дерева, на позорную плаху...

Так, в тревогах, в надеждах и полный забот, прошел весь год для Иоанна.

Хан побоялся нагрянуть, узнав, что царь лично готов повстречаться с ним. Слава Иоанна как полководца невольный ужас наводила на врагов. Наводил он ужас и на своих, особенно на бояр и воевод.

— Первый враг государя — он сам! — говорили не раз про него.

— Господи, укроти дух мой! — молился и сам Иоанн не раз в часы своего душевного просветления. — Пошли мир мятежной душе моей... Утоли страсти мнози, кои от юности моей поборают меня...

Не помогала молитва.

Кровь неудержимой, кипучей волной переливалась в его жилах, порождая бурные желания, приводя к дикому взрыву страстей и похоти, так же точно, как быстро, ярко и отчетливо

проносились мысли в его мозгу, работающем с лихорадочной, с нечеловеческой силой.

На смену старому пришел новый, тяжелый 1571 год. Появился голод и мор, последствия долгих войн и последней резни новгородской, когда жители пили воду, трупными ядами зараженную... Все росли и ширились по царству эти два печальных наследья борьбы человеческой, два стихийных бича.

Природа, как будто не желая отставать от людей, стараясь показать, что в истреблении, как и в созидании, всегда она превзойдет своих рабов, дохнула смертью и гибелью...

Новые леса крестов вырастали везде, где ни селился только живой люд на Руси...

Казанские, касимовские, русские рати, все полки почти двинуты в Ливонию, где особенно разгорелась борьба.

Но в марте — со стыдом, ничего не сделав, должен был Магнус отступить от Ревеля, предав огню свой укрепленный, обширный зимний стан... Смущенный крупной неудачей, напуганный восстанием в Юрьеве, которого не сумел подавить, — не решился и вернуться в Москву королевич. Тем более что обрученная с ним княжна Евфимия Владимировна тихо хирела два года, сломленная вестью о гибели ее родной семьи, явно избегала видеть палача-дядю, — да так и угасла тихо этой весной...

Но Иоанн не отступал от принятых им решений.

— Другая невеста есть у нас про тебя! — вызвав Магнуса, объявил царь. — Княжна Мария Володимировна. Молода малость: 12-й годок ей. Ну да пока завоюешь царство свое, годика два пройдет — и готовая будет женка тебе молодая, королева Ливонская. Гляди, какая она у меня! Что яблочко наливное!

И действительно, княжна Мария, когда увидал ее Магнус, показалась ему очаровательным, здоровым, веселым подростком, уже полуженщиной по своим формам, по разумным, вдумчивым речам... До нее не дошла весть о том, как по воле дяди погибла вся остальная семья; пощадили ребенка люди и не успели разбить молодой жизни.

Так дело и порешили. Но Иоанн сам решил пойти на ливонцев вместе с Магнусом.

Еще войска, еще орудия и припасы потянулись по псковской дороге, на место войны...

Вдруг нежданно-негаданно удар разразился совсем не с той стороны, откуда чаяли.

Зашевелилась Крымская орда. Посол московский, Нагой, предупредил, правда, Иоанна. Царь послал воевод, князей: Шуйских двоих, Михаила Воротынского, Бельского и ближнего своего ро-

дича, Ивана Мстиславского, с 50000 ратников к «берегу» царства, на Оку...

Но плохо служили царю бояре... Все были злы на Ивана за недавние казни, за погром новгородский... Затем гибель славных, заслуженных воевод: князя Петра Щенятева, Серебряного-Оболенского Петра, Ивана Шереметева, Салтыкова-Морозова, Овчин-Плещеева — не устрашила, ожесточила только остальных.

— Стоит ли нам кровь на войне проливать? — толковали бояре. — И без того она на плахе прольется... Пускай же сам и ведает все царь... Нелюбы слуги верные — сам пускай послужит земле! Поглядим, что будет...

А иные — и прямо вошли в сношение с Девлетом, открыли ему, что делается сейчас в Русской земле... Бояре, близкие к разгромленному Великому Новгороду, — даже людей провожатых послали к татарам. И без малейших препятствий — пробрался хан в самое сердце царства: за Окой показались бесчисленные рати татар. Больше 120000 людей, с обозом и челядью, вел на Москву крымский разоритель.

Иван, не предупрежденный вовремя, кинулся было в Серпухов со своею опричниной, гонцов послал, чтобы стянуть сюда воевод, прозевавших нашествие хана, и здесь дать ему отпор. Но — случайно ли, умышленно ли, кто знает? — так вышло, что Иоанн оказался отрезанным от своих воевод ратью крымскою... Правда, воеводы, не желая отдавать Москвы Гирею, поспешили впереди него к этому городу, чтобы там и отбить нападение. Бояре полагали, что урок, данный Иоанну, и так довольно суров. Они не ошиблись. Бежать был вынужден Иван сперва от Серпухова к Слободе своей, а там и на далекий Ростов, как уходили в случае внезапных нападений татарских предки царя Ивана: Дмитрий Донской и Василий Дмитриевич.

Стыд и отчаяние угнетали царя. Но это было еще не все. Не побоялся хан воевод Иоанна, когда узнал, что царя самого нет под Москвой. Донесли Девлету изменники, какой ужас царит в городе, какой разлад меж воеводами, разлад, мешающий спасать землю и действовать дружно, заодно...

23 мая, на заре, ратники русские стали станом под Москвой, готовясь к обороне... А на другой же день — татаре явились за ним следом!

Дивное зрелище открылось глазам кочевников с Воробьевой горы...

Кремль и город сверкают на солнце золочеными церковными глазами... А в посадах черным-черно от люда православного. Шатры без конца белеются... На 300 верст вокруг не осталось почти никого из селян и горожан у себя на местах. Все в Москву кинулись, под

защиту ее крепких стен, как только прослышали весть ужасную, давно небывалую: «Татаре за рубеж прорвались. К Москве идут агаряне неверные!»

Значит, море крови будет пролито, все ограблено, жены, дочери обесчещены, молодые парни в полон уведены, а старики, на куски изрубленные, лягут в степях, зверей и птиц кормить своим телом...

И все кинулись к Москве. Не на спасенье только, на погибель...

По совету русских же изменников, не решаясь идти на приступ города, — хан приказал пригородные посады поджечь... Со многих концов запылали деревянные дома... В сухой и ясный день пламя пошло гулять по тесным улицам и переулочкам... С воплем побросали люди свои дома, шатры, сараи, землянки, где ютились толпами.

Все в Кремль кинулись... А воеводы и войска, стоящие под стенами, впереди всех. От татар можно борониться. От стены пламенной не отобьешся. А на Кремль — так и пошла по ветру, изогнувшись полукругом, высокая, грозная стена пламени... По ту сторону огненной стены хан с татарами, по эту — Кремль неподвижный, словно скала, у подножья которой буквально кипит водоворот человеческих тел... В самом пламени там испепеляются дома предместий, горят живыми люди, не успевшие выбраться вовремя за черту этой подвижной, живой, губительной стены, одетой короною густого, черного дыма... Словно волоса у неведомого чудища, вьет по ветру этот дым, загибаясь и все ниже спускаясь над Кремлем... Душит он тех, кто в Кремле укрыться успел... Душит тех, кто за стенами его находится... А поток людей, бегущих прочь от огня, водоворот живых тел — все гуще кипит... Ногтями, зубами работают озверелые люди. Сперва наполнились до краев телами рвы кремлевские. Потом, по трупам собратьев, — добежали остальные до самых стен... Лезут, карапаются по отвесным стенам несчастные, обрываются в ров и служат подножием для других, которые набегают им на смену...

Одни ворота кремлевские только и раскрыты остались, Спасские ворота, самые дальние от пожара, от врага... И здесь особенно сильно кипит водоворот людских тел...

В эти единственные, тесные ворота, под их своды — рвутся сотни тысяч обезумевших живых существ...

Но ворота не раздаются, твердо стоят немые, каменные стены и своды... Холодные раньше, — они горячи теперь от жаркого дыхания людского, от напора мягких, живых тел на жесткий камень. Слишком тесны ворота... И вот на первый ряд бегущих второй ряд набежал, совсем как волна на волну нахлестывает, как волна покрывает волну во время бури, в прибой, у скалистых берегов... И этого мало: третья волна на вторую набежала... Трой-

ным рядом, по головам друг у друга, меся ногами и давя беспощадно слабеющих, идет-убегает озверелое стадо людское от смерти, от огня, находя смерть и гибель там, где ищет спасения... Тройным рядом рвутся, бегут под защиту пушек и стен кремлевских обезумевшие люди...

Вот набежала и четвертая волна... Еще ряд взобрался на плечи, на головы тем, под которыми два слоя живых тел уже катятся вперед, неудержимо катятся, хотя бы и самая жизнь отлетела... Живые — за собою мертвых влекут...

Но у самых ворот рассыпается в разные стороны этот четвертый верхний ряд, — что-то так и сплескивает его на землю с кипучего, тройного потока живых и мертвых тел... Четвертому ряду — места уже нет под сводами ворот... Ударяясь грудью о стены Кремля, висящие над темным проходом крепостным, — мертвыми на землю падают все смельчаки, дерзнувшие четвертым слоем лечь сверху на грозном потоке людского потока...

А надо всем этим ужасом царит невероятный, нестройный, дикий гул, хриплое дыхание, проклятия, вопли живых, стоны умирающих, раздавленных, затоптанных ногами — все сливается в одно...

* * *

Постоял за огнистой стеною Девлет — и назад повернул. Грабить нельзя. Глядеть — страшно... Даже ему, татарину неукротимому, врагу упорному Руси, ему страшно стало! Но ушел не с пустыми руками хан: 100000 пленных увел за собою.

Полмиллиона народу погибло в этот печальный день. Груды трупов пронести не могла быстрая, полноводная в ту пору Москва-река! Стояли долго люди вдоль по реке и отталкивали мертвецов шестами от берега, сплавляли их дальше, прямо вниз. По Оке пусть плывут, по Волге широкой вплоть до Каспия... А там, там просторно. Море слез, пучина горя людского, народного, — не глубже она все-таки бездонной пучины Божьих морей. Пусть одно в другом скроется... Бог потом рассудит в небесах у Себя!

* * *

Здесь же, на земле, царь вернулся и стал судить. За небереженье Москвы были казнены бояре Сабуровы-Яковлевы, которым царь поручил охранять от врага престольный город свой.

А от победителя Девлета пришли грамоты с угрозами.

Казань и Астрахань требует себе обнаглевший татарин, грозя в противном случае немедленным новым погромом.

Смирился надменный Иоанн. Для блага земли, для спасения своей власти — сломил неукротимый нрав, свою гордыню безрассудную. Пишет хану ласково, мягко, приниженно, подарки шлет богатые, дань сулит, любимцев хана закупает, только бы время дали оправиться, оборону снова создать, прежнюю, крепкую оборону,которая столько раз от рубежа татар отбрасывала...

Астрахань сулил хану Иоанн, послам русским велит брань, даже побои выносить, обещать всякие блага татарам, поборы платить... Только бы опять война не возгорелась... А сам войска к Оке собирает, воевод шлет туда самых надежных: Бельского Богдана, Годунова Димитрия... С Михайлой Воротынским помирился даже. Один этот воевода может сберечь рубежи. Он там и создал охрану Руси от татар. Служба сторожевая, станичники — все дело рук Воротынского.

И не ошибся в воеводе Иоанн.

Следующей же весной Девлет, видя, что по губам только мажет Москва, а глотать ничего не дает, с такой же ратью, в 120000 человек, двинулся к Оке.

В Молодях, на берегу реки Лопасни, настиг Воротынский хана и так разбил его войска в целом ряде битв, что пришлось крымчакам поскорей назад уходить...

Вздохнул свободно Иван. Другим голосом заговорил.

И когда Девлет осторожно попросил, чтобы хоть самое малое из недавних посулов отдала Москва, Иоанн отвечал:

— Приди и бери. Не брал, что раньше давали, — теперь ни зерна не видать тебе макового!

А через год был казнен славный воевода князь Воротынский. Бельские и Годуновы, забиравшие силу при царе, — подкопались под опасного соперника.

— Зазнался уж больно старый! Раз крымского побил, думал и выше его нет на Москве... Ан нашелся: палач мой, Бузун, что голову князю снес... — так под веселую руку говорил опричникам Иван, словно не замечая, что им самим незаметно играют иные из окружающих его.

Про себя царь прибавлял в душе:

— Смекайте и вы тоже, голубчики... Кошку бьют — невестушка поглядывай.

* * *

В этом же году, развязавшись с Крымом, Иоанн сам двинулся в Эстонию, — проучить зазнавшихся шведов.

Много городов забрали русские, как и всегда при появлении

царя среди войск. Но при штурме Витинштейна царь потерял немало храбрых воевод и любимца, палача неизменного, но смелого солдата Малюту Скуратова-Бельского... Богдану Бельскому, фавориту своему, взявшему Вольмар, — цепь и гривну золотую пожаловал царь, как высшую награду.

До 1575 года тянулась война со Швецией, с переменным счастием. И только узнав о грозном восстании черемис на востоке, царь поспешил заключить с Иоанном Вазой перемирие на два года, с тем чтобы прекратить войну в одной только Финляндии и в Новгородской земле. Эстония продолжала служить полем битвы. Города сдавались легко. Жители Габсаля утром впустили русских в город, а вечером — беспечно плясали и веселились на шумных пирушках.

Когда же московское войско, небольшой отряд героя Чихачева, после упорной защиты, проголодав три месяца, питаясь соломой и кожей, а порой и человеческими трупами, сдал крепостцу Пайдис втрое сильнейшим врагам, пушкари русские удавились на своих орудиях, от стыда и отчаяния, что их пушки в руки врагу попадут!

Только такой разницей в составе народной толпы и можно объяснить успехи плохо вооруженных полков Иоанна, разбившего наголову первых бойцов Западной Европы.

Пока со Шведом тянулась борьба, — новая забота Иоанну приспела.

Умер бездетным Сигизмунд-Август, последний Ягеллон, носитель двух слитых корон: сдвоенной Польши и Литвы.

Давно уже втянулся Иоанн в ту кашу, которая кипела вокруг опустелого теперь трона соседней могучей сарматской страны.

И вот настал миг, когда надо было или совсем отойти или смело расхлебать то, что давно было затеяно.

Конечно, царь Иоанн выбрал последнее.

Глава VI

Годы 7080—7086 (1572—1578)

Поздно лег накануне Иоанн. Да и остаток ночи не покою был посвящен. Молодая жена у царя, четвертая по счету, царица Анна, дочь мелкого дворянина, Колтовского по прозванию.

Когда умерла, или отравлена была, как всем говорил Иоанн, его красавица-черкешенка, Мария Темгрюковна, года через два он вступил и в третий брак. Выбрана была им простая, но очень красивая девушка, Марфа, дочь купца новгородского Собакина. Брак этот, затеянный сейчас же после разгрома, как будто являлся связующим звеном между поруганным, растоптанным во прах

Государем Великим Новгородом и его обидчиком, государем и царем Иоанном Васильичем всея Руси. Но искупляющий, примирительный шаг был свершен лишь наполовину.

Названную невесту царя, купеческую дочку, отравили завистливые боярыни еще до венца. Она тяжко захворала... Но и тут поставил Иоанн на своем, вопреки самой судьбе. Он обвенчался с больной девушкой... Венчанною царицею Московской, но девственно нетронутой — так и отошла она в иной мир через две недели после венца и увенчания своего в Архангельском соборе... А бояре, виновные и даже непричастные к этому убийству несчастной Марфы Собакиной, дорого поплатились за попытку мешать планам и решениям царя.

Затем — полгода не прошло — все царские богомольцы: архиереи, архимандриты и игумены созваны были к царю на совет.

— Челом бью молитвенникам моим и с просьбой смиренной прибегаю! — кротко заявил Иоанн. — О разрешении на четвертый брак молю... А дерзаю я на дело сие не без причин великих... Женился я первым браком, Господь благословил... тринадцать лет прожил с подружием своим, с кроткой царицею Анастасией Романовной... Но вражьим наветам, злых людей чародейством и отравами всякими царицу мою извели наши вороги... Тоже и вторую царицу Марию, с которой мы восемь лет счастливо прожили... И та вражиим коварством тайно отравлена... Избрал я себе девицу Марфу... дочь Василия Собакина... Но лукавый воздвиг многих ближних, родных даже людей моих, враждовать с царицей Марфой... В девицах еще испортили ее... Возложив упование на всещедрое милосердие Божие, взял я за себя царицу Марфу, в надежде, что исцелеет она... Но, увы! Две недели лишь пробыв за нами, так и скончалась, до разрешения девства ее преставилась! Много скорбел я о том... Мыслил облечься в образ иноческий, оставить соблазны мира сего... Но вижу христианство врагом побиваемо... Дети — сыны мои — еще молоды. Не мочно им землю держать... Ради того и дерзаю в четвертый брак вступить, противно правилу и закону церковному!

Повздыхали, покивали старцы головами и порешили:

— Простить и разрешить царя надобно на четвертый брак, ради теплого его умиления и покаяния...

Эпитимию церковную возложили на царя. Два года не среди верующих, а у входа самого, с оглашенными, должен в церкви молиться Иоанн... Но на войне эпитимия с него снимается. Тогда весь священный клир принимает грех царя на свои рамена...

И вот, в четвертый раз завел семью Иоанн. «Молодоженом» зовут его, а он — самодовольно усмехается...

Но, справляя медовый месяц с Анной Колтовской, кроткой и безличной новой царицей, Иван не забывал про дела.

Утром, прямо из терема царицы, прошел он к себе, в «казенку», род кабинета при опочивальне.

Несмотря на ранний час, там уже двое сидят и ждут: особый любимец и помощник в делах Иоанна — боярин Борис Годунов, молодой, но умный и ловкий царедворец, замеченный царем и умеющий хорошо пользоваться таким отличием. Быстро стал возвышаться Борис, особенно когда женился на дочери Малюты. Сейчас он уж кравчим у царя Иоанна числится, хотя совсем недавно, как красивый юноша, рындой был царским... Первым из Годуновых — князь Димитрий в милость царю вошел... И всю родню повел за собой, умея ладить со всеми, каждому угодить... А Борис при царевиче Федоре, ровно пестун, приставлен.

Тут же в казенке и Саин-Булат царевич дожидается.

Возмужал он, пополнел сильно, как большинство азиатских князьков. Но ум и доброта, преданность Иоанну и любовь безотчетная — по-старому видны на открытом, красивом лице.

— Ждете? Добро. Позадержался малость... Нельзя же... Жену молодую потешить хочется... Телом я стар, а душа молодая во мне. Куды, Бориско, твоей помоложе! Вон, толкуют: не столько ты с бабой своей, как за книгами ночи ночуешь. А? Правда ль? — обратился царь к Годунову.

— Пустое, государь. Знаешь наших бахарей... Им книга — что белый лунь, штука диковинная. А я все в меру люблю, государь. И бабе, и чарке, и книге — всему своя пора да время.

— Так, так... Вижу я тебя... Не больно старых, не высоких кровей ты, не знатных родов, а глаз ясный да твердый у тебя, хозяйственный. И дух отважный! Не при мне — при сынах моих — великим кораблем станешь да поплывешь! Помяни мое слово! Только верой и правдой служи нам... И сестру Орину — на то же наставляй... Федю, царевича, береги... Научай, чему можно...

— Твой раб, государь... А сестра Арина, — сам знаешь: ровно отца родного, почитает да любит тебя, государь...

— Знаю, знаю! Знаю и то, что ей большое счастье готовится. Помалкивай лишь... Ну а сделал ты все ли, как я наказывал?

— Готово, государь...

— Ступай же, зови их, как знаешь уже... Цесарского сперва, там и литовского... А мы покамест с Саинушкой побеседуем...

Годунов ушел.

— Послушай, Саин... Садись-ка поближе... Скажи... Не думал ты когда бросить веру свою мухаммеданскую? Принять веру истинную? Ведь ты только и слова, что бесермен... А то, чай, и у

себя, в Касимове, редко носишь платье ваше татарское? В церквах православных, гляди, чаще, чем в ваших мечетях, бываешь?

— Сам ведаешь, государь... Не единова уж и докучал я тебе: дай русский закон принять! А ты же отказывал: не время, мол!

— Ну, радуйся ж, друг ты мой верный, радуйся, Саинушка. Спасешь душу свою... Не умрешь без просвещения светом истины. Крестись хошь завтра же. Теперь — время. Ране — в Касимове был ты мне надобен. А туды царя поставить крещеного — не рука. И хан крымский, и салтан турский — все на дыбы вскинулись бы. И то вякают, собаки обрезанные, будто я их Аллаха тесню, кладбища поразорил в Казани да в Астрахани... Мечети разрушил. Сам знаешь: правда ли то?

— Пустое, государь... Чиста душа твоя... Сам веришь ты Христу по совести... И всякому по совести в царстве своем великом веровать даешь...

— Оно пригодней так, Саинушка. Нет большей и тягчайшей свары, чем за веру свара. Деньги возьми у иного, жену возьми, голову с плеч сыми, все смолчит, все стерпит. А веру — не замай... И плюгавец самый Духа Святого преисполнится, грозу подымет... Давыд Голиафа поборет... Вот почему ничьей я веры в царстве своем не трогаю... Велико оно, правда твоя. Вон, говорят, вдоль идти — ходу девять месяцев... Поперек — полгода пути. Где тут всех в одну церковь гонять? Задавятся — не влезут... Так пускай каждый на своем погосте Бога молит, по старине, как отцы, деды его маливали... Честь да вера и камень всему, и разруха меж людьми самая великая....

— Мудрые слова твои, государь... Так я завтра же отцу митрополиту ударю челом: не оставил бы, просветил бы своей милостью...

— Добей челом... Ему уж сказано... А что же ты не спросишь: к чему я готовлю тебя? Али знать не хочется?

— Думаю, государь: время приспело, — сам государь мне скажет. А без времени пошто и тревожить, докучать государю моему?

— Спасибо, Саинушка! Утешил ты меня. Был ты слуга мне прямой, друг мой сладкий, так и остался... Ни годы, ни люди, ни царство, тебе данное, не затемнили души верной.

И, привлекая Саина, Иоанн коснулся своими пересохшими, бледными губами до лба царевича.

— Так слушай же... Все тебе поведаю... Знаешь: послы у меня сейчас важные. От Польши с Литвой да от Максимилиана — кесаря германов. Поляки с Литвой на трон зовут; после Сигизмунда кролевать у них, вишь, некому. Не я — так Федор али Иван —

кого пущу из сыновей, пусть бы у них воцарился, — так ляхи просят. Знаешь, не раз я и сам помышлял о мирном наших царств единении. Сестру Сигизмунда, Катерину, сватал... Так ее поспешили шведскому водовозу, пастушьему сыну, гуртоправу пьяному, Иоанну отдать... Но Бог за нас! Сами полячишки опомнились. Вот, послушай, приму я их... Что толковать им буду! А ты вот для чего понадобишься... Толкуют на Литве: стар я, сил-де не хватит три царства управить.. Ослы! Кесарь Август, державный предок мой, целым миром управлялся... А не помер бы, так и новые бы земли открывать стал, чтобы державу свою на все яблоко земное распростертым держать, чтобы под сенью его царской мантии весь род человеческий в мире да покое процветал... Чего прадеду Бог посылал, може, и мне, смиренному, пошлет, если молить его станем да сил не жалеть... Бог труды любит... А все же скажем: и слабым глазам человеческим не дано на лик солнца глядеть. Знаю я... Орлам одним подобает сие... Так мы для глаз человеческих отвод сделаем... Тебя заместо себя на время, пока хлопоты пойдут горячие, царем всея Руси я поставлю...

Так и подскочил Саин, на месте не усидел.

— Меня? Всея Руси?

— Да, да... Что глаза свои бараньи выпучил? Слушай сиди. Все поймешь. Первое — прикинусь, скажу, слаб я... Болен... Не могу царскими делами у себя управиться... Значит, кто в Польше мово царевича-сына хочет, не меня, — и тот за нашу персону голос подаст. «Мол, скоро помрет старик, сын и сядет на трон Пястов и Ягеллонов... А с молодым королем мы кашу сварим. Литву первой сделаем, Москву да Русь ототрем... ослабим, порушим и прежнюю силу себе вернем». Понял?

— Понял.

— Слава те, Господи... Это — раз. Доброхоты мои из ляхов не отстанут николи от меня. Золото все одну цену имеет, — царь ли Московский, великий ли князь Иоанн его пошлет... Я, слышь, просто великим князем стану величаться... Шляхта православная, мелкая, что от панов стонет, голодает, слезы кулаками трет, — та без посулов, по совести давно моя. Все знают, как я простых людей люблю... Как сильным воли не даю никогда... Головы боярам срезаю, чтобы руки у них не цапали... А кто кричит, что я о власти одной думаю — не о благе христианства, тот и язык прикусит, как ему скажут: «Сам Иоанн Васильевич, грозный Московский царь и победитель, венец с себя снял многозубчатый да и воздел его не на главу сына юного, глупого, не навыклого еще к царству, а на главу крещеного татарина... И за что? За службу его верную, понятливую...» Вот, и тут добро выйдет... Поймут паны, что если

я, отец, временно даже старшего сына, в совершенные годы и разум не пришедшего, царем не ставлю, как же им его в крули себе выбирать? А прямо им сказать: не дам сына, меня зовите! — не годится мне то... Понял?

— Ты говоришь — как не понять, государь!

— Ну, так дале слушай... Волком зовут меня... Только и дела, мол, у меня, что воевать, земли чужие у слабых соседей отымать... Того не знают, что мне Ливония дороже ока во лбу... А от трона отойдя, — я и от прежней войны ото всякой будто отошел... Каков я воевода — мир знает. Как полячишкам не пожелать меня? А я к тому же на свободе такие петли на Сейму их безбожном заплету, что все перекусаются безмозглые паны... Истомлю их до последнего... И то уж там люторы с католиками без ножа за стол не садятся, в храмах Божиих режутся... А мы еще им жарупару наддадим... Выберут меня не выберут, а приведу я ляхов к тому, что от ветру валиться станут. Не добром, так силою, а прикреплю те две сарматские короны — к нашим всем...

— Дай Господь, государь!

— Сам плох — не даст и Бог... Знай, Саинушка... Ежели, боясь руки моей тяжелой, захотят-таки поляки Федора, — мой же он сын... Тоже от меня не отвертятся... Насулить можно врагам с три короба. А получат лишь то, чего сами возьмут, если силы станет... И для того — нужно мне на троне нашем, для надзора верховного, для страху боярского, иметь человека верного. Иного не знаю, как тебя. Царской ты крови, хоть и агарянской, но старого рода... Твои деды — всей почитай Русью владели, ханы Золотой Орды... Большие были лыцари...

— Правда, государь!

— У-у-у! Какие большие... С пустыми руками, почитай, в кибитках пришедши, весь христианский мир под нози себе покорили...

— Да, правда, государь!

— И если бы деды мои их, окаянных, не вздули хорошенько, по сию пору, гляди, басме бусурманской цари бы крещеные кланялись; калмыцким рожам вашим — дани несли бы да выкупы...

— Да, правда, государь... — совсем иным тоном произнес Саин.

А Иван, улыбнувшись слабо, продолжал:

— Ну, так слушай: теперь ты знаешь главное. Так и веди свое дело... Погорделивей с боярами. Чтобы боялись тебя...

— Не меня, а тебя бояться станут. Кого хочешь ты им посади, все равно! — желая поправить предыдущую ошибку, живо отозвался Саин.

— Ого, сладко поешь, царек... нет, что я?! Отныне ты — царь...

как бы... Ну, Симеон, скажем, Бекбулатович, великий князь и царь всея Руси... А на место твое, в Касимов-городок, кого пока посадить, как скажешь?

— Буда-Алия-салтана — младшего брата моего, коли тебе не супротивно, государь...

— Можно бы, да молод больно. Бабы да муллы вертеть станут царством. Он ни меня слушать, ни сам править не сумеет. Погодим. Подрастет — посажу его, не мину... А покудова — Кучумова родича, Мустафу-Алия повеличаем. Сибирь теперь мои воеводы Строгановы «задирают»... Городки ставят... Инородцев к нам зовут... Вот те и пойдут охотнее, как прослышат, что ихнего Кучума родич — в таком почете на Руси, царьком на Касимове... Ну, вот на один раз — будет с тебя. Ступай, о купели хлопочи... Дело налаживай... А я и ризки тебе изготовлю золоченые... Да, чай, недолго ждать отцу с матерью твоим придется? Как окрестят тебя, из купели вылезешь, и зубки у младенчика нашего резаться почнут... Так мы и на зубок приготовим... Ха-ха-ха...

И в первый раз за много лет снова рассмеялся Иван, забытым, старым, веселым смехом своим.

И Саин смеется.

— И! Не надо, государь! Много видал я от тебя милостей. Не стою даже.

— Ты не стоишь — я стою... Кто дает, того и правда. Кто берет — тому молчать...

— Так и тебе бы, царь, не много толковать со мной надо. Богатый дар я дал тебе... Отдарил ли ты? — спросил смело Саин, видя веселость царя.

— Ты? Мне? Дар? И я не отдарил? Мелешь что-то несуразное! — сразу нахмурясь, произнес Иоанн.

— Не угадал, государь. Душу свою всю, сердце благодарное тебе я в дар принес... Ты — землею, казною отдариваешь. Не можешь ты своего сердца царского, души высокой — одному Саину, царевичу татарскому, отдать... Понимаю я... И не жду... Так и деньгами помене дарил бы... Не так бы было совестно, словно я любовь и дружбу мою на вес золота продаю...

Молча привлек Иоанн Саина, вторично коснулся его волос поцелуем и слегка оттолкнул от себя.

— Ступай... Дожидаются люди, гляди... К крестинам готовься... А там — и царем Московским посажу... Силу — себе оставлю, а заботы разные пустые, досадные, докуку царскую, — на тебя возложу, вместе с бармами... Ходи всюду, по храмам, в Думу, везде. Принимай, отпускай послов с честью... А я с ними потихоньку стану дела вершить. Что ныне мне, как царю, не пристало, — у

нас тогда сойдет; как потолкуем с глазу на глаз. Ну, ступай. Зови народ ко мне.

Вышел Саин; вошел с Годуновым посол императора Максимилиана, одного из кандидатов на престол осиротелой Польши и Литвы...

— Ну, докладывай скорей, Борис! — обратился Иоанн к Годунову, который в качестве толмача явился с послом. — О чем там вы с боярами приговорили? И пускай он тогда выложит свое слово тайное... Насчет Литвы — как?

— Требует цесарь, чтобы она нераздельна осталась с Польшей. Сам он и трона не ищет. За Ернеста-королевича просит подмоги у нас. А Киев, мол, можно Москве отдать, когда Ернеста на трон возведут.

— Вон оно что! На посуле, как на стуле. Дальше.

— Просит: Ливонии бы ты, государь, не воевал, покудова цесарь больших своих послов не пришлет о том деле рассудить.

— Да? А кафтана вот энтого с плеч у меня еще не просят ли нейстрийцы бестолковые, да и с рубахой, и со крестом нательным заодно? Дале?

— Все, государь...

— Мало! И вовсе мало, святым Георгием свидетельствуюсь. А какие тайности у посла? Ну-ко, выкладывай...

Низко поклонясь, посол заговорил. Иван на лету ловил слова полузнакомой немецкой речи. Борис точно и громко ее пересказывал.

— Говорит великий цесарь — Максимилиан Нейстрийский, государь, что ежели бы ты, государь, пожелал помочь сильную королевичу Ернесту оказать, чтобы тот на трон польский и трон литовский благополучно засел, и за ту дружбу — за помощь великую — выгоды прибудут большие твоему царскому величеству...

— Ну-ка, ну-ка, послушаем... Сосчитаем ли только, ежели много чересчур?

— Говорит цесарь твоему царскому величеству: ты, государь, Максимилиан-цесарь, король Гишпанский, новый король Польский и Литовский, Ернест-королевич, папа римский и иные государи христианские — на сухом пути и на море — нападете на главного недруга христианского, на безбожного и могучего Селима, салтана турского, — и прочь из Европы, в Азию неверных погоните. И по воле тех союзных государей христианских, по их уступлению — все царство Греческое, Восточное с Царьградом будет уступлено твоему царскому величеству и, ваша пресветлость, будешь возглашен великим Восточным цесарем, как есть Максимилиан-цесарь Западный...

Сперва, заслышав перечисление западных католических владык, своих непримиримых соперников, Иоанн улыбнулся незаметно и подумал:

— Хороша чета выйдет... Все под масть, а я — голиком...

Но когда была сказана последняя фраза, лицо царя стало глубоко серьезным.

Неужели хитрые схизматики угадали его затаенную, любимую мечту и теперь манят ею? Врут ведь. Разве пустят они царя православного на море Средиземное, к Ерусалиму под бок, к Святой земле? Шаг тогда один...

Иоанн даже вздрогнул.

— Все? — спросил он отрывисто у Бориса.

— Все, государь...

— Ну, ладно. Слушай же, посол, что мы скажем! — взяв себя в руки, начал Иоанн.

Низко поклонился посол и слушает внимательно, что говорит московский властелин, что передают немцу на его языке...

— Скажи брату нашему, цесарю: рады мы словам его и готовы верить обещаниям. Да, помнится, обещана была Владиславу, крулю венгров, такая же помощь против турского; а заместо того, как пришел салтан на Владислава, — ниоткуда помощи не подали. Рать Владиславову турки разбили и сам круль — жизни лишился... Пришлют все те владыки, каких насчитал цесарь, от себя послов, дадут о том слово и подпись свою: султана воевать — тогда и делу быть. А что про Литву с Польшой? — так и про это скажи цесарю: хотим, чтобы брата нашего дражайшего сын, Ернест, князь Австрийский, был на короне польской. А Литва — великое княжество, с Киевом, — была бы нашему государю московскому. Ливонская же и Курляндская земля к нашему государству отходит, как Ливония — издавна наша вотчина. И посадили мы в ней королем вассала нашего Магнуса. Так брат бы наш дражайший, Максимилиан-цесарь — в Ливонию не вступился бы. Тогда пошлем мы к панам польским: Ернеста бы брали на царство. А не возьмут ни Ернеста, ни нас — вместе бы нам над Польшей промышлять... И за неволю заставим полячишек буйных послужить нам! Пополам поделим все царство Сарматское... На этом — кланяюсь брату моему дражайшему Максимилиану на многая лета.

Выслушал посол, откланялся и прочь ушел.

А Иоанн, сидя один, в ожидании следующего гостя, шепчет про себя:

— Вот так-то лучше... Увидим правду немецкую... Ихняя правда — угрем склизким из рук ползет. Так мы — за жабры ее.

Вошел второй посол, канцлер гетмана Литовского, Михайло

Гарабурда. Не раз уж бывал он с посольством в Москве, по-русски знает. А царь и польскую речь понимает недурно.

Чтоб не мешать разговору, Годунов поодаль стоит, глядит только, не прикажет ли чего государь.

Живо заговорил Иоанн:

— Ну что? Столковался с боярами моими с думными, с умными? А?

— Без тебя — плохой толк, государь... Не хотят ли, боятся ли, а все задирают, вызнают от меня только, что можно, а сами ни слова путного не скажут...

— Да уж не погневайся: рта не разеваем, как паны на раде у вас. За версту слышно, ежели о потайности какой государской речь зайдет. Иная повадка у верных слуг моих... Знают, что болтунов не люблю... Так вот все и повтори, что с ними толковать. А я погляжу: так ли они тебя поняли? Верно ли передают мне слова посольские?

— Много было толковано... Первое слово было: крепко ли рада стоит на том, чтобы тебя, государь, али сына твово на трон звать. Перебирать мы стали. Против твоей царской милости что?

— Ты не запинайся. Все говори. Не коня на торгу продаем, чт надо прорухи скрывать. Мы, цари, как звезды на небе. Всяком вольно о нас говорить, если что не покажется. Все и валяй.

— Первое, скажем: войну ты вел от младых лет с Польшей, а у Литвы — и вовсе Смоленск и Полоцк забрал. Второе: вера твоя — греческая. А у нас все больше люторы да католики. Вашей веры — мало совсем. Дале: нрава ты сурового, к слугам, к боярам своим немилостив... А паны наши — к тому не приучены. Им короли — не владыки, а собутыльники первые... Еще: императору австрийскому да султану турецкому легче на сене колючем лежать, чем тебя под боком соседом иметь... Того и гляди, клок урвешь, отвоюешь... Они все и строят, не пустить бы тебя к нам... А поляки опасаются: в Москву ты оба трона наших перевезешь, здесь на них сидеть станешь. Города наши большие — заглохнут, Москва процветет... Вот и все, кажется...

— Не много же... А... а за Иоанна Московского в Литве что было сказано? Говори, Михайло... Мы слушаем.

— Много говорено, государь... Особливо с киевской стороны. Там все за тебя. Про мощь твою государскую великую было сказано... Про отвагу безмерную воинскую... Покойно, без страха Литва и Польша за тобой проживут... Что язык, что обычаи — сходны у нас и у твоих москалей... Погрубей только нашего малость люд у тебя, зато — попрямее. А много из наших и наряды уж стали себе на московскую стать кроить... Враги, что у нас, что

у тебя, — одни: султан да император австрийский, всей Германской империи властелин... Думают паны, что, если Ягайло, став крулем польским, веру принял истинную, католическую, может, и тебя Бог наставит... А что жить на Москве ты станешь, вряд ли, потому что, имея столицу южную, прекрасную, кому охота в холодном краю проживать? Да и почище Краков Москвы, не во гнев будь твоей царской милости...

— Все может быть... Теперь дале. Так молвим: выбрали бы и взаправду меня, чего ждут тогда паны радные, на что уповают? Что обещать я должен?

— Немного, государь... Тебя ли, сына ли изберут твоего, одного из преславных царевичей твоих, — молодшего, скорей всего, Федора... Клятву ты должен дать: сохранять свободу веры нашей католической и вольности шляхетские все, как от века... И сам должен нашу веру принять святую, католическую... Или царевич твой... И в каждом царстве, если сам на трон сядешь литовский и польский, должен поочередно время проводить, чтобы везде от двора и лица твоего светлого — радость, и суд, и правда, и прибытки шли купцам и панам, и народу черному... Литве надо взятые земли вернуть, Ливонию, Смоленск и Полоцк отписать их обратно к короне Ягайлов... А если царевича дашь нам, за ним запиши земель хоть немного; вот и все.

— Правду сказал ты: немного толковано, да много наковано... Теперь — меня послушай. Веры менять нам причины нет, как не еретик, не схизматик я, по-вашему, а крещен во имя Святой Троицы, вам же подобно... Так же и сын наш, царевич Федор. Если дам вам сына, так безо всяких земель Московских. Не девка он, невеста, чтобы приданое за ним готовить... Если сам я сяду на трон, — добро вам будет. Много голов у вас в Литве и Польше, а царство — все без головы, хоть и шумят паны радные. Мы — головой вам станем, защитою крепкою... Ни Рим, ни цесарь, ни один король не устоит против нас! Вот помянул ты про суровую нещадность мою к слугам... Правда, я зол и гневлив, но против тех, кто на меня встает. А кто добр ко мне, тому я и цепь эту и это платье отдам с себя...

— Помилуй, государь! — вмешался Годунов. — Казна твоя не убога. Найдешь, чем одарить...

— Не убога, верно. Дед и отец богаты были. Мы вдвое того богаче, Божьею милостью... Умею наградить... А за что мне с боярами добрым быть? Давно ли изменой они врагов, поганых татар навели, Москву им предали? Казнить и пришлось их — не миловать же за это... Ливония — не Литовская земля, моя она, моею и буде же... Полоцк — тоже. Смоленск — ворочу, пожа-

луй... Да что толковать, под моей державой — все в одно будет: Ливония, Москва, Литва и Новгород... Корону вашу — после московской короны писать станем: король Литвы и Великой Польши всей... Если цесарь и французский Генрик вам больше сулят — их дело. Мой род — древний, царский. Кроме нас да султана турского — ни единого государя нет, чей бы род непрерывно через триста лет царствовал. Вольностей и прав ни в чем мы нарушать не станем ваших... Может, еще прибавлю... Глядя... Ездить в каждое царство можем же поочередно. И не помешает нам нисколько Москва... А почему — увидишь скоро... Вере нашей — быть в почете всегда. Церкви наши — вольно нам ставить, где пожелаем... Вольно нам будет в старости отойти в монастырь — тогда паны и вся земля выбирают себе из наших сыновей, кого захотят. Их воля... Еще про дворовых моих скажу... Зовут их глупые люди — опричниками... Без них ни в Польшу, ни в Литву ехать не могу... Особливо к польским панам буйным... И ездить будем мы с сынами и со всеми детьми своими. Они по годам своим — не могут без нас еще оставаться... Да, вот еще... Слухи до нас дошли: манят будто у нас сына обманом, будто на трон; а сами хотят в залог его отдать султану турецкому... Может, и злые люди то выдумали... Но я тебе сполна сказать хочу... Все же паны должны присягу дать, что беречь и почитать нас станут, никому в обиду не дадут! А самое святое дело, скажу я тебе... Не брать вам сына... На Польше можно Ернеста посадить. А нам вручить великое княжество Литовское. Его мы особливо хотим. Ведомая нам давно та земля. И хлопот с ней будет меньше при моих преклонных годах... И православного люду больше в Литве, чем католиков. И паны, и шляхта — не такие у вас все буйные, как великопольские крикуны... Ну вот, кажись, и все тебе сказал. Запомнил ли речи мои?

—Думаю, государь... Хотя, где же уму моему простецкому до твоего светлого ума... Да авось не забуду...

— Не позабудешь... Борис, дай-ка памятку... Вот вкоротке — все прописано тут... А вот еще... Бискуп Гнезенский ваш, Яков Уханский, грамотки мне прислал на образец, как надо писать иным панам сильным, могучим на Литве, чтобы на нашу сторону привести их... Мы послушали, написали, желая скорее доброму делу сделаться... Передай о том, по дружбе к нам, кому следует... Посол наш, Новосильцов, — грамотки повезет...

— Рад душою, государь...

— Да еще помни! — уже более сурово прибавил Иоанн, протягивая руку послу для целованья. — Больше всего мы сами, помимо сына, хотим сесть на престол литовский. Чтобы Литве —

совсем от Польши отойти. Ее не бойтесь. Я помирю вас с нею... А если не нас, и не Ернеста, если Генрика-француза возьмете, — берегитесь! Знайте, что мне над вами, над Литвою — промышлять придется и силой от дурости отводить... Ступай с миром...

Так, угрозой кончив гибкую, полную недомолвок, а порой и противоречий, беседу свою, отпустил Иоанн Гарабурду.

* * *

Пышно было справлено крещенье Саин-Булата, названного Симеоном по-христиански. И женил его царь на Анастасье, дочери князя Ивана Мстиславского. А там — и нечто удивительное совершилось. Иоанн объявил, что слагает с себя звание и власть царя Московского и всея Руси, передает их царевичу Касимовскому и Астраханскому, первому думному боярину своему, Симеону Бекбулатовичу. Ему в Кремлевских палатах жить, вести обиход царский, все дело земское править, войско держать... Сам же Иоанн оставляет себе родовое имя князя Московского и, по немощи, ото всех дел отстраняется, разве не от воинских, где его заменить некому... Мира и войны без него никто объявлять не смеет... Венчать короною и бармами названного царя покуда не следует. А как дальше будет — Бог укажет...

Много видали бояре на веку своем, при Иоанне служа; много слыхали, ждали всего... Только не этого. Но царь сказал — и при живом царе-государе всея Руси другой царек на московский престол воссел, крещеный царевич татарский... А подлинный царь, почему-то пожелавший в тень на время уйти, — в простой колымаге по улицам ездил, во дворец приезжая — далеко от царского места садился и царьку, им же посаженному, кукле живой в царское платье одетой, писал от 30 октября 1575 года:

«Великому князю Симеону Бекбулатовичу всея Руси сию челобитную подал князь Иван Васильевич Московский и дети его: Иван да Федор Иванычи.

Государю великому князю Симеону Бекбулатовичу всея Руси, Иванец Васильев со своими детишками, с Иванцом да с Федорцом, челом бьют: освободил бы перебрать лишку бояр и дворян и детей боярских и челяди всякой, по нужде своей, из людей московских, как по ряду следует...»

И «царек» Симеон разрешал царю Иоанну Грозному взять себе в обиход лишних людей против количества, какое прежде установил было сам царь для себя...

Потешался ли такой игрой расшатанный ум Ивана, или создал себе предвзятую идею государя и примерял новое положение

мелкого князя, как примеряют маскарадный костюм, из политических ли целей затеял игру эту старый сердцеведец и человеконенавистник, ненавидимый всеми, государь московский; но все три года, пока сидел на «царстве» царек Симеон, — настоящий царь являл пример покорности и смирения, заражая этим и всех остальных. Как будто он говорил им:

— Учитесь от меня, от повелителя, как надо уметь повиноваться!

Тогда же, еще в 1573 году, позвал Иоанн сыновей и объявил:

— Времена пришли шаткие... Я — болен и стар... Не годами, так немощью телесною... Прослушайте же завещание мое. Хочу при жизни вам прочесть, чтобы лучше залегло вам в душу слово родителя...

И он начал читать...

«Во имя Отца и Сына и Святаго Духа...

Тело изнемогло, болезнует дух мой, струпы душевные и язвы телесные умножились и нет врача, который исцелил бы меня. Ждал я: кто бы со мною поскорбел — и нет никого. Утешающих я не сыскал, воздали мне злом за добро, ненавистью за любовь...»

Так начинался этот вопль душевный, эта сильная импровизация, полная лиризма, похожая скорее на покаянный псалом Давида, чем на духовную запись о посмертном разделе имущества, даже такого многоценного, как русское царство.

«Се заповедаю вам: да любите друг друга, чада мои милые. Сами — живите в любви... и военному делу, сколько возможно, навыкайте. Как людей держать и жаловать... и от них беречься и во всем — уметь их себе присваивать — вы бы и этому навыкли же... Людей, которые вам прямо служат, жалуйте и любите, от всех берегите, чтобы им притеснения ни от кого не было... тогда они прямее служат. А которые лихи — на тех бы вы опалу клали не скоро, порассудивши, а не в минуту ярости. Всякому делу навыкайте: божественному, священному, иноческому, ратному, судебному, дворцовой жизни и житейскому всякому обиходу: как которые порядки ведутся здесь в иных государствах. И здешнее государство с иными государствами, что имеет в делах разных розни или приязни и прибыли, чтобы вы сами знали, а не от людей ваших. Также и во всяких обиходах, как кто живет и как кому пригоже быть, и в каких мерах всякого меряти — всему тому научайтесь. Тогда вам люди и не будут указывать. Вы станете людям указывать. А если сами чего не знаете, то вы не сами станете своими государствами владеть, а люди...»

Из этих строк Грозного царя так и выглядывает позднейший, еще более величавый и мощный образ царя-преобразователя,

первого императора и первого работника на Руси — Петра Первого.

«А что по множеству беззаконий моих, — продолжал дальше читать Иоанн, — распростерся Божий гнев, нет пути мне и в храмы Божии... Изгнан я боярами самовольными из царства, прогнан от своего достояния и скитаюсь, аки странник... И над моими грехами многие беды занесены... То, Бога ради, не изнемогайте в скорбях. Пока вас Бог не помилует, не освободит от бед, до тех пор вы ни в чем не разделяйтесь: и люди бы у вас заодно служили, и земля, и казна была бы одна у обоих. Так вам будет прибыльнее. А ты, Иван-сын, береги сына Федора и своего брата, как себя! Чтобы ему ни в каком обиходе нужды не было, всем был бы доволен, чтоб ему на тебя не досадовать, что не даешь ему ни удела, ни казны. А ты, Федор, у своего брата старшого, пока устроитесь, удела и казны не проси, живи своим обиходом, смекаясь, как бы Ивану-сыну тебя можно было без убытку прокормить. Оба живите заодно и во всем устроивайте, как бы повыгоднее. Ты бы, сын Иван, своего брата младшего Федора, берег и любил и жаловал, везде был бы с ним один человек, в худе и добре. А если в чем пред тобой и провинится, ты бы его понаказал — и пожаловал, а до конца б его не разорял, а ссоркам бы отнюдь не верил, потому что Каин Авеля убил, а сам не наследовал же! А даст Бог, будешь ты на государстве, ты удела от брата Федора не подыскивай, напрасно его не задирай и людским вракам не потакай, помни, если кто и множество земли и богатства соберет, но трилокотного гроба не может избежать и тогда все останется.

А ты, сын мой Федор, держи сына моего, Ивана, в мое место отца своего, и покорен будь ему во всем и добра ему желай. И во всем будь в его воле до крови и до смерти! — читал Иоанн новые, необычные слова, еще ни разу не стоявшие на завещании русских государей. — И ни в чем ему не прекословь, если разгневается или обидит тебя как. И тут старшему брату не противься, рати не поднимай, сам не обороняйся, бей челом, чтобы тебя пожаловал, как я приказываю теперь вам. А пока, по грехам Иван государства не достигнет, а ты — удела своего, вместе будьте заодно... И ты, Федор, лиходеев не слушай, из Ивановой воли не выходи, ничем не прельщайся, куда брат пошлет — на службу иди и людей своих посылай...»

Этими строками рушен был старый уклад, который давал право младшему сыну требовать своей доли от старшего. Отныне — все отдавал Иоанн старшим сыновьям в роду Рюрика. А младшие становились не прежними равноправными сонаследниками, а первыми слугами своего державного брата-первенца.

«Нас, родителей своих и прародителей, не только что в государствующем граде Москве, или где будете в другом месте, но если даже в гонении и в изгнании будете, — вдруг ударила в души царевичам грустная нота, — если и свержены будете — в божественных литургиях, панихидах и линиях, в милостынях к нищим и в пропитаниях, сколь возможно, не забывайте...»

Слезы сверкнули на глазах у чтеца... Слезы текут по лицам у царевичей.

«Что я учредил опришнину, то на воле детей моих, Ивана и Федора. Как им прибыльнее, так пусть и делают, а образец им готов для земского и дворового устроительства и для людского управления многообразного. А суд вести, как я уложил, народу — право и правду давать неумытную... А удел сына моего Федора — его я не в род Федору отдаю, а по воле сына Ивана, все сыну Ивану же...»

Затем шел длинный перечень земель, отчин и городов и казны, что братьям поделить меж собой и сестрою следовало...

Прочел — и клятву взял отец с сыновей, что все будет исполнено.

В этом завещании так и сказался весь Иоанн, — хозяин и строитель земли русской на новый лад, каким хотел он быть смолоду, каким был все время, хотя и не без порываний в сторону.

Читая сам заупокойную молитву по себе, великий книжник и ритор земли русской, Иван IV разыграл ту же комедию, как и великий затворник монастыря св. Юста Карл V, меланхолик и философ по душе, приказавший отпеть себя заживо и подпевавший из гроба напеву «de profundis», звучавшему над его головою. Но восточный причудник отличался от западного собрата тем, что в бездне, которая зовется пресыщением жизнью и властью, — Иван не утопил жажды к делу и любви к царству своему, к родной великой земле...

Да и пресыщение жизнью у Ивана было больше внешнее. И щеголь-красавец Богдан Бельский, тайный фаворит, и те три жены, не считая множества наложниц, которых, заточив в монастырь Анну Колтовскую, дряхлеющий Иван осчастливил своим вниманием, — все это служит признаком, какая неукротимая, кипучая натура была создана в свет под именем Иоанна IV, Грозного царя всея Руси.

* * *

Все темные предчувствия полубольного Иоанна скоро сбылись, хотя, конечно, и не по отношению к Руси.

Пока старый, нерешительный Максимилиан медлил у себя в Вене, пока царь Иоанн жалел денег на расходы, так как не верил в прочный успех, а сам вел войну за Варяжское побережье и с Литвою и со шведами, — был избран на трон Сарматии — француз, Генрих, неудачно процаривший в Кракове с полгода, затем бежавший оттуда, чтобы надеть блестящую корону Франции. При новых выборах голоса на Сейме разделились. Более влиятельная, литовская партия объявила королем Максимилиана. А поляки — призвали Стефана Батория, бана Седмиградского, за которого стоял султан.

Отважный, прославленный воин, прекрасный полководец, бан должен был жениться на дочери Сигизмунда, королевне Анне, и с ее рукой получить Польшу и Литву: 14 декабря 1575 года Анна панами вельможными была провозглашена королевой, вопреки желанию всей земли, ожидавшей Ивана Московского. 18 апреля Стефан принял послов Рады Польской, подписал представленные ему условия. Первого мая он уже был обвенчан с Анной и короновался в Краковском древнем соборе на королевство Польское и великое княжество Литовское. Молодой, полный свежих сил боец быстрым неожиданным ходом нанес шах и мат старому, усталому бойцу — Иоанну.

Наскоро заключив мир со шведами, ссадив с трона московского Симеона, как ненужную более куклу, Иоанн ответил венгерскому удальцу сильным ходом из другой партии. Он залил войсками Польшу и Ливонию, Эстонию, брал один город за другим, исключая вторичной неудачной осады Ревеля. Магнус, видя, что его будущее королевство уже почти завоевано, хотя бы и чужими руками, вздумал было требовать у Иоанна обещанную власть, причем заперся в Вендене.

Послов Магнуса, доставивших послание от этого «короля без королевства», Иоанн приказал высечь, а Венден — осадил. Магнус вышел из города, кинулся к ногам царя и вымолил унизительное прощение.

— Если бы ты не был королевским сыном, — сказал Иоанн,— не был мужем моей племянницы — показал бы я тебе, как мои города забирать!

Магнуса взяли под стражу, потом — отослали в маленький Каркус-городок, под бок к жене. Немцы, которые заперлись в кремле венденском, не хотели сдаваться. Одно ядро едва не уложило самого Иоанна. Тогда город был взят штурмом. Защитники крепости, сидевшие там со всеми семьями, взорвали себя на воздух, чтобы не отдать жен и детей на бесчестие татарской орде Иоанна.

Горожане не избегли этой злой участи, а в довершение были вырезаны до последнего.

Не слышно стало теперь о казнях в Москве. Только на полях битв свирепствовал еще Иоанн.

Но и здесь скоро юный Баторий, собравшись с деньгами, с войсками и заручившись союзниками, стал наносить царю удар за ударом.

Снова согнулся Иоанн. Как недавно Девлету, так теперь Баторию стал писать он смиренные грамоты.

И, по-обычному, едва улыбнется где счастие Москве против Литвы — снова надменный тон звучит в словах и посланиях Иоанна. Так и потянулась долгая Литовско-Ливонская война. Баторий появился на русской земле, взял Полоцк назад у царя. Забрал Холм, Озерище. После страшной резни — взял Сокол — и зазимовал лишь подо Псковом, который так успели укрепить, заняв гарнизоном в шестьдесят тысяч человек, что стотысячная, испытанная рать Батория напрасно теряла последние силы, стараясь взять у Иоанна эту крепость.

В Эстонии, в Ливонии — всюду Иоанн терпел урон.

Так хуже все и хуже шли дела на Руси.

Глава VII

Год 7089 (1581)

Ноябрь

Годы, недуги, муки душевные и телесные, наконец, подломили могучую натуру Иоанна.

Не слышно опал и казней на Руси. Войска за рубежом не видят больше царя со стягом победным за собою. А надо бы Иоанну двинуться с места. Всю зиму Псков, врагами окруженный, стоит, уж и голодать начинают люди, затворившиеся в крепости и отражающие приступы войск Батория.

Но Иоанн духом упал. Царевича Ивана тоже не пускает от себя. А вдруг и сына старшего собьют враги с пути, против отца научат восставать.

Никому не верит старый сердцеведец, потому что хорошо знает самого себя, знает, что ему тоже нельзя ни капли верить, если только земли и царства касается.

И живут в мрачной Александровской слободе по-старому отец с двумя сыновьями взрослыми, с новой молодой мачехой-царицей, Марией Нагих в девичестве. Матерью скоро готовится стать

молодая царица. Не попусту в седьмой раз женился Иоанн, отягченный годами, болезнями и распущенностью своею.

И другая обитательница мрачного дворца в Слободе, третья жена царевича Ивана, юная царевна Марина, тоже носит ребенка. Внука готовит державному деду.

Так и блаженная Аленушка говорит, любимица царевны Марины.

— Раньше да выше будет твой царевич ее царевича! — тыкая пальцем в царицу Марию, бормочет дурочка царевне Марине.

Та — алеет. А царица-мачеха бледнеет и брови сжимает грозно. Зла царица Марья, в свой род, в Нагих пошла.

И порой, пересилив отвращение, какое внушает ей старый, больной мучитель-сластолюбец Иоанн, — ластится к мужу царица и жалуется:

— Слышь, бают, наш сын будет ниже сына этой дуры, бабенки Ваниной, снохи-то твоей! Может ли быть то?

— Пока я жив, — не может...

— Ну то-то! А зачем она дразнит меня? Видит, что ты, старый грешник, заглядываться стал на сноху-прелестницу... Даром, что на сносях баба... Не хуже вот меня — полным-полна! Прочь поди! Не люблю такого...

И делает вид, что хочет оттолкнуть мужа.

А тот тянется за женой и шепчет:

— Постой, погоди минутку... Еще ... минутку... Малость самую... А уж я... Я проучу ее...

И взглядом ищет старый, привычный посох свой с острым наконечником. Не расстается с ним и доныне царь. Часто гуляет жезл по спинам рабов нерадивых...

— А уж какая охальница да срамница баба. Нагишом чуть не при людях ходит. Да с парнями все бы ей. Гляди, внучок-то твой богоданный — так только, по имени роду вашего царского, а не взаправду... Грехи! Поганая бабенка. Каждому на шею готова кинуться.

— Что ты?

— Вот тебе Бог... Сама сколько раз видела; по сеничкам в уголках, по переходам стоит, прячется, да не одна, а все с мужиками. Я и подойти боялась. Ну прибьют? А что творили они: козни ли супротив нас с тобой строили, так ли хороводились, как узнаешь?

— Козни? Марина? С кем? С кем же?

— Ну, нешто разобрать лица? Видать, что боярин. А какой, поди разбери! Более тыщи охальников их здеся у тебя, в Слободе.

Хмурится царь и ласкаться к жене перестал.

Козни?! Все быть может. Добра не видал он от людей. А козни? Их только и знает всю жизнь. Иван, сын его старший, мрачный что-то ходит. И на пирушках невесел сидит. А это — дурной знак. Видно, совесть не чиста. И в дела царские все норовит, щенок, впутаться.

Надо приглядеться будет. Вовремя зло захватить. А то? Долго ль придавить его, старика?! А умирать еще не хочется. Тяжело жить. Но умирать? Нет, умереть — рано!

И быстро поднялся Иван с лавки, где после обеда на мягких подушках с женой шутил, отдыхал.

— Пойду-ка, сына проведаю, словом с ним перекинусь. Да и про невестку скажу. Научил бы жену не грубить царице, матери своей, супруге нашей. Ты погоди... Я скажу...

И, стуча по настилу покоя жезлом, пошел из горницы Иоанн.

Душно в невысоких покоях мрачного, обширного Слободского дворца. Осень на дворе, ноябрь прохладный, румяный. А в горницах везде жарко-прежарко натоплено ради царя. Зябок он стал, словно дитя малое.

Скоро Иоанн добрался до покоев, в которых царевич старший живет.

Проходит одну, другую горницу — нет никого. Отдыхают, видно, после трапезы.

Вдруг, войдя в летнюю опочивальню, в светелку, наверху, он увидал на широкой лавке свою невестку спящею.

Оставя мужа внизу, царевна поднялась сюда, где попрохладнее, разделась, кинулась на мягкий ковер, которым прикрыта лавка, под голову подушку притянула — и сладко спит. Одна сорочка тонкая, шелковая, ровно вздымается на груди. Горят румяные щечки, рдеют во сне. Брови соболиные как по шнурку рисованы. Ресницы густые, длинные, осеняют закрытые глаза. Алые, детские губы полураскрыты. Раскинулась небрежно во сне царевна, полуребенок, готовый через четыре месяца стать уже матерью... пятнадцать лет всего царевне.

Глядит Иван. Хороша. Дивно хороша. Куда лучше Нагой. Та баба совсем. Высокая, крупная. А эта как хмелевинка, стройна и гибка.

Осторожно с пересохшими губами подошел к спящей старик. И про журьбу забыл. Левой рукою слегка по волосам провел. Густые, шелковистые пепельные волосы распущены. Волнами падают на грудь, такую нежную, полусозревшую, как бутоны весной на розовых кустах. Коснулся руки, закинутой над головой. Теплая, мягкая кожа, совсем атласистая.

И наклонился грозный свекор, припал с поцелуем к губам невестки.

Та сразу проснулась и в полусне еще спросила:

— Ты, Ванюшка?

— Ванюшка, Ванюшка... — улыбаясь и отклоняясь немного, проговорил Иван. — Угадала невестушка.

В испуге вскочила сноха.

— Ты, государь-батюшка? Прости, помилуй. Не ждала тебя. Жарко. Истомилась, недуга моего ради. Прости! — вся алея от стыда, бормочет растерянная женщина. Потом к тому концу лавки кинулась, где одежду бросила.

Схватила сарафан, им прикрывается.

— Жарко? Еще б не жарко. Да брось сарафан. Брось. Не чужой, ведь, я... Свекор родной... Брось...

И он взялся за край одежды, чтобы вырвать и отбросить ее.

Безотчетно, изо всех сил держит измятую ткань, прикрыла ею грудь царевна. Рвется, не дает сарафана, сама из рук у старика безумного скользит.

А в том уже зверь заговорил.

Ему противиться? Ему не уступать? Царю, отцу державному! Девчонка спорит с Иоанном! Да если бы он кожу стал срывать с нее, с дочери богоданной, с подданной его — и то молчать, терпеть, смирно стоять должна.

В приливе ярости, смешанном с ощущениями дикой, страстной злобы, вступил в борьбу озверелый старик с обезумевшей от страха женщиной. И не кричит она, только рвется из рук у него, сарафана не дает, к дверям порывается.

— Нет, не уйдешь! — хрипит старик. — Еще с такою — справлюсь. Поставлю на своем! Нечего невеститься!

И правда, одолевать начинает. Чувствует женщина, что руки слабеют. Сейчас выскользнет сарафан из судорожно сжатых пальцев, и опять она полунагая будет стоять перед этим страшным человеком.

С последним усилием, забыв, кто перед ней, — рванулась в сторону царевна, так в грудь толкнула старика, что отпустил он сарафан.

Свободна, спасена, наконец. К дверям бросилась.

Но разъяренный свекор уж перерезал дорогу. Поднят тяжелый посох и тяжкий удар ложится на плечо несчастной. С криком у самого порога свалилась она, руки над головой подняла, еще ударов ждет.

И посыпались удары. Но не жезлом — рукой.

Согнувшись над упавшей, почти прильнув к ней, — обеими руками наносит удары по нежному телу обезумевший старик, и все то же смешанное чувство ярости и страсти безудержной —

слепит его воспаленные глаза, неподвижно уставленные в лебяжью шею этого полуребенка, полуженщины. Не видит и не слышит он ничего. Только, чувствует, что чья-то сильная рука схватила его за плечо и сразу отбросила от жертвы, над которой так мучительно хорошо чувствовал себя Иван, терзая ласками хрупкое созданье.

— Кто смеет? — взмахнув поднятым с полу смертоносным жезлом, вскрикнул было старик. Но тут же сразу умолк.

Царевич Иван проснулся внизу, услыхав крик жены, прибежал в испуге и стоял теперь перед царем.

— Ты... ты что же делаешь, отец? Убить ее собрался или?.. Что же делать мне? Господи, Боже мой! Зверь ты или человек? Гляди, что сделал-то?

Подняв жену и видя, как избита бедная, царевич сам бледнее смерти стал...

— Ну, будет... Не беда... Чего скулишь? Поучил невестушку. Неучтива больно. Гляди, как отца... как царя своего встречает... Словно ведьма, простоволосая... раздетая... Да еще грубить затеяла... Ну, и поучил... А теперь будет...

И, чувствуя, как он не прав, старик к дверям уж двинулся.

— Нет, стой, батюшка... Так не уйдешь теперь отсюда! — сложив на лавку бесчувственную жену, заговорил царевич.

— Не уйду? Так и правда: козни с этой распутницей строишь супротив меня? Ждать наскучило, пока умрет старик... Думаешь: скорей бы за бармы схватиться... Так берегись!

— Не знаю, о чем говоришь ты, государь, а я душу свою выложу! Третью жену ты губишь у меня... Одну сосватал, да пожить с нею не дал, в келью заточил ни за что ни про что... Вторую — тоже... И третью отнять хочешь... Да еще младенца во чреве губишь моего! За что же? Что же это? Бога ли нет на небе? Как живешь ты? Ведь, если правда то, что я подумал сейчас, так... мало казней за грех такой... Сноху губишь... Внука губишь... За что? Можешь ли?! Изверг ты!

— Что, что? — шепчет старик, а сам озирается.

В дверях стоит Иван-царевич. Не пройти.

Взвесил тяжелый посох в руке старик, изготовился.

— Да, мало казней лютых тебе за такое дело! Русь гибнет... Стыд над нами навис... Пскову бы помочь подать... А ты... Меня не пускаешь... Сам не идешь... Беспутством живешь здесь... Не то чужую, — родную кровь пить готов, лих, сил не хватает... Не жить такому лучше! Раздавить тебя надо...

И в безумном порыве, царевич, неоглядчивый сын безудержного отца, сделал движение вперед, невольное, роковое движение.

Просвистало что-то в воздухе. Посох, с тяжелым, стальным жалом на конце, пущенный привычной, хоть и старческой рукой, так и впился, как дротик прямо в голову, в место над левою бровью царевича...

Широко, словно птица крылами, взмахнул руками царевич — и рухнул к ногам отца.

Посох, раздробив висок, отскочил, лежит на полу...

Мертвенно бледна, на лавке широкой царевна уложена. Сомкнуты глаза... Не видит она, как вдруг над упавшим мужем ее наклонился дрожащий старик, к свету раной голову сына повернул, рукой зажимает широкий пролом, из которого вместе с волнами крови и жизнь отлетела, жизнь такого могучего, красивого юноши... наследника великого царства Московского...

Иссиня-бледно лицо старика. Сквозь пальцы сухие, узловатые, которыми охватил он голову сына, — кровь льется густая, липкая. Безумными глазами глядит старик на пурпурные, липкие струи, шепчет невнятно:

— Да, нет же... Не может быть. Не хотел же я... Он... Шутит он все, прикинуться вздумал... Ваня... Ваня... Сын... Царевич мой ненаглядный... Да идите ж, идите скорей все сюды... Скажите ему, чтобы встал он. Чтобы не пугал он меня... А-а-а!

И с диким воем, в судорогах повалился убийца-старик на труп убитого сына своего.

Говор, смятенье за дверью светлицы, но войти... войти никто не решается.

Эпилог

ГРОЗА ОТБУШЕВАЛА

Год 7092 (1584)

18 марта

Заключен мир с Литвой. Хоть и тяжелый, — но мир. Все лучше всякой ссоры. Заключен мир со шведами. С ханом крымским мир заключен, с Солиманом — падишахом и с цесарем. Со всеми — мир. Сознает старик: рано для Руси бороться с Западом! Последним ударом не только сына, и себя добил Иоанн.

Во время долгих дней безумия, овладевшего отцом — невольным сыноубийцей, бояре ближние, с Годуновым во главе, правили царством. Около двух лет прошло. Оправился Иоанн — и дал

всему дальше идти тем же чередом. Идет дело — ладно. Движется огромная машина, перестроенная и в ход пущенная могучим строителем — хозяином земли. Ни прибавить ей ходу теперь нельзя без особых, нечеловеческих сил, какие были раньше у Иоанна, ни замедлить слишком нельзя размахов тяжелого маховика русской народной жизни. Веком раньше, веком позже — все придет. Все, о чем мечтал лишь Иоанн в лучшие, творческие минуты свои, — все станет действительностью...

Иные мечтатели на троне явятся, ускорят век, на два хода огромной машины... И опять ровней задвижутся колеса, тише зашуршат шестерни и валы.

Отдых и народам целым нужен, как каждому человеку в отдельности. Пути проторены. Ермак — Сибирь принес, если не к ногам царя, как пишут в реляциях, так отдал в руки славянскому народу... Оттеснили Москву от Ливонии, от Эстляндии... Но Москва цепка. Где раз побывал, придет, чтобы покрепче взяться за дело, — и осилит его...

Польша, Литва? Все дело времени... И Крым... И Цареград далекий... И город, где кроткий Спаситель за всех был распят... А пока доживает Иоанн свои печальные дни, пережив былую доблесть и славу... Не без дела живет он все-таки. Племянницу помоложе у Елисаветы Английской сватает... На вторую невестку свою, на Арину-красавицу заглядывается, на сестру Бориса Годунова, и вспоминает: как раньше хорошо жилось! С доктором ученым, с Робертом Якобусом, которого сестра Елисавета прислала, о своем тяжелом недуге все толкует...

Раньше, после гибели царевича Ивана, долго в себя не приходил Иоанн. По ночам с постели вскакивал, вырывался из рук окружающих его людей, метался по дворцу и страшно вопил. Чудилось ему, что, весь окровавленный, идет за ним, гонится убитый им царевич... А за царевичем — бесконечная вереница таких же окровавленных призраков... Все, кто в синодике записаны... И внук-малютка, которого не доносила невестка избитая... И она — тут же, от родов безвременных погибшая... Все гонятся за стариком... И мчался он из покоя в покой, вверх и вниз по безмолвному дворцу Слободскому, ужас наводя на всех своими воплями ужаса... Кое-как излечившись, оправившись, созвал царь бояр всех и объявил:

— Окаянный я грешник. Кровью сына руки обагрил. Не достоин скипетра касаться царского... Сын мой Федор умом и духом для царства слаб. Изберите кого из своих князей али бояр... На трон пусть сядет... Либо Ернесту Австрийскому, сыну брата и друга нашего наследье упрочим. Решайте... подумайте!

Переглянулись бояре, старые времена вспомнили:

— Не ловушка ли это, чтобы вызнать их думы?

И зашумели все:

— Царь-государь, не один царевич у тебя... Вон и Димитрия-царевича второго Господь вам с царицей Марией послал. Старший не пожелает на отцовский стол воссесть, погодим, пока младшенький выровняется... Было так, знаем мы...

— Было, было. Со мной так было... — задумчиво сказал Иван.

Понял, что лукавят бояре, — и отпустил их с миром... А сам царице Марии Нагих говорит:

— Слушай, как умру, сокрой, убери куда-нибудь дитя наше... Загубят, изведут семя царское, как первого Митю извели моего. Как меня извести пытались... Клянись, что послушаешь меня!

— Клянусь, государь... Богом заклинаю! И то, чует сердечушко недоброе... Таково-то плохо я тебя нонеча во сне видела...

— Молчи, дура-баба! Прочь пошла... — И сам отвернулся, прочь пошел, отплевывается все...

Только духом окреп Иоанн, тело разрушаться стало... Заживо распадается... Как у отца... Изнутри гангрена поедает Иоанна. Снаружи — весь отек он... Руки, ноги... Бывает полегче временами, да недолго. О женской ласке уж и думать нечего. Тварь неразумная, Зорюшка, любимая гончая царя, — и то теперь с визгом убегает, едва он руку протянет приласкать ее... Чует пес дыхание смерти!

Одна кроткая Арина, жена Федора, приходит порой, приглядит за умирающим, подаст, что надо, не грубой чужою рукой челядника, а нежной и ласковой, дочерней рукою...

Март стоит на дворе... весной повеяло. Солнце стало чаще и дольше светить в окна опочивальни больного старика, словно вливая жизнь и бодрость в его холодеющее, изможденное тело.

— С весною и ты, царь-батюшка, оздоровеешь, гляди, — ласково улыбаясь, сказала больному Арина, входя в середине марта в опочивальню царя поглядеть, не надо ли чего старику.

Добрая, отзывчивая женщина искренно жалела свекра, о котором порою забывали и самые приближенные люди.

Сейчас, сияющая, свежая, как дитя весны, как луч солнечный, появилась она в опочивальне и своими темными, лучистыми глазами стала вглядываться в лицо больного.

Смуглая, тонкая, хотя и меньше, чем брат Борис, выдавала лицом Арина свое восточное происхождение, все-таки видно, что не русского корня она. А голос — пленительный, бархатный, говор с легким нерусским носовым оттенком — душу ласкали они всем, больному же старику в особенности...

Порою запевала негромко сноха песни печальные, протяжные... И отрадные, светлые слезы катились по его дряблым ще-

кам, туманя воспаленные, вечно бегающие, подозрительно и злобно выглядывающие глаза...

Призраки и тени по ночам носились перед этими глазами... И тогда, окончательно лишаясь рассудка, он метался в покое и кричал, сам молил:

— Орину, скорее... Пусть молит Господа... Пусть голос подаст... споет мне... Разгонит духов злых...

И он сам шел к снохе, или она являлась к нему... Говором, голосом, песенкой, прикосновением нежной, прохладной руки отгоняла тьму безумия, то и дело налетающую на этот мощный когда-то дух.

И вот сейчас, в полуденную пору, когда ушли все в трапезную, явилась Арина проведать, не забыт ли совсем больной.

Отекший, огромный, как колода, он уже несколько дней и двигаться не мог, не вставал с ложа.

Увидя Арину, осклабил Иван свой рот, теперь почти лишенный зубов, несмотря на то, что только 53 года ему.

— Оринушка, касатка... Солнышко... Правда моя... Авось оздоровлю... Сам чую: силы прибывают. Хошь свадьбу играть... Што же? Хвор я, да не мертвец вовсе... И не перестарок... вона бояре мои, Сицкой да Куракин... Обоим за седьмой десяток. А бабы их пузаты. Не от полюбовников, бают... Мне же и на два десятка поменей старцев тех... Хе-хе...

— Пошто же, осударь, царицу-осударыню не зовешь к себе? — отозвалась Арина, оправляя ложе больному, приводя в порядок сбившиеся покровы.

— Нейдет, сука... Получше нашла, гляди... Да ей ошшо лекаря подлые нашептали, што от меня занедужить может. Клеплют все. Жили же... и Митю от меня прижила, — не сталося с ней худо... Ошшо мне бает: «Самому, муженек, не след тобе к бабам ластиться...» Сам я не знаю, што ли, след али не след? Подлая...

И, ухватя за руку Арину, он вдруг умильно зашептал:

— Оринушка, пожалей старика... Хошь девку свою, которую ни на есть, приведи... Поубрала бы у меня... Ишь, не ладно как... Сорно... пыльно... А?

И, не ожидая ответа, которого не умела даже дать стыдливая женщина, он вдруг взял ее и за другую руку и с неожиданной силой, полуприподнявшись на ложе, зашептал, прижимаясь головой к пышной груди царевны:

— Слышь, дозволь сама... Поцелую... Сюда вот... Грудку твою лебяжью... белую... Только.... Оздоровлю... Чую, што здоров стану от тово... Меня ли не пожалеешь... Не рвися... Стой... Не пущу... Никого там... И не ори... Не услышат...Не пущу...

И всей силой стал он тянуть к себе напуганную, дрожащую Арину, которая отбивалась, как могла, и громко звала на помощь.

Ослабевать уже стала женщина, когда на пороге появился врач царя. Услышав крики, прибежал из дальнего покоя, где отдыхал после бессонной ночи, и этим спас Арину. С проклятием выпустил руки царевны Иван и, проклиная, кощунствуя, с пеной на губах, повалился на ложе. А женщина, закрывая руками лицо и грудь, на которой сарафан был разорван стариком, стрелой пронеслась мимо пораженного немчина...

Ночи особенно царю тяжелы... Все голоса какие-то... Храм ему видится темный... Читают имена всех, им внесенных в синодик, и полон храм этими самыми людьми, по ком панихиды поют...: Царевич старший впереди... А за ним — все Филиппы, Филиппы, Филиппы... Большие и малые, мужья и жены... Разные... Только лица у всех — такие точно, как у Филиппа было, когда его из собора гнали с позором: кроткое, незлобивое... Да и не Филиппа это лик, а Другого... Того...Распятого за людей... И Иоанн начинает понимать, что он тоже Его распинал... Распинал в лице всех этих призраков, которые были живыми людьми когда-то...

Облитый холодным потом, с диким воплем просыпается Иоанн. А наяву — все то же. Опочивальня его полна призраками, и чей-то голос читает синодик бесконечный... И кровь леденеет в жилах...

И только, когда часы боевые прозвонят рассветный час, — дрогнут тени, побледнеют и скроются... Ненадолго, до завтра... До первой темноты ночной... Умереть легче, чем эти ночи переживать... А днем? Днем совсем иное... Люди, шуты... Попугаи... Послы приходят... Бояре, дьяки... Не все помимо царя делается... И днем вспоминает Иоанн то доброе, что сделать успел для Руси.

Учить стал народ, людей простых и бояр надменных... В уме вспоминает Иоанн: какую принял Русь, какою оставляет ее... И радуется, и спокоен! Днем — ум работает... Ночью — совесть говорит. Не уснула в царе эта гостья докучная.

Медленно, но неудержимо идет разрешение... И лекарей, и колдунов, и ведуний призывал к себе Иоанн... Ниоткуда нет помощи. По монастырям послал умирающий царь просьбу самую смиренную: пусть молят Бога о помощи, о чуде! Молятся попы и монахи... Усиленно моленья шлют... Народ? Он как-то затих, напуган. И не ждет ничего доброго... И желать боится... Но попы усиленно молятся.

И правда, легче стало Иоанну...

18 марта 1584 года проснулся он, словно совсем поправляться готов. Грудь не давит. Спал всю ночь покойно... Видел Настю и Митю во сне... Своего первенца-царевича...Свою первую жену, первую и последнюю любовь. Все же другие? Ну, известно, чем были оне... Спустились с небес будто оба к нему. Митя по лбу

ручонкой водит... Свежесть, прохлада в самую душу проникла от этой нежной, легкой ласки, от мягкой детской руки, пальчики которой, как лепестки розы, легли на пылающий лоб Иоанна...

А Настя шепчет... Тихо, кротко шепчет:

— Соскучилась. Позабыл ты, видно, о нас, государь... Грех... Ждем... Побывай на досуге...

И скрылись тут же. Не хотели дольше побыть...

— Знаешь, Якобус, добрый сон мне снился нынче, — говорит врачу-англичанину государь...

— То-то, говорили мне, что спали вы спокойно, ваше величество, нынче всю ночь! — с довольной миной, кивая головой, отозвался тот.

Щупает пульс, глядит язык больного...

Встал Иоанн... Легко, хорошо ему... День весенний за окном. Должно быть, прохладно, свежо, но не очень. Вон на солнце какие лужицы от снегу...

— А не сыграть ли нам в шашки с тобой, Якобус? Давно не побивал я тебя...

— Сыграем, государь... Рад служить...

Принесли дорогую тафельницу... Сели играть... Вдруг дернулось судорогой, потемнело лицо Иоанна.

— Скорей, за царицей... За попами! — крикнул только Якобус...

И стал около больного хлопотать, бормоча:

— Так и знал... Не нынче завтра следовало ждать...

Над полумертвым царем совершили обряд пострижения, как он давно приказывал, а к вечеру — не стало инока Ионы, в миру — Иоанна IV, Грозного. Свободно вздохнула земля. Свободно вздохнули бояре, войско... Все. И только спрашивали друг друга:

— Как вынесли мы? Как раньше не сдогадались?

Не умели понять, что их же взаимная свара и рознь делали могучим и страшным этого тирана, который при жизни получил имя Грозного и на Руси, и за рубежами ее... Кровавой, пылающей кометой много лет горело на горизонте имя Ивана. Теперь закатилось это светило, такое тусклое, утопающее в ореоле кровавом под конец...

Воцарился Борис Годунов, именем свояка-царя приявший власть и землю в свои руки...

Ярко заблестела звезда этого умного счастливца-боярина. Светлее заблистали и многие другие звезды на беспредельном горизонте русской государственной жизни.

Но день еще не загорался! Не взошло над многострадальной русской землею ясное солнце свободной и разумной жизни, правды и права общеземского!



НАСЛЕДИЕ ГРОЗНОГО



Повесть из эпохи самозванщины



Часть I

ДИМИТРИЙ - СИРОТА

ГОРОСКОП

Глубокая осень стоит. Октябрь на дворе. Печальная пора для всех. А печальнее всего теперь — во дворце царей московских, в палатах и жилых горницах царя Ивана Грозного, как его прозвали потомки. Мучителя, тирана, как звали современники на Руси и за пределами ее.

Печально тянутся дни и в теремах дворцовых, на половине молодой царицы, Марии Федоровны, из семьи Нагих, — хотя именно теперь и есть причина веселиться и ликовать ей самой и всему роду ее.

Больше двух лет тому назад обвенчался Иван с молодой царицей. И не давал им Бог детей, не благословил этого брака.

Тоска овладела царицей. Плохие вести стали доходить к ней.

По старым обычаям, — царь может свободно расторгнуть брак, если нет у царицы потомства. А Иван даже и переговоры завел с Елисаветой, королевой Англии, просит у нее в супружество племянницу, тоже Марию, Гастингс родом.

Посол Ивана, дворянин Федор Писемский, еще в августе 1582 года отправился ради этого сватовства и иных дел в Англию. В ноябре он представился в Виндзоре Елисавете, а в половине декабря, на втором приеме, повел речь и о сватовстве.

Но на счастье русской Марии, ее далекая тезка заболела, в оспе слегла, по словам самой Елисаветы, и послу не могли показать принцессы.

Да еще вопрос ему задали:

— А правду ли говорили наши купцы, только что прибывшие из Архангельска, что у вашей царицы Марии — сын родился?

Знал, не знал ли об этом Писемский, — но он решительно отрицал такое событие, причем пояснил:

— Государь Иван Васильевич по многим государствам посылал, чтобы невесту приискать. Да не случилось. И взял за себя государь в своем государстве простую боярскую дочь, не по себе.

А ежели случится доброму делу быть, так государь наш, свою царицу оставя, — сговорит за королевскую племянницу.

Но только месяца четыре спустя показали ему издали в саду Марию Гастингс.

Между тем купцы-англичане сказали правду.

В печальное осеннее утро, когда только занимался мутный день, когда потоки размывали колеи на остывшей земле, а порывистый ветер колыхал и трепал деревья дворцовых садов, — 19 октября, на рассвете, — родился у царицы давно желанный и жданный ребенок, мальчик. По имени святого, память которого празднуется в тот день, Уаром назвали царевича и дали потом, на молитве, второе, родовое царское имя: Димитрия, удельного князя Углицкого.

Сам царь-отец заботами угнетен, враги зарубежные его стеснили. Едва с Баторием помирился на очень тяжелых и унизительных условиях, а тут шведы насели...

Сына старшего, женатого царевича Ивана, — совсем недавно убил он своею рукой в припадке безумного гнева, какие еще находят порой на больного царя.

Дома — тоже непокойно, внутри царства башкиры, черемисы бунтуют, ближние бояре не оставляют «крамолы», куют заговоры... Турки грозят, татары напасть готовятся... Царевич Федор, наследник, — такой неудачный, что Иван даже переговоры завел, нельзя ли принца Эрнста Габсбурга посадить на трон Московский.

Телом ослабел Иван... Болезнь, давно пожирающая его внутри, теперь готова наружу прорваться.

Духом совсем упал он, утомился. Руки опустились.

А тут — сына судьба послала царю, как бы в утешение, — крепкого, здорового!

Правда, не на него, больше на мать похож малютка. Но такой плотный, крупный. Крикун неугомонный. И звонкий голос ребенка готов, кажется, вспугнуть черную, огромную птицу тоски и заботы, отчаянья и страха, которая опустилась на кровлю царского дворца, осенила свинцовыми крыльями сады и дворы кремлевские... всю землю русскую, от края до края...

Почти разучился смеяться царь Иван за последние годы. Даже любимые шуты, уродцы и карлики не тешат его.

Только детский лепет и смех быстро растущего крепыша-царевича, его ясная улыбка, от которой двумя огоньками загораются темные, бойкие глазки, — только они и могут еще порою вызвать улыбку на хмуром лице царя.

Берет он мальчика, пытливо вглядывается в смуглое личико, словно хочет что-то прочесть там, узнать о чем-то затаенном.

О чем? Кто знает!..

Роберт Якоби, доктор, присланный царю Ивану королевой Елисаветой, оказался не только врачом, но и астрологом. В самую ночь перед появлением на свет Димитрия он улучил час, когда порывы ветра очистили немного небо, записал положение звезд и планет и, на основании этих наблюдений, составил гороскоп новорожденного царевича.

Когда Якоби явился для обычного утреннего осмотра к царю, первым вопросом Ивана было:

— А что, звездочет, готово ли твое начертание звездное для царевича моего?

— Царевича?.. — смущенный, даже как будто опечаленный, ответил доктор. — Неудача, как назло, приключилась, государь. Сам знаешь, какая непогода и сейчас бушует. А ночью — руки своей не увидел бы никто в темноте, не то что светил небесных. Не вышло ничего, государь.

Слушает нахмурясь Иван.

За сорок лет своего правления, принимая всяких послов иноземных, а больше всего — немецких и английских, подучился он чужой речи, почти все понимает, только сам не умеет говорить.

Не успел Богдан Бельский, служащий переводчиком, заговорить, как Иван, хмурясь, возразил:

— Ничего не вышло, говорит? Лжет! Скажи: уж мне доложено... знаю я от Ягана, которого он для помощи брал... Там больно нерадостные знамения обозначились. Что поделаешь, воля Божия. Скажи: меня уж трудно чем поранить. Все тело, душа вся в язвах... Места живого нету... Так пусть говорит. Доброе не знать — тяжеле, чем дурное услышать. Знать все хочу! Скажи.

— Ну, коли так, — я повинуюсь! — с поклоном произнес осторожный прорицатель, добыл из кармана небольшой сверток, развернул его перед царем и стал говорить, водя по чертежу бородкой гусиного пера, взятого с чернильницы, стоящей тут же: — Вот Арес, иначе Марс называемый. Кровавая планета — выше всех поднялась. Много крови вокруг ребенка вижу... И сам он целые моря крови прольет... Красное блистание Ареса превосходило всех. Кровавое дитя родилось, как думать я могу. Тут Геракл и Венус в треугольном сочетании с первой звездой. Войнами прославится дитя больше всего и от любви много приключений узнает, но печальный конец их ждет. Вот Сатурн сторожит на одной линии с этими двумя — и тем всякую добрую надежду отымает. Два раза перекрещивается линия Хроноса с Альдебараном и Альфой Овна. Будет дважды на троне сидеть царевич, дважды достигнет высоты, дважды родится... Дважды умрет...

Иван сначала слушал предсказателя с легкой улыбкой недоверия, но при последних словах слегка вздрогнул и насторожился.

Суеверный, как все люди его времени, Иван часто замечал, как люди надувают других, пользуясь такою слабостью, и это делало его очень недоверчивым.

Что бы ни делали и ни говорили ему, он прежде всего старался понять: с какой целью говорится это? Чего ожидают от него, какими расчетами вызваны известные действия?

В настоящем случае, как понимал царь, Якоби хотел блеснуть своими познаниями, побольше почета, внимания и денег надеялся заслужить.

Неожиданно — пришлось говорить не то, что ласкает слух покровителя. Средство угождения, каким является счастливый гороскоп, — могло обратиться в источник разлада с ним, с Иваном.

И все-таки — пришлось сказать то, что шептали звезды.

Но почему именно такие странные вещи предсказывает «немчин»? Не мог же он читать в душе Ивана...

А между тем, только зная планы царя, можно было заговорить о двойной смерти... о двойной жизни ребенка...

Именно двойственную жизнь задумал Иван создать для Димитрия. И никому еще не говорил об этом. Пора не настала. Откуда же проведал иноземец?

Или в самом деле далекие, тихо мерцающие светила, звезды небесные — связаны таинственной нитью с жизненными путями, с судьбой жалких созданий, живущих на этой темной земле?

Задумался об этом царь и уже почти не слушает прорицателя.

Да тому немного и договорить осталось. Обычные для всех царственных гороскопов предсказания сообщает Якоби:

— Принцессу очень могущественную в супруги получит царевич. Много союзов важных заключит. И завоюет большое царство. А под конец жизни — сам против себя войною пойдет... Вот эта линия — снова прямо к Аресу возвращается. И очень юным от меча падет царевич.

— На свое царство — войною? Падет от меча? — снова, вслушиваясь в речь Якоби, переспросил Иоанн. — Постарался, начертил, вещун долговолосый... Спасибо молвить бы, да не за что! Все ли? Может, еще что нашел? Дальше чем порадуешь?

— В пустоте обрывается последняя линия. Некуда перекинуть ее... Не оставит потомства дитя по себе...

— Пресечется род, значит? Э-эх, стоило бы твой бусурманский корень вывести за карканье, козел длиннобородый... Да сам я выложить правду дочиста приказал... не твоя вина, что и светила небесные против нас и рода нашего ополчаются... А и то ска-

зать: от слова — не сбудется. Ты черти свои чертежи, лай что хочешь. А мы себя и наследье наше — предаем воле Божией. Вражье лепко, — что говорить, — да Божье крепко!

И, вставая, Иван осенил себя сугубым крестным знамением.

Якоби, видя, что прием окончен, с низкими поклонами удалился.

У ЦАРИЦЫ

Несколько месяцев прошло с этого утра.

Крепнет малютка и веселит отца.

То было совсем почти не заглядывал Иван к царице, а теперь и на дню раза по два заходит, навещает опочивальню, отведенную для царевича, всегда окруженного целым женским штатом.

Здесь и матушка-боярыня Василиса Волохова, пожилая, дородная, чванная такая.

Ребенка держит на руках кормилица, Арина, Жданова по отцу, жена боярина Тучкова, — некрасивая, но молодая, здоровая, кровь с молоком, женщина тихая, добрая. Скучает только: своего сына пришлось на чужие руки сдать ради чести царевича выкормить.

Берет на руки малютку царь и все всматривается в смуглое, живое, круглое личико. Уж не ищет ли на нем признаков, отметок роковых, говорящих о том же, о чем сказали звезды? Или иное что хочет узнать государь?

А ребенок тянется ручками к отцовской бороде, к поределым, но длинным еще усам, теребит их, смеется, лепечет что-то...

И прежней, забытой, ласковой улыбкой озаряется угрюмое лицо Ивана. Так осенью сквозь тяжкие тучи прорывается порою закатный солнечный луч и озаряет рдеющим отблеском темные, влажные от непогоды кресты на печальном кладбище...

Приласкав ребенка, — прошел с царицей Иван в ее повалушу.

Жарко, душно здесь.

Молода, красива собой царица, но уж чересчур ленива. Полнота ли тому причиной, или от природы она такова, — а не любит передвигаться, шагу лишнего не ступит без особой нужды.

Впрочем, это общий недостаток знатных женщин ее времени. За полноту, за дородность ценят мужья их больше всего. А чем меньше двигаться, чем чаще и больше есть, тем тело скорее нагуливается.

Уселся Иван, выслал прислужниц, жене сесть поближе приказал.

— Что, Марьюшка, словно невесела ты нынче? — спрашивает он ее. — Гляди, так потончаешь... Ха-ха...

— А с чево и веселой быть, государь? Кажись, только и мысли и думы моей: тебе бы угодить, свет-батюшка. Вот и Господь молитвы услыхал мои грешные: какого царевича нам послал, на многие лета ему, нам на утешение! А ты, государь мой, все о том мыслишь: избыться бы меня... Вон, слышно, все за бусурманку сероглазую сватаешься. Меня и вон погонишь! Бедная я горемычная... Куды с младенчиком денуся, где приклоню голову, сирота бесталанная, вдовица убогая?..

— От мужа от живого? Полно, буде. Уж запричитала, захныкала. Не стану и ходить к тебе, коли ты так... Молчи! Вот и ладно... Оботри слезы-то. Улыбнися лучше. Знаешь меня: не сношу я реву бабьего. Тошно мне от плачу, от писку вашего! Не думаю я гнать тебя. Толкуем мы с Лизаветой с королевой. Да на то — особливые причины есть. Не твоего тут разума дело. Государское строительство вершится. Сказать — много можно. Пускай думает, что уж так я к ней душой тянуся. А она на ответ многое сделает, что мне надобно. Поняла? Что глядишь! Ничего не поняла. Э... да все равно. В Думу тебя не посажу. И здесь, в повалуше, хорошо живешь. А вот об ином деле потолковать с тобою надо, которое ближе к тебе, чем та принцесса. О сыне сказать хочу...

— Слушаю, государь, ох слушаю... Да только ты, гляди, чего страшного не скажи. Я и обомру начисто. Уж коли у тебя брови хмурятся... да вот так подмаргивать ты зачнешь, наперед знаю: либо гневаешься, либо что особливое сказать хочешь. Сон я ноне плохой ви...

— Ну, буде! Сны еще станешь мне тут... на бобах не разложишь ли? Говорю: дело важное. Знаешь ты небось, как недруги, свои предатели-крамольники злобою пышут... Только и думают извести бы им меня, государя, и весь род наш...

— Ох ведаю, государь, ведаю... Сама я собиралась сказать тебе: болярыня Пра...

— Стой! Слушай, что скажу... да помалкивай хоть малость. Ну и язык у тебя, Марья! Толстый такой, а как ворочается. В нем у тебя вся прыть и сидит, как я вижу... Цыц! Слушай... Чай, знаешь, какое прорицание звездное начертил Робертус-лекарь Димитрию нашему?

— Тьфу, тьфу, тьфу! Чур меня, чур! Наше место свято! На его бы голову, бусурмана окаянного! Беду накликает, нечистая сила! И тебя, государь, с пути сбивает!

— Ну, еще чего придумаешь! Ты слушай! Слыхала, поди, был уж у меня первенец, Митя тоже... от покойницы, от Настасьи... Помяни, Господи, душу рабы Твоея!

— О-ох, знаю... И то мне уж боязно, что имя-то такое неудачное моему сыночку дадено... Тот Димитрий чуть и годочку не пожил... помер...

— Помер? — вдруг, бледнея и сжимая зубы, как будто от ощущения внезапной боли, проговорил Иван. — Не помер! Загубили... отравили... со свету сжили, окаянные... В те поры — брата, Володимира, в цари на мое место ладили. Так не хотели и корня моего оставить... Окаянные!

— Господи! Неужто ж на младенчика, на душу ангельскую, рука у людей поднялася!

— Поднялась! Почитай, у меня да у Насти на очах все и свершили... Чуял я уж беду. С покойницей мы сговаривались: как приедем на Москву — укроем подале царевича. Чтоб никто не прознал, — себе иное дитя, чужого возьмем... А как окрепнет наш — привезу его да покажу недругам: вот, мол, ваш государь будущий... Чужого если бы извести им удалось — так не жалко! Ха-ха-ха! Все было надумано... Да упредили вороги, в пути младенца извели. Ваню удалось поднять мне, так напустили на меня же порчу... своей рукой его...

Он не договорил, закрыл лицо и долго оставался так без движения.

Сидела и царица не шевелясь, напуганная, бледная.

ЛУЧИ ЗАКАТА

Когда, наконец, царь, тяжело дыша, открыл лицо, покрытое крупными каплями пота, и стал отирать его, Марья спросила робко:

— А как же... Федя? Вот, не причинилось же ему ничего... Живет царевич, дал Бог милости...

— Этот-то? Что он им! И живет — как не живет. Кто захочет, тот и будет царем при Феде... Разве это мой отрод?! Так, Божие наказание... за все окаянства за мои... Молчи, говорю... Не поминай мне лучше. Слушай ты, — смиловался Господь. Дал нам дитя здоровое, смышленое. Видна уж вся складка у малого. Скоро весна придет. От солнца, от воздуху вольного он и краше расцветет, поди, чем ныне...

— Ох расцветет мой цветик, даст Господь, расцветет мой аленький... Ангелы Бо...

— Ну вот... и надумал я... — Иван сразу понизил голос. — Не дадут наши вороги и этому жить, как Мите первому не дали... Я молчу уж, а вижу все... Куют ковы бояре неугомонные... Пуще

всего — Шуйские... да Сицкие, да Шереметевы, да все присные с ими! И удумал я теперь так наладить, как в давние годы надумано было. Возьмем где-либо схожего младенчика... За своего выставим. А родного, Митю, — укрою до времени, пока вырастет. Изведут если вороги наши чужого, так не жаль. А там, сам буду жив, — выведу царевича, посмеюсь над лиходеями. А помру без времени — и того лучше, ежели укроем мы до поры сыночка... Разумеешь, Марьюшка?

— Разумею, как не разуметь, государь! Дура я, да уж не такая, чтобы про дите свое ничего не понять. Разумом не смогу — сердце матери вещун. Оно скажет. Отнять у меня сына надумал, государь... убрать его, куды — неведомо?! Самому бы вольнее было на Машке на Гастинковой ожениться! Так, ежели при царевиче, — и отец митрополит с отцами святыми, и бояре, гляди, скажут: «Негоже жену, ни в чем не повинную, вон гнать!» А не станет царевича — на что и я нужна? Уразумела, государь...

Стоит, даже словно выше ростом стала царица, последний поясной поклон отдала, выпрямилась — и застыла так: горящих глаз не сводит с мужа.

С досадой поднялся и царь, сердито посохом стукнул. Так и впилась сталь острия в половицы...

Тот самый посох в руках Ивана, которым он Ивану-царевичу нанес смертельную рану около года тому назад.

— Слушай! — начал было Иван.

Но, взглянув в лицо Марье, он прочел в нем такую решимость, такое ограниченное, но неодолимое упорство, какое можно встретить только в душе у женщины, живущей больше инстинктом, чем сознанием, — убить можно такую женщину, но не переубедить.

Опостылела кровь и убийства самому Ивану.

С досадой махнул он рукой и вышел, ни слова больше не сказав царице.

А Марья Федоровна с места, с необычной живостью и быстротой направилась к Димитрию, взяла его из рук у кормилицы, стала целовать, прижимать к груди и шепотом запричитала:

— Не отдам я тебя, ненаглядного моего, никуда, никому на свете... Ото всякого зла и напасти оберегу... Миленький, солнышко ты мое, дитятко мое рожоное! Ото всех бед укрою... Жизнь на то положу...

Подойдя к иконам, упала на колени и, подымая ребенка к лику Богоматери, зашептала:

— Охрани Ты его и меня, Пречистая Матерь Бога Нашего, за всех перед Богом Заступница!

Но не удалось царице осуществить своего решения, не помогли ей ни молитвы, ни обеты, которые она твердила перед ликами святых день и ночь.

Попытался было Иван с другой стороны повлиять на царицу. Брату ее, Михайле, самому рассудительному из всей родни Нагих, он открыл свои замыслы, просил потолковать с упрямою естрою.

— Не бывать тому! — ответила царица Марья. И повторила все то же, что говорила мужу.

— Дура ты, хоть и царицей стала, — отрезал ей раздраженный Нагой. — Ты о том бы хотя помыслила...

— Хоть дура, да умнее тебя! Обо всем я помыслила...

— Досказать дай! Твое царское величество о том бы подумало: сын, хоть и другой, — останется при тебе. Никто знать не будет, что не Митя это твой... И отец митрополит, и иные, кого поминаешь ты, — не скажут же, что бездетна ты, коли царское дитя при тебе! Ну, уразумела?..

— А-ах, чем порадовал! А ты не знаешь, каков у нас государь? Не слыхал? Глазами не видал своими? Я уж додумалась... Он не то станет ждать: не изведут ли бояре младенчика, — сам повелит своему лекарю, бусурманину какому-либо... Живо уберут чужое дите. Вот я и ни при чем... Й вон меня...

— Господи, хитра как ты стала! Да коли бы так, он и теперь может...

— Что? Младенца убить? Своего — пожалеет. И греха великого побоится. Буде с него, что одного сына забил... Как поминает его, трясется весь, ровно Иуда, пес старый... А чужого не пожалеет Свой пусть где-нибудь растет! И от меня руки его будут развязаны... Выходит, ты — глупей меня, дуры, братец родимый... Каково дело-то!

Пришлось и Нагому зубы сжать, чтобы не разразиться бранью, и уйти без всяких результатов.

— Не хочет? Ну и Бог с ней... Материнское сердце, оно и то сказать, — добродушно заметил Иван, выслушав доклад Нагого. — Пусть по ее будет!

Не понравилось это добродушие, такая уступчивость Нагому, который успел понять Ивана; он знал, что новый, более сильный ход придумал царь для выполнения своей воли. И захотелось вызнать Нагому: в чем дело.

— Твое дело, государь, — вкрадчиво заговорил он, — а моя такая дума: коли решил супруг и государь, — как же она смеет поперек что молвить?! Приказать бы изволил... Мне скажи... Я вырву у ей...

— Это чтобы крику не то что на всю Москву — на полземли слышно было? Нет, прискучили мне все крики да причитанья. Покоя я хочу, Михайлушка... Стар стал... ослаб, сам видишь. Баба, жена богоданная, — и та меня не слушает... А прежде бывало... Э, Бог с ней! Так, видно, надо... Иди с Богом, Михайлушка. За послугу спасибо. Не забуду и я тебя... Ступай себе.

Так еще несколько недель прошло.

Опасение за царевича, желание укрыть его — стали теперь почти единственными чувствами и стремлениями царя.

— Эх, Малюты нет у меня; вот уж сердечный был раб! Вернее пса, кремня надежнее. Он бы живо уладил все!

Так думал нередко Иван.

Больше десяти лет тому назад, в 1572 году при осаде эстонской крепости Витгенштейна был убит этот самый лютый из опричников царских. Теперь его заменил более знатный родом человек, князь Богдан Бельский.

К нему и решил обратиться Иван. Бельский же и отец крестный Димитрия.

Князь Бельский с дьяком Андреем Щелкаловым явились для обычного доклада царю.

Обсудив все дела, Иван, сделав надлежащие распоряжения, не отпустил их, как бывало обычно.

— Пождите оба, — пригласил он их, — хочу еще одно дело обсудить теперь...

— Хорошо надумал, государь, — первым отозвался Богдан, выслушав планы его, — и самому мне думалось... Да не одних Шуйских. Иные тоже есть... Вот хоть Годуновых, к примеру, взять...

— Что? Кого ж бы это? Не Федорыча ль? Он в роду умнее всех.

— Хотя бы Федорыча, государь. Самому тебе ведомо: царевич наш, свет Федор Иванович, не то — верит своему пестуну, — глядит его очами, ест из его рук! Скорее Слову Божию не поверит, в Святом писании усумнится, чем в шурине в своем любезном. Может, тебе, государь, оно и по сердцу... А мне сдается все да кажется...

— Крестное знамение сотвори, Богдаша. Вот оно и казаться не будет. Ничего пускай не кажется. Первое дело, — зелен и Федорыч твой, и весь род его... Наполовину и доселе татаре они. Еще, поди, кумысом да кониной от их пахнет. Так мне ли, урожденному деду и отчину всех земель и царств моих, — страшиться мурзы полукрещеного? Чай, все помнят, каков их род, сами они откудова. Верю, он бы, может, и душою рад... Да не было того и не бывать вечно, чтобы на Руси татарское семя землей владеть

стало... К себе приближаем мы восточных царей и царевичей... Мало того, дед, отец мой и я сам, из Москвы куда выходя, — сдавали царство им на время. Татарский клин в московскую стройку не затешется. А свой, познатнее, — сядет, да, гляди, уж и слезать с престола не захочет потом... Сажал я и сам князя Черкасского и друга своего Семена Бекбулатовича — в цари ставил... и прочь выставил, как пора пришла... Нет, Годунова мне и роду моему бояться нечего... И то я знаю: ни единого слова, ни малого шагу он без воли моей, без приказу не ступал и не ступит. Как луны лик от солнца, так и эти вельможи азиатские — от нас, от нашего величия свет и силу берут. От нас все и теряют. Не бойся Годунова, как я его не боюсь!

— В час добрый... Тебе с горы виднее, государь, чем нам, малым людишкам, холопам твоим. Как же теперь быть? С чего начинать, государь, в деле в твоем? Поведай.

— А вот что надобно... Мальчонку сыскать подходящего... Не трудно, поди. Году Мите нету. В эту пору они, ребята, все один с другим похожи. Моя Марья и не почует ничего!

— Достать можно, государь... И царица не всполошится. А вот с мамкой как? Мамки не обманешь. Да без нее и дела не сладишь, государь...

— Стой! Что на ум мне пришло... Кормилицы Оринки... Тучковой пащенка и взять можно... Совсем пойдет дело...

— Так ли, государь? Чай, будет знать Орина: на какой конец берут ее дитя? В том роде, как бы отвод громовой... Пожалеет ли? Потерпит ли сердце материнское?

— А зачем ей знать про то, чего и мы сами не знаем? Может, так, одне думы у нас черные... А Господь — ведро пошлет... Простит нам грехи... Это — первое. А второе... Ей ты так сказать можешь... Я уж ломал котелок-то свой... Надумал... Скажешь ты Орине: «Думается государю, — мне, значит, — что не соблюла верности царица, как Бог приказал. Того ради не желает, чтобы Димитрий царицын, как плод греха, — свою часть в царстве имел. Лучше хочет твоего сына, дитя честное, — родным назвать, дать ему долю в наследье своем...» Гляди, поверит баба. Оне свою натуру женскую лучше нас ведают. Так все и сладится... Мол, желает государь все без шуму, чтобы толков про него не было. Понял, Богдаша?

— Все понял, государь... Дивиться лишь надо: откуда што берется у тебя, батюшка ты наш?!

— Эх-эх, брось. Не до похвал теперь... Ну, с тобой речь поведу, Андрей, — обратился Иван к Щелкалову — Ты слышал? Твоя забота какая будет, не скажешь ли?

— Найти, куда бы укрыть царевича, да чтобы можно было глаз за ним иметь... Да заботу всякую: всего бы у него вдосталь хватало во всяк час. Не иначе что об этом думал приказывать мне, государь.

— Сказал, что печатью пропечатал, Андрюшенька, — совсем довольный похвалил Иван. — Так видите, ладьте поскорее, как порешено тут. В час добрый...

Оба вышли от царя.

— Слышь, Андрей Иваныч, — обратился в раздумье Бельский к Щелкалову, — что за новина такая приспела? Двоих сыновей вырастил... При себе! Все было ладно... А ныне!

— А ныне — зима на дворе... Годы к концу подходят. Вот и вспоминает человек поговорочку: дальше положишь, ближе возьмешь. Не боится государь Годуновых... Шуйские ему с присными спать не дают... А мне так...

— Да, да... И я от Годуна беды скорее чаю, чем от двора Шуйского... Но — царевич-то при чем? Больно все не по-обычному... Словно из книги читаешь сказание.

— Ну, зачем из книги? Мало ль и на наших очах такого бывало? Взять хотя бы родич твой, князь Иван Бельский... Как стали его изводить с чадами и домочадцами, он и послал сынка самого меньшого, княжича... Гавриилом, сдается, звали, не помнишь ли?

— Да, да... Гавриилом, — как будто смутясь, ответил Бельский.

— Так! Послал его в Старицу с холопом верным. Там и вырос княжич, да имя другое и прозвище взял, простым делом занялся, сапожным рукомеслом... А как овдовел — иноком объявился в Вологде. Целую киновию завел — Духову-то обитель... Совсем подвижником стал... Галактион ноне слывет... Да мало ли таких делов мы видели?

— Правда твоя... Может, и на благо Господь государя на дело на это навел... Будем исполнять волю царскую!

Отдали поклон и разошлись по своим делам оба ближайших пособника Ивановых. Осторожно стали они готовиться к выполнению задуманного царем плана.

Но Ивану не удалось при жизни увидеть свершение этого дела.

Быстро стала развиваться смертельная болезнь, водянка стала душить царя. Сердце так плохо работало, что не помогали самые сильные снадобья, которыми лечили царя Ивана его доктора-иноземцы. И 18 марта 1584 года, на 53 году жизни, скончался царь Иван Васильевич, государь обширных земель и многих

народов, — в конце концов сокрывшись навсегда в узком, глухом склепе, где занял места не больше, чем самый жалкий бедняк во всем подлунном мире...

Не успели еще забыть Иоанна, как предчувствия Бельского сбылись: закипел мятеж по всей Москве... Против него главным образом направила удар рука Годунова, Шуйских и других бояр, их сторонников. Нагих — тоже звала к ответу чернь за мнимое покушение на жизнь юного царя, Федора, на место которого они будто бы решили возвести малютку Димитрия и править его именем.

В Углич, в удельный город, немедленно под стражей увезли царевича Димитрия с матерью-царицей и со всей его родней.

В МОНАСТЫРСКОЙ КЕЛЬЕ

Семь лет прошло после смерти царя Ивана. Умирая, он назвал Верховную Думу, пятерых бояр, которым вручил управление царством и опеку над болезненным, почти слабоумным от природы сыном Федором, которому было 27 лет в это время.

Второму царевичу, годовалому Димитрию, обычный удел — Углич с областями — был назначен, как все давно знали.

Первым из «пяти» являлся самый знатный, Гедиминович родом, воевода, князь Иван Мстиславский, осторожный, не злой, но безвольный вельможа. За ним стоял красивый, умный и прямой нравом Никита Романович, Захарьиных роду, родной дядя царский по его матери. Иван Петрович Шуйский, потомок Рюрика, хотя и не главной ветви, прославил себя военными подвигами. Эти трое — составляли показную сторону нового органа власти, Верховной Думы.

Князь Богдан Бельский, любимец покойного царя, Борис Годунов, шурин молодого царя, особенно хорошо знакомый со всем внутренним ходом государственной машины, — дополняли картину, внося в нее деловитость и являясь главной рабочей силой.

Но присутствие Бельского слишком живо напоминало об усопшем грозном господине, которому князь Богдан служил чересчур усердно.

Годунову, хотя он и притворялся лучшим другом князя, — не хотелось делить работы и власти ни с кем. Шуйским давно был ненавистен князь... Они нажали на скрытые пружины...

Вспыхнул народный мятеж. Десятки тысяч москвичей, простых людей и ратников, кинулись в Кремль. Мятежники требовали смерти «изменника Бельского», обвиняя его, как и Нагих накануне, в желании извести Федора и самому воцариться...

Едва успокоили толпу, объявив, что царь налагает опалу на князя.

Первосоветника царского послали воеводой в Нижний Новгород, где он долго тосковал, благодаря Бога, что еще дешево отделался... После этого убрали пушки, стоящие на площадях столицы, скрылись со всех улиц патрули сильные.

А власть в царстве мало-помалу начал забирать в свои руки один Годунов, для чего попытался привлечь на свою сторону обоих влиятельных, хотя и безродных людей, — двух братьев, дьяков думных, Андрея и Василия Щелкаловых. Даже в «названые сыновья» пошел к старшему брату, Андрею.

Ближайшие к царю Ивану люди, они отличались умом и глубокими познаниями во всей русской государственной жизни, которой заправляли немало лет.

Сначала в сторону Романовых тянулись Щелкаловы. Но те оказались скромнее, не так честолюбивы, как Годунов. И последний сумел перетянуть к себе обоих братьев. Так казалось по виду.

Венчался на царство Федор, сначала даже желавший отказаться от трона, — и явился государем по имени. Невенчанным царем на Руси стал Борис Годунов, при помощи сестры овладевший окончательно волей Федора. Вопреки убеждению царя Ивана, потомок мурзы татарского правил Московским царством, как хотел. Умно, удачно правил, по общему показанию.

И так — семь лет прошло.

На богомолье в отпуск приехал дьяк Андрей Щелкалов, отпросясь у царя, вернее, у Годунова,в самую тихую пору, в июле и до конца августа, когда снова закипает обычная работа в московских двенадцати Приказах, включая сюда Разрядную Палату, Земский, Казанский дворец, Таможенную Избу и Челобитный Разряд.

Стар уж очень дьяк Андрей.

Большой выпуклый лоб изрезан морщинами. Какие-то шишки выдаются и на облысело черепе, обрамленном реденькими волосами. Полное лицо маловыразительно. На нем только краснеют под нависающими усами еще не совсем поблеклые, полные, красиво очерченные губы да двумя живыми огоньками поблескивают довольно большие, навыкате, глаза; отсутствие бровей и мясистый, сильно рдеющий нос придают странное выражение всему лицу: смесь чего-то бабьего с признаками сильной мысли и упорного желания.

Но при первом взгляде на этого воротилу-приказного, вершителя многих думных, государственных дел, можно без ошибки

сказать, что он не рожден быть ни аскетом, ни мучеником за самое правое дело.

Иначе, конечно, не смог бы он много лет оставаться правой рукой царя Ивана, не усидел бы на своем месте при Годунове, который правит теперь, прикрываясь именем Федора Иоанныча.

Побывав в Кирилло-Белозерской обители, посетив еще по пути несколько монастырей, где были приятели у набожного старика, Щелкалов накануне Успеньева дня поспел и в Старицкий Успенский монастырь, с настоятелем которого был связан даже дальним родством.

Сейчас сидят они оба — хозяин и гость — в настоятельской келье и беседуют.

Игумен, отец Варлаам, хотя не носит такого земного, чувственного облика, как гость его, но и на старого аскета не похож.

Высокого роста, довольно благообразный, со склонностью к дородству, — Варлаам, благодаря сидячей монастырской жизни, выглядит много степеннее: не такой юркий, настороженный. Нет в нем холопских добродетелей, какие давала служба у Ивана-царя, но нет зато и широты, зоркости взгляда и мысли.

Здравый, ясный ум и невозмутимое добродушие созерцателя освещают внутренним огнем его серые глаза.

Вечерняя служба отошла. Свободен теперь Варлаам. Может в беседе душу отвести с приятным, редким гостем.

— Слышишь, чадо, — обратился он прежде всего к своему келейнику, послушнику лет 17-ти, простоватому, бесцветному на вид, — покличь питомца нашего, Митю. Хочу показать сиротинку боярину. Не будет ли милости какой малому? А ты, чадо, просился ноне к родне на часок... Так благословляю тебя... Иди. Погости тамо. Хочешь, так и заночуй. Знаемы мне твои сродники: люди простые да богомольные... Худа тебе не будет. А к празднику наутро и придешь с ими... Ступай со Христом!

Послушник ушел.

— Ну, теперя свободно. Толкуй, брате: что нового в миру творится? Как русскую землю Господь милует? Были слушки у нас, да разные... Одна надежда: ты очи откроешь. А не ты, так кто больше? Сказывай, брате!

— Эх, много говорить, мало слушать, отец честной! Того не слышно, что при покойном государе творилось. Реками кровь не течет... Да пролилась зато ныне одна струйка малая... и может от нее больше потопу быть, чем от всего Бела-озера.

— Слыхал, знаю... Осмелился-таки... поднял руку! Ужли такую силу забрал? Мнит, что уж скоро и до конца добежит, трона коснется рукою нечистою, татарскою?

— Мыслит... Да вот, слушай...

— Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас! — раздался за дверьми детский, звучный, как-то бодро звучащий голос.

— А, вот и сиротка Митя наш... Пусть войдет, послушает. Как мыслишь, брате?

— Пускай, пускай... Ему-то боле всех дела знать надобно. Пригодится, гляди, когда ни есть... Зови, погляжу я... давно не видал...

— Аминь, — громко сказал Варлаам, — входи, Митя. Звал я тебя.

Степенно вошел в келью мальчик лет 8—9-ти по внешнему виду.

Он был высок ростом, но широкоплеч и крепко сложен для своих лет.

Средних размеров, квадратно очерченный лоб выступал над глазами, которые так и горели из глубоких орбит и поражали каждого своим выражением, каким-то тяжелым, сверкающим взглядом, который замечается у эпилептиков или людей, вдохновленных, охваченных какой-нибудь великой идеей.

Довольно широкий рот с тонкими, хорошо очерченными губами казался меньше оттого, что мальчик был довольно полон и боковые мускулы вокруг рта как-то выдались наружу, вздулись немного, как будто они постоянно находились в сильном напряжении. От этого и губы имели слегка капризный вид, а раздувающиеся ноздри нервного, широкого носа говорили об упрямстве мальчика, об его порывистой натуре.

Темные, почти черные, густые волосы падали назад, открывая довольно большие, мясистые, правильно сложенные уши. Верхняя часть ушной раковины глядела вперед, выдавая музыкальность ребенка. Лицом он был смугл. Редкие, широкие, но крепкие, блестящие зубы при улыбке скрашивали немного дикое выражение лица у мальчика.

Хотя и правильно сложенный, он бросался в глаза одной особенностью, когда стоял прямо перед кем-нибудь: одна рука была у него много короче другой, хотя обе были развиты очень сильно. Да на лице, под правым глазом, у самого носа, — на смуглой коже лица выдавалась розоватая круглая бородавка.

Но и без этой отметины лицо мальчика трудно было забыть каждому, кто видел его хотя бы однажды...

Когда мальчик отбил обычный поклон, Варлаам привлек его ближе к себе и, держа за руку, сказал:

— Добей хорошенько челом боярину Андрею Иванычу, ближнему думному дьяку царскому. Толковал я боярину, как ты, при своих младых летах, — в грамоте, в письме да в читании научен.

Как Бога чтишь, Матерь Его Пречистую и всех святых Божиих, как любишь горячо молитвы творить, что порой, дитя малое, — и про еду, и про сон забываешь... Как послушен и добронравен был и у стариков, где жил раней, и у меня, с той поры, как Бог велел мне приютить тебя, сироту... Все я сказал... Да уж не стыдись, не рдей, словно свечка зажженная. И про то не скрыл, что порою себя сдержать не можешь, неоглядчив в споре да в игре приключаешься... Горяч больно, не по доле по твоей, сиротской, — взглядывая с какой-то загадочной улыбкой на Щелкалова, укорительно произнес Варлаам, грозя мягкой рукой мальчику. — Ты бы свой норов помнил. От худого отвыкал по малости. Тогда и вовсе парень славный станешь. Гляди, иноком посвятишься... Годы пройдут, на мое место, на игуменское попадешь... Из сирот бездомных... Бог — все может, помни, Митя...

Мальчик зарделся больше прежнего, как будто старик нечаянно проник в самые сокровенные его мысли. В то время — не было другого исхода для честолюбия у самого умного и чистого сердцем сына народа, как монастырь и клобук игумена.

— Я... я не стану более, отче святый... Игры брошу... не стану обижать никого... Ну их. Они сами виноваты. А меня во грех вводят. Неотесы, непонятливые... А я с ними и водиться-то не буду. Позовут играть, а я не пойду, на молитву стану... И скуки не будет... и без греха.

— Так, так... Рассудил каково? И живо! Кабы всю жизнь ты так... Ну, что Бог даст... Слушай, Митя: ежели впрямь свое сердце горячее смирить, гордыню обуздать... Так не то игумном, в монастырке, в обители какой невеликой... Слыхал, поди, отцы-владыки, митрополиты всея Руси — из нашей же братии, из иноков смиренных бывают, кого изыщет Господь... Только много труда и муки надо ранее принять, чтобы благодать земную пролил Он на помазанника Своего... Терпение, послушание... Слова никогда не молвить лишнего. Для себя жить перестать, об людях, о братьях своих думать и молиться... Несчастных — жалеть... Сильным — претить зло делать, слабых чтобы не обижати. На таком пути, раней, чем митры святительской, и терниев мученических достать можно... Как Бог пошлет... А и от владычного трона вселенского та узкая тропочка вовсе мимо, близенько идет...

ЗЛОЕ ДЕЛО

На мальчика так повлияла картина, неожиданно развернутая перед ним умным иноком, что он совсем онемел, застыл в напря-

женном созерцании, будто уж видел перед собою все будущее; но не венец мученика, — а золотые палаты митрополитов московских и их сверкающее алмазами и жемчугом одеяние.

— Гляди, боярин, сиротка-то наш: ровно галчонок, даже рот приоткрыл, как кус увидал покрупнее... Закрой рот-то, чадо! — с ласковой насмешкой коснулся Варлаам розовейших губ мальчика.

Тот совсем смутился, тихо отошел к окну.

— Ну, Бог с тобой. Показал я тебя боярину. А теперь как думаешь? На волю пойдешь али послушаешь, что боярин про Москву да про иные дела толковать станет?

— Послушаю, отче... Благослови уж...

— Ладно. Только... гляди! — тон Варлаама сразу изменился. Он заговорил торжественно, властно, как пастырь, господин над детьми своими: — Гляди, может, то услышишь, чего другим знать не надобно. Что и мне, и боярину доброму горе может принести, коли пронесешь единое лишнее слово... Так помни: слышал и умерло. Ты уж понимать можешь, девятый годок тебе... Слыхал, Митя?

— Слыхал... Господь меня побей...

— Стой. Али забыл: не призывай имени Господня всуе, не клянися без нужды. Сказал слово,— чтобы оно тебе тверже стали было! Сказал «нет», — чтобы уж иначе не сталося... Это тоже помни, если неохота тебе рабом остаться, ежели господином людей и душ быть тебе манится. Ну, сиди, слушай... Да после и забудь, что слышать тут привелось. Говори, боярин. Знаю мальчика: умрет с ним...

Щелкалову даже не требовалось этого подтверждения со стороны монаха. Он все время не сводил глаз с мальчика и убедился, что с ним можно говорить как с равным. Только опыта не хва́тает, а от природы — богато одарен «сирота»...

И, погладив седую редковатую бороденку, Щелкалов заговорил:

— Так, так... По-старому все идет, катится, словно воз с горы. Никто не тянет, да и помехи ему нет прежней. Вот и ладно оно кажется. Государь наш благоверный, видать, и сам в митрополиты али в патриархи возжелал, как теперь на Руси учреждается, все по воле нашего преславного правителя... Раненько подымается государь, чуть не до свету. Тут — молитва. Отец духовный со крестом приходит. Икону выносят, какого святого чтут в сей день... Водой святою совершают кропление царя и покоев его. Та́м к царице идет царь со здоровеньем и вместе к заутрене шествуют. Часу в шестом утра — служба кончается. Бояре ждут государя,

ближние, кто на поклон являться может, в покои царские. Тут до 9 время проходит. В девять сызнова к обедне, до 11. Там трапеза большая, после отдыху, от полудня до часу. Сон после трапезы до трех часов. В баню потом либо куда на реку, поглядеть боев кулачных, медвежьей травли изволит государь. Отдых потом до службы до вечерней. По вечерне — с царицей сидит государь сызнова, в покоях в своих. Песни поют сенные девушки, шуты тут, карлицы забавляют государя, тешат пресветлого. А тамо — и на опочив пора...

— Так без отмены безо всякой изо дня в день? Когда же царь дела свои делает?

— И, чего захотел! А правитель у нас на что же? Его светлая мочь, ближний боярин, великий конюший, наместник царства Казанского и Астраханского... Он все ведает.

Знаешь сам: шести дней по смерти Грозного царя не минуло, сумел он к Шуйским подбиться, дружка нашего, князя Богдана Бельского далече сослать... А там — и Шуйским черед пришел... Всех, почитай, с Москвы сослали. Ивана Петровича в пути изловили, не чаявши, да на Белоозеро, стратига, воеводу преславного... А Андрея Иваныча в Каргополь... Да там скоренько и отошли обое. Сказывают, удавить их повелел потихоньку боярин-правитель... Без суда, Бога не боясь, людей не стыдяся... И весь род ихний, Татевых князей, Урусовых, Быкасовых, Колычевых — кого куды послали, по городам, от Астрахани до Вологды. Простых людей казнили много...

Да на что уж князя милого, Ивана Мстиславского, кого и Грозный царь всю жизнь свою щадил, иным не в пример, — и того зачернил перед царем Годунов, сослал, насильно постриг в обители Белозерской, Кирилловской... Головиных, Воротынских — всех развеял... Один стоит у трона, когда послы к царю являются. Бояре и князья — поодаль сидят. Царь — тот безгласен на троне, все яблоко державное да скипетр разглядывает да улыбается. Борис привет принимает и ответ на него послам дает. Да чего... знаешь сам: митрополита — старца Дионисия, столь ученого и праведного мужа, за его заступку перед царем, что о Шуйских жалобился, правителя обличить смел, — и святителя Годунов с престола согнал; его вместе с тезкой твоим, с Варламом Крутицким, — по монастырям заточил! Как смели заодно с ним не петь! И дружка своего, Иова Ростовского, потаковщика ведомого, не то в митрополиты — теперь и в патриархи усадил... Задарил патриархию Константинопольскую, — добился чести. Может не то владыкой-митрополитом — патриархом всея Руси по-своему править... А сам и жен не щадит... Княжну Мстиславскую заточил

безвинно в обители, малютку Евдокию, дочку Марии Владимировны Старицкой, — умертвил, а мать постричь велел... Да и не перечесть всего... Только шито да крыто свои дела делает... Поворовски, не по-царски, как покойный... Вот и не знают многие, славят правителя за его благочестие, за доброту фарисейскую...

— Господи, Господи! — с сокрушением вздохнул Варлаам. — Слыхали мы тут много. Да все не верилось. А уж коли ты говоришь...

— Зря слова не молвлю, знаешь меня. И на очах у меня все творится. От кого-кого, от нас с братом концов не схоронить... Иные тоже знают многое, да молчат. Нет в царстве сильнее человека, чем правитель. Он с родом своим может в месяц единый сто тысяч ратников на поле выставить... Казной — мало чем царя беднее... Половину доходов земли именем царским себе пожаловал... И задумал он тут свое дело последнее, самое богопротивное!

— Сказывай, сказывай... Охота знать, как оно там было? И верно ли все, что тут молва доносила в обитель нашу тихую?

Варлаам даже ближе подвинулся к гостю, и глаза его загорелись огнем любопытства.

Митя-сирота все ловил своим молодым острым слухом, хотя и не двигался с места, как будто застыл, окаменел там.

— Всем давно явно обозначилось, чего желает Бориса душа ненасытная. Мало ему власти царской, отродью татарскому, коего все в рындах давно ли видели, в самом рабском унижении! Теперь и бармы, и шапку Мономахову норовит похитить, как власть над землей в руки взял.

Нужды нет, что писать, читать плохо смыслит, лукавством все взял! Очистил путь перед собою. Между троном и Борисом — один царь стоял, хилый, слабоумный, да отрок во Угличе... Потому, по всякому правилу, Димитрий— наследник трона, коли не дал Бог государю сыновей доселе... Вот и надо было последнюю былинку затоптать... Чиста чтобы дорога стала... А в Угличе государыня вдовая уж и совсем притихла. Раней от сыновнего имени пыталась было образумить Бориса. Писала, как бы от царевича: уймись-де, кровопийца! А тут, как взял Борис власть непомерную, совсем напугалась государыня, вдовица сирая. Притихла. Видит, на пасынка плоха надежда: обошел его правитель! Недаром все с волхвами да со звездочетами якшается... Только уж теперь он на Углич походом пошел. Будь не такое дело его высокое, что рядом с царем стоит, — сам, поди, не побрезговал бы, руки в крови неповинной смочил бы. Да не под стать. Пришлось своих на совет звать: как от «углицкой помехи» — как сам называет — им, Годуновым, поизбавиться? Тогда, мол, и в цар-

стве покой настанет. А умрет Федор — смуты не станет никакой... И порешили они на совете своем дьявольском — то, что и совершилось потом... Изо всех — один нашелся Годунов не разбойник: Григорий Васильич, дворецкий царский. Стал другим навстречу говорить: «Что-де, мол, удумали? Царское семя губить! Извести младенца невинного!» А ему Борис на ответ: «Вот, слыхал, поди: строит из снегу младенец изображения наши... Твое и других,а меня — выше всех.. И сабелькой рубит руки, ноги тем «боярам снеговым», а мне — все по шее норовит... И приговаривает: «Подрасту, так и будет всем Годуновым, когда на царство сяду... А Бориске — первее всех!» Или того хочешь? Выбирай! А уж если не помощник ты роду, то прочь иди. Да не мешай хотя!» Так и отошел от них Григорий Васильевич... А Борис еще прибавил «Недели нет, как похвалялся царевич: "Еду сам на Москву, челом стану бить брату-государю, на Годунова пожалуюсь. Погляжу: меня задавить не прикажет ли, как Шуйских князей?!“» Коротко сказать, так все поджег, что терпеть нельзя. И стали искать: кто бы на злое дело пошел?

— Нашли, злодеи?

— Как не найти! И служить правителю охота, и наград посулил немало за дело диавольское... Да слушай, что дале было... Есть дворянчика два: Загрязский Володька да Ченчугов Никешка. Воистину благодетелем им явился правитель, когда плохо приключилось молодчикам. Любит людей закупать Борис. Вот и призвал он их, поведал, чего ждет. Какой услуги просит... И много наград сулил. Да побоялись греха обое. Не пошли на злое дело. Взял с них клятву Борис, что молчать станут про тайну страшную, — и с глаз прогнал... Уж выручил тут из заботы дядька царский, Андрей, окольничий, Лупп прозванием, Клешниных роду. Задарил, закупил дьяка нашего московского Михайлу Битяговского, который с сыном Данилкой послан был на Углич — хозяйство вести царицы и царевича, казну отпускать, службу служить всякую... Жаден на золото оказался Михайло. А сынок на посулы пошел, что будет ему много прибыли и чести от дела... Мамку-боярыню Волохову да сынка ее беспутного, бражника, зернщика, круговую голову Оську, прихватили... Да еще одного, Микитку Качалова... И пытались они раней дите царское, сироту круглую, — ядом изводить. Да была и от князя Богдана, с Нижнего, и с Москвы царице-матери весть дадена. Оне две, с мамкой, с Ориной, ровно орлицы над орлятами, — над дитей висели. Сами не отведавши, куска ему не давали, глотка не пропускали...

И дворня вся, челядь, за царицу и царевича душу готова была положить. Угличане — утром-вечером Бога молили: дал бы доли

скорее царевичу, на царство сести... Пришлось злодеям нагло, середь бела дня свое дьявольское дело порешить...

— Хватило духу у окаянных...

— Хватило... И улещал, и грозил правитель, скорее бы по приказу делали... А сам — поверишь ли? Стороной повестил матушку-царицу: стереглась бы тех извергов, словно бы по умыслу Шуйских они на царевича подкуплены. Его такая дума была: повершат рабы дело зверское — родня царевича будет знать, кого винить, не утерпит, чтобы не расправиться с извергами. Тогда не станет никого, кто бы на него, на Бориса, слово обличения сказал.

— О-ох! — легким вздохом донеслось невольное восклицанье, которое вырвалось из груди мальчика, теперь уже стоящего почти за плечами Варлаама.

КОГО УБИЛИ?

Словно не слыша восклика детского ужаса, Щелкалов продолжал, как будто читая по свитку знакомую запись:

— В пятнадцатый день мая это было... Горестный час! К полдню близко. Люди по хатам разошлися... И в терему у царицы, вверху его, столы накрыли. С поварни вот-вот еду понесут.

Разморило, сказывают, государыню вдовую... Истомилась от зною, сидя и вздремнула в горенке в своей... А всему делу заводчица, Волохова, и намани дите обреченное: «Ишь-де, не скоро еще столы! Парнишки каково весело во дворе зыкают, игру завели... Ты бы шел, родимый!» Кормилка, Тучкова, и не пускать, — так она облаяла: все-де в покоях в пору такую дите держать не след. Добра-де дитяти не желаешь... И лекарь-де, Волошин, бает: «На вольной прохладе пусть дите резвится!» — «Какая, мол, прохлада: солнце палит, все попрятались!» И-и, свару завели обе боярыни... Тут, на крыльце на нижнем стоят и спорятся, как оно и допрежь много раз бывало. Знала Василиса проклятая, что делала... А царевич — шасть во двор, к паренькам норовил пройти, которы там в свайку бавились, в кольцо попадали.

Только глядь — ему навстречу, отколь ни взялся, — Оська Волохов, который у матери в светелке целое утро сидел, время стерег... Поклон отдал царевичу... И тянет ему орехов горсточку: «Не пожелаешь ли, мол, орешки свежие». А дите охоче было на них. Берет, спасибо молвит... Убрусец свой в одну руку взял, орехи щелкать хочет, к парнишкам пройти... Те видят издали дите. А Оська и пытает: «Никак, царевич, ожерелко у тебя новое?»

— Так, так, и нам так сказывали... Царевич-то что же? — перебил Варлаам.

— Известно, дите! Оська Волохов — свой человек, почитай, родной... Всегда тута... Он ему и шейку протянул тоненькую... головку поднял и бает: «Нет, все то же... старое, Осенька...» А Осенька, ровно змий ядовитый, ножом блеснул — и по шейке по ангельской... Да, видно, рука дрогнула, что на младенца поднял нож, Каин окаянный... Мало кольнул... Ронил нож, сам закрыл голову руками — прочь побежал, как Иуда, за которым бесы гонятся... А они тут, за плетнем, и ждали: Данилко Битяговский да братан его, Качалов... Сродники они. И напустились: «Ты что это? Всех губишь! Не дорезал... Гляди, на крыльцо он побежал, кровь роняет... Добивай ступай, не то!» Сами ножи вынули. А Оська рванулся и из глаз пропал.

— Господи...

— Грех великий... Дите-то уязвленное ко крыльцу бежит, а племянник Орины, Бажанка Неждан, Тучковых, его опередил, кричит: «Царевича режут! Оська царевича сгубил!» Орина навстречу дитю... скатилась, сказывают, себя не помня... Сам понимаешь, больше матери жалела малого... Он бежит, ручонками машет... Кровь льется по кафтанчику... Рубашонка намокла в крови, в горле клокотит... От страху — слова сказать не может, сердечный... Добежал — и на землю пал тут, перед мамою перед своею... Она, дура, чтобы людей позвать поразумнее, доктора кликнуть, который в своей избе спал, пообедавши, только и сумела — упала на дитя, телом прикрыла его, орет: « Не стало царевича... Сгубили дитя мое рожоное!» Вопит, как без ума! Да пусто кругом... Какая челядь в сенях была, — напужались все , врознь кинулись... А тут, как из-под земли, — те двое, с ножами в рукаве... «Что орешь! Молчи... Кого зарезали? Какое дитя твое? Может, и пустое все... Может, оздоровеет? Дай взглянуть!» Швырнули ее прочь, мало ребра не изломали... Да подошли, огляделись: пусто кругом... И полоснули дите, словно агнца невинного... Дорезали... Сами — к Орине: «Правда твоя, не встанет!» Данилко говорит: «Побегу отцу скажу, како дело... Не уберегли вы дите... Сам он себя, видно, в падучей заколол... А вы на людей клеплете!» А это их так Борис на Москве учил, когда к себе позвал да поручил дело адское... Сказали — и убежали оба... Недалеко ушли!

Только они к воротам, а на их беду — сторож, Максимка-кузнец, двором шел — злое дело видел, на колоколенку забрался, в набат ударил... Церковь тут рядом близехонько, Спаса, дворовая... Царица на гомон с крыльца бежит... увидала, что Орина на

руках дитя держит, все кровью залитое... И трепыхается оно, словно голубь подстреленный... А мамка, Волохова, словно не в себе, на крыльцо присела, воет... сама с места не сдвинется. Тут ей Орина все и поведала... И кузнец-сторож, который завидел, что пономарь Спасовский бежит, — с колокольни слез... А тут и в других церквях набат подхватили... В полсотни колоколов звон пошел... Дядя сам Михайло Нагой скачет: «Что,.пожар, что ли, во дворце?» И Григорий Иваныч... Почернело кругом от люду всякого... Данилко-то Битяговский с Качаловым уж и бежать не смогли, в избу съезжую юркнули, отмолчаться вздумали... А Оська сгоряча верст 12 пробежал... И назад поворотил... Думает: отстоят его Битяговские именем Борисовым, как было обещано... Тут и сам главный делу заводчик, Михайло Битяговский, пожаловал... Как увидала его царица и народ весь, на месте и убили... Особливо как задумал он было всем глаза отвести, клялся да божился, что поклеп идет со стороны Нагих... Сами не поберегли царевича, боятся, что царь к ответу позовет за нераденье, — и сваливают на других свой же грех... Озверели люди... Что в руках было, крюки, топоры, с чем бежали, полагая, что пожар во дворце, — с тем на злодея и кинулись, — в дробь издробили... Царица кричит: «Злодеи-то где же? Кто резал, где изверги! Данилко, Никитка да Оська треклятый?!» Нашли и тех двух в избе... Двери прочь... Им дорога туда же, за старым душегубом... А Оську ажно в доме Битяговского сыскали. Схоронился там... Женка Михайлова укрыть его задумала... Привели обоих к царице... Прямо наверх, где в церковке в дворовой лежал царевич, теплый еще... И как привели Оську — из раны из запекшейся кровь нанова полилась... Бог суд дал злодею... Тут и добили его... И еще из своры Битяговского — восемь душ погибло... Только к ночи еле вошел в себя народ, как ко всенощной ударили... В субботу грех случился... А от Михайлы Нагого да от земских старост углицких — гонца погонили... Лист ему дали, все, как дело было, царю отписали...

— Ну и что же?

— Вестимо — что? И обычно все цидулки из Углича прямо в руки Борису принашивались. А тут вестей добрых ожидали, так еще за стеной за городскою московскою переняли гонца... Проводили к Годунову. Прочел он доношение, а там так и стоит: « От Годунова люди подосланные извели царевича...» Видел бы ты, как перекосило лицо Борисово... Взял столбчик, глядит в него... губы дергаются, руки ходенем ходят, раздрал край бумаги-то... Да тут же по ней приказал иное написать доношение для царя. А в нем и писано, что «сам-де в припадке черной немочи ножом поколол

себя царевич и скончался в одночасье... А Нагие-де, чтобы от себя провинность отвести, — Битяговских под обух подвели, на них наклепали, народ подняли». Так все и прочитано было царю. Горько плакал добрый государь. И поручил правителю дознаться: чья правда. А Борис на сыск послал...

— Того же Клешнина, Андрея, да Шуйского, Василия, да дьяка продажного, Вылузгина... — знаю!

— Ну, так знать можешь, как они до правды доходили! Старый лукавец, Шуйский, змий, в пяту жалящий, поди, и сам бы рад был убрать последнего от корня Иоаннова. Да духу не хватало. А тут — Борис постарался... Так и он ему пособил. Плакал, Бога призывал... О грехе поминал... «Грех-де на мертвых клепать! Вам-де, Нагим, родичам царским, ничего не станется; а коли вы станете Годунова облыгать, — и вам голов не сносить! Мол, владыко-митрополит повыше вас стоял, а куды слетел? И другие князья и бояре первые... Грех уж совершен. Так не колите очей никому! Мол, надо писать: все вышло от воли Божией... Сам покололся, ножом за черту метал, припадок пришел, царевич-де и накололся на ножик на свой А там дело предадут забвению!»

К царице с этим он и сунуться, вестимо, не посмел. Так ее и не спрашивали, Михайло Нагой тоже уперся. Говорит: «Все едино пропадать. Так не стану кривде потакать! Хоть запытайте, окаянные!» Так и записал, что подосланы от врагов были убийцы: Битяговский с товарищами, — и зарезали племянника-царевича. Один он не уступил. Другие все от первых слов своих отреклися, по Шуйскому уговору показывать стали и руку прикладывали, кто умел... А митрополит Крутицкий Геласий тут же с Шуйским и Клешниным в храм Преображения прошли, где убиенный младенец пятый день лежал, судей праведных дожидался... У Луппа у единого душа заговорила, как сказывают. Недвижный стоял он, ко гробу не смея подойти, глаз не поднял на жертву невинную. А Шуйский таково-то пристально стал смотреть... Да где признать! Пять дней в пору жаркую лежало дите... Кровью облитый сперва. А там, хоть и обмыли, — все не узнать в нем было того царевича, которого Шуйский года четыре назад тому видел. Все же уверовал, толкует, что подлинно царевич перед ним зарезанный... Горло-то вот как перехвачено! Куды бы самому дитяти, хоть и в припадке, такое над собою сотворить? Да судьям праведным горя мало. Записали тех, кто по-ихнему дело показывал, других обошли, тело отпели да поскорее земле предали, мол, вконец бы не попортилось... А дума другая: вдруг сам царь наедет? Либо повелит брата на Москву везти! А Шуйский в ту пору и то проговорился: «Как, говорит, по смерти *поиначилось* личико царевича.

Видно, крови вовсе не стало в нем... Смуглый был, а тут — беловатый лежит...» Вошло ему, значит, на ум... Да спохватился, умолк... А царица вдовая таково-то плачет, причитает... Жаль ей, вестимо... А про Орину и говорить не надо. Только сына родного так провожать можно, как она убитого. Двадцатого числа приехали, в четверток, бояре, в пяток — и уехали. А там, на Москве, собор собрали целый: дело рассудить великое. Ну, долго не думали, Иов, владыко, Борисом ставленный, все уладил... «Нагие-де виноваты!» Прозвонил; бояре в подголоски ударили... Нагих присудили по местам разослать... Угличан бедных — в корень чуть не извели...Полсибири ими населить надумали; гляди, тысяч тридцать людей было! Меней половины осталися... Жгли, пытали, топили, вешали... А царицу-вдову, дважды осиротелую, постригли насильно... На Выксе в дальней пустыни заточили вдову Иоанна-царя!

— Да как... как они смели... как могли это... Как смел он?! — вдруг рвущимся голосом, весь дрожа, заговорил мальчик, который давно уже едва стоял на ногах от горя, от жалости...

И, протянув руки вперед, словно отгоняя кого-то, мальчик упал, забился в припадке «черной немочи», обычной детской болезни в эти времена.

— Ишь, кровь сказалась! За старуху как встал, — негромко проговорил Варлаам Щелкалову, подымая с его помощью Митю и относя в соседний небольшой покой, где стояло жесткое, узкое ложе келейника.

На него положили ребенка и покрыли черной мантией игумена. Полагали тогда, что этим облегчается припадок.

Затем снова перешли оба в келью, сели на свои места.

Долго никто не начинал разговора.

— Вот так-то оно и содеялось все! — наконец проговорил гость.

— Злое дело... И верю: пошлет Господь возмездие власти похитителю, — эхом откликнулся инок. Поведя глазами на Митю, лежащего рядом, в покое, он добавил: — Этот отмстит... Видел сам, брате: каков малый? Рожденный господин...

— Видел уж, видел... Сберечь бы нам его. Толкуют, что Шуйский... может, для острастки Годунова, а шепнул ему о думах своих насчет того: «Подлинно ли царевича сгубили слуги подосланные?» Мол, в энтом, в мертвеньком, — отличку нашел он от того, который родился у Марфы... А Борис ему и ответил: «Тот ли, другой ли, а Димитрия схоронили...» Из могилы, гляди, не встанет! Он не Лазарь, и Христа ноне нет!

— Гляди, не встал бы! Каин окаянный... Вот поглядеть бы на него, коли донесут ему в ту пору, что «встал»!

— Доживем — увидим. А пока — остерегаться надобно... Отселева пора убрать хлопчика. В Рязань я его свезу... Там Игнатий — грек, митрополит, дружок наш, старый, верный... Оттуда и на Москву направим. Пусть все увидит, узнает своими глазами, не из речей людских... Повидает своего «приятеля», гляди, полюбит его! Хе-хе! А там — и дальше дело поведем... За грань его... Пускай к военному делу приучается... А там... Ну да там уж Бог что даст, то и будет... Только я исполню волю государя покойного, на чем крест целовал с Богданом-князем вместе: вырастим чадо — и к трону подведем. Сумеет взять и воссесть, — значит, такова власть Господня!

— Аминь! А скажи ты мне... как вы подмену-то сделали? Что и не заметил, почитай, никто. Когда это?

— Давно уж. Как стало видимо, куды гнет Борис, тут мы с князем Бельским и приступили к Орине. Она давно была подговорена... Мол, твой сын пускай поцарствует. Федор, мол, некрепок... А сын царицы — не от государя-супруга. И приказывал он своего Димитрия до трона не допускать! Баба и сдалася... Потайно родного сына мы ей привезли; тут захворал царевич... Изменился от недуга... Его в ночи нам отдал доктор — Волошин, паренька Арины взял, положил... Дети малые, еле лепечут... Что им понять? Так и осталось. Тот — там... Этого — увезли, на посаде на вашем старикам в приемыши сдали... Мол, сироту, роду честного... Поберегите... Казны малость прибавили... А как подрос, да ты его взял, — сам дальше знаешь!

— Так, так... Доселе — все хорошо было! Пускай же и далей хранит десница Божия отпрыск царственный!

И Варлаам с теплой верой осенил благословением мальчика, который лежал рядом и от тяжкого забытья болезни перешел к укрепляющему тело спокойному детскому сну...

ТРЕВОЖНЫЕ ВЕСТИ

Ярко сияют светила и звезды небесные в беспредельной глубине, своим или отраженным светом озаряя мрак мировых пространств.

Вечно одиноки и далеки они друг от друга. Но пути их постоянно пересекаются между собою, и самые далекие звезды, разделенные миллионами миллионов верст, — влияют на другие светила, испытывают их влияние; только силой этого взаимного влияния и могут они вечно длить свой быстрый, размеренный путь в темных безднах вечности.

Так и в жизни людской.

Размеренно, мощным ходом движется общая человеческая жизнь. Как бы тесно ни сошлись, ни слились люди в шумной толпе, — они одиноки... Как далеко ни отстоит одна душа человеческая от всех других, — она влияет на них и сама испытывает их влияние, тайное, могучее воздействие на себя, на каждое движение свое...

Давно еще — при зарождении сознания в первых людях — неясно наметилась у них в уме, зашевелилась в их душах эта мысль, отпечатлелся тайный мировой закон.

И выразили люди свое неясное сознание двумя заветами: учением «о свободе воли » и учением о «всесильном Роке», покорность которому неизбежна для всего живущего, даже для мертвой, бездушной природы.

«Сами боги на Олимпе трепещут при имени Рока, этого предвечного, всевластного божества!» Стиксом, рекою предвечной, всепоглощающей тьмы, — клялись бессмертные боги. Так учили эллины.

Вера и Рок — рано овладели душою Димитрия-сироты и руководили каждым движением, каждым помыслом ребенка, юноши... и после, до самого конца!

Для этого, конечно, были свои причины. Ничем не выделялся он из той среды, в которой проходили его дни.

Никому не ведомый сирота, без казны, без явных друзей или сильных защитников и покровителей — мальчик видел, что путь его идет не так, как у всех других сверстников, нищих, одиноких сирот, каких немало всегда на Руси и по мирским углам, и во дворах монастырских.

Были мальчики не глупее его, более проворные, красивее гораздо... Легче жилось им, правда, чем остальным, неудачливым детям, пасынкам Судьбы.

Но никто из них не испытывал таких странных приключений, как Митя, в свои девять-двенадцать лет.

Из тихого, далекого угла, из скромной обители, — частью пешком, частью с попутными подводами доставил мальчика в Рязань инок старицкий, которому по делам семейным пришлось побывать в этой стороне.

Потолковал инок с монахом на митрополичьем дворе, сдал ему отрока и ушел. Сирота получил тут угол со всеми другими детьми, которых еще несколько воспитывалось в рязанском монастыре. Пел Митя, как и раньше, на клиросе, сидел часами в просторной, светлой горнице, переписывая священные книги своим четким, красивым почерком, скорописью или вязью выводил

буквы владычных посланий... Как-то чаще других давали ему переписывать толстые тетради с изложением исторических событий Московского царства от зачатия его до последних дней царения Ивана Васильевича.

Инок брат Корнилий, которому под начало отдан был Митя, заведовал штатом писцов и переписчиков, взрослых и мальчиков, проживающих во дворе у митрополита Игнатия, человека большой учености, как греческой, его родной, так и славянской.

И так вышло просто, незаметно, что бойкий, хорошо выполняющий свое дело, Митя был «замечен» владыкой и призван к нему.

Строго, важно глядел Игнатий. Но особое какое-то внимание и забота, как показалось чуткому сироте, — сквозили в словах и во взглядах князя церкви.

— Ты откуда сам родом? — протяжным, гортанным, явно нерусским говором спросил Игнатий. — Сколько лет тебе? Издалека ли тебя к нам привезли? Давно ли грамоту узнал? Хорошо ли тебе здесь?

Быстро, один за другим следовали эти вопросы, которыми засыпал ребенка владыка, несмотря на показную важность и величавость, не отрешившийся от обычной греческой живости и словоохотливости.

Не смутился нисколько мальчик.

По-монастырски, смиренно сложил он руки, но глаза глядят прямо, смело.

И внятно, словно сам впервые отдавая себе отчет, говорит Митя:

— Откуда родом, и сам не знаю. Говорят, нашли меня старики, у которых жил я до времени. По шестому году к отцу Варлааму привели меня. Теперя, по осени вот, тринадцатый пойдет... На Уара на мученика родился я... От отца Варлаама сюда и приведен. Грамоту, почитай, лет шести узнавать стал... в обители в Старицкой. А жить мне у твоей владычной милости дюже хорошо... Челом бью за все милости!

И мальчик, по наставлению, преподанному ему раньше братом Корнилием, отдал земной поклон владыке. Выпрямился, ждет: что дальше будет?

Не сводит с него испытующих глаз Игнатий. Строго-строго сдвинул брови и говорит:

— Откуда ты знаешь, что на Уара рожден? Кто сказывал? Почему Димитрием крестили, а не святым по дню рождения?! А? Путаешь что-то... Ты прямо мне, как на духу. Знаешь, кто я? Пастырь твой духовный... Глава! Могу вязать и разрешать здесь,

в этой жизни, и в будущей. Так бойся мне что-либо облыжно сказать. Почему все сие? Может, слыхал, знаешь: какого ты роду-племени? А? Никого тут нет, видишь? Все прямо говори!

— Так я и сказываю все, что мне ведомо, святый владыко. Когда рожден, про то старики часто сказывали. Словно бы грамотка на мне была. С грамоткой найден я. И что крестили меня Димитрием. Мол, «в другое не окрестил бы кто». Так было писано. А самое грамотку затеряли старики... Думалось им, был мой род не из простых. Опала пришла, так они меня и отдали добрым людям, чтобы сберечь от опалы... Мол, часто бывало так и раней... А знать о себе больше ничего не знаю. И не слыхал ничего... Как перед тобой, святый владыко, так и перед Богом! Страху во мне нет, злого не умыслил ничего. И лукавства во мне нету.

— Вижу, вижу, чадо... Прямо в очи глядишь с умом, но без дерзости. Так и впредь живи. Ни перед кем очей не опускай, если душа чиста. Пусть уж другие... Ну, теперь иди с Господом. Трудись, учись... Может, Бог тебе долю пошлет, — как будто повторяя слова доброго Варлаама, сказал этот строгий на вид владыка, благословил Митю, руку ему для поцелуя протянул, сам другую на голову мальчику возложил.

— Расти, крепни! Да благословит тебя Всевышний, — каким-то иным, дружелюбным голосом произнес Игнатий и отпустил Митю.

Долго потом звучал в ушах мальчика этот ласковый, бархатистый звук голоса, все слышалось горячее благословение:

— Расти, крепни...

Больше года с этого дня прошло.

Игнатий пышно выезжал, если случалось покидать свой двор. Как у светских владык, были у него свои верховые слуги, вершники. Сильный, ловкий, смелый сирота попал в число этих провожатых и мог потешить свое чувство, любовь к быстрой езде, к скачке, к хорошим лошадям.

Увидав Митю на коне, владыко ласково, одобрительно кивнул ему головой, велел ехать у дверцы колымаги и потом сказал:

— Хоть ты и в иноки готовишься, а уметь не мешает и светские дела. Были времена и у вас на Руси, и на Востоке у нас, когда иноки не только Слово Божие — меч брали в руку, главу покрывали шишаком стальным и боронили от неверных крест и веру Христову... Ничего, ничего! Коли любишь — и узнавай мирское дело незазорное. Молод ты еще. Лучше, коли смолоду больше силу свою изведаешь, чем под старость потом будет она тревожить тебя, подвигу мешать...

Если приходилось в грязь, в распутицу человека верхом по-

слать куда-либо, уж за это обязательно брался Митя. Молодых лошадей, приводимых на двор владыке, — он тоже любил объезжать и успевал в этом легко, если не по уменью, так благодаря своей отчаянной отваге.

Когда он подходил к коню и глядел ему своим ястребиным, упорным взором в глаза, — казалось, он умел одним этим покорять, успокаивать необъезженное еще животное, гипнотизировал его.

Общим любимцем был во дворе у владыки Митя.

И не удивился никто, когда в конце 1595 года Игнатий, отправляясь в Москву, взял в числе провожатых и переписчика своего, сироту.

Много друзей нашлось у Игнатия среди греческих изгнанников, проживающих в Москве по нежеланию видеть родину, подавленную игом Османов.

Уезжая в Рязань, Игнатий не взял с собой Митю, а устроил ему место у вельможного выходца из Солуни, кир-Димитрия.

Тут мальчик, уже начинающий превращаться в юношу, справлял четырнадцатую годовщину своего рождения.

Неспокойно, невесело прошли на Руси и на Москве тысяча пятьсот девяносто пятый и шестой года. Пожар случился сильный в стольном городе.

Часты были пожары в старой деревянной Москве, а в этот раз так выгорела она, что от Китай-города следов не осталось.

Хлопотать стал Борис-правитель, наново, камнем пустое место обстроили.

Сильный мор проник в царство, и от него Псков вымер почти до последнего человека, так что пришлось из других мест туда людей переводить, отдавая им пустые дома и выморочные дворы посадские и торговые...

Крымцы, забыв неудачу, испытанную всего три года тому назад, — снова двинулись на Москву. Но у рубежа успели их перенять и отправить русские рати под начальством окольничего Михайлы Безнина, воеводы Калужского.

Случилось и другого рода горе, незначительное на вид. И хотя люди не пострадали при этом случае, но он взволновал почти всех верующих русских даже более, чем отбитое нападение татарское.

Старинный Печерский монастырь близ Нижнего славился в народе как место подвигов святого Дионисия Суздальского, Макария Унженского и Евфимия.

И вековая гора, царящая над обителью, размытая подпочвенными водами, загрохотала, заколебалась... Медленно поползла по скату береговому вниз, к Волге, и засыпала на пути своем всю чтимую обитель, сровняла ее с землею.

— Великая поруха будет в царстве! — в один голос заговорили по всему царству и в самой Москве, где очень мало было просвещенных людей и большинство духовенства оставалось совсем малограмотным, как и полвека назад, когда решительно начал бороться с этим грозный царь Иоанн Васильевич.

И другая, потаенная, но самая тревожная весть разнеслась шепотом, негромко по Москве, но скоро разлилась, покатилась и дальше по городам, как все плохие вести: царь Федор очень недомогать стал. И без того слабый, он совсем захирел в последнее время. Обмороки чаще и чаще повторяются. Даже молиться так долго и усердно, как прежде, не может этот инок и подвижник в царском венце, в бармах Мономаха.

Бояре, воеводы, старейшие служилые люди насторожились, стали подумывать: кто примет власть по смерти этого последнего из рода Рюрика?

Партии и раньше были при дворе. А теперь их больше стало и яснее они определились.

При дворе старались, чтобы за рубеж страны не проникла весть — на радость враждебным ляхам, литовцам и татарам со шведами.

Но сами бояре враждовали между собою и готовили подкопы, рыли ямы, хуже отъявленных, заклятых врагов.

Вести, слухи и намерения сильных людей особенно были подробно и хорошо известны при патриаршем дворе, в Чудовской обители, постоянном пребывании московских первосвятителей.

В ней как раз к этому времени очутился и Димитрий.

Как-то само собой это случилось.

Из Старицкого Успенского монастыря приехал в Москву один из иноков к патриарху с каким то челобитьем от игумена Варлаама. Конечно, по поручению последнего, он разыскал юношу, позвал его к себе, в Чудово, где сам гостил у инока, старца Паисия.

Последний уже знал, очевидно, о сироте и принял его очень дружелюбно.

Между прочим старицкий инок от имени Варлаама задал Мите вопрос:

— А что, чадо: хотел бы знать отец игумен, совсем ты раздумал о пострижении? В мирское житье ушел, обителей чуждаешься...

— Нет, отче. Воля была владыки Игнатия меня приставить в услужение к господину моему... А я не оставил помысла постоянного. Кроме, как у Бога, нет мне надежды и пристанища. Сирота ведь я в мире!

— Верно, сыне! Так и думай, так и уповай... Ежели не прочь, так вот тебе и случай. По прошению отца Варлаама и моему —

брат Паисий может тебя в патриаршую обитель преславную принять. Про мастерство твое скорописное он наслышан... Дело дадут тебе знакомое... А уж где лучше Богу послужить, как на очах патриарших... Может, и заметит кир-владыко, благословит тебя и усердие твое... Удостоишься и пострижения, как только года твои придут... Желаешь ли? — инок ласково взглянул на юношу.

Низко поклонился Митя:

— Молю о том, отцы преподобные!

— Вот и ладно. Я потолкую с братом Косьмой, который писцову палату патриаршую ведает. А ты загляни по времени, чадо! — ласково сказал сироте Паисий.

Недели не прошло, как сирота явился к кир-Димитрию, прощаться стал с господином, который тоже к нему был добр и внимателен, как к редкому из челядинцев. Предупрежденный управителем, грек не расспрашивал юношу ни о чем, протянул ему руку для поцелуя и сказал на ломаном русском языке:

— Заль, заль... Кàроси... Тупаи Богом! Бок прасти... Цаслива!

И полтиной одарил уходящего слугу.

... Быстро миновал 1597 год. Особых бед не было, но и радости не слышно было.

ПО РУСИ

Если за гранями царства Русь получила новое значение при умном, изворотливом правителе Годунове, то у себя все его начинания как-то оказывались неудачны, хотя на первый взгляд вызваны они были истинным желанием помочь народу, были подсказаны государственной мудростью, которую даже враги признавали в многолетнем правителе царства.

Особенно много толков, жалоб и молчаливого недовольства, а порою и явных проявлений негодования вызвала в народе отмена Юрьева дня.

В день этого святого все «черные» люди, безземельные крестьяне, работающие на чужой, помещичьей земле, могли менять своих господ, если были недовольны теми, у кого застал их «вольный день».

Правда, такая смена редко вела к лучшему. Часто меняли «кукушку на ястреба»... Но все же призрак воли был дорог темной душе бездомного пахаря, порабощенного невежеством и нуждою, но свободного хотя бы по букве закона.

Правда, люди бессердечные, зная, что кабальная запись действительна только до Юрьева дня, на один год, — старались за это

время выжать все, что можно, из пахаря-оброчника. Десятки и сотни тысяч крестьян с семьями, не имея угла и гнезда своего, кочевали ежегодно из имения в имение вечными батраками-бродягами.

Но более благоразумные хозяева, собрав подходящих работников-пахарей, старались привязать их к себе и к своему хозяйству на более долгие времена и переписывали записи из года в год. Люди богатые, многоземельные помещики — даже пускали в ход всякие посулы и льготы, чтобы притянуть побольше рабочих рук на свои пустующие угодья.

Случалось, что переманивали людей друг у друга, ссорились из-за этого... До стычек между целыми отрядами «дворцовой челяди» доходило порою.

Но в общем выработались средние условия, при которых и господа, помещики разной величины, и хлеборобы жили сносно. Каждый надеялся, что время выработает новые, еще более удобные для всех условия и рамки взаимных отношений.

Но в это большое, народное дело внес свое личное решение Годунов.

После ужасного события в Угличе, когда он не побоялся выжечь пол-Москвы, он решился допустить нашествие татар на эту столицу, — только бы отвлечь Федора от проклятого Углича, от останков зарезанного ребенка, лишь бы заставить народ забыть, хоть на время, этот кошмар... Как раз тогда, в 1592 году, именем Федора был издан указ, которым вводилась вечная кабала на Руси.

Было уничтожено право ежегодного перехода крестьян на другие земли...

Отменен был Юрьев день, и пахарь прикрепился к тому полю, где застал его новый закон.

«Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!» — вырвалось из народной груди скорбно-насмешливым криком... И перешел этот крик навеки в потомство.

На 270 лет, — как показала история, — приковал Борис к земле несколько миллионов людей, только бы угодить сильным помещикам, властным князьям и боярам, больше всего страдавшим от частых переходов крестьян от господина к господину.

Но оказалось, никому не угодил Борис.

Мелкие владельцы, правда, почувствовали себя спокойнее. Прочнее все строить смогли теперь, ровнее хозяйство у них пошло. Но крупные «господари» негодовали, что нет возможности, по-старому, на пустые земли скликать людей, от соседей их сманывать, издалека подзывать...

Эти и другие, более мрачные, толки идут о Годунове. Но долголетняя привычка — повиноваться ему — сильна во всех, и дальше толков дело пока не идет.

Гуляют и более темные слухи в народе и об Угличе, о царевиче, от злодея убиенном, о том, что сам назвал татар окольными путями правитель, дав им знать через мнимых предателей, будто свободны пути к Москве и некому защищать столицу царства...

Но за такие россказни целый город Алексин, где впервые зародились оне, — весь город был «на поток» отдан судьями и палачами; и не лучше Углича обезлюдел городок, веселый, населенный до этого.

На Москве — особенно шпыни и доносчики шныряют, каждое слово ловят...

Сболтнет кто не без дурного умысла, по оплошности, против правителя слово скажет, весть повторит недобрую, — и хватают ночью неосторожного, из теплой хаты тащут в приказ, к допросам, на пытку ставят... А там, глядишь, — и сгинул человек.

Свои и то не смеют дознаться: жив ли, умер ли? Сослан куды далеко или в воду брошен, замученный, запытанный...

Все это слышит и знает Митя.

Много, много еще слышит он, что шепчут даже здесь кругом, на дворе патриарха Иова, друга Годунова, им поставленного и в митрополиты, и в патриархи Московские.

Толкуют, что Федору пора умирать, по расчетам Годунова, именно теперь.

Скоро 50 лет минет самому Борису. Десятки годов он медленно, осторожно подбирался к престолу... Столько греха явно и тайно принял на душу, что страшно подумать!

Будь его пора, его правление не после царя Ивана, который кровь, как воду, лил — еще страшнее показались бы дела Бориса. А теперь, умея надевать личину благочестия и смирения, удачно справляясь с внешними врагами, лаская всех, подкупая их царской казной, — он кажется агнцем белым перед багровой, окровавленной тенью Грозного царя...

Все это слышит Митя.

И чувство негодования, какое давно шевелится в груди юноши против лукавого вельможи, — начинает становиться все острее, переходит в чувство какой-то личной ненависти, глубокой, беспощадной вражды, на какую только способна чистая, горячая душа пятнадцатилетнего отрока.

Настал веселый праздник — Святки.

Широко, шумно справляют дни Рождества по всей Руси. А на Москве — особенно торжественно празднуют их.

Заливаются все московские колокола, которых до пяти тысяч насчитывается, если взять и посады с пригородами. Загудят они все, — так не то, что на улице, — в домах плохо слышат люди друг друга: так потрясают воздух медные груди колокольные, потревоженные ударами тяжких, сильно раскачиваемых языков.

Пусты кельи, и сени, и переходы в Чудовом монастыре. Даже в черных избах дворовых, на поварнях, всюду — темно и безлюдно.

Только сторожа сидят и дремлют у ворот, у калиток, кой-где по внутренним дворам и дворикам. Прокинется иной со сна и заколотит громко в свое избитое по краям, засаленное от прикосновения многих рук ручное било.

— Таки-таки-таки-так! — застучит, выбивая сухую, отчетливую дробь, деревянная колотушка... Собака залает, словно давая ей ответ. Другие ответят ей, все дальше и дальше подавая звонкие голоса замирающим лаем.

И стихнет все снова.

По церквам разошлись теперь люди. Иные у себя, дома, в монастырском храме, по неволе, либо по охоте — отстаивают долгую праздничную службу.

Люди свободные, не иноки, не служилые, а проживающие только при обители, при дворе патриаршем, — по другим храмам пошли молиться. Интересно им поглядеть и соборное служение, и древний чин в церкви Василия Блаженного... И в иных местах незнакомых — святыню поглядеть, помолиться другим иконам и мощам, не тем, которые всегда тут, под рукою в Чудовом находятся.

Димитрий не пошел в церковь. Сам Паисий благословил его пропустить службу, когда юноша попросил благословения: навестить в келье больного приятеля, инока Григория, уже второй год диаконствующего в обители.

— Благослови Господь на благое дело доброе. Недужного навестить, помочь брату в болезни — все равно что службу отстоять. Еще и боле зачтется ангелом твоим хранителем, дитятко! Иди, иди... Да, только, слышь, поостерегайся. Брат Меркурий был у Григория. Сказывали: не может еще сказать, что за хворь у бедняги. Кабы что не вредное и для тебя вышло. Передается иная хворь. Пооберегайся. Близко не садись, не касайся недужного. Разве уж помощь какую нужно оказать...

— Слушаю, отче! Поостерегуся. А думается: как ни остерегайся, коли воля Божия, — не минует доли своей никто... А суждено здоровым быть, так и не допустит он до другого...

— Ну, уж ты у меня ве́домый «ритор», «вир элоквентус», как

говорят латыняне. Ты там, кажись, у солунца-то, и по-латыни стал мараковать? Ладно, все ладно... Что человек ни познает, все на пользу душе его... Кроме зла познания, как сам разумеешь. Зло познать — рая полишиться... Только теперь уж, как земного нету, — душевного лишает нас Господь за наши прегрешения... Охо-хо-хо! Иди с Богом... А как я вернусь, скажи мне: что брат Григорий? Душевный он и не глуп. Чудной малость... А тоже, в книжной премудрости силен... Люблю я толковать с ним. И все-то он слыхал, знает обо всем, что где по углам на Москве таится... Занятный инок! Иди...

В тесной, небольшой келье на простом иноческом ложе лежит больной.

Это — человек лет 30-ти, с простым, русского типа лицом, каких встретишь часто в средней полосе России: сероглазый, скуластый слегка, с реденькой бородой и темноволосый.

Инок — хорошего роста, плотный, очевидно не ведущий аскетической жизни в богатом и шумном монастыре, где живет сам патриарх, где много князей и бояр числится среди иноков, вольно и невольно одевших рясу и мантию, принявших обет смирения и нищеты только на словах. Юрием, Богдановым сыном, Отрепьевым звали в миру монаха-диакона. Теперь он взял имя Григория. Но по старой памяти часто Юшкой его зовут.

Связь и родня есть у него даже при дворе. Дядя его, Смирной, Иванов сын, Отрепьев служит в приказах, подьячим числится. Он и устроил племянника при дворе патриаршем.

Тихо, осторожно вошел в келью к больному Димитрий.

Инок спал. Его довольно полное, сейчас как будто припухлое лицо было бледно. Черные круги окаймили закрытые глаза. Пересохшие губы были полураскрыты. Дышал спящий тихо и ровно. Когда юноша заглянул сюда днем, — инок метался в жару, бредил порою и выглядел очень плохо.

Сейчас, заметя перемену к лучшему, Димитрий молча перекрестился и, подняв глаза в угол, где перед иконою горела небольшая лампадка, — стал беззвучно молиться, нервным, порывистым жестом осеняя усердно крестом.

Кончив молитву, сирота сел у небольшого, узкого окна, похожего на бойничный пролет, через которое в келью проникали лучи полного месяца.

До половины это окно обледенело и снегом было занесено. Заглядевшись на причудливые узоры, выведенные морозом на стеклах, юноша как будто задремал.

Мысли его унеслись куда-то далеко. И не в прошлое. Там — мало отрадного и блестящего, мало того, что особенно любит

Димитрий: силы, раздолья, красоты и радостей. Неясно, сам не давая себе отчета, но именно этого желает, это любит, к этому стремится всегда юноша.

Иногда ему даже снится, или наяву грезится, — он и не разберет: не монах, а воин вышел из него... И в стальном шишаке, в золоченой кольчуге несется он на коне против неверных турок. Поражает их, как поражали сарацин галльские витязи, о которых он читал... Как поражал любимый его царь, Александр Македонский, — несметные полки Дария-царя...

Наверное, и Александр, и даже Дарий — вовсе не такие были, каков московский государь, — бледный, с одутловатым, невыразительным лицом и женски-мягким, невыразительным взглядом мутных глаз... Да еще эта робкая, словно виноватая улыбка, которая никогда не покидает лица Федора... Совсем блаженный, юродивый, Христа ради, а не царь...

Не похож на повелителя и Годунов, хоть с виду и важен, осанист. Был долго, потерся около Грозного царя, вот теперь и хочет под него подделаться... Да плохо ему удается. Словно он сам не верит: так ли все это, что он делает? Невольно и окружающие начинают сомневаться и думать: прав Борис или не прав?

Ясно Димитрий, конечно, не представляет себе всего этого. Но что-то такое носится в его уме. Сам он не знает почему, но мысли его постоянно возвращаются к Борису, к царству... к вопросам, казалось бы, таким далеким и чуждым, бесполезным для бедного послушника, для сироты-писца.

Но время такое на Руси, что о царстве и делах правления, о государственных путях многие думают с напряжением, не меньшим, чем в другие времена толковали и думали о вопросах религии, о том: ходить ли вокруг алтаря «посолон», либо против солнца? кадить прежде образам или владыке? — и тому подобное.

Какое-то загадочное предчувствие прокрадывается в душу его: что ему придется вмешаться в общую кашу, если не теперь, так позднее. Вот станет он иноком заправским... Прославится подвигами святости... взойдет на митрополичье место... А там, гляди, и на патриарший престол. Иов, «смиренный богомолец», — как он сам величает себя, — тоже не больно знатного роду и великого ученья либо ума человек. Однако дошел! Почему же ему, Димитрию, не достигнуть того же?!

А тогда он не станет гнуться, подобно теперешнему пастырю всех христиан славянских, — перед сильными и дающими выгоду людьми. Себя не пожалеет тогда Димитрий, а много добра народу родному принесет... Он слышал в течение многих лет, чего просит народ, он видел в разных углах: чего не хватает, что ждут, кого

любят, чего боятся простые бедные люди, страдники русской земли...

Он, конечно, не царь... Он будет только духовным пастырем. Но станет говорить царям, заставит их тоже прислушаться к робкой мольбе народной, к его затаенным, горьким слезам, к вековечному стону, который встречает в ответ одни пытки да кнут порою...

МЕЧТЫ

Какой-то шум, долетевший от постели, заставил сильно вздрогнуть мечтателя, позабывшего даже, где он сейчас сидит.

Больной, проснувшись, приподнялся на локте, а правой рукой стал шарить на простом деревянном столе, который стоял в головах, недалеко от кровати.

Там, задев за солонку, он скинул ее на пол и крикнул слабым, недовольным голосом:

— Эка, лукавый...

— Проснулся, брат Юша? — подымаясь быстро со скамьи у окна и направляясь к постели, спросил сирота.

— Фу-ты, нечистая! Прости Господи... Темненько тута... И не разглядел я тебя... Снова пришел? Сторожишь? Ну, сторожи... Спаси тя Христос, братан... Вот, ковша нашарить не могу... С квасом стоял ковшик тута у меня... Есть? Благодарствуй... Ничего, не держи... я и сам посижу, напьюся... Ф-фу... Легче стало... Отпустило теперь. А было, думал, плохо дело... Капут башка моя пречестная, зело преподобная... Ф-фу! Ишшо хлебну... Словно на свет сызнова нарождаюсь я теперь...

— И впрямь лучше тебе! И так разом? Что такое, брат Юшенька? Напущено, что ли, было?

— Напущено?! От кого? Царь я али бо казначей чудовский, что корысть от меня какая и надо порчу напускать! Сам на себя напустил. Как на Украйне живал, в Киеве славном, на Днепре... Да и дальше... Камыши тамо, болота... От них — зело ядовитая лихоманка прилучается, как лекаря там мне сказывали. А я больно рыбку ловить люблю... Бреднем и на червя... с наживкой... Вот и накачал себе... Который год выгнать не могу, лихоманка бы взяла эту лихоманку мою!

От раздражения больной даже закашлялся.

— Молчал бы ты лучше, брат Юшенька... Ишь, после хвори, словно раздуло тебя... Может, уснул бы? Я посижу, посторожу.. Нужно чего — скажи, подам, принесу... Либо светец зажгу..

Хочешь, почитаю тебе чего... Гисторию либо божественного писания...

— Ну, начитался, наслушался. Из горла назад прет! Уж лучше я полежу, подремлю, правда... А ты посиди, коли охота. Все не один... Больно не люблю я один оставаться. И не убил вот еще никого, и церковного добра не хитил, — а неохота одному оставаться... Вот-вот станет перед тобой... не то «он», лукавый... не то — думы твои же, затаенные, нечистые, черные-черные, лукавого чернее...

— Ну, зачем же? Можно и об чем ином... Зачем черные думы в себе носить...

— Зачем? А затем, что тебе наполовину того нет, сколько я на свете прожил, чего не вытерпел, другим чего не подковыривал, коли случай был... Вон читал я во временнике об одном малом... Царь-то Иван и спать не спал покойно, коли не читал ему кто вслух книги разные... И громко, чтобы сквозь сон да слышал он живой голос человеческий... Сладко, видать, спалось царю, легко на душе было: а ни сучка ни задоринки. Сплошь один клубок нечисти адовой!

— Должно, что и так... Прости Господи, упокой душу грешную раба твоего, царя Иоанна.

— Ловко. А за Каина да за Иуду Искариота ты ныне не молил еще Господа? Либо за Годунова, за нашего правителя доброго, благочестивого? Оно бы уж заодно...

— Что же, за всех молиться надо... И за мучителей наших, и за проклинающих нас... Сказано же...

— Сказано, да не доказано... Коли бы так было, сама бы каждая овца несла волку сенца: «Съешь, мол, меня да пасть утри!» А есть такие бараны, что не идут, упираются, сами с волками бодаются... Как кому, а мне — такие любы... Пить дай...

— Вот, возьми, да не тормошись так... Не спорю я с тобою. А у тебя одно: как заговорил, так и заспорил, хотя бы и не с кем... Экой ты какой... Еще меня учил, что надо меньше яриться, про себя все больше думать... А сам...

— Сам с усам, лихо, нос не оброс. Где — и молчи, а где и попищи... У себя я в келье; с тобою, почитай что, с самим собою... Э-эх, жаль, силы мало... Песню бы завел новую. Лежал я вот, жаром меня палило... А песня такая раздольная, прохладная из души потекла... вот ровно бы Волга-река разлилась! Про нее и песню стал складывать... Хочешь, так тебе ее... полуголосом ... «Ка-ак...» Нет, силы мало... Ишь, ровно петушок молодой, заверещал гласом-то! Потом уж, как оздоровею совсем... А что у нас слыхать? Умер царь?

— Что ты? Господь с тобою! Да нешто... Да с чего?

— С хвори со своей с тяжкой... А то — и с Годунова, с его любви да ласки родственной... Который день я лежу? Постой... Шестой уж... Да! Да молчал больше... От жару, слышь, сказывали, только и бормотал, нес околесицу... А теперь — хочу время наверстать... Говорю, кажись, толком... Не сбагрил еще шурина добрый боярин, Борис Федорыч? Треклятый... Не забуду ему, как по его приказу, лет с десяток назад, — выпороли меня его разбойники, челядь буйная... Дороги ему скоро не уступил, с дарами ехал... У-ух, Ирод! Что же он, дает еще дышать государю милому? Святому молитвеннику московскому? Али уж капут? Говори...

— Жив еще государь. Лучше ему, слышал я нынче наверху, у владыки в покоях.

— Лучше? Ну, значит, скоро хуже буде... Это уж так... Не зря в Москву вся родня годуновская собрана... Полки в Кремле и кругом стоят такие, которые ему в защиту... Посулы сыпать стал, так и возом не увезешь... За день до хвори до моей... слыхал я ... от келейника от владычного... Приятели мы... Толковал Борис с самим... с патриархом... И бает: «Всем повестить надо, не дам церкви в обиду; монастыри — преукрашать надо, а не земли от них отнимать, крестьян отписывать! Божье брать негоже!» Видишь, куды гнет! По примеру по Иванову — надоумил он же царя: поубавить бы дармоедам земель для рабочих... А как на дыбы поднялись обители, он и подыгрываться стал. Может, для того и отбирать начал, чтобы после дать да повеличаться: какой-де я, мол, доброхот вам! И хитрый, Годун энтот... Не дай Бог тебе с ним столкнуться... Бояр всех — кого запугал, кого задарил, кого — посулами обошел. Помяни мое слово: скоро его дума старая сбудется: царем у нас сядет сам Борис свет Федорович! Годунов, мурза татарский родом, Ирод по прозванию, который детей кровь неповинную проливать приказывал... Увидишь...

Димитрий хотел было сказать, возразить что-то... Но напоминание об углицком злодействе, об умерщвлении Годуновым малютки Евдокии Ливонской, которое было известно многим, — остановило Митю.

В самом деле, не случайно же, не без затаенных целей приказал Годунов совершить целый ряд убийств и казней... Все говорят, все это знают... Люди почтенные, надежные... Любит сирота веселого Юшку-диакона. Но уважать не может этого скорее гусляра самовольного, чем инока честного... Но все толкуют заодно.

— Что? Не поешь «аллилуйя»! Не творишь молитвы, не тянешь акафисты! Уж это, чтобы про Бориску кто слово доброе зря молвил, — кажись, не бывает этого... А все же придется ему крест

целовать... Чует моя душенька... Да нет... я сбегу лучше, а не стану... Ироду... кровопийце... детоеду окаянному... Тьфу!

Больной даже плюнул от раздражения и гадливости.

Эти чувства многие разделяли с иноком в то время.

Сирота сидел, смотрел на ярко озаренное луной узкое окно и почти уже не слышал, как продолжал браниться и толковать о деяниях Годунова ненавидящий его инок.

Много таких же рассказов слышал сирота во время странствий по Руси, и здесь, на Москве. И больнее всего казалось юноше слышать общий припев:

— А все же, опричь правителя, некому и землей править...

Да так ли это?

— Слушай, ты лучше меня, брат Юша, знаешь Москву, бояр и воевод всех. Неужто нет ни одного, чтобы мог с ним потягаться? Земле помог бы... Стыда чтобы не было, если душегуб, грешник такой, венца похититель, — государем станет...

— Бояры? Воеводы, князья? Ха-ха-ха! Чего захотел, приезжий ты, сейчас видимо! Есть дельцы у нас: дьяки думные да приказные, старые: Щелкалов Василий... Ондрей и поумнее был, да стар больно, отошел... Гляди, и сам в обитель сядет... Ступин есть, тоже роду невысокого... Иные там... Лядящий их знает, как их тамо... Все — чернота, умом да горбом выперлись, без роду без племени. Нешто можно таким на царстве быть. Они и так служат. А бояры, князья?! Что выше, то хуже! Мстиславский — тряпка, бабий подол, не боярин... Фур-р-рть, фыр-р-рть... Сюды-туды, никуды. Вот и весь он... Шуйские — сумы переметные. Им бы урвать кусок да к себе в вотчины свезти. Царского корня, да мелко плавают... Духу в их мало... Придет пора, что некому будет, тогда и они вперед выйдут... А пока, где свалкой пахнет, их не вызовешь... Могильники они: любят хоронить, приходить да остатки собирать... Там — Бельский? Его сторожит Годунов. Сослан был... Теперь — снова призван... А там — опять в дыру, за приставы... Терпит поруганье князь, — значит, и не будет из него ничего. Такому не носить шапки Мономаховой... Есть тут хорошая фигура. Пристали бы ему уборы царские... Да тих, осторожен больно, мало резвости.

— Ты про кого? Про Романова?

— Во-во, про Никиту Федорыча... И любят его все... Вон, шведы, мастера-портные, коли похвалить стан кого надо, и то толкуют: «Второй Федор Никитыч у нас...» Видишь... А это — дело немалое... Да стеснил их тоже Годун. Ровно коршун, над всем родом вьется. Стоит им пикнуть, голос подать, руку к бармам протянуть, — отхватит и с плечиком, уж ты верь моему слову...

Знаю я всю здешнюю братию: и святых, и грешных, и Годуновых кромешных! Недарма он на Малютиной на доченьке женат... Много она ему делов понаделала, много пива наварила, много душ на тот свет убрать помогла, ведьма лютая. Чаровница она. От ее от наговоров и снадобий так головою стал скорбен государь... При покойном царе был он не больно боек, да все же пояснее глядел... А ныне... Эх! Она же, сказывают, с бабкой царицыной стакнулась... Как время пришло царице Ирине, — они на всякий случай девчонку у нищенки украли малую, двух-трехдневальную. А царице Ирине — сына вовсе Бог послал... Они сына-то унесли... куда-то отдали... Задушить приказали... А царю с царицею — нищенкину дочку подкинули... Мол, не дал Господь наследника!

— Да неужто? Грех какой...

— Грех! Кому грех, а Годунову — смех... А ныне, слыхал, жив, остался царевич-то Иринин... Не поднялась рука у конюха, которому «убрать» дите приказано было... И сдал он его чете одной. Та чета — далеко съехала... А царевич у них растет... поры дожидается, возрасту своего... Отпоет он тогда обидчику людскому, хищнику царскому! За всех воздаст... Только каково глотать Иуде сладко будет? Доживу ли, увижу ли?

При мысли, что когда-нибудь может совершиться возмездие, и поруганная справедливость, злодеем задавленная правда, узнает, наконец, миг торжества, — при одной мысли этой инок залился довольным, тихим смехом...

Тут, от усталости и волнения диакон сразу почувствовал, что глаза его тяжелеют. Он закрыл их — и мгновенно заснул.

А сирота долго еще сидел и думал обо всем, что слышал сейчас от пронырливого, всеведущего инока... Думал о, может быть, и не существующем царевиче, о сыне Ирины... Шептал:

— Вот хорошо бы было... Вырос бы... Пришел бы, сказал, кто он! И покарал злодея... Радость принес бы всем несчастным, обиженным! Как хорошо быть на месте этого несбыточного, но желанного царевича! Вот если бы он это, Митя?

Тут светлые круги и точки стали носиться перед глазами юноши...

Так долго грезил он о том, о чем грезили многие, молодые и старые, в эту тяжелую пору, наставшую для Руси.

* * *

Когда Димитрий вернулся к Паисию с известием о больном, старец весь был погружен в какую-то работу.

Своим старинным, твердым, сжатым почерком выводил он на листке строку за строкою. И горели оживлением глаза инока, как будто он вел живую, горячую беседу с другом, подобно сироте с Григорием, а не выводил ровные, черные строки на гладкой, холодной поверхности чистого листка.

Выслушав юношу, инок благословил его на сон грядущий, а сам еще долго сидел и писал. Потом свернул свою работу и спрятал на самое дно ящика, в котором хранились у старца разные книги, отпечатанные недавно и рукописные, как водилось по старине.

Сирота знал, что пишет старец: он собирал все летописи о былых годах...

Но они остановились на смерти Иоанна. И сам старец начал вести дальше правдивый рассказ — от воцарения Федора... Все время вел записи... Собирал подлинные документы, записывал слухи и вести, стараясь осторожно отсеять мякину лжи и прикрас от ценного зерна истины.

Иногда удавалось юноше и заглядывать в эти записи. Случайно, а может быть, и умышленно — старец позабывал на час-другой свои листки и уходил куда-нибудь, оставляя в келье сироту...

Тот жадно приникал к листкам... И находил в них сплошные ужасы, мало светлых точек, громкий клич о возмездии, смелое обвинение того же Годунова... А за последние разы — нашел нечто новое.

Прочел — и почему-то волосы зашевелились на голове у юноши.

Вот что было записано: «А как стало плохо государю Федору, стали бояре рядить и судить: кому царствовать? Одна царица остается наследница. А того и не бывало, чтобы женский пол на престоле сидел. Ольга была, так княгиня... И до возраста сына. Тоже Елена Глинская. И повели советы: кому из князей и бояр крови царской али иных на царстве сидеть по общему выбору? И никак не решили бояре.

Оставили на время, когда Бог пришлет по душу царскую, тогда и подумать.

А тут, неведомо отколе, и слух слыть стал, будто не царевича извели злодеи на Угличе, а иного, подставленного, с царевичем схожего. Да верного пока тот слух ничего не оказал. Однако бояре все, кто прослышал, — всполошилися. Особливо главный самый один».

Тут запись обрывалась.

Раза два или три прочел эту запись юноша. И лишь услыхав шаги Паисия, он отошел в свой угол, принялся за свое дело...

А старец, сев на место, заметил, что рукопись была тронута, осторожно кинул взор на сироту, усмехнулся ласково про себя и снова взял в руки перо, чтобы продолжать работу.

Заскользило, заскрипело перо старцево по шероховатой поверхности синеющего на свету плотного бумажного листа.

Близился вечер.

БОРИС - ЦАРЬ

Прислал Господь по душу царственную.

В первом часу утра, седьмого января 1598 года гулко, протяжно ударили в Успенский колокол — большой, возвещающий всегда о случаях смерти в царской семье.

Умер тихо, незаметно, как уснул, этот добрый, безвольный государь, которому посчастливилось так процарствовать, что даже доброта его не принесла народу несчастья или непоправимого зла, не считая того, какое успел сотворить Годунов, в виде крепи кабальной да ряда личных преступлений, вызванных его неукротимым стремлением к царскому трону.

На другой же день, с неподдельными горькими слезами, проводила Москва в могилу кроткого царя.

А между тем огласили и завещание его. Вот оно в двух словах: «Вручаю державу и все царства свои царице Ирине; как она повелит с ним, так да и будет. А душу свою приказываю — великому святителю, патриарху Иову, Федору Никитичу Романову — Юрьевых да шурину, Борису Федоровичу Годунову...»

Так написано было.

Но перед самой смертью пожелал наедине поговорить с женою умирающий царь. И не посмели отказать в этом. Даже Годунов не втерся третьим в это предсмертное собеседование сестры с ее мужем-царем...

Слукавил, как настоящий праведник, в первый раз тут Федор: уговорил жену отказаться после его смерти от царской власти, избрать достойного в цари.

Остерегал ее, не посадила бы брата: и царству, и Годунову не ждал он от того добра. Перед смертью — словно провидеть начал этот далекий от мира и злобы его, кроткий сердцем, бедный умом человек...

Умер Федор. Схоронили его.

Ирина свято исполнила словесное завещание, вопреки писанному, которое заготовил Годунов и заставил подписать Федора в свое время.

Не слушая настояний брата, Ирина переехала немедленно в Новодевичий монастырь, — и через день не стало царицы Ирины: была инока честная Александра...

Борис из себя выходил, но был неотлучно при сестре, опасаясь, чтобы кто-нибудь не овладел ее волей, как он это сам делал не раз... И тогда она, согласно писанному завещанию, может посадить на трон другого, не его... Подумать не мог об этом даже Годунов...

И сидели они там, как два обреченных преступника, привязанные к одной тяжелой цепи...

Жадно ловил все вести, долетающие в Чудово, сирота.

Он, заодно с целой Москвой, понимал, что дело как раз на переломе стоит. Качается стрелка державных весов: на одной чашке сидит правитель, Годунов, давно уже добиравшийся до краев роковой чаши...

А за другую — ухватились уже чьи-то руки... Но еще не видно, чьи. Не поднялась еще голова над уровнем чаши... Только и другая, годуновская, не опускается, висит, колеблется на воздухе... Качается державный маятник... И кто опустится первым, кто перетянет, тот и займет древний, золотой трон Московских державцев, оденет бармы, осенит себя шапкою Владимира Мономаха.

Совсем окрепший после болезни — инок-дьякон Григорий днями дома не сидит, бродит по московским монастырям и дворам знакомым боярским, сбирает вести и слухи, несет их домой. Здесь Димитрию передает, с Паисием делится...

Сидят они вечером втроем в келье у старца.

Григорий, не остывший от дневного волнения, стоит и говорит, порывисто поясняя жестами торопливую, даже слегка удушливую речь:

— Не бывало такого?! Сестра она, правда, да царица же, помазанница Господня... А он — что сегодня... Увещал ее: «Не для себя, мол, хочу царства! Не почета, не радости ради, вериги на себя налагаю, подвига ищу... А должен земли ради власть в руки взять... Не знаешь, мол, ты... А уж враги проведали... Татаре сызнова надвигаются. Литва и ляхи снаряжаются... Бояре не о земле думают, местами считаются, перекоряются одни с другими... Потому царя, хозяина нету на земле... Пропадает земля... Народ, царство христианское... И на тебе, мол, грех...» А она ему: «Господь до греха не доведет, как и доныне берег меня! Какова Его воля, Он явит... Кому укажет по голосу всенародному, тому и вручу наследие ангела моего, государя усопшего. Клялась я так ему, так и будет... А тебя прямо он указал: на трон не сажать бы!»

Как сказала, он и затрясся весь: «А, с ворогами ты с моими, с Шуйскими, с Бельскими, с Нагими, поди! Им царство отдать сбираешься...» Тогда царица уж и заплакала, ужасом объятая, руки тянет к нему и молит: «Нагих не поминай! Покарает Господь... И покойный говорил: покарает тебя Господь...» — «Как, ты с царем и про такие дела говорила? Меня порочила... Ах ты змея подколодная, не сестра мне... Прочь!» Да посохом ее... в грудь прямо... Пала государыня, только «ох» негромко молвила... Старицы, что под дверьми стояли, — хотят на помощь кинуться, а не смеют. Ноги у них подкосились. Увидит он, кто речи их слышал страшные, — так со свету сживет... Но, видно, самому не по себе стало, выбежал из кельи царицыной... К себе прошел. Тут старицы царице на помощь и поспели...

Слушают, молчат оба: старик и юноша. Тяжелое это молчание... Конечно, во многих местах по Москве разносились эти же вести, шли такие же толки, как и в келье старца Паисия. Тысячи людей все лучше и лучше узнавали комедианта высшей марки, лицемера-правителя.

Но пока еще докатится волна до глубины царства, разольется по всему простору его, — Годунов работает неутомимо, быстро соображает ходы противников, делает свои выпады, неотразимые, прямо ведущие к цели...

Месяц и десять дней минуло со смерти Федора, а уже успели гонцы развезти грамоты с приглашением на всенародный земский собор, для избрания нового царя, взамен Ирины, ушедшей в келью. И собрались «избранники всей земли» — попы, служилые, посадские и торговые люди...

Чернь слепо привыкла идти за «вяшшими людьми». А те — давно задарены, посулами закуплены от Годунова или запуганы клевретами его... Новопоставленный первосвященник, патриарх Московский Иов, не отстал от тех, которые предавали на смерть Праведника, лишь бы угодить правителю и претору...

Все было пущено в ход. Толпы народные стояли на коленях, плакали, звали на царство Бориса, который теперь заявлял, что недостоин взять «наследье Федора...»

Этой смертельной иронии только и не хватало.

Наконец крестным ходом с чудотворными иконами двинулись выборщики во главе с Иовом в Новодевичий монастырь, где Борис сторожил Ирину.

Народ, согнанный приставами со всех концов и сам поспешивший поглядеть на редкое зрелище, ударил в землю челом... Рыдания слышались вокруг...

И уговорили не только Бориса, но также вдовую царицу,

которая неожиданно для всех проявила столько твердости и силы воли.

— Берите брата на царство, если Господь того желает и вы просите сами! Да заступит *мое место* на престоле!

И, стоящий давно наготове, на самых верхних ступенях, — радостно, грузно опустился Борис на заветное место, на царский престол...

Лицемеря до последней минуты, Борис с наружным сокрушением громко заявил:

— Не дерзал я возносить взора до высоты престола. Но вижу: нельзя противиться мне больше. Буди же святая воля твоя, Господи! Настави меня на путь правый и *не вниди в суд* с рабом Твоим! Повинуюсь Тебе, исполняя *желание народа*!

Мало кто обратил внимание на это скрытое, но всенародное покаяние нового царя. Душа ему подсказала, что Бог *станет судить*, — так и свершилось...

Но пока — торжествовал Борис, царь теперь и по имени, как раньше был — по власти... Ликовал народ, призванный на бесконечные пиры новым щедрым царем, Годуновым, основателем второй династии царей на троне полночного государства, занятом больше 700 лет потомками Рюрика.

Торжественно, оглушительно гудели тысячи московских колоколов, как в день великого праздника...

Был со всеми в толпе народа и Димитрий-сирота...

— Да как же это? Почему так? И Господь допустил? — шептал он про себя...

И широко раскрыл он глаза свои, в которых так и застыл немой вопрос...

А Романовы, Бельские, Шуйские , Нагие и простые, не закупленные Борисом люди, дьяк Василий Щелкалов и другие, как бы в ответ на этот не слышимый для них вопрос, — думали:

— Видно, не пришла еще пора... Пусть повеличается... Выше взмоет, — ниже упасть придется кречету залетному, который в орлиное гнездо не по праву засел! Дурным обычаем укрепился там. Орленка царственного заклевать решился...

* * *

— Так тяжко тебе, говоришь, на Москве стало жить, чадо мое? И безо всякой причины особой? Верю, верю... Молод ты еще... Знаешь многое, что и мы, люди старые... Да, терпеливо ждать, пока пробьет час воли Божией, придет возмездия пора... Не можешь ты этого с горячим юным сердцем... Вижу, понимаю. Не держу тебя, сыне.

Да благословит Господь все пути твои... В Киев сбираешься? Дело. И сам я подумывал на время отпустить тебя в те края... Кое-что кой-кому передать бы надобно... Вот теперь и подошла самая пора... Бог, видно, старый хозяин, лучше нас, грешных, все дело ведет.

Мы — черви слепые в руце Божией... Поезжай. Лошадку возьми... Грамотку я тебе выправлю подорожную... Да слышь ты... вот еще... Стар уж я... Увижу ли тебя, чадо мое, приведет ли Бог? Кто знает... А по душе ты мне пришелся. Хочу благословить тебя... Да с уговором... Вот тут, видишь, — две ладанки... Побольше и поменьше... На гайтане на крепком, на груди храни их. Береги пуще глазу. Ты уж парень рослый... Шестнадцатый год пошел, слава те Господи... У царских детей — и лет совершение в эти годы... А ты умом и от княжских детей не ушел, а то и перешел иных...

Помни же. Носи ладанки. Не гляди их, не трогай. Только тогда открой, когда я весть пришлю, или сам скажу, или писать буду, хотя бы и не прямо, без моего имени... Только напомню — вот, день тут надписываю. «Вторник, февруария дня 28, року 1598...» И на грамотке на моей — будет только это число и год стоять. Дадут тебе таку грамотку, — открывай мои ладанки. Там уж знать будешь, что делать с ними надобно. Так обещаешь ли? Клятву дай!

— Клянусь! Слово даю, коему не изменял и не изменю, отче святый: так и сделаю!

Часть II

ЦАРЬ ИЗ МОГИЛЫ

ЗА ГРАНЯМИ

Давно уж это так повелось, что немало беглецов московских за гранью, в Польше да на Литве живет. Особенно — в этом последнем княжестве. Много тут православных своих помощников и крестьян. Мало чем и отличается местная жизнь от московской, особенно — окраинной.

На Литве жил и умер знаменитый воевода Иоанна Грозного, князь Андрей Курбский. И в мире, и на войне, пером и мечом хорошо умел князь сводить счеты с великим «хозяином Москов-

ского царства», которому изменил, спасая собственную жизнь, но оставляя на жертву целое гнездо: жену с детьми...

И до, и после Курбского — немало знатного и простого люда московского спасалось за этими гранями от опалы и гнева, от суда или бессудных казней московских владык, царей милостию Божиею, но немилостивых чаще всего и по рассудку, и по собственной склонности.

Сейчас живет там родовитый боярин Михайло Головин, близкий родич казнохранителя Иоаннова, который и по смерти его служил царю Федору по вере и правде. Но смели Головины пойти об руку с другими вельможами, стараясь обуздать властолюбие Годунова, — и поплатились опалой. Еле головы целыми унесли. А Михайло, повторяя, что «береженого — Бог бережет!» — все-таки за рубеж кинулся, собрав все, что мог из своего, большого раньше, богатства.

Вокруг него, как цыплята под крылом наседки, — собрались и другие, менее значительные русские выходцы, которые или бежали навсегда с родины, или по делам на долгое время появились в пределах Польши и Литвы.

В постоянных сношениях находятся эти добровольные изгнанники со своей покинутой родины. Послов ли посылает Речь Посполитая, либо сам литовский князь от себя, купцы ли собираются к Смоленску ехать товары менять, торг вести, — потому что дальше не пускают «литовских соглядатаев», как окрестили их братья на берегах Москвы-реки, — с каждой оказией идут и возвращаются цидулочки, безымянные по большей части, а порою — и цифирью, загадочным шифром начертанные...

Как раз в пору, когда направился к Киеву сирота со своим приятелем Юшкой, или Григорием-дьяконом, — неведомо откуда пронеслась странная весть среди московских выходцев, а от них — проникла и в польские, в литовские круги простых и знатных людей...

Заговорили вдруг, пока еще неопределенно, без подробных указаний и объяснений, что царевич в Угличе, на которого послал убийц Годунов, — не погиб. Близкие люди предвидели замыслы Годунова, успели заранее скрыть настоящего царевича, сына Ивана Васильевича, а пал от ножа безымянный ребенок, подставленный вместо Димитрия Углицкого.

Схоронили в могилу убитого. А живого — спрятали добрые люди подальше от глаз и рук Годунова.

Теперь — мальчик подрос, надежды большие подает, и собираются его покровители всему миру открыть тайну, хранимую больше семи лет...

Многих сильно всполошила эта весть. Как-то очень скоро и на Украину проникла она, как будто кто-нибудь нарочно с нею побывал в главных, людных городах и поселках тамошних.

А может быть, иначе даже это вышло. Может быть, в разных местах земли сам по себе народился волнующий слух. Никто не любил Бориса. Все видели, что под прикрытием царских одежд Федора прокрался он к трону, ухватившись за мертвеца, — успел взойти и на престол, когда еще не успели снять с него полуостывший труп последнего Рюриковича. Оставить трон пустым — нельзя было. Думы боярской — как предлагали московскому люду в первый день смерти Федора — признать не захотели, опасаясь многовластия, засилья наглых бояр больше, чем захвата власти одним умным заговорщиком дворцовым.

И Борис воцарился. Не было времени найти иного. Он не дал опомниться никому... Предупредил всякие попытки.

И Борис сидел на троне. Но он был ненавидим равными и старейшими по крови. Боялись его все. Куда направлял правитель, а после — царь свой тяжелый, сверкающий умом и волей взор, — там хотел он видеть полное повиновение, как бы тяжело ни казалось окружающим исполнять волю умного тирана, даже во благо себе, на пользу общую... Даже сильные чувствовали, что новый царь хочет и может стереть всякую личность в окружающих, уравнять всех: умных и глупых, добрых и злых, дать им корм и кров, как стаду, и быть надо всеми одним всевластным господином, тем более неугодным никому, что не по праву крови, не волею судьбы, а своей личной энергией достиг Борис высоты величия и власти на земле.

Этого больше всего не прощали ему окружающие, завистливые, ленивые, ограниченные бояре, которые по себе судили и Годунова и говорили, что только одними преступлениями и кознями удалось ему то, к чему стремились многие из них... Ум правителя, его труды и навык государственный сводили на нет.

При таких предзнаменованиях воцарился Борис.

Память о Димитрии Углицком за семь лет не могла изгладиться в народе. Почти все желали чуда, желали, чтобы этот царевич был жив... Чего горячо желаем, то иногда и мерещится... А что мерещится, чуется, — то и сбывается порою, хотя очень редко...

Поэтому возможно, что к концу первого же года царствования Годунова сам собою в разных местах мог народиться зловещий для царя слух о воскресшем из мертвых Димитрии-царевиче...

Но, во всяком случае, очень и очень многие люди, только охраняя свою безопасность, старались тайно сеять такие вести...

Сидя за рубежом, обеспеченный и от приставов, и от доносчи-

ков годуновских Михаил Головин первый стал разглашать опасный слух... Его подхватили, — а там и пошло...

В игру сейчас же вмешалось католическое высшее духовенство, как будет видно дальше.

Но пока — затрепетали тысячи грудей, услыхав радостную, хотя и невероятную, чудесную весть:

—Царевич Димитрий жив! Объявится скоро и на Москву пойдет, у душегубца Годунова трон и царство отбирать...

Около месяца спустя после ухода из Москвы двух друзей: диакона патриаршего монастыря и неведомого сироты-переписчика, юного послушника той же обители, — Иову донесли об исчезновении двух человек, состоявших в его свите.

— Писец просился-де, послушник, в Старицу, к родне. А Гришка-диакон и раней, бывало, гуливал... А тут, сказывают, с первым за дружку пошел... Как дружки они...

Этим докладом подневольные люди хотели снять с себя ответственность на всякий случай... А сами они знали, что оба приятеля уже далеко, в Киеве самом, если не дальше.

Сначала Иов не обратил внимания на доклад. Бродячие иноки были заурядным явлением тогдашней жизни. Пришли к нему случайно, неведомо как, побыли, послужили, а там — и ушли в иное место, когда поманила их мечта...

Только позже, когда до Иова докатился опасный слух о царевиче, — он насторожился и тоже, как человек «подневольный», оберегая себя и друга-царя, поспешил с сообщением к Борису, которого милость и сила возвеличила безличного старика, бывшего владыку Ростовского, в достоинство первого из князей российской церкви.

Был конец 1599 года.

Когда Иов вошел к Борису, тот сидел мрачный, с горящими глазами и, едва ответив на обычный привет, показал столбец, измятый, скомканный в сильных, судорожно стиснутых пальцах:

— Слыхал, отче! Чем промышлять вороги наши стали? Лежебоки все эти, козней строители лукавые, недруги земли и царства погубители! Романовы с Нагими, Бельские с Трубецкими да с Шереметевыми... Шуйские, главные всему злу заводчики с Сабуровыми да с Куракиными... Вся эта орда несытая, московские захребетники, дворовые приживальщики! Другие — лямку тяни, а им — пеночки сымать! Что удумали! Как царство замутить хотят.. Слухи воровские пускают... Слыхал, чаю, о них?

— Нет, государь, о чем сказывать изволишь, невдомек мне, — слукавил осторожный старик.

Этим он показал, что слухи еще очень слабы, если не дошли до него, до патриарха Московского. Да и с себя снимал ответственность за то, что вовремя не сообщил об уходе двух своих слуг.

Почему-то вдруг подумалось теперь Иову, что между слухами и этим бегством есть какая-то несомненная, хотя бы и отдаленная, связь.

— Ладно, добро... Пусть сеют ветер... На голову свою! Бурею крыши с ихних же палат высоких, а то... и головы с плеч снесет... Милостив я был доселе... Прощал, дарил, не зря сказал при венчанье, что последнюю рубаху снять готов, только бы люди в моем царстве нужды да зла не знали... Они мешать желают в этом... Так я мозги ихние, тупые, лукавые с придорожною грязью смешаю! Царя Ивана припомню для них. Да гляди, не так слепо стану разить. По выбору... Да пытать велю, похитрее Малюты... Положу над водою — и жаждой заморю. Детей ихних...

Тут вдруг Борис остановился, вспомнил о своих детях и огромным усилием воли укротил порыв.

— Пусть же берегутся нам вредить и губить царство! Землею всею, Богом избран я. На Бога идут. Он их и покарает... С чем ты, святый отче, припожаловал? С добром али с худом? Что-то лицо у тебя великопостное, хоша и не та пора сейчас?

— Так, повидать тебя пожелалось, а тут заодно вести, говоришь ты, пришли. Какие, государь, сын мой возлюбленный?

— Про Димитрия, про царенка Углицкого... Неведомой женки седьмой, женищи незаконной беззаконное дите. И жив бы он был, — не царевич, не трону наследник. Мало ль их таких, у государей, бывает? Всех и на трон сажать? Места не станет... А умер, допустил Господь, сам себе конец положил, — и буде. О чем толковать? Нет, вишь! Оживить мертвеца надумали, из могилы поднять хотят. Не умер-де. Другого-де убили злодеи подосланные. А кому подсылать надо было, а?

— Вестимо, некому было, государь, чадо мое. Ясное дело: не нужен и не страшен был им для кого мальчонка, седьмой жены сын.

— Ну вот, дело говоришь, отче! А они... У-у, треклятые... «Жив Димитрий...» Слыхал?

— Да что ты! Да неужто! Творец Небесный. Вот она злоба диавола! О-ох...

— Да, диаволы, верно, отче-владыко святый... Диаволы! Мертвецом пугать задумали. Поиспужаю я их... живыми палачами... Ну да ладно... Так про что ты, владыко?

— Да дело и пустое вовсе! Был диакон у меня на подворье, лядащий человечина. Грамотей только бойкий. А иные сказы-

вали — и чернокнижьем не брезговал. Да я не верю. Нет того дела, милостию Божией, у нас на Москве. И раньше, бывало, загуливал он. Пропадал на время.

— Ну, ну, что же? Не тяни, отче.

— А ныне — и вовсе сгинул.

— Молодой, старый? — словно соображая что-то новое, важное, спросил быстро Борис.

— Так, середних лет. Тридцать два либо тридцать три ему... за тридцать, скажем. Не более. А в Старицу к родне отпросился он, сказывают. Я там расспросы завел: сказывают, не было их там и не приходили вовсе они.

— Они?! Кто еще там «они»?

— Да с ним, с диаконом, с Гришкой с Отрепьевым, паренек еще увязался. Писцом у меня сидел. Больно четко да скоро писать был мастак. Вот и он за тем, за Гришкой, увязался. Обоих нет... Поискать бы не велишь ли... про всяк случай...

— Он, за тем? Парнишко, говоришь? А велик ли?

— Годов семнадцать, поди, или больше годком... На возрасте парнишко. Смышленый такой...

— Звать как? Собою каков?

— Димитрием звать, Сиротою... Крепкой такой... лицо широкое, прият... Да что с тобой, государь? Григорь Васильич, дохтура зови... Что с государем?

Григорий Годунов, бывший тут же, сам уже кинулся за дверь, испугавшись того, что стало с царем.

Вскочив с кресла, Борис взмахнул руками, ухватился за ворот рубахи и разорвал его, как будто воздуху не стало в покое. Лицо его приняло багрово-синеватый оттенок, глаза выкатились из орбит, побелелые сразу, пересохшие губы ловили воздух, судорожно раскрываясь и сжимаясь. Глухой удушливый хрип послышался из груди, которая поднялась высоко и не могла никак опуститься, заработать с обычной силой и ритмом.

Несколько мгновений продолжалось это, затем грудь стала порывисто дышать, лицо потеряло свой ужасный мертвенный оттенок, глаза снова вошли в орбиты.

Когда Григорий Годунов вошел обратно со Щелкаловым, не ожидая доктора, за которым послали людей, — царь махнул им рукой.

— Не зови никого... не надо... Бывает со мной. Удушье мое обычное... Пустое.

Хриплый, усталый голос Бориса звучал так странно. Он избегал встретиться взглядом с окружающими, как будто поднялись в нем воспоминания о каком-то постыдном, никому не ведомом,

полузабытом деле, совершенном в прошлом и не искупленном еще.

— Добро, владыко святый... Мы тут подумаем. Звать как... тово... парнишку? Ты сказывал, кажись? Да не расслышал я... Кровь в голову вступила. Прозванье его какое? Знать нам надобно.

— Звать? А вот невдомек, верно ли сам я памятую? Так, был... самый невидный паренек. Твердо и не вспомню... Мишка ли? Митька ли? Митька и есть. А прозванье? Да Сирота! Так прозванье одно и было ему — Сирота.

— Безымянный! Димитрий? Добро. И на том спаси тя Бог, отче-владыко, что впору нам сказал... о Сироте... о Мишке ли... Митьке ли? — снова овладевая собой, обычным властным, слегка укорливым тоном заговорил Борис. — Час добрый... Со Христом!

Проводя патриарха, Борис обратился к дьяку Щелкалову:

— Ты тут дожидался? Добро. Слушай: вести знаешь? Конечно, к тебе первому дошли. Отец святый нас порадовал... Спустя лето — по малину послал... А все же на грани на все, на Украину, на Крымскую череду, а особливо на Литву, на проезды и проходы к ляхам, в их сторону объезды послать большие... Ни туды, ни оттуда никого бы без обыску не пускали, хотя бы и с нашими листами подорожными. Приметы обоих тех, беглых из Чудова, узнать хорошо да списать вели. Може, еще тут они, у нас... Изловить — и ко мне. А ежели там — и там их найдем: рука у меня длинная... О Григорье об этом, об Отрепьеве, написать можно будет в розыске... А про того — молчок! Поймать надо... Безымянного! Его — пуще всего! А называть не надо. Чтобы толков лишних не было... Хитро: Димитрий-Сирота. Понимай как хочешь... Ловко! Ну да пусть не веселятся дружки-бояре... Я их подстегну почище, чем они меня собираются. Я их! О-ох, Господи, прости мне грехи мои тяжкие! Бог не допустит до зла земли своей христианской... Иди, Вася. Да чтобы тихо все... Без говору без лишнего. А то еще и у нас, и за гранью помыслит кто, что я тени, призрака глупого испугался... Затеи хитрой, вражеской боюсь. Я! Ха-ха-ха... Ступай, делай. Ты, Вася, бывалый, умный мужик. Сам смекнешь, как все надобно.

— Уж будь покоен, свет-государь. При тебе делу привык, как лучше. Спокоен будь. Челом бью, государь. Спаси тя Богородица и вси святые ангелы, с царицей и с царевичем и с царевной, красотою нашею. В другое челом бью!

Пятясь, вышел из покоя Щелкалов.

— Дети, дети мои! — прошептал скорбно Борис и, ни слова не

сказав Григорию, вышел и направился на половину сына Федора, чтобы взглянуть на детей.

Борис знал, что, что бы ни случилось, как бы тяжело ни было на его старой, источенной грехами душе, — один взгляд на детей вселял отраду, исцелял все душевные язвы, приносил ему желанное забвенье.

ГОНЕЦ ОТЦА ПАИСИЯ

— Хе-хе-хе! Почуял занозу в лапе! Кольнуло в грудь железом. Взревел! Теперя сам полезет на рогатину... Рвать и метать учнет кругом... Сам первый и надорвется! Слушок единый прослышал — и уж не свой стал. А что будет как дело въявь объявится? — заметил Шуйский, когда дьяк Щелкалов улучил время и передал ему, что произошло у царя во время посещения Иова.

— И то уж сбирается. Бельским бы шепнуть, стереглися бы... И Романовым, Федору с роднею. На них опалился больше всего. Тебя не тронет он, боярин... Опасается, что люди все московские торговые за тебя. Да и с патриархом с отцом дружен тоже живешь... А уж других перебирать почнет! Я уж знаю... Гляди, почнем на днях и указы опальные писать, в ссылку готовить...

— Ништо, пускай! А мы его еще подстрочим маленько. Вот, я сейчас туды и метнуся. Ровно бы не знаю ничего. На кого он сам думает, еще его науськаю. Все одно, беды не избыть. Чем он лютее, тем ему конец скорее, татарве проклятой... Еще нет ли вестей каких?

— Да так, ничего. Разве вот... — дьяк совсем понизил голос, словно опасаясь, чтобы стены покоя Шуйского не услыхали чего. — Брат Паисий в Киев, к иноку одному печерскому, писаньице шлет братское... Може, и от тебя что будет передать?

— Нет. Покуда ничего. Бельских спросить надо. Им ближе дело... Да Романовых... с подружением своим со всеми чады и домочадцами. Челом бью...

— Ладно, спросим уж. Здоров будь пока, боярин, свет Василь Васильевич.

Так закипела Москва при вести о первом отблеске тени Димитрия Углицкого, которая и сама реяла еще где-то за пределами телесного взора людей, в области их надежд, мечтаний и дум...

Как пишут современники-летописцы, еще до появления в Украйне первых вестей о воскресшем углицком царевиче, до обнаружения хотя бы следов его на Руси или за гранями, Борис, не говоря, что вызывает такую ярость, стал преследовать несколь-

ко боярских родов и вообще «страшен являшеся», по выражению одного из самых добросовестных и снисходительных историков Бориса, Авраама Палицына.

Было это как раз в 1600-м и в следующих годах.

Тень тени Димитрия смяла все планы хитрого государственного мудреца; как карточный замок, сдунула все плоды многолетних трудов и тайных преступлений.

В самой Польше и на Литве, где суждено было разыграться первому акту исторической трагедии, толком не знали ничего. Только год спустя послал Жигимонт пана Пильгржимовского к Борису с дружеским упреждением о волнующих вестях...

Только два года еще спустя, в 1604 году, Борис устами своих пограничных, Черниговских воевод князей Михаила Кашина, Оболенских и Татева — в первый раз громко заявил, что он знает о существовании самозванца, знает даже, кто этот дерзкий, а именно — «чудовский расстрига-диакон, Гришка Богданов Отрепьев, Юшко по-мирскому».

Но лживое слово Борисом было сказано, имя названо, — когда молчать дольше оказалось невозможным. Большое войско стояло наготове перед русской гранью и сбиралось судом Божиим, кровавым поединком выяснить, кто прав, кто виноват из двоих: похититель власти, Борис, или неведомый юноша. Самозванец, Лжедимитрий, как его называли при московском дворе, «царевич Углицкий», — как звали вождя его рати и весь народ русский.

Между тем, даже до начала 1600 года, тот, чьим именем смутили покой мудрого царя Бориса, мир двух соседних народов, — сарматского и московского, — юноша Димитрий-Сирота слышал разные вести о воскресшем Иоанныче, волновался ими наравне со всеми... Даже предчувствовал что-то великое, страшное своей юной, чуткой душой. Но наверное не знал ничего.

Те, кто незримо охраняли дитя от колыбели, — еще медлили, выжидали таких дней, когда последний удар явится страшным, неотразимым, смертельным. Они знали Бориса, знали свой народ...

1600 год застал Сироту в Печерском Киевском монастыре.

И здесь, как и раньше, хотелось ему вскрыть ладанки, полученные в Москве от старца-учителя, узнать, какая тайна скрывается за этой сероватой холщовой оболочкой, такой плотной, прочной.

Но юноша вспоминал свою клятву, говорил себе, что нельзя быть неблагодарным, надо верить человеку, который был всегда добр, оказал столько услуг бедному, безымянному мальчику.

«Но здесь, в этих свертках, наверное, и кроется тайна моего

имени, моего рождения...» — думал юноша. Рука уже тянулась разорвать, разрезать крепкую ткань... Взглянуть, увидеть, понять...

И тут же падала обратно.

Неукротимый во всех своих желаниях, Сирота умел обуздать себя в настоящем случае.

— Наверное, для моей же пользы приказал мне ждать честной отец... Он не похож на остальных — объедал, опивал монастырских... Святой души старец. Послушаю его. Клятвы не сломаю, чтобы Бог не покарал меня...

Обе ладанки остались нетронутыми больше года.

Живой, понятливый, Димитрий успел за это время ознакомиться с украинской речью, схожей во многом с общим русским говором и в то же время совсем своеобразной, певучей, мягкой такой. Молодая, богатая память помогла юноше сделать большие успехи за очень короткое время. А затем еще скорее овладел он и польским языком. На людных улицах, на шумных площадях веселого торгового города прислушивался Сирота и к немецкой речи, какую можно было здесь слышать чаще, чем на Москве.

Тысячи сильных новых ощущений наполнили душу юноши, на время как бы отвлекая его от одной неустанной мысли, от желания узнать: кто он сам? Есть ли кто-нибудь в мире у него близкий, или на самом деле он — круглый, бездомный сирота?

Приютился юноша у того же монаха Гервасия, к которому направил его из Москвы наставник-инок.

Особняком, беленькой веселой мазанкой с камышовой крышей стояла келья инока, тоже ведающего монастырские книги и рукописи, составляющего хроники, как его московский приятель.

Здесь — свободнее все говорится про Москву и больше можно узнать, чем живя там, на месте. Правда, и ложных слухов немало кругом носится. Да кто знает московских людей и дела ихние, — сразу поймет, что правда, а что прибавлено в каждом слухе, в каждой вести, идущей из-за рубежа московского.

Мирно, в молитве, в работе, в прогулках текло время Димитрия. Он еще был слишком юн, чтобы изведать и другие стороны жизни — кутить или вздыхать по темным очам, по вишневым губкам киевских красавиц, «дивчат и молодиц», как они здесь называются.

Южная зима настала... Крещенье близко.

Вдруг нежданный, дорогой гость появился в келье Гервасия, поздоровался с ним по чину, поклоны отбил и после обратился к остолбенелому Сироте.

— Что же стоишь, чадо, ровно Лотова жена посолонелая? Али не признал?! Челом бью!

Гость, инок Чудовской обители, отдал поклон Сироте. Тот прямо на шею к нему кинулся.

— Отец Авраамий! Вот не ждал! Как тебя Господь занес? Да как выехал с Москвы? Надолго ль к нам? Что отец Паисий? Наши все? Господи, вот радости Бог послал!

И даже слезы радости выступили из глаз, покатились по рдеющим щекам Сироты.

— Все слава те Господу. Челом тебе бьют, шлют благословение свое, навеки нерушимое, сиротке бедному...

И старик благоговейно осенил голову юноши своею дрожащей рукою. Очевидно, он был очень взволнован, как будто не знал, с чего ему начать, как приступить к делу, ради которого явился сюда с далекой Москвы, да еще зимою.

Передохнув немного, инок продолжал:

— Приставы с Москвы на Смоленск выехали. Послов тамо будут встречать больших: Сапеху Катцлея со товарищи. Едут в нашу сторону для мирного договора на вечные времена... Вот я с ими, с приставами, и увязался, выпросился у игумена... И по монастырским делам, к Смоленскому отцу игумену... И для своих нужд... В Смоленске приставы-то долго еще поджидать послов будут... Я сюды и пробрался с обратными, с попутчиками, по ямам по проезжим... Близко, благо, тута... Тебя повидать... и братьев иных в обители... Недалеко, толкую...

— Совсем рукой подать, коли Долгоруких взять, — кланяясь инокам, подхватил диакон Гришка, вошедший на эти слова, — с приездом али с прилетом! Как челом бить, не скажешь ли, брат Авраамий?

— Здорово,брат Григорий... Вот ты тут! Тебя и не хватало... Все балагур мирской, по-старому?

— Нет. Тута моложе стал. Видишь: браду отпустил, наусие, обмирщился, чернечий кафтан скинул, казацкий жупан вздел. Ладно ли? Что скажешь?

— А мое ли то дело? Чем плохим чернецом, лучше добрым мирянином быть, так я думаю. А там, Богу знать...

С приходом Отрепьева Авраамий стал иной, словно сжался весь, каждое слово взвешивает.

— Так, так, умное слово. И сам я так думаю. А что на Москве нового слыхал? Как царенька, милостью Божией да пищалью стрелецкою? Слышно, лютует теперь, не хуже покойничка Грозного царя, Ивана Васильевича?

— Ох, Гришка, ох, худой твой умишко! Висеть тебе на дубо-

вой на перекладине! Уж больно ты востер, как вижу. И был таков, да и стал не хуже...

— Не охай, брате мой, друже. Коли висеть мне к судье задом, так и тебе — со мною рядом. Так мы всюду: заодно и вместе. Выкладывай лучше свои вести!

— Да ты что? И впрямь в скоморохи записался, круговая твоя голова?

— Нету. Собираюсь к пану воеводе Острожскому в челядинцы. Все бы готово, да он сам не идет, меня к себе не ведет... За малым дело стало. Вправду, не томи, говори, что творится в белокаменной? Хоша и горем полна, да все родная сторона, своя мать, а не мачеха... Как там у вас?

— Слушай, дай слово молвить... Я скажу все... Не жалко. Тут шпыней, чай, нет Борисовых, от которых житья не стало никому, от самого владыки и до смерда последнего... Беды у нас, ох какие беды! А как прошел слушок один...

— Какой такой? Про царевича? М-да, энто Борису не мед! Что еще будет! Донцы тут есть по обителям... По обещанью, с молитвой пришли. Толкуют: только бы им, казакам, себе получить того царевича! Все как один станут... Имя какое, что твоя хоругвь Пречистыя, которая Димитрию Донскому на татар помогла. А этот, из мертвых воскресший Димитрий, поди, с одним татарином — легко управится... Да еще туда отцы ксендзы всполошилися... Бывает, что и с ними сводит меня Господь... Говорят, что за истинного царевича и Литва и Речь вся Посполитая заступится. Больно уж наш московский государь скороспелый надоскучил им всем. Сердит, да не милостив! Дале что?

— Да ты, почитай, половину сказал. А от другой — немного и осталося... И прежде чисто было круг царя Федора. А круг Бориса — еще чище стало. Мало и бояр-князей осталось на Москве. Кто в ссылке, кто в петле, иные под лед спущены, на вечное успокоение... Ни тебе Сицких, ни Быкасовых либо Шереметевых...И Романовых, и Мстиславских... Бельского Богдана было вернул, а ноне опять упрятал... Ровно в склепе, тихо во дворце царском... Из чужих — одни Шуйские уцелели покамест, да и то не все...

— Шуйские? Первые вороги его... Особливо Васенька, котмышелов, ласковый, тихенькой, коготочки востренькие, лапочки бархатеньки... Он — жив, не сослан? Не «выбыл», как покойный царь по убиенных писать приказывал? Иван Васильевич государь?

— Жив? Заручка у него сильна. Московские люди все... Новгород, его буйная дедина и отчина... А тут еще сестра царицы

Марьи, Катерина Григорьевна, — замужем, как ведаешь, за Димитрием Васильевичем Шуйским, за родным братом князя Василия. Она их дюже и выручает...

— Угу... Одно я в толк взять не могу: коли всем так нелюб Борис, чем он держится? Народ — одна сила на Москве... Не сотня наемников иноземных. Свои ратники не пойдут против народа... Что же бояре дремлют? Взять да и...

— А ежели взять пока нечего? Убрать одно — другое надо на место ставить; пусто место чтобы не было. Не подобает того в царстве. Боярам волю дать, каждый себя выставит. Особливо — Шуйские. Мстиславский и Романовы. Все один другого опасаются; а царя — пуще всех. Вот друг дружку и сшибают, руки вяжут один другому... А чего иного еще не приготовлено...

— Угу! Не приготовлено... разумею... А слышь, Митя, гляжу я на тебя... Чай, Евангелия не так ты слушаешь чтение, как наши речи житейския, про дела царские? Что, ежели бы бояре шутку сшутили? И годами и видом ты подошел... Парень хоть куда... Тебя бы в эти Димитрии постановили... Имя и то одинаковое. Перекрещивать не надо.

От неожиданности Сирота как сидел, так и застыл, откинувшись немного назад, будто призрак встал перед ним, пугающий, грозный.

Бледный, с расширенными глазами, он стал красив и странен, как никогда.

А гость, заметив волнение юноши, ворчливо заговорил:

— Слышь, ты, челядинец Осторожный, Острожский ли, не ведаю, как сказать... За такие шутки на Москве — оба вы на первой осине качались бы! И он, безвинный, с тобою. Да и здеся за негожие речи не похвалят. Убери язык в подполицу, коли во рту ему тесно...

— Ну буде, не бранись! И то, зря сболтнул. Вон, Митя испужался от слова от глупого. Что ж бы это, коли бы... Молчу, молчу... Дале что?

— А дале — устал я... Отдохнуть бы где, брат Гервасий, у тебя можно ли? Здесь?

— Добро... А ты что же все молчал, Митенька? И не спросил ни о чем.

— Да я слушал... А скажи, отче, проводить тебя можно ли будет, как на Смоленск повернешь?

— Что, али по Москве соскучился? Не знаю, подумаю... Тут надо мне вам с Григорием еще слово сказать... Слышь, о вас, об уходе вашем и до царя вести дошли... Как уж, не ведаю. И сам приказывал он: ловить вас обоих... Наговорено на вас, будто чер-

нокнижием займоваться вы надумали. Для того и за рубеж ушли... Так дело ли теперь нос в капкан совать?

— Ого! И до нас милость царская докатилася! Какие мы птицы стали важные, слышь, Митя... Ну, уж ты один Москву проведать сбирайся. Я тебе не подорожник! Слышал? Что молчишь, правда, нынче? Али обещанье Богу дал? Молчальником стал?

— Нет, Гриша... Ладно, я потолкую с тобой, отче, подумаем. А охота была отца Паисия повидать! Как живет святой старец?

— Бог милует. Видел я его перед самым выездом перед моим. Он и сказал: помни брат Авраамий, спроси Митеньку, записан ли у него, который я ему сказывал... Пожди, припомню я... Кажись так:«авторник, февруария». Да, стой! Память у меня девичья... Вот тут есть написано. Рукою старцевой. Поминанье, какое он заказал тебе править по усопшим. «Вторник, февруария, 28 дня, 1598 року». Вот бери, попамятуй... Помолися, сыне!

Дрожащей рукой, молча принял Сирота листок и быстро спрятал его на груди.

Брат Гервасий и Гришка-диакон, толковавшие о чем-то, мало обратили внимания на то, что произошло.

Авраамий скрылся в соседней каморке, где улегся, кряхтя и отдуваясь.

И Сирота, отдав поклон, быстро вышел из кельи, оставя в небольшом недоумении друга и инока печерского.

СИРОТА-ЦАРЕВИЧ

Холодный воздух, охвативший юношу за дверьми кельи, оказал ему большую услугу. Он смог овладеть тем вихрем ощущений и мыслей, от которых сейчас там, в келье, огненные круги и пламенные языки завертелись у него в глазах.

Так вот оно, наконец... Тайна раскроется. Кто же он? Кто? Чьего роду-племени?

Кинулся было Димитрий в один, два уголка, где можно было бы на свободе открыть ладанки. Зашел в одиноко стоящую баню, сейчас совершенно пустую.

Никто не заметил, как он туда пробрался. Но окна низенькие в ней. Завесить их изнутри — покажется кому-нибудь странным, что в праздник окна закрыты в этом помещении. Да и заглядывали сюда порой люди за водой.

Вздумал было в церковном алтаре, опустелом после службы, укрыться... Но туда сторож может войти.

Кинулся в глубь монастырского сада, забрался в заросли, полузасыпанные снегом, хотел уже достать свой клад.

И молнией озарила его мысль: широкий след остался на снегу, когда он бежал сюда. В праздники много народу в саду бывает. Увидят следы, Бог знает что подумают и накроют его...

Дрожа от волнения и от холода, — вылез Димитрий и пошел озираясь, словно Каин, гонимый всевидящим оком мстителя.

И внезапно новая мысль озарила его:

— В школу. Там уже совсем пусто... А он возьмет Евангелие старинное, большое, бумаги, перьев. Будто по обещанию, переписывает Слово Божие. Если кто набежит — ничего не увидит. И посмотрит там он свои ладанки. Бумаги лежат внутри. Он уж нащупал давно. А в меньшей — еще что-то твердое, будто кусок железа. Инока, верно, благословенна. От матери, от отца. Кто они? Кто?

С этим вопросом он забрался в просторный, светлый покой, опустелый, как и все это крыло обители, отведенное под школу.

Целая горка книг заслонила Сироту от взоров каждого, кто мог бы неожиданно войти сюда. На столе лежали куски бумаги и раскрытое Евангелие.

Выведя дрожащею рукою несколько строк на всякий случай, Димитрий огляделся еще, прислушался. Кругом царила глубокая тишина. Только за окнами ярко светило зимнее солнце и слышался праздничный говор и шум...

Складным ножом быстро и ловко вскрыл Димитрий обшивку меньшей ладанки, а губы его все шептали:

— Кто же, кто они? Моя мать... мой отец?

Сунув за пазуху оболочку ладанки, Димитрий развернул толстый кусок пергамента, лежащий внутри.

Что-то блестящее, круглое покатилось со звоном по столу, выпав из свертка.

Димитрий быстрым движением перехватил предмет, не допустив его упасть на пол, и увидел у себя в руках — золотую гривну средней величины.

На ней четко выделялся знакомый Димитрию профиль царя Иоанна Васильевича. Кругом — шел титул царский и полное имя государя.

— Что это? Казна мне, что ли? Дар от родителей? Видно, жалованная была им гривна от царя. Большой был, значит, человек отец мой. Дальше погляжу.

Он совсем развернул пергамент.

В нем лежала завернутая в хлопки и тонкую тафту еще какая-то вещь.

Сняв оболочку, Димитрий увидел довольно большой, тельный крест, литой из золота, тяжелый, осыпанный крупными изумрудами и рубинами. Несколько больших жемчужин заменяли сияние над изображением Распятого, тонко вырезанного из золота же.

— Да это царская святыня, — подумал Димитрий. Быстро расстегнул ворот и надел на шею цепочку, на которой висел крест.

Теперь Димитрий стал разглядывать странную пожелтелую хартию, в которой лежали оба дара, словно из гроба кем-то посланные ему.

Странный чертеж с изображениями звезд и планет был представлен на пергаменте. Надписи поясняли чертеж.

Внизу было написано красивым почерком что-то по-немецки. А еще ниже помещен был перевод, старинным почерком, с завитушками:«Гороскопиум, сиречь звездочетное начертание жизни, предстоящей княжичу Углицкому, царевичу Димитрию Московскому и всея Руси. 19 дня месяца октемврия, 7090 году».

Дальше шло изъяснение предсказания Якоби, как он давал его царю Ивану.

По мере того, как Димитрий читал и начал все понимать, когда поверил тому, что не сразу понял, — неодолимый страх овладел душой юноши.

Он готов был бросить все, что хранил так долго и свято... Хотел кинуться, убежать... чтобы не нашли его никогда... Чтоб он сам не нашел путей ни сюда, ни на Москву, которую вдруг так живо увидел перед собою, словно бы раздвинулась стена этой комнаты и за нею стоял далекий, огромный, пугающий его город, столица его отца, царя Ивана... Его столица царевича Димитрия! Конечно, это он — Димитрий Углицкий... Что будет? Что теперь будет с ним... и с Русью?

Вдруг ужас схлынул. Неукротимая радость залила душу юноши. Он вскочил, потряс руками, словно хотел обнять кого-то. Слезы брызнули из глаз, лились неудержимо, быстро... струей... Едва мог удержаться Димитрий, чтобы не зарыдать громко-громко и радостно.

Но вот новая мысль, как ледяной водой, обдала его с ног до головы.

Да есть ли основание думать, что этот царевич, убитый, как все знают, в Угличе, и он, Димитрий-Сирота, — одно и то же лицо? Как могли спасти его? Об этом никто не говорил ничего верного... Да и не узнает никто. Стоит указать, как и кто спасал царевича, так царь Борис живо вознаградит за усердие этих людей...

Почему же он, Сирота, и есть спасенный? Не сказано тут этого... Вещи? Бумаги? Оне, может, так, для какого иного дела ему переданы... Еще есть ладанка. В нее надо заглянуть. А пока этот гороскоп снова сложить и спрятать в его прежнюю оболочку, на старое место, на крест... На этот царский, драгоценный клейнод!

Достав холщовый мешочек, Димитрий там нащупал теперь еще какую-то бумажку.

Быстро достал, раскрыл сложенный пополам узенький клочок бумаги и прочел на нем знакомым почерком начертанные несколько слов, всего две строки: «Челом бью князю Углицкому, царевичу Московскому и всея Руси».

Подписи не было. Но Димитрий знает руку Паисия...

Снова огни и звезды закружились в глазах.

Так это, значит, он — спасенный Димитрий!

Но как же его спасли?

Спрятав первую, кое-как сложенную ладанку на груди, — Димитрий лихорадочно вскрыл второй, больший сверток.

Здесь он нашел полный список завещания царя Иоанна Васильевича, список с дознания об углицком злодеянии, где все места, противоречивые и явно нелепые, все, что говорило о пристрастном допросе, — было подчеркнуто и пояснено: тут же лежали показания тех, кто говорил не по желанию Шуйского и Клешнина, и все были подписаны. Третий документ представлял как бы рассказ о завещании Иоанна «некоторым своим боярам и служилым людям», без означения их имени, осторожности ради...

Завещание это касалось царевича Димитрия, которого следует скрыть от возможных покушений со стороны врагов... Дальше шел рассказ о выполнении царского завета, о том, как был подменен царевич, куда отослали ребенка, сдав на руки чете старых, благочестивых однодворцев в Старице.

Имена снова были опущены. Но Димитрий знал эти дорогие имена... Конечно, их не следует называть. Если старики умерли, а Борис проведает, так кости ихние выроет, всю родню изведет... Хорошо, что нет имен. И он, Димитрий, пока не сядет на свой трон, до поры полного своего торжества, поклялся не называть ни одного имени, чтобы не повредить кому-нибудь из тех, кто берег его, заботился о нем столько лет, неутомимо, осторожно и так успешно. Эти же люди, конечно, и дальше позаботятся о нем, доведут его до трона. Он теперь уверился в этом.

Больше в рукописи ничего не было. Но дальнейшее знал и сам Димитрий.

Бережно сложил бумаги и спрятал их на груди, как было.

Огляделся, прислушался — кругом прежняя тишина.

Но сейчас она наполнилась для юноши какими-то голосами, звуками, звоном оружия, ржанием коней, как он видел не раз, при появлении царя или правителя перед рядами московских ратей... Он видел торжественные выходы... Слышал какую-то дивную музыку...

Звучали хоры, звенели арфы... Грозные полки сшибались на просторе земных полей... Высокие дворцы с золочеными кровлями темнели над зубчатыми стенами...

Бесчисленные толпы народа радостно встречали кого-то и падали ниц...

Устремив глаза за окно, где солнце стало уже опускаться к горизонту огромным, багряным шаром, — сидел Димитрий и видел сны наяву...

* * *

— Что с тобою? Где ты был, Митя? Я уж которое время ищу тебя... — встретив товарища, стал спрашивать было Гриша-диакон. И остановился.

Лицо Димитрия было какое-то измученное, черные круги обозначились под глазами. Но оно все сияло и светилось, как у праведника!

— Да что с тобой? Скажи на милость!

— Ничего, Гриша... Я уснул... долго спал... Снилось мне, что я умер... вознесся в небеса, к Богу... Дивно было мне там... И так не хотелось ворочаться сюда, на землю... где муки и горе... и страх...

ИСПОВЕДЬ

Странное чувство овладело Димитрием.

Его неудержимо потянуло в Москву, в его Москву, в его столицу! Он знал этот большой, крепкий Кремль с его дворцами, эти посады, торговые концы, шумливые и грязные, зеленеющее Замоскворечье и Занеглинье... Все знал, всюду выходил... И все же он совсем не знал их.

Только теперь он увидит «свой», настоящий город, столицу могучего, богатого царства, одного из обширнейших на земле!

Авраамий не стал отговаривать Димитрия, очевидно догадываясь, что это делается не зря. Что же касается опасности попасть в руки врагов, — вероятности для этого было слишко мало. За два

года Димитрий выровнялся, изменился,особенно пополнел и казался много старше своих 18 лет.

Наконец, дело так устроилось, при помощи брата Гервасия и других, что Димитрий очутился в свите литовского канцлера, посла Льва Сапеги, в коротком казакине, в шапке набекрень, — бравым конюхом, а не смиренным, бледным послушником, каким его знали и помнили на Москве...

И он побывал там... Видел гробницы своих предков, целовал их, обливал слезами... Видел старых друзей: Паисия, Игнатия, — издали, не выдавая себя, не тревожа их напрасным страхом.

Но долго он не оставался в Москве. Только в августе 1601 года выехал обратно посол. А Димитрий, теперь — Игнаций Лешко, умчался на Литву, как провожатый одного из членов посольства, которого отправлял с некоторыми сообщениями на родину Сапега.

Побывал в Польше Димитрий и у боярина Михайлы Головина, не открывая еще своей тайны.

Изредка, через разные руки, получал он наставления, писанные знакомой рукой: что делать, кого повидать, как говорить, если о чем спросят.

Прочитав и запомнив грамотку, Димитрий сжигал ее сейчас же.

И точно поступал согласно указаниям далеких, даже неведомых ему друзей.

У Головина нашла его одна такая грамотка, где говорилось, что надо скорей оставить эти места. Тут уже нащупали кое-что клевреты Бориса, которых за деньги царь имел повсюду...

Ему советовали побродить по дворам знатных польских панов, указывали имена таких беспокойных, честолюбивых панов, которые не откажутся от самого опасного предприятия, лишь бы оно сулило побольше выгод и почестей.

Там Димитрий должен прислушаться: что толкуют о появлении царевича? И если представится удобный случай, — он уже сам может воспользоваться им. Дан был совет опасаться католических ксендзов.

Сообщали Димитрию, что в текущем 1601 году прибыл в Москву нунций папы, легат Дидак Миранда и Фра-Коста. Просят они проезда в землю персидскую. Но, как удалось узнать, очень занял папу Климента, нового первосвященника Римского, слух о воскресении царевича Димитрия. Он и поручил своим послам разведать повернее: в чем дело? Где этот царевич? Нельзя ли использовать чудесного обстоятельства, прийти на помощь новому царю и заручиться за это влиянием на Москве?

Много писали Димитрию. Много он и сам узнавал...

Особенно когда попал ко двору князя Адама Вишневецкого. Здесь кипели вести и слухи. Паны открыто говорили:

— Не явись этот Димитрий, его надо было бы создать, как Бога для людей... Вот — бич, наконец, на выскочку, на Годунова!

Тоже говорили и при дворах других литовских и польских вельмож, где удалось побывать Димитрию то в виде слуги, то под рясою нищенствующего, бродячего монаха, бредущего за сбором из Киевской Печерской обители...

У Адама Вишневецкого слугою решил пожить подольше Димитрий, пока придут вести из Москвы, что можно начинать, что настал час столкнуть с престола наглого захватчика.

А эту весть можно было ожидать со дня на день.

Как будто судьба сама, не только люди — вооружилась на преступного Годунова.

Когда Димитрий был с Сапегою в Москве, уже и тогда голод охватил целую область Московскую.

Ужасы рассказывали про озверелых от голода людей. Матери пожирали своих младенцев. На рынках продавали пироги, начиненные человеческим мясом. Заманивали в дома людей, убивали и поедали их... Люди питались навозом, солому жевали и гибли тысячами... И трупы находили могилу в желудках своих же собратьев людей...

Множество трупов коченело зимою кругом Москвы, по течению реки, в соседних, окрестных селах и городах...

Весною трупы стали разлагаться...

Лисицы, волки набежали из лесов на даровой, обильный корм, забегали даже в города.

Зараза, мор — пришли на помощь голоду, который длился и второй, и третий год...

Борис выходил из себя. Старался смягчить бедствие, раздавал огромные суммы денег, отыскивая и привозил запасы старого хлеба, сберегаемого много лет в скирдах...

Но это не приобрело ему любви и благодарности ни от кого.

— Не свое дает небось... Царскую казну захватил — и сыплет... Да и то — не полной рукой. Горсточку кинет каждому, думает — и дело сделал! — говорили те, кто получил что-нибудь от щедрого царя: человеку никогда не бывает довольно того, что посылает ему судьба...

А те, которым почему-нибудь Борис не мог или не успел помочь, — роптали еще с большим основанием, кричали о несправедливости, о злых намерениях царя: убавить народа, чтобы легче было справляться с остальными...

Много всего говорилось... И мало — в пользу Борису. Все —в осуждение и в укор новосозданному, свежеиспеченному царю.

Очень не любит славянский народ «новичков» нигде и ни в чем; а уж на древнем троне своем — и подавно...

Всякие беды, по словам народа, послал на Русь Господь — за тайные грехи Бориса, за Углич — особенно. Так стали толковать открыто в народе, хотя годуновские сыщики и тащили неосторожных в застенки.

Димитрию сообщали обо всем.

И казалось ему, что пора...

Скоро и неведомые друзья тоже прислали ему только одно слово: «С Богом, начинай!»

Это было при дворе Адама Вишневецкого, в конце 1602 года.

Брагино, или — Бражня по-польски, называлось поместье.

Как назло, захворал здесь Димитрий.

Должно быть, от постоянного внутреннего напряжения — упорная, сильная лихорадка овладела им, жар лишал порою сознания, и юноша бредил, бормоча странные, малопонятные окружающим речи... Может быть, и просто та же жестокая болотная лихорадка, которою страдал дьякон Григорий, — привязалась и к Димитрию, всюду побывавшему за последние годы, — и в плавнях днепровских, и в болотах на Волыни.

Когда жар спадал и сознание прояснялось, — ужас охватывал Димитрия: а вдруг он умрет, не изведав до конца того великого жребия, который выпал на его долю здесь, на земле?

— Нет, не может быть! Не должно так случиться, — сам себе возражал он. — Не для того Господь хранил и вел меня много лет, чтобы я кончил дни свои в этой казарме для панской челяди, на жестком ложе, где пришлось, в мешке с соломой, заменяющем матрас, прятать царские клейноды! Я оправлюсь... Должен скоро оправиться, чтобы приниматься за дело! Мне уже двадцать лет... я зрелый муж, не юноша, не ребенок... Пора за дело!

И это могучее желание как будто на самом деле осилило недуг.

Димитрий почувствовал, что ему становится лучше...

Но тут же новая мысль блеснула ему в тиши ночной, когда он лежал с широко раскрытыми глазами и думал, думал без конца: как это начнется? Чем это кончится? Где и когда?

— Пожалуй, мне могут не поверить, хоть и сами желают видеть меня... Вон, готовы «создать» Димитрия, если бы не явился он... А все же могут усомниться! Лучше, если сразу поверят...

И он надумал.

Дня три или четыре все больше стонал и жаловался больной,

когда кто-нибудь появлялся у его постели... Голос его звучал все слабее и слабее.

Наконец, он подозвал одного из пахолков-сослуживцев и попросил:

— Стас, сердце, не позовешь ли мне попа... Либо инока здешнего из монастыря? Помираю... Надо душу освятить, причаститься, исповедаться, как велит наша вера...

Желание умирающего было исполнено. Явился настоятель Брагинского монастыря, где пришлось слечь Димитрию, — и приготовился слушать исповедь отходящего конюха Адама Вишневецкого.

— Во имя Отца и Сына... Можешь ли говорить, чадо мое? А то я дам немую исповедь и причащу тебя... Бог облегчение посылает со своим святым причастием... Веруешь ли, чадо мое?

— Верую... Сам исповедь принести желаю, — еле слышно заговорил Димитрий. — Великая тайна давит меня, ровно жернов, навалилась на грудь. Может, от нее и вся моя хворь, святой отец...

— Тайна? Великая? Говори все, чадо... Я слушаю тебя...

И любопытный инок ближе подвинулся к Димитрию, оглядевшись только: нет ли кого тут поблизости.

Но они были одни.

И слабым, рвущимся голосом повел Димитрий свой рассказ... Сначала передавал по тем сообщениям, какие были в присланной ему рукописи... Потом — и дальше, что сам он помнил и пережил с 6—7 лет...

По мере того как развертывалась нить рассказа, инок-исповедник менялся и в лице, и в позе своей.

Нижняя губа тряслась теперь от волнения, любопытства и страха... Он сел не по-прежнему, развалясь, а подтянулся, подобрал полы рясы, поджал на поясе руки и слушал, склонив на правое плечо голову, приоткрыв рот с отвислыми, полными губами.

Когда Димитрий кончил и слегка застонал, словно от боли, — инок вскочил, отвесил низкий поклон и забормотал было:

— Милостивый государь, твое царское ве...

Но вдруг сдержался, опомнился...

— Постой... Ну, помираешь ты... Лгать не станешь... А все же, какие у тебя есть еще доказательства? Может, морочили тебя самого, а ты теперь людей и Бога обмануть собираешься, помимо своей души и воли? Есть ли что?

— Есть... для того и звал тебя, отче... Прийми завещание мое... Вот тут, под изголовьем в сеннике — свертка два... Взял? Гляди:

бумаги все тут, о коих говорил... И крест царский... Цены ему нет... Не украл я его... Мой он... И гривна золотая. Краденое — сбыл бы с рук... Вот и приметы все: видишь, на лице родинка бородавчатая... Синеверхая вся... А вот... под сосцом — и знак царский... Видишь: пятно красное, словно орел двоеглавый... Вот, все тут со мною... А есть и люди, у вас тут, на Литве, скажу, ежели спросят, укажу их... Они, поди, видели меня и на Москве, и в Угличе. Под присягой покажут, кто я таков: моего ли отца сын али обманщик злой, самозванец, как на Москве враги мои толкуют... Вот...

И, словно ослабев, Димитрий умолк, закрыл глаза. А сам из-под ресниц выглядывает: что скажет инок?

— Ну, видно, правда... Челом тебе бью, царевич Димитрий Иоаннович! Дай тебе Господи на царство на твое сесть невредимо... Меня помяни тогда... Ты уж не посетуй... Я должен теперь все князю Адаму довести... Дело не малое... Тут — головою пахнет...

— Не надо, отче святый... Жил я в рабстве, так и помру! Благодарение Богу, что увел Он меня от ножа злодейского... Я не стану брани подымать, идти войною на родную землю... Так и помру, как жил, питаясь от трудов своих...

— Ну, это уж как хочешь... Хотя и вовсе не питайся. Твоя царская воля. А я повестить должен...

И вышел прочь исповедник.

ПЕРВЫЕ ШАГИ

Прошел час, другой... Игумен не вернулся. Никто другой не являлся к Димитрию.

Ночь настала... Ночь прошла...

Много передумал за это время Димитрий.

Порой чудилось ему, что крадутся во сне люди с ножами, хотят напасть, вонзить сталь в грудь ему, покончить с царевичем и со всеми последствиями, какие могут явиться, если Димитрий останется жив.

То он как будто видел, что послали кругом вестников... И собираются толпы простых и знатных людей. Они придут, ударят в землю челом и воскликнут:

— Здрав буди царь Димитрий Иоаннович Московский и всея Руси на многая лета!

А иногда ему казалось, что где-то собрались судьи и решают: убить его или заточить навеки, ослепив сперва, как это было с Василием Темным...

И Димитрий уже подымался, чтобы одеться, вывести потихоньку коня и ускакать во тьме ночной далеко-далеко отсюда...

И, переходя от надежды к отчаянию, — не свел всю ночь очей Димитрий, потрясаемый к тому же сильным ознобом, снова овладевшим телом юноши.

К утру только слегка забылся Димитрий. И увидел он причудливый сон.

Видит он себя ребенком, там, в Старице. По свежему майскому лугу гоняется дитя за мотыльками. И очутился на берегу озера.

Как в зеркале, отразилось его изображение в спокойной, чистой воде, — только не в светлой, белой одежде, а в чем-то, словно залитом пурпурной влагой.

— Кровавый мальчик! — говорит чей-то голос.

Отражение ребенка в воде исчезает. Он стоит перед темной пещерой. И сразу вырос, возмужал. На нем богатое снаряжение витязя, все с золотой насечкой, осыпанное самоцветами. И тяжелое копье в руке, меч — в другой...

А из пещеры с шипением, со свистом выбрасываются на длинных шеях головы громадных змей... Огнем пышет от них...

Он ударяет мечом, колет копьем... Головы скрываются. Крутая лестница мимо пещеры ведет на вершину высокой горы... Лес темнеет по сторонам... Начинает подниматься Димитрий. Чудища выходят на дорогу, извиваются, бьют крыльями, грозят когтями, жалят, скалят зубы и отступают перед витязем... Ратники в черных доспехах с тусклым взглядом мертвецов выходят и нападают на него... Сталь звучит о сталь... Уже трудно стало витязю.

Вдруг он догадался, берет меч за острие, рукоять крестообразную показывает страшным ратникам, — и те распадаются пылью...

Выше идет витязь... Вот и вершина горы. Лес исчез. Даль необъятная видна, веселая, ясная, как с высоты днепровского берега, там, в Киеве...

Но сразу темнеет ясное небо... Черная, большая птица с железным клювом и когтями летит на витязя, окутанная тучами...

Ударил в птицу мечом витязь... Сломился меч... с жалобным звоном пало на землю в куски разлетевшееся лезвие... Копьем ударил — вдребезги расщепилось копье... За шею гибкую, змеиную схватил витязь птицу... Душит, а она снялась и полетела с ним... Все выше, выше... Уж и горы не видно...

Руки отнял Димитрий от шеи зловещей птицы... А сам не падает на землю, выше, выше летит... И только видит, внизу — на ложе царском — лежит нагой кто-то, сложив руки на груди,

смежив глаза... Это — тело его, Димитрия... И жаль ему того, который там... И чужд ему тот, внизу оставленный...

А сам он выше летит... Себя уж не чует... Вдруг — выстрел, как раскат грома, разбудил его.

С удивлением огляделся Димитрий.

Дверь избы, где он лежал, была широко раскрыта. За ней стояло несколько человек челяди, его сослуживцев. Игумен стоял у постели.

— Ты спишь, чадо? Лежи, лежи... Лучше, что ли, тебе дал Господь? Приказал господин твой, князь Адам, перенести тебя в другую горницу, почище. Больно неприглядно тут... Несите, детки...

Люди вошли, не понимая: отчего такая честь простому конюху? — и понесли ложе с Димитрием, поставили его в одном из запасных покоев флигеля, предназначенного для приезжих гостей. Светло и чисто было здесь. Когда Димитрия переложили на удобную постель и челядь вышла, инок передал юноше все, что взял у него день тому назад.

— Вот твои клейноды, сын мой. Береги их... Что будет с тобой — увидим... Ты сам скоро услышишь. А покуда — поправляйся! Христос с тобою...

Благословил и ушел.

Еще несколько дней пролежал почти одиноким Димитрий. Заглянул доктор князя, лысый, старый итальянец, дал что-то принять, пощупал пульс, посмотрел язык, подавил бока больному и пробормотал:

— Малярия грависсима... Теперь — хорошо... Теперь — пройдет...

И сам ушел.

Уж когда совсем стал поправляться Димитрий и сидел на постели, бледный, исхудалый, — появился тут и сам князь Адам, веселый, беспутный кутила, игрок и мот, известный по всей Речи Посполитой, но добрый, простой малый.

— День добрый, вас пане, — обратился он радушно и вежливо к своему недавнему слуге, — как чувствуете себя, ксенже Деметриус? Так нужно звать вас, как вы говорите?

Димитрий удивился немного.

— Благодарю вельможного пана за ласку и внимание, — по-польски заговорил Димитрий. — Меня действительно так зовут — Димитрий, князь Углицкий... И я извиняюсь, что вводил в заблуждение вельможного князя, приняв роль слуги... Прошу принять мою благодарность за хлопоты и внимание, оказанное мне теперь...

— Служу вельможному князю! Рад буду, если и дальше чем

буду пригоден. Я уж дал знать брату моему, князю Константину... От него был гонец... Если пожелаете, оправясь конечно, — поедем к нему... Это недалеко...

— Служу пану вельможному, князю Адаму... Хоть завтра готов. Теперь мне лучше.

— Хвала пану Иисусу и Пречистой Матери Божьей Ченстоховской! А не позволит князь позвать сюда ксендза Игнатия? Нам обоим было бы интересно выслушать от вас все то, что открыли вы на исповеди вашему игумену...

— Прошу вельможного князя... Я готов...

Скоро появился духовник князя Адама, ксендз Игнатий Ронцевич, высокий, тонкий, гибкий, как рапира, патер с бесстрастным лицом и глазами ищейки.

Им обоим повторил Димитрий свой рассказ.

У патера в руках была какая-то книжка, вроде записной. Во время рассказа он часто заглядывал туда, словно проверяя что-то.

Когда Димитрий умолк, ксендз мягко заметил:

— У вас, пан, чудесная память... Так слово в слово почти передавал рассказ и отец Кондратий, игумен Брагинский... Так само...

Князь Адам, очевидно, остался доволен.

— Теперь мы дадим вам покой, вельможный княже... А там... если будете в силах... У нас все готово...

С поклоном оба оставили Димитрия.

* * *

С небольшою свитой, словно бы безо всякой особенной цели, выехал князь Адам к своему прославленному брату Константину. Тут же и Димитрий, одетый шляхтичем средней руки.

Вообще, все так делается, чтобы и прилично было, и шуму поменьше. Если что неприятное выйдет, нетрудно и отречься: мол, все ложь и наветы — не возили никакого царевича никуда...

Недоверчиво принял Димитрия Константин. Не так он покладлив, как брат его. Но тут случай помог. Нашелся углицкий выходец, Петровский некий. Услыхал он, что воскреснувшего царевича привезли, пришел взглянуть — и в ноги ему кинулся:

— Государь, солнышко ты мое! Привел Бог увидеть! Сразу признал я тебя, свет ты мой!

Конечно, это был самообман. Почти 16 лет прошло, и трудно было сказать: тот ли это юноша, которого видел ребенком угличанин?

Но ему поверили... Явились скоро и другие свидетели, поважнее. Головин подтвердил истину слов Димитрия...

Оставшись с братом и двумя ксендзами, князь Константин обратился к своему духовнику:

— Как вам кажется, святой отец: лжет или нет молодчик?

— Может быть, он сам обманут... Но нет обмана в его речах... Верит глубоко юноша, что он — Димитрий, царевич спасенный... Все возможно. Царство Московское такое, где все тайной покрыто... Там и раздолье всяким подменам...

— И обманам...

— Пожалуй! Но... подумать бы стоило, если бы знать даже, что это ловкий обман... Такую бомбу бросить под московские башни... Чего это стоит! А вдруг — удача улыбнется юноше... И мы — первые поможем ему достичь этой удачи! Какие услуги должен оказать и вере католической святой, и Речи Посполитой, и тем людям, которые возвеличили его? Подумайте, князь Константин...

— Хорошо, я подумаю... Брату Адаму то же самое пан ксендз Игнатий толковал... Я подумаю. А пока — дальше вези его, пан брат. Вербуй ему друзей и союзников. Поглядим, как шляхта вся отзовется на речи этого сладкого говоруна.

— Добре, пане брате... Повезу...

Дальше поехали князь Адам и Димитрий.

У Юрья Мнишка, воеводы Сендомирского, больше удачи нашел Димитрий. Гостил тут и воевода Острожский. Михаил Ратомский. Еще немало панов съехалось.

Старшая дочь Мнишка, Урсула, была княгиней Вишневецкой, женою Константина.

Младшая, Марина, еще ждала женихов. И немало их съезжалось в замок радушного хлебосола, пана Юрия.

Здесь все к сердцу приняли рассказы и надежды Димитрия. А больше всех — старик-воевода.

Дали знать в Вильно, легату папскому, который немедленно приехал ради такого важного случая.

Гонцы скакали во все концы... Приезжали и уезжали паны... Судили, рядили: есть ли надежда поднять дело и довести до конца?

Все решили, что успех почти обеспечен.

Вести одна другой чернее доходили сюда из Москвы, со всей Руси...

Тогда Мнишки — старик-воевода и сын его, Ян, староста Саноцкий с Павлом, кузеном, воеводой Лукомским, — выпытывать начали осторожно: что бы Димитрий дал людям, которые быстро помогут ему достигнуть московского трона?

— Полцарства отдам! — ответил сразу Димитрий.

— Ну, это много. Пожалуй, и на меньшем сговориться можно... Вот, первое: царица нужна царю Московскому. Думал ли об этом царевич Димитрий?

Вспыхнул Димитрий. Воспитанный иноками, он всеми силами подавлял в себе врожденное влечение к красивым девушкам.

Вопрос, поставленный так прямо, причинил даже некоторую боль чуткому юноше. Но дело шло о короне, о царстве Московском. Надо отбросить всякие предрассудки.

— Конечно, жениться я не прочь... На ком только?

— Мало ли невест на Литве и в Великой Польше? Не первый раз московские государи берут подруг себе в нашей земле... София Витовтовна, прабабка вашего высочества, ваша родная бабка, Елена Глинская — наши родички, с нами были одной веры... Но, конечно, в старое, грубое время должны были менять ее... Вы же поживете с нами, познаете истинную католическую религию, матерь всех других... Сдается, и сами не захотите оставаться в вашей схизме, вельможный царевич...

Дух перехватило у Димитрия. Вот куда они ведут! Изменить вере?! Но он не спорит, слушает внимательно.

Долгая, подневольная жизнь инока, потом — слуги научила его выдержке, терпению с людьми.

— Я погляжу, подумаю... Готов ознакомиться с верой вашей, как уже знаю язык. Что дальше?

— Если Бог даст, вы остановите выбор на одной из девиц, какие будут предложены вам, — за нею придется записать на вечные времена Новгородскую землю и Псков, старинное наследие Литвы... А за тестем будущим — Смоленск с его землею, то, что недавно еще было нашим... Согласны ли?

— Согласен. Дальше!

— В этих областях — свобода вере нашей полная... А также и на Москве — должны, по примеру всех просвещенных великих западных потентатов, — дать свободу католическим ксендзам и монахам всех орденов. И кроме того, если сами озарите душу свою светом истинной веры, — должны обязаться в течение года или двух — ввести католическое исповедание по всей земле... Верьте, не трудно будет это совершить. Народ ваш темен...

— Хорошо, я подумаю... Наверное, соглашусь, — сказал Димитрий, сделав усилие над собой и видя, что пять пар зорких глаз впиваются в него.

А про себя, в душе, дал клятву: никогда не исполнить этого, если бы даже теперь пришлось дать для виду обещание...

ПРИЕМ У СИГИЗМУНДА

Много дней держали Димитрия в Самборе, как в почетном плену.

Скоро и невеста была ему найдена.

Панна Марина сразу пошла в атаку на неопытного Димитрия.

Он потерял голову от ее взглядов, рукопожатий, от ее постоянной близости...

Несколько свиданий в тишине немого, тенистого парка — довершили быструю интригу...

Марина привела Димитрия к отцу и сказала:

— Царевич делает мне честь: просит моей руки. Что скажете, батюшка, и вы, и вся родня наша?

— Спросить недолго. А я — благословлю от души... Не сейчас, конечно... Немного погодя, когда у царевича Димитрия вырастет царская корона на голове... Не так ли?

Дело было быстро порешено, и торг завершился.

Не довольствуясь словом, Димитрия заставили присягнуть при легате папском, при многих знатных панах.

Он внятно произнес свою клятву...

Но, хорошо усвоив уроки иезуитов, которые несколько недель уже заботились просветить его душу, — Димитрий буквально произнес, а потом написал по-польски следующее:

«Клянусь и обещаюсь, — если Бог допустит, когда я сяду на трон царей Московских, предков моих, — дать за нашею царскою печатью на вечные времена грамоту супруге царице нашей, Марине Мнишек, в полное владение область Новгородскую и Псковскую со всеми землями, принадлежащими к ним. А тестю нашему — Смоленск, тоже со всеми землями, и миллион злотых деньгами немедленно по вступлении в Москву. И в тех областях вольно ей, супруге нашей, царице Марине, исповедовать свою правую католическую веру, и пускать ксендзов, храмы и часовни ставить, и в Смоленской земле, а также по всей остальной земле Московской и во всех царствах, какие под нашей рукой. И если через год не введем католической веры в царстве нашем — вольна царица Марина от нас уйти и развод получить, али бо если пожелает, то ещё один год потерпит. Два года всего. И в том клянусь и крест целую. Деметриус, царь».

Ликуют Мнишки.

Даже не сразу внимание обратили, что не так говорил и писал Димитрий присягу, как было написано в ее проекте.

Там стояло: «Клянусь и обещаюсь, когда допустит Бог и сяду я на трон...»

А Димитрий, — словно по ошибке, говорил и написал: «Клянусь и обещаюсь, *если* допустит Бог, когда я сяду»...и т. д.

— Что это значит, яснейший царевич? Как будто иной смысл носит присяга, слово ваше царское? — задал ему даже вопрос отец Марины.

— В чем, вельможный пане? — с невинным видом задал, с своей стороны, вопрос Димитрий.

Полууспокоенный этим ясным, невинным лицом, Мнишек, словно мимоходом, заметил:

— Так тут что-то... Стилистика... Ошиблись вы просто, яснейший царевич... Ну да не беда!

Ликовал Димитрий! Теперь — он свободен от клятвы. *Не может допустить* русский Бог до того, чтобы православную веру народ заменил католической!

И его душа чиста перед небом. Клятва дана так, что он может ее по-своему понимать и выполнить.

Получив такую запись, — Мнишек и Вишневецкие — в начале 1603 года в Краков, к королю повезли Димитрия. А раньше собрали там же всех русских дворян и простых людей, которые за это время приходили поклониться Димитрию и твердо повторяли, что узнают Иоаннова сына в этом порывистом, отважном юноше...

Отсюда же, из Самбора, были посланы Димитрием первые точные вести на Украину, к мятежным казакам.

Шляхтич, Феликс, или по-польски — Сченсный, Свирский, литвин, — поехал посланцем на Дон, на Украину...

— Поезжай, Сченсный, вези счастье мое! — сказал ему Димитрий на прощанье.

И другие подсыльщики, запрятав грамоты Димитрия в подошвы лаптей, в дорожные посохи, в рваную одежду нищих, под видом которых они проникали в Московскую землю и дальше, до Украины, — все эти люди сеяли теперь полными горстями вести о Димитрии, семя возмущения против царя Бориса...

Немало дней в Кракове пришлось прождать Димитрию, пока паны и главные сановники католической церкви, с легатом Ранкони в качестве застрельщика, — уговорили Жигимонта III принять царевича Димитрия Углицкого на частной аудиенции.

— У нас мир с Москвой, мир с Борисом, — отговаривался Жигимонт, — а я стану принимать явного врага царствующего там государя! Идет ли это? Достойно ли меня самого и всей Речи Посполитой?

— Благо народа — высший закон для государей! — ответил уклончиво, поговоркой, умный легат. — А польза для народа вашего несомненная получится из этого свидания. Будет оно неофициальное, как и все сношения вельмож наших с этим отважным юношей... За него — все: и реликвии, клейноды царские, которыми он владеет, приметы, наружность, которую признают живущие здесь москвичи и жители Углича... Он получает часто вести из Москвы, очень важные вести. Значит, и там у него сильные друзья... А держава Борисова слабеет день ото дня. Казаки идут на подмогу этому Димитрию. Свои его встретят, чуть он явится, с колокольным звоном. Мы имеем верные сведения о том... Только военные рати Бориса немного будут помехой. Но и то, надо думать, ненадолго. Словом, это — будущий царь Московский... Надолго, нет ли, сказать сейчас нельзя. Но он им будет! Здесь и там все этого желают... И он годится в цари... Лучшего — создать нельзя было... Молод, решителен... Умен и — гибок, когда надо... Теперь он гнется в пользу Речи Посполитой. Но если Речь Посполитая ему не поможет... За что же он станет платить или давать что-либо? Он захочет взять... А Стефан Баторий, в его годы, — был именно таким, каков сейчас наш гость из Московии, Димитрий, князь Углицкий. Я это говорю вам, ваше крулевское величество.

Первые сановники короны поддержали нунция.

И назначен был день приема.

Просто совершилось все, как просто делалось остальное дело, как тихо ковался трон здесь, в Польше, для Димитрия.

— Вы будьте свободнее с королем, — учил Димитрия легат, у которого перед аудиенцией обедал Димитрий. — Он важен на вид, осторожен, как надо быть мудрому государю, но он очень добрый человек... У него мягкое сердце... Я вам расскажу его историю...

И иезуит дал целый урок царевичу, незаметно для него самого...

Карета, в которой привезли во дворец нунция и Димитрия, остановилась у маленького подъезда; замеченные только дежурными и часовыми, проследовали оба гостя на собственную половину короля.

Пройдя ряд красиво, богато убранных покоев, Димитрий с нунцием очутился в кабинете короля.

Жигимонт с мало свойственной его важному лицу ласковой улыбкой стоя встретил гостей. Один только королевский секретарь, Александро Чили, был при этом свидании.

Монсеньор представил Димитрия.

Король дружелюбно протянул ему руку, которую впечатлительный юноша прижал к своим губам.

Стараясь отнять руку, король с отеческим поцелуем коснулся лба своего гостя.

Все сели.

Димитрий начал теперь перед Жигимонтом говорить, чуть ли не сотый раз, свою чудесную повесть спасения и дальнейших событий жизни.

Необычайный слушатель придал особенное воодушевление рассказчику.

Ничего не изменяя, Димитрий вложил столько огня, убедительности и силы в свою печальную повесть, что король неподдельно был растроган.

Димитрий кончил. Настало небольшое молчание.

Секретарь осторожно дал знать царевичу, что теперь надо на время удалиться, оставить на свободе Жигимонта и монсеньора Ранкони.

Едва вышел царевич, Жигимонт заговорил:

— Он убедил меня... Он не лжет. Но...

— Еще есть «но», ваше величество? Какое, не могу ли узнать...

— Вы нам говорили, что он втайне принимает католичество, оставаясь по виду схизматиком до той поры, пока можно будет открыть правду московскому народу?

— Вот его запись. Папа шлет ему свое пастырское благословение...

— Вот-вот... Значит, и другие католические владыки будут помогать этому Димитрию, не я один? И, если победит Борис, — я не останусь лицом к лицу с разозленным, опасным, бешеным медведем? Верно, монсеньор?

— Никогда. Разве надо гласно идти в эту авантюру? Нисколько. Можно дать денег, помочь советом, не мешать вербовке солдат... А там по времени... Ну, вы уж сами решите тогда...

— Да, да, вы правы... Так будет хорошо. Vivat Demetrius... Pereat Borissus... Moscovia — atgue, — Deigratia... Пане Чили, зовите гостя.

Волнуясь, как перед казнью, появился Димитрий.

— Не имеете ли еще чего-либо нам сказать, — обратился к нему Жигимонт.

— Немного, ваше королевское величество, — бледный, сжимая свои похолоделые пальцы, заговорил Димитрий. — Вы сами знали неволю... Родной дядя заточил в темницу отца и матушку вашу, Катерину Ягеллонку... Вы — родились в тьме тюрьмы, и Господь поставил вас в сиянии и блеске, на высоте трона... Вам ли

не знать, что значит изгнание, нужда, лишение законных прав, царства и рода!

Слезы вдруг невольно задрожали в голосе, брызнули из глаз у Димитрия.

— Я ничего больше не скажу. Буду просить только: помогите мне, как вам Господь помог! Гонимый, жду от вас спасения и помощи...

Димитрий умолк, отирая слезы, склонив смиренно голову.

С веселой, ласковой улыбкой приподнял свою шляпу Жигимонт и заговорил:

— Да поможет вам Бог, Московский князь Димитрий! А мы, выслушав вас, рассмотрев ваши свидетельства, несомнительно видим в вас сына Иоаннова! В доказательство искреннего благоволения нашего, назначаем вам 40000 злотых на содержание и другие расходы. Сверх того, как истинный друг Речи Посполитой, — вы вольны сноситься с нашими панами, пользоваться их услугами и вспоможением. Накройтесь, садитесь и поговорим еще с вами о делах поподробнее...

ПОБЕДА

С этой минуты удача как будто окончательно подрядилась служить Димитрию.

Взяв королевскую субсидию, он кинулся на Украину. Меньше чем через год под его знаменами собралось до полутора тысяч всадников, казаков, литовских витязей и польских шляхтичей да человек 500 пехотинцев, не считая значительного обоза, нескольких легких пушек и мортир.

Борис, судя по его действиям, от страха потерял всякое сообразжение.

Он посылал воевод с отрядами, приказывая им «брать на поток», ровнять с землею свои же города, как было с полуразоренным Угличем, жители которого смели-де в свое время спасти, укрыть Димитрия.

Смоленскую область также выжгли и разорили воины Борисовы, когда этот древний город перешел во власть нового претендента на трон московский...

Борис сам писал и заставил духовенство писать различные грамоты, чтобы убедить Русь и целую Европу в самозванстве Димитрия.

Грамоты эти противоречили одна другой и не достигали цели, —

наоборот, подрывали последнее доверие к московскому царю, Борису...

Нового государя открыто ждали на Москве.

И скоро дождались... Лавиной шел со своими войсками Димитрий от границ царства в самое сердце его и остановился только на короткое время в Туле.

В один год совершил он почти бескровное покорение обширного Московского царства, которое только однажды удалось покорить хану Батыю и больше никому!

С августа 1604 по май 1605 года совершалось это победное шествие Димитрия, омраченное лишь поражением при Добрыничах, 10 января 1605 года. 13 апреля, в три часа пополудни, не стало на свете царя Бориса.

По общему говору, видя, что все погибло, — Годунов сам осудил себя и собственной рукой привел в исполнение суровый приговор: принял яд.

Похищенную им корону и царство он завещал сыну — Федору Борисовичу, юноше 16 лет.

Но это роковое наследие принесло только гибель юноше.

В конце мая на Лобной площади большими толпами стал собираться московский торговый и служилый люд.

Бояре и приказные из Кремля тоже постепенно собрались, узнав о стечении народном.

На Лобном месте стояло два посланца от Димитрия. Запыленные, усталые, — они были окружены толпой жителей пригородной Красной слободы, куда, собственно, приехали прежде всего.

Там объявили посланцы, что истиный царь, Димитрий Иоаннович, уже подошел к Москве и шлет грамоту своим людям.

Обычно Годуновы перехватывали всех посланцев Димитрия и тут же казнили их, не давая возможности обратиться к народу.

Теперь вышло иначе.

Грозные посланцы, окруженные толпами защитников, были вне власти годуновских клевретов.

И с высоты Лобного места прозвучала грамота Димитрия. Димитрий писал:

«Посылали мы не раз в царственный град Москву гонцов своих с нашими грамотами, милость и прощенье обещали, если придут к нам верные подданные наши, весь люд московский, челом добьют и заключат в узы семью похитителя Годунова, неправо завладевшего царством, наследием нашим от покойного брата царя Федора и отца, Иоанна Васильевича. Но не было ответа, — видно,

потому, что перенимали Годуновы посланцев наших. Ныне в последний раз шлем слово наше царское и ждем изъявления покорности добровольной от нашего престольного города, чтобы не пришлось кровью залить непокорное упорство рабов».

Таков был смысл обширной, витиевато составленной грамоты.

Но не надо было Димитрию ни грозить, ни обещать льгот. Вся Москва, как один человек, готова была его встретить.

Тут же, при чтении его письма — это ярко обозначилось. На паперти церкви Василия Блаженного собралась кучка бояр. Кроме одного из Годуновых — тут были Василий Шуйский и еще несколько из главных бояр.

Народ окружил посланцев и закричал:

— Ведите нас в Тулу! Хотим видеть царя Димитрия! Дадим ему присягу!

Боярин Годунов уговорил священника церкви Василия Блаженного, и тот решился на смелую попытку: остановить расходившуюся толпу.

—Чада мои, — громко обратился он к толпе, — внемлите, что сказать хочу!

— Што, што? Слушай, ребята! Отец протопоп слово молвить сбирается... Про царя Димитрия, слышь! И он знает, что Димитрий — подлинный царь, не отродье годуновское...

— Слушать... Тише... Не орать!

Кое-как толпа немного затихла.

— Не про то, дети мои, сказать вам хочу... Одно лишь напомню: присягу несли все бояре, и вы с ними, что будете верой-правдой служить юному царю Федору Борисовичу... Все вы крест целовали... Вспомните! А ныне что задумали? Раней хотя бы дознались путем: кто вас к себе зовет? Царь ли истинный либо смутитель лютый, прельститель, к пагубе ведущий души христианския? О вас стражду, вам добра хочу... Поспрошайте, доведайтесь... Вот, и тут бояре стоят... Хоть их спросите!

— Кого?! Годуновых? Отродье змеиное! Вон один тут... Бей его... Веди его, робя, к Димитрею... Царь сам с им расправится!

Несколько человек уже двинулось было вперед, чтобы схватить боярина Годунова и кинуть его в толпу.

Но бледный, растерянный боярин успел скрыться в храме и, задними дверьми на площадь, вскочил на коня и ускакал...

— Вот боярин Шуйский тута, робя! — крикнул кто-то. — Ен и в Углич ездил... Пусть поведает: кого там хоронил? Кого сгубил Ирод Годунов? Царевича Димитрия али иного, подставленного на место царевича? Говори, боярин! Не бойся. Годуновы тебе не причинят зла! Не дадим в обиду! Правду валяй! Как спасли царе-

вича от рук Каиновых, от злодеев годуновских? Тебе лучше других-то знать!

Князь Василий Васильевич как будто и ждал этого вопля народного.

— Уж коли народ пытает меня, всю правду скажу! — ответил он, отвесив низкий поклон на все три стороны. — Только здесь плохо слышно... На Лобное перейду... Тамо способнее...

Торжественно повели лукавого старика и почти внесли на Лобное место. Часть людей стала внизу, охраняя боярина от натиска остальной толпы.

— Пусть Господь простит мне мои прежния вины вольныя и невольныя! — смиренно начал старый лукавец. — Сами ведаете: при покойном царе Борисе — и думать не мог никто по воле своей, не то — слово прямое молвить! И я виновен в грехе тяжком. Утаил истину страшную... Челом бью перед всем крещеным миром! Простите, братие, вводил вас и целый мир в обман! Первое — убито было дитя во Угличе, не само ножом покололося! Вот, крест святой с мощами на мне! Его подъемлю, на нем присягаюся, целую Животворящий Крест на том, что убиен был младенец некими людьми, — по общему говору, из Москвы подосланными... На покойного царя, на Бориса Федоровича, все говорили заодно. Сами разумеете, люди добрые: мог ли я это тому же Борису в очи вымолвить? И облыжно показал перед собором и царем Федором, что сам покололся младенец. Простите окаянного!

— Бог простит! Покаялся — и ладно! А убит-то кто? Царевич али иной, как сказывали?

— И про то скажу... В другое крест целую, что видел я убиенного младенца... Сугубо приглядывался — и не познал в нем того царевича, который у покойного царя Ивана от царицы Марии Нагих родился! По правде моей — пусть Бог меня судит. И на ней крест сызнова целую!

Взрыв криков пролетел над всей площадью, вырвавшись из тысячи грудей:

— Другой убит в Угличе... Жив остался царевич... Спасен был царевич! Сам теперь Димитрий к нам идет! В Тулу... К царю Димитрию! Все иди...

И закипела площадь, пока один крик не покрыл всех голосов, сливая в себе все возгласы и звуки:

— Жив буди на многия лета царь Димитрий Иваныч! Ж-и-и-в буди!

Двадцать шестого мая явились в Тулу, на поклон Димитрию, все бояре московские, духовенство и Дума царская с Василием Шуйским во главе...

А царь по имени, Федор Борисович, с сестрой и матерью были отданы под стражу в ожидании дальнейших событий.

В конце июня — состоялся торжественный въезд в Москву нового царя, Димитрия Иоанновича.

А накануне удушена была вдова Бориса Годунова и трехнедельный повелитель московский, юный царь Федор Годунов. Только царевна Ирина осталась в живых и после была насильно пострижена.

Пяти-шести дней не прошло, как по Москве новая весть прокатилась:

— Шуйский, трижды ломавший присягу и клятву, народу приносивший покаяние, Борису изменивший, сына его предавший, — теперь против нового царя, против сына Иоаннова козни завел... Стал слухи непригожие распускать, что не истинный это сын царя Иоанна... Прознал про заговор царь Димитрий — и судить приказал хитрого боярина. Собрал судей из духовного звания, и бояр, и простых людей позначнее. Как те сами решат.

Слухи были вполне верны.

Не успели похоронить труп несчастного Федора и матери его, как только Шуйский увидел, что Годуновы стерты с лица земли, уничтожены именем Димитрия, — он попытался вырыть яму и для самого Димитрия, начал при помощи своих друзей сеять новые вести, баламутить Москву, надеясь, что и вовсе не допустят нового царя въехать в столицу...

Но игра не удалась. И бояре, на поддержку которых надеялся вечный смутьян, — слишком устали от безвластия, и народ слишком уверовал в Димитрия.

Уже в Тулу поскакали гонцы, передали новому царю о всех кознях Шуйского. И едва въехал Димитрий в свой дворец, как ему были представлены письменные доказательства заговора, затеянного князем Василием.

— Пусть земля рассудит нас с Шуйским! — сказал Димитрий.

Так и было сделано, 30 июня состоялся этот суд.

Зрелище было совершенно необычное не только для Кремлевских палат, в которых веками тянулась твердо установленная, непоколебимая жизнь царей московских, невзирая ни на какие внешние события...

Нет, во всей истории царствующих династий не бывало случая, чтобы победитель-государь явился как бы на суд, стал тягаться с своим подданным, уличающим его в неправом обладании троном.

Изменника Шуйского, по обычаям и законам того времени, следовало только обличить в преступлении, представить виновному свидетелей и письменные доказательства, на основании которых он признан предателем, бунтовщиком, — и те же несколько бояр обязаны были вынести ему смертный приговор, который царю оставалось лишь утвердить.

Но Димитрий, знакомый с западными приемами суда и желая, должно быть, выказать не только свое настоящее могущество, но и глубокую внутреннюю правоту, поступил иначе.

Сначала оглашены были перед собранными представителями земли доказательства, выяснившие до конца вину Василия Шуйского, его клеветы на Димитрия,сношения с боярами и простыми людьми для организации ополчений, которые должны были помешать новому царю вступить в Москву или, в случае неудачи, — ворваться во дворец и там убить его.

И Василий Шуйский, молчанием своим подтвердил, что все обвинения справедливы. Теперь оставалось лишь обратиться к сидящим тут духовным лицам, боярам, выборным от московских жителей и от других городов, которые оказались налицо. Стоило лишь спросить их:

— Чего достоин изменник?

— Смерти! — конечно, был бы общий ответ.

Но вместо такого вопроса — выступил Федор Басманов и заговорил:

— Не кончено еще дело, отцы-владыки, князья, бояре и вы, люд православный, землею избранный и созванный сюда его царским величеством для решения дела столь важного! Изменяли князья и бояре царям своим, кару несли за то. Но там — дело явное было. Ни соблазну, ни сомнений не крылось ни в чьей душе. Господин и царь наш, государь Димитрий Иванович клятву дал: понапрасну не проливать родной крови, ежели доведет его Господь до престола прародительского. И за вины тяжкие казни не хотел бы, коли есть малая надежда, что загладить может вину свою злодей. А в деле, которое судим теперь, и другое мыслимо. Может, сам не знал боярин-князь, что творил. Может, веровал облыжным, злодейским словам своим. Царя, Богом данного, отпрыск: прямой Иоаннов поносил, величал «расстригой», Гришкой Отрепьевым называл... Правда, и в грамоте патриаршей много лжей писано было про такого же диакона, Григория Расстригу. И рознились они от бранных грамот, разосланных Борисом Годуно-

вым... Не в одно пели враги царя нашего пресветлого еще и тогда, как вся сила и власть была у них в руках... Но, думать желаемо, что с пути сбился князь-боярин... Вот пускай и ответит: почему царя Расстригой, Гришкой Отрепьевым называли.

— Все тут раней думали, — неслышно ответил бледными губами Шуйский, когда пристав стал понуждать его к ответу.

— Все?! Ответ, достойный первого советника государева... А видал ли князь-боярин в Туле, когда на поклон туда ездил, вот этого человека?

По знаку, выступил вперед диакон Григорий, который давно примкнул к войскам Димитрия и шел за ним от Путивля до самой Москвы.

— Видел! — беззвучно, одними губами пролепетал Шуйский.

— А не слыхал ли, как звать его, князь-боярин?

Шуйский только утвердительно кивнул головой.

— Скажи, как звать тебя, — обратился к диакону Басманов.

— Григорием... Юшкой звали в миру, Юрием, сиречи. Богданов сын, Отрепьев прозвищем.

— Что же молчишь, князь-боярин?

— Да и я так сказывал... А тут мне все напротив, что иного человека возит за собою царь, и имя дал ему — Гришкино...

— Так, ведомо нам и то. Вот, теперь к вам, отцы духовные, владыки, речь велит держать государь. Кто из вас знавал сего человека до настоящей поры? Не будет ли такового среди нас?

— Я знаю Григория, — заявил митрополит Крутицкий, — видывал его порою в келье у низложенного патриарха Иова... Так он и слыл: Отрепьев родом, диакон Гришка.

— И я его видывал, — подтвердил слова товарища протопоп Благовещенский.

— И я... — И я... — еще раздалось два-три голоса из рядов духовенства.

— Слышишь, князь-боярин! Как дело просто. Стоило пойти тебе да спросить: отцы бы и поведали тебе правду чистую. Не дали бы поносить имя царское... Теперь — другое... Сам же ты повестил народ московский, — вот, недавно еще, — что не царевича убили злодеи в Угличе, что истинный царь идет на Москву, Сын Грозного царя, Димитрий Иоаннович...

— Сам, сам, — торопливо запричитал старик, словно почуяв надежду на спасение в этом напоминании после той бездны отчаяния, куда он был погружен за мгновенье перед тем. — Сам все сказывал... И снова крест целовать могу: не признал я в убитом царевича Углицкого. Иным, чужим казал мне он себя... Как ду-

мал, так и народу сказал. Вот, пусть царь о том памятует, не судит строго меня, грешного.

— Не царь, — земля судит тебя, князь-боярин! Перед Божьим судом стоишь ты, как и сам государь стать готов в каждый миг, по правоте своей! А тут, вдруг — сызнова на иное ты речь повернул: самозванием лаял царя! Как же это, князь-боярин? Не молчи. Все может тебе на пригоду быть, слово самое смелое... Только не молчание. Тебе оно смерть принесет, да и дела не раскроет до корени. А государю — только правда и дорога. Говори, князь-боярин: с чего думы свои поизменял? Али только и одно, что сам на трон сесть задумал, как тут послухи говорили?

— Спаси Господи и помилуй... Я уж все скажу... Только бы такой напасти не возвели на меня, на царского верного слугу... Старый я, недужный. Помирать пора, не о бармах царских, не о тяготе такой умышлять... О-ох... Испить бы. Уж все поведаю...

Отпив из ковша, который подал ему пристав, — Шуйский медленно заговорил:

— Вот так думалось; Бог счастья послал! Царь крови Иоанновой к нам идет... Спас его господь. Я так народу и говорил, чтобы замирились все, брат бы на брата войною не пошел. Это — первей всего, по мне. Тихо бы да ладно бы все было в царстве нашем богоспасаемом... Вот... И в Тулу срядился. И Грамоту подписывал, кою Дума боярская постановила полякам послать: что истинный царь у нас объявился, Димитрий Иоаннович... Вот... А тут, как съездил в Тулу... поглядел... Уж не посетуй, государь... все скажу... Лукавый меня попутал... Гляжу: мало лицо царское схоже с тем, какое у младенца, у царевича Углицкого видел, еще до убиения... когда на Москве с покойным Иваном царица и царевич проживали. Того не помыслил, старый, что с годами и лик меняется... Взяло меня сумнение... А тут, на Москве, — новые речи: как мог уцелеть столько лет царевич? Кто порукой? Може, тот мертв давно, а вороги чужим подменили? Вон, слышь, Литву с собой, ляхов ведет новый царь... Веру отнять старую, отцову задумал... Новую, ляшскую навязать думает... Прости, государь, говорю, как сам велел... Всю правду истинную... Вот, и я всколебался... Стал за людьми говорить... И в том — вина моя... И писал... А как прослышал, что хотят братья на братьев войной пойти, рать собирают, чтобы к Москве царя с его полками не допустить, тут, души людские жалеючи, — иное присоветовал: впустить лучше царя... Да ежели правда, что клеплют на него... Лучше ж пусть малое число душ загинет, мол, меньше бы крови пролилося, ежели бы тут что случилось с царем да с ближними к нему, с ляхами с его... Каюсь и милости прошу царской...

Тяжело отозвалась на всех покаянная речь Шуйского, во всем ее смирении — полная яду.

Неожиданно, словно почуяв, что думали сидящие вокруг люди земли, — заговорил сам Димитрий.

— Не все еще сказал ты нам, князь Василий. Горшее стерпел бы и ты, и каждый из вас, кабы твердо веровали, что я — истинный сын Иоаннов... Отец мой — кровь вашу проливал, не то ручьями — потоками... И после долгих лет, после Новгорода, после злой опричнины деяний — царил еще немало лет, слова не услыхав ни от кого, не то чтобы нож из-под полы готовил на царя своего — боярин и князь прирожденный!

Вот что горько, что невыносимо сердцу нашему... Почему и суд мы назначили всенародный. Почему и пришли на него, вопреки обычаю вековому... Невместно бы царю московскому тягаться с холопами его, хоша бы и княжеского рода, первого в земле... Но ради душ смятения, ради умов колебания — пришли мы сюда свое слово сказать великое. Писали мы грамоты: как избавил нас Господь от ножа годуновских подсыльников... И тут объявить желаем: как то дело было!

Своим подкупающим, искренним, молодым голосом, который также порою рвался и дрожал от волнения, как старческий голос Шуйского, — повторил Димитрий старый рассказ о своем спасении. О жизни сперва в России, потом — за гранями ее.

— Вот, как дело было! — закончил он речь свою. — Коли самозванцем меня величают, где отец и мать мои родные? Пусть назовут мне род мой, имя мое. Сам того хочу. Не покараю никого, кто бы ни пришел с этим словом ко мне. Как верю я в то, что есмь сын Иоаннов, о чем вам сейчас и свидетельства дал мои, — так верю я в спасение в свое и в то, что не явится человека, который мог бы делом уличить неправду слов моих... А клеветы... наносы... изветы... измены! Вам, отцы-владыки, вам бояре, вам, выборные земские, пуще всего — ведомы происки врагов наших и врагов земли! Пришел я и сел на трон прародительский, волею Господа сел! Сижу на нем — для блага земли и детей моих, коими вас почитаю, до самого последнего. Как Бог повелел, стану править и владеть вам... А князя — судите, как вам Бог и совесть велят. Мы все сказали.

Вышел Димитрий. И сейчас же, как ответ на его смелую, открытую речь, прозвучал ответом тяжкий приговор князю Василию Шуйскому:

— Смерти повинен изменник и бунтовщик!

Бубны гремят бирючей... Сзывают они народ к месту казни первого боярина, князя Василия Шуйского.

Но там уж, на всей площади вокруг Лобного места, и без того черно от толпы.

Едва протиснуться может отряд стрельцов, окружающий телегу, на которой везут осужденного к месту расплаты за все его ковы и вины...

Вот он и на помосте. Трясется весь мелкой дрожью... Вот уж и руки связали... Кафтан сняли парчовый... Рубаху разорвал на шее помощник палача.

А сам заплечный мастер стоит, лезвие топора пальцем пробует.

Шепчет последние молитвы Шуйский...

Вот уж и к обрубку роковому подвели его...

Мысли мутятся в старческой голове... Все пролетает вихрем: и воспоминания о далекой юности, и многолетняя борьба за почет, за власть, и надежды на царские бармы, на обладание землей... Вот-вот, сейчас, тот, за плечами, что-то резанет, ударит глухо, переломит, перехватит позвонки, гортань... Кровь хлынет струями из перерубленных жил... И — всему конец... Да что же так медлят... Скорее бы... Скорее!

Крикнуть готов был это слово Шуйский, лежа ниц лицом на плахе... Но иное он слышит:

— Не руби! Стой... Слово царское... Милость злодею... Прощение Шуйскому...

Гонец пробивается сквозь толпу, которая стихийно раздвигается, путь дает вестнику милости и прощения...

Взял Басманов, бывший главным распорядителем, указ царский, читает:

— Жизнь дарует царь Димитрий Иоаннович изменнику-князю. В ссылку ссылает его навсегда...

Заволновались толпы.

— Да живет царь милостивый! Многи лета жив буди, царь Димитрий!

Громом прокатились клики... Подняли Шуйского, который омертвел совсем, на ногах не держится. Кафтан одевают ему, шубой окутывают...

Тело — ослабло совсем у старика. А ум — не угас... Работает мысль... И в сознании ярко шевелится мысль:

— Помиловал... Живым меня оставил... Так не жить же тебе, мальчишка, за эти минуты смертельные, тяжкие, какие я изведал по милости твоей! Ссылка — не смерть... А смерть — вот тебе ссылка будет от меня единая!

И Шуйский сдержал свое слово!

Все, казалось бы, шло так хорошо для Димитрия.

В конце июля приехала на Москву вдова Иоанна, царица

Мария, в иночестве старица Марфа, и перед всем народом обняла, признала в новом царе своего воскресшего сына.

Торжественно венчался Димитрий на царство и даже ради этого — простил сосланного злейшего врага своего, князя Василия Шуйского, к себе приблизил по-старому...

Блестяще начал свое правление юный царь — милостями, дарами щедрыми, при всеобщей радости и добрых предзнаменованиях природы.

8 мая 1606 года короновал он Марину Мнишек, первую из женщин, — священной короной русского царства и венчался с нею...

Весело справлялась свадьба!

А через девять дней, 17 мая, рано утром, — толпа мятежников с князем Василием Шуйским во главе, ворвалась во дворец, и час спустя — нагой труп Димитрия, изуродованный, поруганный, валялся на Лобном месте... Во рту у него была дудка скомороха, на животе — грязная маска...

Потом тело выбросили в грязный ров...

Но московские жители, не участвовавшие в убиении, введенные в заблуждение соумышленниками Шуйского, — начали волноваться. Рассказы чудесные пошли кругом, связанные с мертвым Димитрием...

Тогда Василий Шуйский, уже избранный царем голосами нескольких десятков бояр и воевод, — приказал разыскать тело.

На Москве-реке стояла башня потешная, выстроенная Димитрием для военных забав, низ которой изображал геенну огненную. В этой башне сожгли тело Димитрия.

Но и того показалось мало мстительному, трусливому старику.

Собрали пепел, лежащий кучей после сожжения, зарядили им пушку, глядящую на запад от Москвы, и выстрелом — по ветру развеяли самый прах человека, который называл себя Димитрием Иоаннычем и так быстро воцарился на Руси...

Быстро вознеслась, ярко загорелась и еще быстрее закатилась эта крупнейшая падучая звезда на темном горизонте московской истории.

Но не умер в памяти и в душе народной Димитрий и после того, как развеяли по ветру легкий пепел его. Второго «убиенного царевича», Лжедимитрия Тушинского создал сейчас же себе народ.

Так сильно любил он загадочный облик несчастного Углицкого царевича.



СОДЕРЖАНИЕ

ГРОЗНОЕ ВРЕМЯ

(1552—1584 годы)

Роман-хроника

НАСЛЕДИЕ ГРОЗНОГО

Повесть из эпохи самозванщины

Лев Григорьевич Жданов

ГРОЗНОЕ ВРЕМЯ

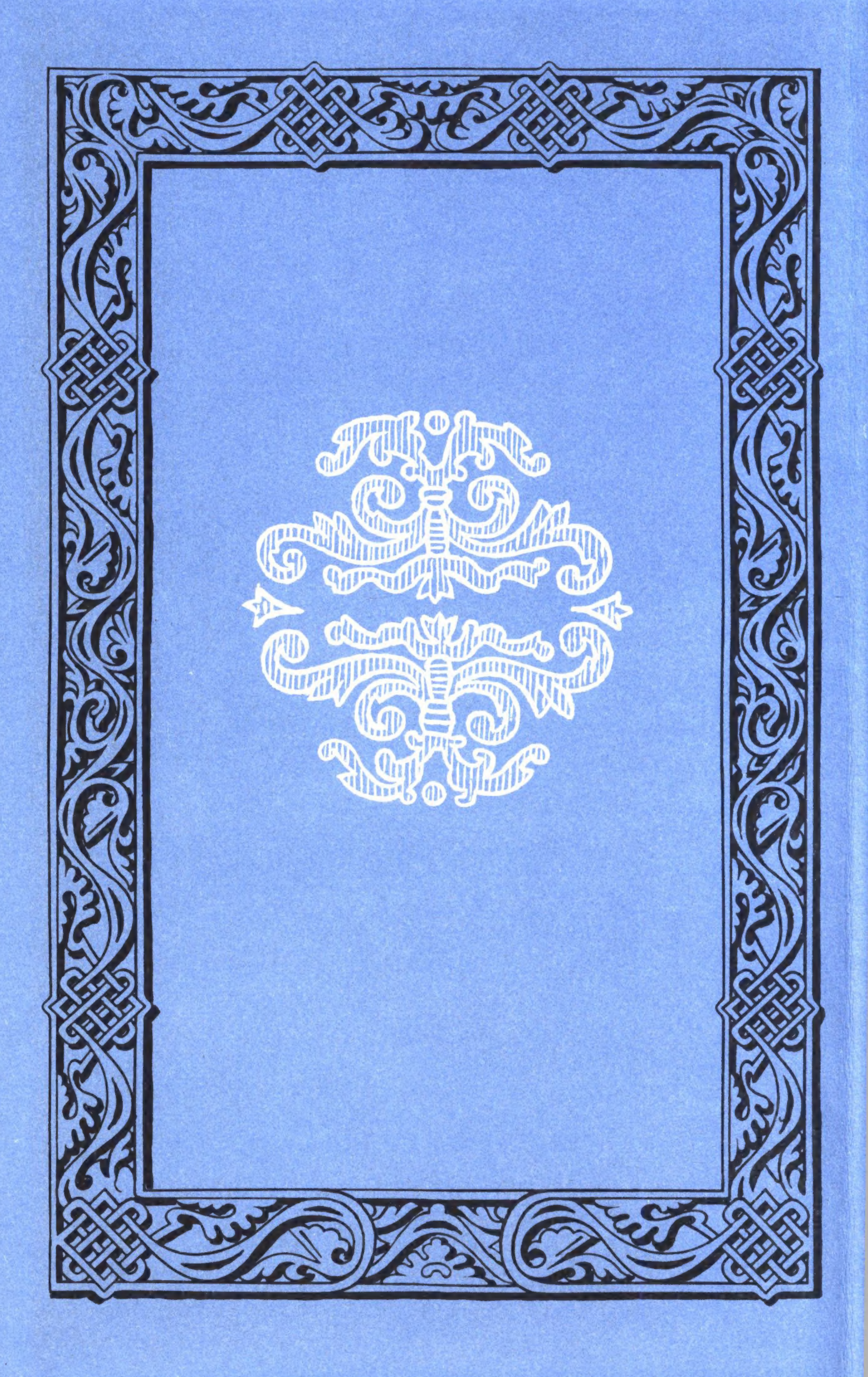
Редактор *А. А. Кабанов*
Художественный редактор *Т. А. Серебрякова*
Технический редактор *Н. Н. Талько*
Корректор *Е. П. Чеплакова*

Подписано в печать 24.06.91. Формат 84 x 108 1/32.
Бумага тип. № 1. Гарнитура «Таймс». Печать высокая.
Усл. печ. л. 19,32. Уч.-изд. л. 22,30.
Тираж 100 000 экз. Цена 15 р.

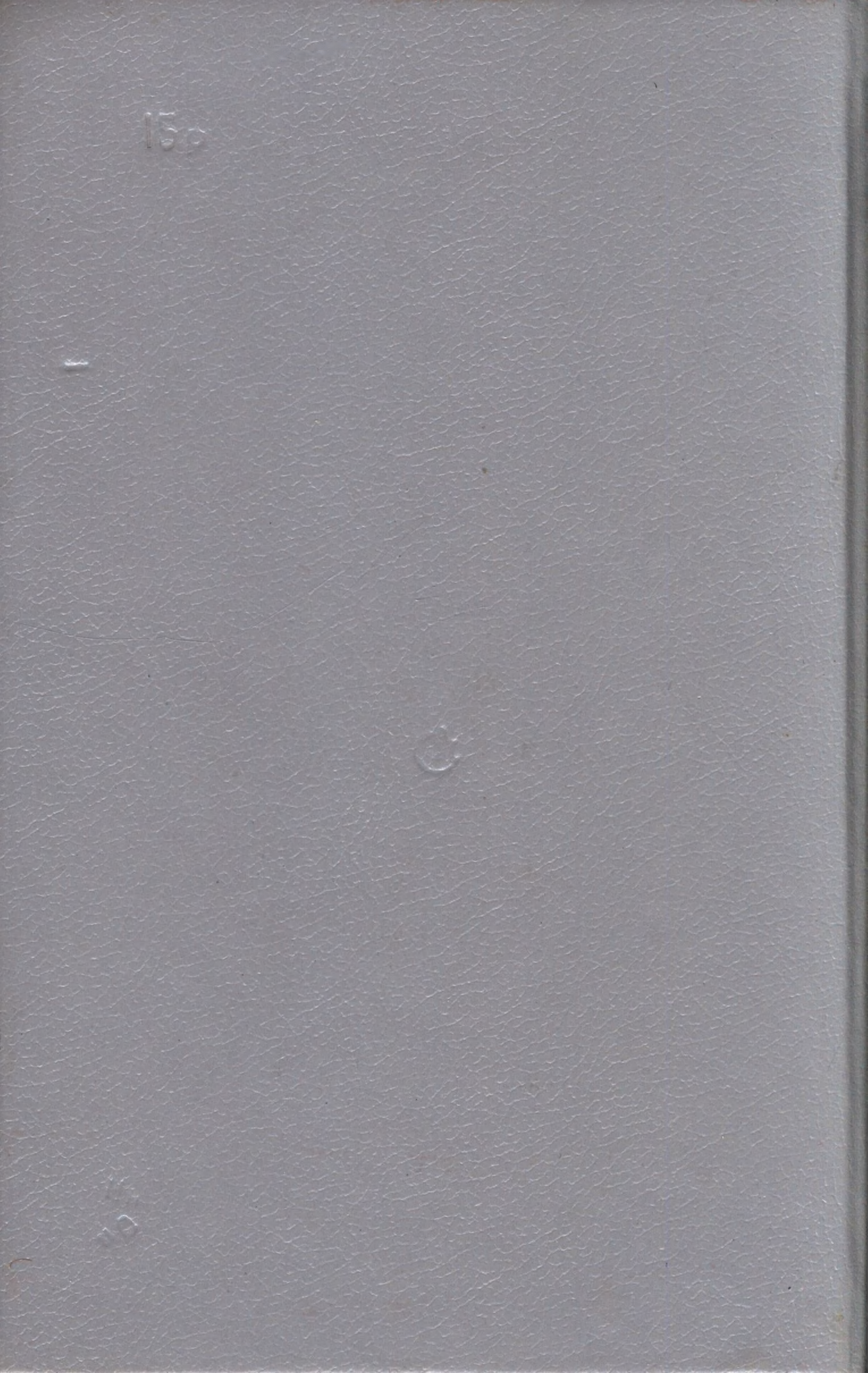
Издание подготовлено к печати на персональных компьютерах.
Ордена Дружбы народов издательство «Советский писатель»,
121069, Москва, ул.Воровского, 11.
При участии редакционно-производственного агентства «Олимп».

Тульская типография Государственного комитета СССР по печати,
300600, г. Тула, проспект Ленина, 109

Заказ № 351








Лев Жданов
Грозное время